

ISSN 0130 — 1527

# ЗВЕЗДА ВОСТОКА

1988

2

ЗВЕЗДА ВОСТОКА

1988

2



# ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ 56-Й

№ 2

1988 ГОД

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

## В номере:

### ПРОЗА

ЭМИЛЬ АМИТ. Последний шанс. Р о м а н . . . . .	10
ЛЮБОВЬ СТАРЦЕВА. Рассказы-притчи . . . . .	81
МАКСУД КАРИЕВ. Не трогайте звезды! Экзамен. Р а с с к а з ы . Перевод с узбекского Т. Захидовой. . . . .	88

### ПОЭЗИЯ

АЗИЗ АБДУРАЗАКОВ. Новый мир. На закате. Ржавый кинжал. Песня несозданного ножа. У по- рога мельницы. На Родине. Запах хлеба. Перевод с узбекского А. Файнберга . . . . .	3
МАРГАР МАРГАРЯН. «Кто взял чужое,— пусть назад вернет...». «Ты шагаешь...». «Мы упря- мы...». «Бегство — это другое...». Перевод с армянского В. Ляпунова. «В концлагере празд- новали Рождество...». «Посмотрю я на Джомолунгму...». «Песенка свирели раздастся...». . . . .	6
ВЛАДИМИР ЛЕЩЕНКО. Баллада о скоростном бомбардировщике. «Встречай сынов, родимая земля...». «Губы жаркие-жаркие...». «Знаешь, сердце бывает пусто...». «Везут меня в мой Святогорский...» . . . . .	74
ЮРИЙ ВОЛОГИН. Однополчанину. На кургане. Ночь в деревне. Сиренево. Тишина. Шаркия . . . . .	78
ВЛАДИМИР ЧЕБОТИН. Прогноз погоды. «Ты сотни душ растлил и уничтожил...». Сны золотые. «Подарю тебе ночь...» . . . . .	85

### ПУБЛИЦИСТИКА

СЕРГЕЙ БРЫНСКИХ. Махалля. Окончание . . . . .	95
---	----

### БОЕВОЙ ПУТЬ ТУРКЕСТАНЦЕВ

АЛЕКСАНДР БЕРЛЯНД. У истоков . . . . .	108
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЮРИЙ МОРИЦ. Лица знакомые и незнакомые . . . . .	113
ПИРМАТ ШЕРМУХАМЕДОВ. Люди с хвостами, или Под пиалой еще одна пиала . . . . .	122
ТИМУР ПУЛАТОВ. Восточные мотивы «Мастера и Маргариты» . . . . .	125

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

САХИБ ДЖАМАЛ. Горячие точки планеты . . . . .	129
ЛЕ ВИНЬ КУОК. Непобедимость сил социализма . . . . .	130
Ю. ПОДПОРЕНКО. «Детство — это родина души...» . . . . .	131

## ПУБЛИКАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

НАСЫР ФАЗЫЛОВ: Подарок. Перевод с узбекского А. Атакузиева . . . . .	134
--	-----

## РУССКИЕ ПОДВИЖНИКИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

С. ВАРШАВСКИЙ, И. ЗМОЙРО. Доктор Введенский . . . . .	140
---	-----

## САТИРА. ЮМОР

М. ГАНИЕВ. Два рассказа . . . . .	147
-----------------------------------	-----

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

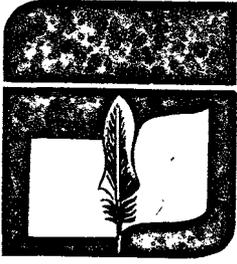
ЭЛЛЕСТОН ТРЕВОР. Полет «Феникса». Р о м а н. Перевод с английского Г. Грубмана. Окончание . . . . .	154
---	-----

## К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

А. ЭГАМБЕРДЫЕВ. Отражая радость труда . . . . .	128
О наших авторах . . . . .	208

Главный редактор С. П. ТАТУР.

Редакционная коллегия: В. А. АЛЕКСАНДРОВ (ответственный секретарь), А. Р. БЕНДЕР (зам. главного редактора), Е. Е. БЕРЕЗИКОВ, Г. П. ВЛАДИМИРОВ, М. МУХАММАД-ДОСТ, В. П. НЕЧИПОРЕНКО, А. А. ОСМАНОВ, Т. И. ПУЛАТОВ, О. В. СИДЕЛЬНИКОВ, Н. В. СТРИЖКОВ, А. А. УДАЛОВ, Р. Х. ФАРХАДИ.



**Азиз Абдуразаков**

### ***Новый мир***

Пускай мы завтра этот мир покинем,  
я счастлив тем, что не прервется нить,  
что будет новый мир с людьми другими,  
грустить, смеяться, плакать и любить.

Счастливей нас они пойдут по свету,  
друг с другом, да и с совестью в ладах.  
Но будет звездный свет нести планета  
на наших неисчезнувших следах.

### ***На закате***

Для сына мир — еще загадка.  
Глядит, забыв свои дела,  
как тонет день в дыму заката.  
Вот-вот сойдет на землю мгла.

Он снова этого не хочет.  
Он прибавляет мне хлопот:  
— Пусть завтра солнце не уходит,  
пусть завтра вечер не придет.

Я улыбнусь ему печально,  
а сам подумаю: «Чудак,  
быть может, день и не кончался б,  
когда б мы все хотели так».

### ***Ржавый кинжал***

Ржавый, раздробившийся в куски,  
он когда-то кровь струил на землю.  
Нынче на поверхности доски  
спит недвижно под стеклом музейным.

До чего же все же хорошо  
видеть эту светлую могилу —  
страх и смерть, изъеденные ржой,  
смерть и страх, утратившие силу.

### ***Песня несозданного ножа***

Сделай так, чтоб я кинжалом не был.  
Мастер, лишь о том мечта моя,  
чтоб не в чью-то кровь, а в мякиш хлеба  
лезвием своим вонзался я.

Нож на бойне. Нож на поле брани.  
Он в крови. На то он и большой.  
Я ж хочу всегда лежать в кармане  
человека с доброю душой.

Не хочу в ночи за кем-то рыскать.  
Я считаю счастьем для ножа  
спелых яблок утренние брызги,  
стружки и графит карандаша.

Настругать бы палочек на «чижик»,  
чтоб играли дети поутру.  
Резать камышинки для мальчишек.  
Пусть их змей трепещет на ветру.

Но мечты не знаю я превыше —  
по ночам точить карандаши.  
Пусть они стихи и письма пишут,  
боль снимая с чьей-нибудь души.

Чью-то кровь не дай пролить по свету.  
Меч с кинжалом — не моя родня.  
Чтоб лежать в кармане у поэта,  
сделай, мастер, маленьким меня.

### ***У порога мельницы***

Приюти меня, мельник. Хоть на ночь приюти.  
Дай пристанище путнику, знавшему мир без прикрас.  
Чтобы я отдохнул от всего, что я видел в пути,  
чтоб я ночь напролет слушал мельницы старой рассказ.

У дверей твоих, мельник, я прошлого пыль отряхну,  
сброшу груз лихолетий, лежащий на слабых плечах.  
Я закрою глаза. Хлебом пахнувший воздух вдохну.  
Он в голодные годы мне спать не давал по ночам.

Я, как ты, буду нынче весь белый от пыли муки.  
Ты прости меня, мельник. Я мог бы и мимо пройти.  
Не этой ли пылью мне время покрыло виски?  
Приюти меня, мельник. Хоть на ночь меня приюти.

## ***На Родине***

Что Родины прекраснее и лучше?  
Здесь я пустыню раю предпочту.  
Верблюжья одинокая колючка  
мне кажется магнолией в цвету.

Отчизна, ты и в зимние морозы  
душе моей настолько дорога,  
что соловьями кажутся вороны  
и цветом яблонь кажутся снега.

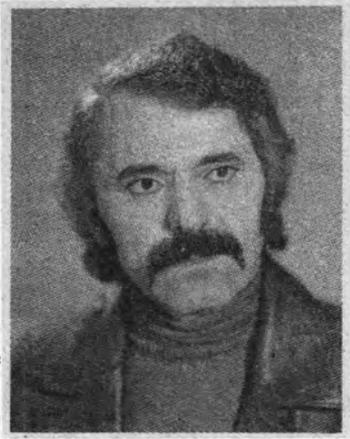
## ***Запах хлеба***

По улице задолго до рассвета  
провозят хлеб. Пахучий свежий хлеб.  
Сон прогоняя, чудный запах этот  
всего дороже стал мне с детских лет.

Благоухает зоревое лето.  
Восходят розы в голубом дыму.  
Но счастлив я, что прежний запах хлеба  
царит с утра до вечера в дому.

Пусть миру будет хлеб. Лишь после, брат,  
пускай цветы струят свой аромат.

Перевод с узбекского Александра Файнберга.



## Маргар Маргарян

\* \* \*

Кто взял чужое — пусть назад вернет.  
Кто потерял — найдет свою пропажу.  
Пусть снова на родной порог взойдет  
Тот, кто покинул отчий дом однажды.

Пускай со всех концов земли любой,  
По пыльным, знойным и крутым дорогам,  
Придут они, хранимые судьбой,  
Паломники любви и веры строгой.

Пусть на земле, как сто веков назад,  
Рядясь в свои пурпурные одежды,  
На горизонт спускается закат,  
И в синь взмывают голуби надежды.

Пусть мир и лад, как первая любовь,  
Войдут в любой чертог, в любую хату.  
Пусть дарят ночи рой счастливых снов,  
Забитых человечеством когда-то.

\* \* \*

Ты шагаешь.  
Судьба у тебя под ногами.  
Не вникая в природы великолепье,  
Не считаясь с мелькнувшими мимо веками,  
Не спросив:  
Что за день нынче?  
Что за столетье?

Но вот крохотный камушек  
Врезался в ногу.  
Ты склонился,

поднял

и положил в сторону.

Будто следом пойдут за тобой  
Той дорогой

И оценят твой мудрый поступок  
Потомки.  
В смелом взгляде  
Стремительно-хищное,  
птичье.

Сердцу гордому  
В клетке за ребрами тесно.  
Весь ты подон наивно-благого величья.  
Все идешь и идешь...  
Вот куда — интересно?

\* \* \*

Мы упрямы.  
Мы бьемся за благо юдоли земной.  
О потомстве печемся.  
Мы к предкам добры и внимательны.  
Пусть Адам нам отцом был,  
Пусть был добродетелен Ной,  
Все же Еву звать матерью —  
Не обязательно.

Мы высоты берем,  
Мы вгрызаемся в недра земли,  
Правим косность души,  
Чистим Землю от нечисти,  
Но за гроты пещеры,  
Откуда мы к свету ушли,  
Заплатили мы  
Юностью Человечества,

О, магистры статистики!  
Если захочется вам,  
Подсчитав,  
Подарить внукам тень  
Родословного древа,  
Пусть депешу подпишет  
Не Ной,  
Не бездумный Адам,  
А моя современница —  
Новая юная Ева.

\* \* \*

Бегство — это другое.  
Это — прихоть, вельенье судьбы,  
То судьба для меня  
небо бисером вышила.  
Брось страшиться борьбы.  
Одолей этих сопок горбы,  
Распаши их.  
Терзайся,  
Но все-таки выживи.

Нет, судьба, — ты — другое.  
Ты, видно, — надежды очаг.  
Сноп мятежных мечтаний,  
Что связан надежно.  
Распаши это поле.  
Будь сыт честной долею благ,  
Что дарит урожай.  
Не ропщи.  
Не ропщи.  
Жить и нужно и можн..

День вчерашний — другое.  
Вчера — не придет никогда.  
Боль ушла.  
Миновали терзанья и муки.  
Одряхла и сдохла бывшая беда.  
Я, как друг, стираю усталые руки  
К тем, кому нелегко и непросто идти,  
Подари-ка, судьба, им  
удачу в пути!

Перевод с армянского Виктора Ляпунова

\* \* \*

В концлагере праздновали Рождество —  
Русскому мальчику дали хлеба,  
А потом с него сняли скальп.  
Европа в ту ночь омывалась кровью,  
Азию — окутала смерть.  
Африку — псы с автоматами рвали.  
В ту ночь лампа светила тускло —  
Абажур из детской кожи.  
При свете ее  
Ева — дочь Евы? —  
Целовала Адольфа в губы...  
В концлагере рожала Мария —  
Дочь опаленной земли,  
Партизанка...  
Звезды роды ее принимали —  
Ярче и ярче мерцали...  
В ту ночь в Европе,  
В Азии, Африке  
Дитя Марии назвали —  
Победа!  
Настал сорок пятый год...  
«Тихая ночь, святая ночь...»  
Ночь Рождества Христова...  
В концлагере — дали хлеба мальцу.

\* \* \*

Посмотрю я на Джомолунгму,  
Высотой горы восхищаясь...  
Высота ее несравненна,  
Но она, как и горы другие,  
Рост считает от уровня моря.

И за то, что надменности нет в ней,  
Я втрое восхищаюсь ею.  
Посмотрю я на холм безымянный.  
Он на теле земли неприметен,  
Словно пятнышко рёдинки малой.  
Но и он высоту свою мерит,  
Как и горы,— от уровня моря!  
И за то, что достоинство есть в нем,  
Я стократно им восхищаюсь.  
Но, когда человек, загордившись,  
Высоту, которой достиг он,  
Мерит словно бы от Джомолунгмы,  
От ее высоты несравненной,—  
Нахожу я дорогу к морю  
И прошу у него прощенья  
За этого человека...

\* \* \*

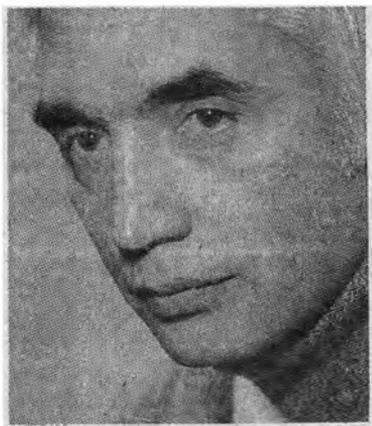
Песенка свирели раздается.  
Знаю, самоучка — мой сосед.  
Но напев и вьется, и смеется,  
Словно для него и смерти нет.

Мой сосед играет на свирели,  
И я слышу голоса земли...  
Может, он и гений, в самом деле,  
Если верить вечности велит?

На свирели мой сосед играет,  
И звучит мелодия любви,  
Словно человеку раскрывает  
Мир земной объятия свои.

И поверил я его свирели —  
Значит, нету зла и смерти нет?  
Грустный гений, я тебе поверил,  
Песнь твою запел и я, сосед...

Перевод с армянского Зои Тумановой.



Эмиль Амит

# ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

РОМАН

## МОЙ ДРУГ САИД

В последний раз отец приезжал в отпуск полгода назад...

Чуть свет прибежала соседка Соня. Она ворвалась в комнату с радостным криком: «Земине! Козин айдин!»<sup>1</sup> Земине сразу поняла и бросилась к двери. Когда Рустем очнулся и хотел кинуться следом за ней, она уже, вся светящаяся от счастья, входила обратно в комнату вместе с отцом. В одной руке он нес чемодан, другой прижимал жену к себе за плечи.

Поставив чемодан на пол, отец подхватил Рустема и подкинул высоко к потолку, потом притянул к себе, уткнувшись ему в шею жесткими губами. На нем скрипели ремни португеи. «Здравствуй, сынок, здравствуй! Ну, как ты тут? Вырос. Вон каким йигитом стал», — приговаривал отец. А Рустем, растерянный и смущенный, не мог и слова вымолвить в ответ. Нетерпеливый взгляд его то и дело задерживался на стоявшем посреди комнаты чемодане.

Заметив это, отец улыбнулся, положил чемодан на табуретку и отпер ключиком блестящие замки. Рустем глаз не сводил с отцовских рук, которые двигались, как ему казалось, слишком медленно, не терпелось ему поскорее увидеть, что в чемодане. Наконец поднялась крышка. Отец, словно фокусник, достал шелковую, в ярких цветах, косынку и, как того требует обычай, протянул соседке Соне, которая прибежала первой, чтобы сообщить радостную весть, и по-татарски сказала: «Козин айдин!» Потом вынул большую продолговатую коробку, перевязанную крест-накрест шнуром, и подал ее Рустему: «Принимай, это тебе».

Рустем опустил на корточки и попытался сразу ее вскрыть. Но не так-то легко оказалось развязать шнурок.

Мать быстро присела рядом, хотела помочь, но отец предупредительно коснулся ее плеча: «Пусть сам. Пусть сам учится развязывать всякие узлы, начиная с таких вот простеньких».

<sup>1</sup> Козин айдин — да будут очи твои светлы! (Поздравление с радостным событием).

В коробке лежал трактор. Новенький. Желтый. А колеса красные с черными резиновыми шинами. Руль и сиденье зеленые. Капот открывается, и внутри виден мотор. Самый настоящий мотор! Вот это да! Впереди фары, как два блестящих глаза. Сбоку торчит ключ. Рустем повернул два раза, и колеса завертелись.

И не предполагал Рустем, что на свете существуют такие игрушечные тракторы. Он так увлекся, что не поинтересовался даже, что о папа привез маме. Завел трактор, опустил его на коврик. Трактор двигался по кругу. Рустем чуть повернул руль — и он поехал прямо. Рустем едва поспевал за ним, ползая на коленях.

Оказывается, отец еще привез целую стопку тетрадей. И в линейку, и в клетку. Большой альбом для рисования и целую коробку цветных карандашей. Вот это богатство! Ничего подобного Рустем не видел ни у одного из своих сверстников. Тот день ему запомнился, как настоящий праздник.

Вечером пригласили к застолью соседей, и отец попросил маму надеть наряд, который ей подарила бабушка, папина мама, когда еще была жива. Стол уже был накрыт белой скатертью, и пока отец расставлял на нем бутылки с вином и рюмки, мама зашла за ширму и вскоре появилась в длинном парчовом платье с широким поясом, застегивающимся большой серебряной, словно кружевной, пряжкой. Мама была красивая — высокого роста, стройная, темноволосая. Села к старому трюмо с темными разводами и, пригладив волосы, надела расшитую жемчугом бордовую бархатную феску с тяжелой свисающей золотистой кистью. Мамины темно-синие глаза задорно сверкали, а губы расплывались в улыбке, обнажая ровный ряд жемчужных зубов. Обернулась: «Ну как?» Отец отошел чуть назад и тихо произнес:

— Какая же ты у нас красивая!

Отец пробыл дома всего четыре дня. Он был кадровым офицером и служил в белорусском городе Гродно. Ранним утром ему принесли срочный вызов.

Рустем крепко спал и ничего этого слышать не мог. Отец разбудил его осторожным прикосновением, поднял и, крепко обхватив плечи, сказал:

— Я уезжаю, сынок.

Других слов Рустем уже не слышал, хотя отец говорил что-то еще. Через плечо отца он видел в трюмо лицо матери — за окном едва светало, — видел ее темно-синие глаза и видел то, как она старается сдержать слезы. По ее глазам нетрудно было догадаться, о чем она думает. «Ну как же так? Ведь всем положен отпуск! Если военный, так и отдыхать не надо? Не отпущу! Нет, не отпущу!» Но знала, что отпустит.

А Рустем, прижимаясь к отцу и стыдясь своих слез, не подозревал, что это утро будет последним, когда он видит отца.

Прошло более полугода, как отец уехал из дому. И все это время в письмах он обещал забрать их к себе. Но всякий раз ему что-нибудь мешало: то в связи с напряженным положением на границе их часть срочно передислоцировалась, то у них проводились маневры и ему некогда было написать пару строк. И вот месяца два назад отец прислал вызов.

Мама решила ехать, когда закончится учебный год, но готовиться к отъезду они начали заблаговременно, с начала мая.

Никогда еще Рустем с таким нетерпением не ждал каникул. Учителя, наверное, понимали его: на уроках были не так строги, за невыполненные домашние задания не оставляли «без обеда». Рустем был рассеян на уроках. Ему казалось, что они тянутся целую вечность. Во время перемен он вместе со всеми выбегал во двор, но играл там без удовольствия. Для него и перемены были слишком длинными. Скорей бы, наконец, каникулы! Он непрестанно повторял про себя: «Гродно... Гродно...» — будто слово это было магическим.

Уже перед самыми каникулами отец прислал телеграмму. Мать, радостная, расписалась за получение ее и развернула листок с печатными буквами. И вдруг застыла посреди комнаты. Рустем заметил, как ее пальцы нервно комкают листок, а на глаза наворачиваются слезы. Он хорошо знал

мамины глаза, мог по ним определять тончайшие оттенки в ее настроении; он любил ее ласковые руки, эти руки рассказывали ему обо всем, что она хотела от него скрыть. Но он уже был не маленький, все понял.

— Папа не хочет, чтобы мы приехали?— спросил он сдавленным от подступивших слез голосом.

— Как это не хочет?— побледнела мама.— Хочет! Только опять просит повременить.

— А почему?

— Подробностей не сообщает. Нельзя.

Несколько дней мама была сама не своя, все валилось у нее из рук. По утрам они молча завтракали. Потом вместе выходили из дому. Она шла на работу, Рустем в школу. А по вечерам мама выслушивала то, о чем говорил Рустем,— сама больше молчала. Лишь изредка задавала какие-то вопросы, чтобы поддержать разговор, а взгляд был рассеянный, конечно, она думала о чем-то совсем другом. Она совсем перестала смеяться. Казалось, радость навсегда покинула их дом.

А в начале июня мама сказала Рустему, что она все-таки решила съездить в Гродно. Ведь он отпустит ее, правда? Поживет некоторое время у бабушки с дедушкой. Кстати, ему нравилось бывать у бабушки с дедушкой в Ташлыке. Но сейчас... У мамы в глазах была такая мольба, что он согласился. Даже сделал вид, что несколько этим не огорчен. До отъезда оставалось мало дней, и он начал спешно собирать подарки для бабушки и дедушки.

Что и говорить, лето проводить в Ташлыке — одно удовольствие. Тут, в городе, они с мамой занимают одну небольшую комнату. А у бабушки с дедушкой в доме просторно. Большая прихожая. К ней, примыкают комнаты. А прямо — кухня. Кухня тоже большая, здесь проводят большую часть времени: тут и обедают, тут и просто сидят за беседой или занимаются каждый своим делом.

Вечером бабушка зажигает на столе лампу, надев очки, подсаживается поближе и принимается вязать. А дед разворачивает газету. Это означает, что дневные заботы кончены. Маленькие руки бабушки двигаются удивительно быстро, не успеваешь уследить, как в них мелькают, поблескивая, спицы. А дед шуршит газетами, пока все не прочитает.

В поезд Рустем сел, имея личный багаж — перевязанную крест-накрест картонную коробку, в которой отец привез ему трактор. Он нес ее в руках. В ней же лежали кресало с фитилем и кремь, из которого дед сможет высекать искру, раскуривая свой чубук. Рустем выменял их у барахольщика на полтора десятка бутылок из-под лимонада. А для бабушки он из двух деревянных планок смастерил самый настоящий циркуль, большой, не такой, которым чертят в тетрадах. Им бабушка сможет пользоваться на уроках черчения или геометрии. А то, чтобы начертить круг на черной доске, ей придется пользоваться шнурком от дедовского ботинка. Один конец его она держит вместе с мелом в правой руке, а другой прижимает пальцем к доске и так описывает круг. Вот обрадуется бабушка подарку! В коробке лежали, дожидаясь своего часа, и бумажный мячик на длинной тонкой резинке, и глиняный свисток в виде птицы, вертушка из грецкого ореха и много всякой всячины. Эти подарки он припас для мальчишек, с которыми подружился прошлым летом.

Ехать было не очень далеко, и мама купила билет в общий вагон. Они с трудом отыскивали свободные места. Рустему еще и повезло. Какая-то добрая старушка подвинулась, уступив ему место возле окна. Прислонившись к стенке вагона, он с удовольствием смотрел сквозь мутноватое стекло на уже знакомые ему картины и под мерное покачивание и перестук колес стал думать о дедушке и бабушке.

Летом, когда заканчиваются занятия в школе, вся жизнь бабушки протекает в хлопотах по дому. Рано утром она спешит в сарай подоить корову, затем пропускает молоко через сепаратор, а чуть позже велит Рустему заглянуть в курятник — проверить, нет ли яиц. К этому времени

на плите вскипает чайник, и они садятся завтракать. Бабушка всегда подает к завтраку свежие сливки, творог, варенье, всмятку, яйца и компот.

После завтрака дед уходит в кузницу. Иногда с ним увязывается и Рустем. Дед и его помощник работают в четыре руки у наковальни, а ему доверяют качать мехи. Но Рустему больше нравится стоять около наковальни и смотреть на их работу. Дед обещал и его научить справляться с железом, когда он немного подрастет. Однажды он вручил внуку молоток, опустил на наковальню кусок раскаленного железа, держа его длинными щипцами, и велел ударить несколько раз, да посильнее, а сам вращал железо и так и эдак: помощник смотрел со стороны и улыбался, а потом похвалил Рустема: «Молодец! Удар есть!» Рустем ответил, что работа эта веселая и нравится ему, чем, кажется, доставил немалое удовольствие деду.

В полдень дед приходил домой обедать. Потом он выходил во двор, садился слева от двери на врытую в землю скамейку, которую сам смастерил, и раскуривал чубук. Затем шел на огород. Бабушка снова хлопотала по дому. Ноги в мягких кожаных тапочках носили ее от плиты к корыту с бельем, от корыта к корове, а там — к курятнику, взглянуть на наседок, и опять к плите.

Единственное, что иногда могло заставить бабушку часок-другой отдохнуть, — это приход из соседнего селения Эрнеста Алексеевича и его жены Веры Венедиктовны.

Рустем очень любил, когда они приходили. В такие вечера у них было очень весело. Бабушка накрывала стол белой скатертью и ставила самовар. Они пили чай, громко разговаривали и смеялись, а через открытые в сад окна доносились соловьиные трели. Часто вспоминали прошлое, слушать об этом Рустему нравилось больше всего. Бабушка и Вера Венедиктовна вспоминали общих знакомых: они вместе учились в гимназии.

Вера Венедиктовна непременно просила бабушку поиграть на пианино. Бабушка, прежде чем согласиться, смотрела на свои руки, словно сомневаясь, способны ли они еще узнавать и находить нужные клавиши.

Все из кухни перекочевывали в комнату, которую обычно занимали Рустем с матерью. Пианино в этой комнате стояло под чехлом, на его крышке нашли себе место старинный подсвечник, часы, шкатулка с обором ниток и пуговицами, книги. Дедушка быстро перекаладывал все эти вещи на подоконники, осторожно снимал чехол, стараясь не поднимать пыли, и бабушка садилась за пианино.

...Впереди послышался протяжный гудок паровоза, вагон сильно качнуло.

Мимо проплывали бескрайние пшеничные поля, и по ним бежали седые волны — как на море. Вдали уже видны дома и элеватор, похожий издала на плывущий корабль. Ехать им осталось совсем немного.

На станции их всегда встречал дедушка. Он сажал Рустема себе на плечо, брал у дочери чемодан, и они шли на площадь, где в тени акаций их поджидала линейка.

И сейчас тоже, едва поезд замедлил ход, у перрона Рустем увидел дедушку. Он был в своем неизменном черном костюме, еще довольно приличном, хотя и служил он ему уже много лет.

Выходя впереди матери в тамбур, Рустем подумал, что теперь он уже большой и ни за что не позволит, чтобы дед сажал его себе на плечо. Не успел опомниться, как оказался в объятиях у деда. Прижимая внука к груди и целуя, он исколот ему щеку щетиной. Затем быстро поставил его на землю, взял у дочери чемодан и, держа ее за руку, помог сойти на перрон.

Дед впустил на линейке сено и усадил маму. Сам сел впереди, Рустем устроился рядом с ним. Когда все заняли свои места, дед несильно стегнул лошадь, и она рысью взяла с места.

Линейка, мягко пружиня на рессорах, легко катилась по накапанной дороге. Привычным путем лошадь бежала справно и без понуканий. Дед передал внуку вожжи, и Рустем, почти ошалев от сознания собственного величия, лишь для виду перебирал и подергивал ими

и время от времени, как заправский извозчик, издавал громкие звуки. На лице его была написана радость, оно даже порозовело. На кончике носа и над верхней губой выступили капельки пота.

Мама тем временем рассказывала отцу, о чем в последнее время писал отец из Гродно, делилась тревогами. Дед, кряжистый и чуть сутуловатый, молча слушал и хмуро глядел на дорогу, изредка вытирая платком слезящийся правый глаз. Внешне он у него ничем не отличался от левого, но не видел. Если только приглядеться, можно было заметить, что зрачок его чуть мутноват, словно затянута голубоватой пленкой. Глаз этот начинал слезиться, если дед часами работал без передышки в кузнице и напряженно смотрел на раскаленное докрасна железо.

— Что поделаешь, дочка... Он человек военный, подневольный. Если б мог, на крыльях бы, наверное, прилетел, — заметил дед, когда дочь умолкла, задумчиво вглядываясь вдаль.

— Да, отец, — грустно улыбнулась Земине. — Слава богу, мои крылья не подрезаны...

— А я вот что думаю, дочь: может, тебе сейчас не ехать, а? Гляди, куда немец подобрался — к самой границе. Вдруг неспроста?

Дочь вздохнула и промолчала. Дедушка понял, что ее не отговорить. Она и девчонкой была такой: если решила что — сделает по-своему. Поперек лба у деда пролегли две глубокие складки, придав лицу суровое выражение.

— Но! Но! — властно крикнул Рустем и дернул за вожжи.

Слева от дороги гудели провода. На них сидели ласточки. То одна, то другая срывалась стремительно вниз, хватала мошкарку и опять взлетала к своему месту.

Еще недавно ладонью дед легко сгибал подкову. Рустем помнит, как мама рассказывала, что ему, Рустему, суждено было увидеть белый свет благодаря сильным и добрым рукам деда...

Когда Рустем уже вот-вот должен был родиться, его мать приехала к родителям в Ташлык. В соседнем русском селении жил опытный старый врач Эрнест Алексеевич, давний знакомый Зера-апте. Он и посоветовал ей вызвать дочку к себе.

Врач сказал Земине, чтобы она побольше гуляла, и она каждое утро после завтрака уходила в степь, где пахло цветами, а ветерок был ласковый и теплый. Сделав по степи большой полукруг, обойдя огороды и сады, она возвращалась домой с другого конца деревни, усталая и счастливая.

В один из дней Земине отправилась гулять в своем красном маркизетовом платье в мелкий горошек. Обрато возвращалась мимо армана<sup>1</sup>, где всюю кипела работа. Рокотал трактор, тарахтели молотилки. Молодые женщины, мужчины в облаке пыли и половы орудовали вилами, сбрасывая со скирды снопы за снопом, и громко переговаривались, стараясь перекричать шум мотора. Раздавались шутки, смех. Земине свернула с дороги и пошла напрямик к арману, где она надеялась увидеть своих подружек-одноклассниц, поговорить с ними.

Впереди неспешно удалялось в степь колхозное стадо. Над ним зависла желтая пелена пыли. Породистые пегие коровы медленно шествовали, преисполненные важности. А молодые телки и бычки проказничали, поддевали друг дружку обозначившимися на лбу рогами, шарахались, норовили пуститься куда-то в сторону, и чабан, подстегивая лошадь, нагонял их и возвращал к стаду, щелкая кнутом и покрикивая.

Земине шла себе и не заметила матерого быка, который отстал от общего шествия. Временами он останавливался, бил землю копытом, ковырял ее рогом и ревел. И Земине наверняка услышала бы его рев, если бы не шум на току. Разъяренного быка она увидела, лишь когда оказалась всего в нескольких шагах от него. И замер-

<sup>1</sup> Арман — ток, где молотят зерно.

ла ни жива ни мертва, чувствуя, что вот-вот подкосятся от страха ноги. И бык, раздувая влажные ноздри, уставился на нее налитыми кровью глазами.

На току ее заметили, что-то кричали, махали руками. Кажется, несколько мужчин бросились ей на помощь. «Только бы не упасть... Только бы не упасть...» — стучало в голове у Земине. Не сводя глаз с рогатого чудовища, она медленно попятилась к бегущим к ней людям. Бык подался вперед, тряхнул головой, мощной холкой, приводя себя в боевую готовность. Потом весь подобрался, нагнул голову, нацелив рога, острые и громадные, как бивни мамонта... И в этот момент с ней рядом возник отец. В руках у него сверкнули вилы. Он крикнул не своим голосом: «Беги!» — и уткнул вилы в широкую морду животного. Железные зубья вил уперлись в бычью морду немного пониже глаз. Хорошенькое дело, беги. В положении Земине не особенно разбежишься. У нее словно отнялись ноги. Она не могла и пошевелинуться. Словно в кошмарном сне виделось ей, как отец, подогнув колени, изо всех сил налегает на вилы, его искаженное страшной гримасой лицо побагровело от напряжения, на шее вздулись вены. И вдруг она заметила, что отполированная ручка вил скользит в его ладонях; расстояние между быком и ее отцом с каждой секундой сокращалось.

Земине окружили люди, подхватили под руки, не дали упасть, что-то говорили, но ни одно слово не доходило до ее сознания.

Вдруг отец отбросил вилы, схватил быка за рога, резко вывернул ему шею и одновременно дал подножку под обе передние ноги, как обычно поступают на майдане борцы. Бык рухнул на грудь, и отец, не давая ему встать, нечеловеческим усилием завалил его набок. И бык замер, тараща красные глаза, полные недоумения. Отец держал его, придавив шею коленом, до тех пор, пока не прибежал всполошенный скотник, Закир-Даром, и не вдел быку в ноздри кольцо...

Хорошо, что в этот день на армане испортилась молотилка и деда позвали чинить ее. Вскоре после того случая и родился Рустем...

Горизонт впереди скрывали зеленые купы садов. Минут через двадцать-тридцать за ними открылось небольшое селение с низкими, как строили в прежние времена, домишками, покрытыми красной черепицей. Справа — в деревянной окантовке — бассейн артезианского колодца, слева горизонт ограничен двумя отвесными скалами, издавна напоминавшими огромные клыки. Их так и называли «Аждага тиш» — «клыки дракона»

— Вот и приехали! — тихо сказал дед.

Их дом — самый большой, и стоял он на краю деревни.

Когда приезжали дочка и внук, почему-то всегда оказывалось, что бабушка именно в этот момент вынимала из фуруна<sup>1</sup> сарбурму с мясом и картофелем или сладкий пирог с тыквой, который Рустем особенно любил. Вот и сейчас, едва линейка остановилась, она уже спешила им навстречу, неся с собой ароматы пирогов.

— Наконец-то. Ну, слава богу... — сказала она, обнимая поочередно дочку и внука.

Бабушка чуть ниже среднего роста, худощавая и все еще хороша собой. Она нисколько не расплылась, не отяжелела, как многие в этом возрасте. На ней коричневое ситцевое платье, спереди подол прикрывал голубой в белый горошек передник.

Войдя в дом, мама опустилась на тахту, усталая, будто всю дорогу не ехала, а шла пешком, и принялась рассказывать о том, с каким трудом они достали билет, как едва не опоздали на поезд, как в пути изнывали они от жары, что за люди ехали с ними в вагоне.

Рустем поставил на стол свою заветную коробку и открыл ее перед бабушкой и дедушкой. Те просто ахнули от щедрости внука. Деду

<sup>1</sup> Фурун — выложенная из камня печь для выпечки хлеба, пирогов.

сразу же захотелось курить, и он, взяв кресало, принялся высекать из него искры, хоть у него и была зажигалка, которую он сам смастерил в кузне.

Рустем, схватив большой кусок слоеного пирога с тыквой, убежал на улицу.

Мама спешила, ей не хотелось терять ни дня из отпуска. Она решила уехать на следующий день.

Первый вечер провели все вместе на кухне за беседой. Рустем пристроился между взрослыми у края стола и, слыша вполуха, о чем они говорят, писал отцу письмо. С того дня, как уехал отец, Рустем отправил ему не одно письмо... Отец просил его подробно писать о каждом своем дне, чтобы, находясь в разлуке с ними, отчетливо представлять, как они тут живут.

Сейчас он подробно писал про мальчишек Ташлыка. С большинством из них Рустем подружился. Вот только Азам-Невидимка при всяком удобном случае старается выказать свое презрение к нему: мол, городской, неженка. Будто если живешь в городе, так уж непременно маменькин сыночек. Кроме Азама, еще двое-трое его дружков так думают. Азам верховодит ими. Ну и пусть себе. Не собирается же Рустем оспаривать его первенство. Хотя, если по справедливости, то Рустем и в лапту, и в футбол ничуть не хуже его играет. И в воротах стоит лучше всех. Азам еще и потому на него злится, что сегодня Рустем не пропустил ни одного мяча, которые тот пытался забить в его ворота. Раз десять пробовал, и все напрасно.

Рука Рустема замерла, и с пера на бумагу сорвалась клякса. Рустем подумал, не покажется ли он отцу хвастунишкой? Хотел было перечеркнуть последние строчки, но передумал. Ведь он несколько не преувеличивал. Он и правда не уступит Азаму-Невидимке ни в чем. Разве только в умении прятаться во время игры в «казаки-разбойники». Азама потому и прозвали Невидимкой, что он обладает удивительной способностью исчезать прямо на глазах — точно под землю проваливается.

Дедушка чуть свет пошел в правление просить линейку. Мама была веселой, смеялась, вся как-то расцвела, словно девчонка, получившая подарок. А Рустем, наоборот, скис. Хоть и подготовил себя заранее к тому, что мать поедет одна, без него, почему-то ему сделалось горько-горько. А мать то и дело обнимала его, целовала и, ероша ему волосы, давала обещание, что вернется не позже, чем через две-три недели, велела слушаться бабушку и дедушку. Голова уже была переполнена ее словами и наставлениями. Рустем изо всех сил крепился, чтобы не заплакать. А когда мама села в линейку и дед, чмокнув губами, тронул лошадь, Рустем понял, что слез ему не сдержать, и опрометью кинулся за дом, углубился в заросли сирени, которые заполнили весь двор позади дома. Кустам было много лет — их дед посадил в тот год, когда поселился в этом доме с бабушкой, — и они разрослись, наступая на дом порознь и целой чащей... Сейчас сирень уже отцвела. И все же остатки ее майских запахов манили Рустема в зеленый полусвет, под полог из густых листьев, где прятались какие-то тайны. Рустем долго и тихо плакал, сидя на сухой траве и уткнув лицо в колени. А когда слезы кончились, его внимание привлекли воробьи, порхавшие с чириканьем среди ветвей, и он стал за ними наблюдать. Потом он махнул рукой и решил пойти на пустырь, где мальчишки наверняка играют в лапту.

Ташлык был не очень большой деревней. Приютился он в степной части полуострова. Тот, кто первым поселился здесь, неспроста облюбовал это место: с востока подступала к деревне необозримая степь, где колосились хлеба, зеленели сады и могли пастись неисчислимые стада, а

на юго-западе в ясную погоду можно было разглядеть темно-синие очертания гор. Ближе голубоватой стеной поднимались камыши, разросшиеся вокруг соленых озер.

Рустем услышал издалека визг и смех резвящихся мальчишек. Он обогнул длинное приземистое строение колхозного амбара и вышел к пустырю, который во время молотбы служил током. Посередине возвышались две скирды прошлогодней потемневшей соломы. Противоположный край пустыря затеняли старая-престарая дуплистая чинара и две ее ровесницы-шелковицы с корявыми стволами в напыльках и глубоких бороздах. Деревья росли так близко, что, разметав в стороны ветви, переплетались, словно для того, чтобы поддерживать друг друга, если вдруг налетит ураган. Густые кроны сомкнулись и нависли зеленым зонтом, под ним и в самый знойный день прохладно. Вокруг зеленеет трава, верблюжья колючка красуется розовыми цветочками, похожими на сережки. А площадка под деревьями утоптана до каменной твердости. Обычно здесь собирается деревенская ребятня для своих шумных игр.

Сейчас под деревьями происходило настоящее сражение. В самом разгаре была игра в «коней». Роль верхового коня доставалась ребятам посильнее. Сражающиеся делились на две группы и расходились в разные стороны. По сигналу «кони» с диким ржанием бросались вперед, сшибались; «всадники», исторгая боевые кличи, хватали друг друга за что попало, и каждый изо всех сил старался вышибить противника из седла. А «кони» тем временем помогали «всадникам», упирались, норовили подставить друг другу подножку.

Мальчишки вошли в азарт и не замечали Рустема. Падали, снова вскакивали и бросались в схватку. А некоторые, обессилев, валились на землю и долго не вставали, отдыхая.

В сторонке на траве сидели несколько девчонок. Они играли в камешки, не обращая на мальчишек ни малейшего внимания. Только одна, самая маленькая, отделившись от всех, пристроилась на узловатом корне шелковицы и плакала. Она натянула на колени подол красного платица. Две тоненькие, как жгутики, косички торчали в стороны. Она горько всхлипывала и грязной рукой размазывала по лицу слезы.

Мальчишки охрипли от крика, и шума под деревьями поубавилось. В конце концов определился победитель. «Всадник» потрепал «коню» холку и спешил. А «конь» торжественно заржал и понесся, петляя между деревьями: мол, смотрите, сколько у меня еще сил в запасе. А тут его взгляд остановился на Рустеме. Это был Азам-Невидимка — долговязый, лопоухий паренек, с тонкими чертами лица и пушистыми, как у девчонки, ресницами. Приятель же его чуть пониже ростом, зато коренаст, широколиц, с раскосыми глазами степняка. Оба без рубах, босые, в закатанных до колен полотняных штанах.

— Ага, вот и детка, — ухмыльнулся Азам. Он сложил руки на груди и заложил ногу за ногу, приняв вызывающую позу.

Рустем сто раз говорил бабушке, чтобы она не называла его так. А она все — детка, да детка!

— А ты пустобрех — голова, как орех! — выпалил Рустем первое, что пришло на ум.

— А ты...

Назревала ссора. Азам понимал, что в острословии ему Рустема не осилить, поэтому, не теряя времени, он схватил Рустема за грудки. Рустем всерьез никогда не дрался, но был ловок. Он резко отбросил от себя руки Азама. И тут между ними кто-то встрял, растолкал их в разные стороны.

— Схлопотал бы ты у меня, не будь ты внуком учительки, — сквозь зубы процедил Азам, гневно сверкая глазами. — Неохота из-за тебя «пары» хватать. — Он обернулся к рассевающимся на траве мальчишкам и крикнул: — Кто со мной — тот герой, кто против меня — тот свинья! — И зашагал, не оглядываясь, в сторону селения.

Мальчишки неохотно поднялись и один за другим последовали за ним: кому охота оставаться в свиньях?

Девочки были увлечены своей игрой и, казалось, даже не замечали проделок мальчишек. Смуглые, черноглазые. Одна из них вскочила и побежала с длинной хворостинкой, чтобы вернуть стадо коз, которое ушло слишком далеко.

Рустем подошел к сидящей под шелковицей малышке и опустился перед ней на корточки.

— Ты чего плачешь?

— К-к-козу потеряла, — еле выговорила девочка, давась слезами.

— Где?

— Она в б-б-балку ушла.

— В балку? Ну и что? Вернется.

— Прямо, вернется, — подала голос одна из девочек, кудрявая, как каракулевый барашек. — Ее, небось, давным-давно уже дракон съел.

— Дракон? Он же только в сказках бывает, — засмеялся Рустем.

— И ничего не в сказках! — возмутилась девочка.

— И мне мама сказала: «Не ходи в балку, там аждага живет, утащит», — поддержала ее подружка.

Лицо малышки сморщилось, и она заплакала еще горше.

— Перестань. Пойдем вместе поищем твою козу, — сказал Рустем.

Девочка подняла на него черные, как виноградины, с поволокой глаза. В ее взгляде промелькнула надежда, и тут же уступила место сомнению, что кто-то может пойти с ней в такое место, как балка, о которой столько всякого говорят взрослые.

— Идите, идите. Аждага, может, еще не наелся одной козочкой, — ехидничала кудрявая.

Рустем подмигнул плаксе и направился к балке. Девочка вскочила и догнала его. Жалость к попавшей в беду любимой козе пересилила страх. Они вскоре пришли к краю обрыва, нависшего над широкой балкой. Глубоко внизу росли кусты, деревья, а между ними белели острые камни. Девочка доверчиво вложила ему в руку свою маленькую ладошку, и он чувствовал, как она дрожит — легкая, теплая — словно пойманная птичка. Обрыв, на котором они стояли, был слишком крут. Зато метрах в ста левее косогор спускался до самого дна узкими уступами. Почти весь склон был покрыт кустами фундука, шиповника, боярышника, росшими вперемежку. На противоположной стороне балки виднелась роцца — густая, темная, как дремучий лес. Старые дубы, чинары, сосны вознесли свои громадные кроны высоко над роццей и издали были похожи на темные облака. А часть деревьев сбегала вниз по откосу да так на бегу и застыла в самых невероятных позах. За роццей виднелись два белых острия «Драконьих клыков». А вдруг люди неспроста прозвали так эти скалы? Ведь даже бабушка говорила, что был случай, когда двое мальчишек ушли в эту балку за хворостом и не вернулись. Не зря же и местные мальчишки держатся от балки подальше. Во время игр где только не носит их лихая, а этого места избегают.

Рустемом овладела безотчетная тревога. Он понял, что лишь усилием воли может заставить себя спуститься в эту балку. Не будь рядом этой девочки, он бы плюнул на все и вернулся назад. А теперь...

— Идем, — сказал он девочке, крепче сжав ее ладошку, и с решимостью направился в ту сторону, где можно было спуститься в балку.

Девочка едва поспевала за ним, но руки не отнимала.

— Как зовут-то тебя? — спросил Рустем.

— Алие.

Третьего дня прошел сильный дождь. На дне балки над кустами нависли хлопья тумана. Рустем выбрал удобное место и стал спускаться в балку, хватаясь одной рукой за ветви фундука, другой крепко сжимая ладошку девочки. Внизу было безветренно, и они потонули в незримой дымке цветов. Из кустов поминутно вспархивали птицы, заставляя каждый раз обмирать. Когда же они оказались в самом низу, то вдруг поняли,

что разглядеть тут ничего невозможно: густая чаща деревьев и кустов скрыла от их глаз весь мир. Колючие заросли были непроходимыми.

— Зови свою козу, — сказал Рустем.

— Кеже! Кеже! Кеже! — закричала Алие тоненьким голоском.

А скаты балки тотчас откликнулись эхом и так усилили ее голос, что оба они вздрогнули.

— Кеже! Кеже!

Рустему казалось, что за кустами промелькнул чей-то силуэт. Мелькнул и исчез. Рустем так и обмер. Алие заметила его испуг и, вцепившись в его рукав, шепотом спросила:

— Что?

— Там только что кто-то был, — ответил Рустем тоже шепотом.

— В зеленой чалме? — спросила Алие, дрожа от страха.

— Почему... в чалме?

— Разве ты не знаешь? Тут живет привидение. Многие его видели. Оно в длинном белом чекмене и зеленой чалме.

Час от часу не легче. Дернул же черт связаться с этой девчонкой и из-за ее козы спуститься сюда!

Рустем напряженно вглядывался в густую листву и со страхом думал, что сейчас и в самом деле увидит призрак, вот сейчас появится нечто бесформенное, белое, с размотавшейся зеленой чалмой.

Впереди и правда что-то снова мелькнуло. Рустем чуть не присел от страха. Хорошо, что заметил, что это сорока вспорхнула с куста боярышника, сильно качнув зеленую ветку.

— Фу ты, — вздохнул он с облегчением и почувствовал, как взмокла спина.

Они пересекли балку поперек и пошли вдоль каменистого ската, испещренного глубокими трещинами, из которых проросли кусты и чахлые деревца.

— Кеже! Кеже! — звали они.

Весь склон был завален грудями обвалившихся глыб. Среди них росли дикие груши, мушмолла. Позади камней в почти отвесном обрыве Рустем заметил несколько раселин. Они были выше человеческого роста и шага в два-три шириной. «Если на свете существует аждага, то он живет в одном из этих гротов», — подумал Рустем.

Пока Рустем вертел головой, обшаривая взглядом склоны, Алие внимательно всматривалась в кусты. Она первая и заметила свою непутевую козу, которая, поднявшись на задние ноги, дотягивалась до нижних ветвей дикой груши и лакомилась еще зелеными горьковатыми плодами.

— Кеже-е! — радостно закричала Алие, бросилась к козе, обняла ее за шею и принялась целовать в морду. — А я думала, тебя аждага съел, идем скорее отсюда!

Рустем схватил козу за веревку, и они стали быстро карабкаться вверх, спеша покинуть эту злосчастную балку, пользующуюся у ташлыкцев дурной славой. А козе, видно, тут понравилось, она не хотела уходить, упиралась. Алие отломил прутик и стала подгонять ее сзади.

Вечером сидели втроем на кухне. Посередке квадратного накрытого клеенкой стола горела керосиновая лампа. Ее неяркого желтоватого света хватало всем. Бабушка, надев очки, латала деду брюки. Когда она, протягивая нитку, отводила в сторону руку с иглой, на ее безымянном пальце сверкал перстень. Рустем, навалясь на край стола грудью, рисовал. А дед читал газету. Один глаз у него совсем не видел, но он никогда не пользовался очками, хотя постоянно носил их в нагрудном кармане. Время от времени дед говорил о том, что сообщается в газете, или прочитывал некоторые строчки вслух: Он и бабушка и прежде довольно часто говорили о политике. В прошлом году у них с языка не сходили Абиссиния, Испания, они кляли каких-то Франко, Муссолини, будто те могли услышать. Рустем никогда не вдавался в смысл этих разговоров. Вот если дед и бабушка начи-

нали вспоминать свою молодость, какие-то случаи из своей жизни, тогда другое дело, тогда разговор становился ох каким интересным. И Рустем буквально засыпал их вопросами.

А сейчас в газете что-то писали про Польшу. Кто-то захватил эту страну, а теперь сгоняет самых хороших людей в какие-то лагеря. Рустем слушал вполуха, не вмешиваясь в разговор. Рисовал себе — и все. Но чувствовал, что в мире происходят какие-то важные события. И у него даже ёкнуло разок сердце, когда бабушка, вздохнув, проговорила: «Хоть бы наша Земине благополучно съездила и вернулась...»

Рустем не заметил, как начал клевать носом, и почти не почувствовал, когда дед подошел к нему. Он легко поднял его на руки и отнес в комнату.

Утром Рустем выпил кружку свежих сливок, еще теплых, прямо из-под сепаратора, съел кусок мягкого, с хрустящей корочкой, хлеба и убежал из дому. Вот уже которое утро он завтракал так, и ничего другого ему не хотелось.

На востоке заря разлилась по небу яркими потоками, оторочила алой каймой далекую гряду гор.

Рустем направился прямо в степь по еле заметной тропинке, что вела к соленому лиману, с которого доносился переливчатый хор лягушек. И пока он шел, заря погасла. Горы сделались голубоватыми, словно растворились в воздухе, и казались прозрачными.

За садами, за баштанами, за огородами возвышалось тепе<sup>1</sup>. Высокое, обдуваемое вольным степным ветром. На покотай макушке его прижилась только низкорослая трава с цепкими корнями. Зато у подножья буйно разросся татран<sup>2</sup>, сочный, ломаемый с хрустом и сладкий, как спелое яблоко.

Уже несколько дней жил Рустем в этой деревне и почти каждое утро видел на тепе чью-то фигуру. Одинокий человек подолгу стоял неподвижно, опершись на длинную палку. Иногда он садился, и белеющее на верхушке тепе пятно легко можно было принять за камень.

— Кто это? — спросил однажды Рустем у деда, когда они вместе вышли из дому.

— Саид, сын Усеина-чабана, — сказал дед, но по взгляду внука понял, что произнесенное имя ничего ему не разъяснило, и добавил: — Минувшей зимой умер его отец. Саид вместо него нанялся на лето в чабаны, пасет колхозную отару.

И сейчас тоже Рустем увидел на тепе неподвижную фигуру. Он пересек сад, затем, лавируя между чьими-то огородами и баштанами, пробежал по межам, выскочил в поле и, путаясь в высокой траве и распутивая кузнечиков, вскарабкался по крутому откосу на тепе и, достигнув самой верхотуры, замер, с трудом переводя дыхание. Он чуть не задохнулся от восторга, такая перед ним открылась панорама. Зеленый бархат степи был словно расшит разноцветными шелками и напоминал невиданной красоты ковер. Вон лиловые узоры из васильков, тюльпанов, ирисов, которыми так славятся крымские просторы, а чуть в стороне алеют разводы из маков и лилий, и повсюду, куда ни глянь, одуванчики и «львиный зев». Воздух напоен их теплым пьянящим ароматом.

На склоне тепе Рустем увидел обтянутую белой рубахой широкую спину, похожую на треугольник, воткнутый острием в землю. Чабан сидел неподвижно, обхватив колени. А разбросанные по степи белые, серые и черные валуны оказались овцами, неспешно бродившими и пощипывавшими траву. Время от времени снизу взлетал на холм звяк колокольца, подвешенного на шее жоака-козла. Рустем приблизился к чабану, нарочно шурща травой, чтобы привлечь к себе внимание. Тот обернулся. На его смуглом обветренном лице мелькнула радость и тут же сменилась недоумением — будто он кого-то ждал, а явился другой. Несколько мгновений изучающе рассматривал он незнакомого ему паренька, щуря от солнца вни-

<sup>1</sup>. Тепе — небольшая гора, холм, курган.

<sup>2</sup>. Татран — съедобная трава.

матерные серые глаза. Не проронив ни слова, отвернулся и снова стал глядеть в степь. Это был плотный юноша с большими коричневыми от загара руками.

Рустем опустился рядом с ним на траву и сказал:

— А я тебя знаю. Ты Саид!

Чабан, слегка откинув назад голову, посмотрел на него, как бы говоря: «Откуда ты такой выискался?» — но произнес совсем другое:

— А ты внук нашей учительницы?

Саид окинул Рустема оценивающим взглядом, и Рустем почему-то почувствовал себя неловко в своих коротеньких штанишках с ляжками, перекинутыми через плечи.

— Из города? — поинтересовался Саид, хотя и знал об этом. Просто так, чтобы завязать разговор.

— Ага, — кивнул Рустем. И вздохнул. — Мой папа служит на границе. Мама привезла меня на лето к бабушке, а сама уехала к нему.

— А мой отец умер, — тихо проговорил Саид и опустил подбородок на колени, обхватив их руками. Помолчал.

Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, Рустем сказал:

— Здесь так здорово. Полмира видно.

— Нравится? Ну так приходи, вместе будем пасти.

— Приду, — пообещал Рустем.

Несколько минут они слушали, как заливается в вышине жаворонок. Он неожиданно оборвал песню, словно обидевшись на кузнечиков, заполнивших степь своим стрекотанием. С верхотуры тепе просматривались необозримые пшеничные поля, ждущие жатвы, огороды с ярким пламенем цветущих подсолнухов, зеленой стеной кукурузы, кочаны которой уже налились, должно быть, сладковатым молоком — в самый раз жарить на угольях костра, насадив на конец палки и поворачивая, чтобы каждое зернышко подрумянилось. За огородами — баштаны. Лежат там, вжатые в землю, подставляя солнцу бока, огромные дыни, арбузы, кабачки, которые под силу обхватить да поднять только взрослому человеку. Часто туда совершает набег деревенская ребятня во главе с Азамом-Невидимкой.

Местные мальчишки обычно с утра убегают из дому, и до самого вечера родители не могут их дозваться: переживают, что у ребят весь день во рту маковой росинки не было. А до обеда ли им, сорванцам, если они без передыху уплетают то сочную молодую морковку, выдернув ее из грядки и на ходу обтерев о траву, то едва проросшие из земли лук, чеснок, редиску, то всякую траву, что растет в степи, которую только они и знают, только они и умеют отличать от несъедобной. А к концу лета наливаются соком и фрукты.

— Мальчишки в степь ушли. Зайцев ловить. Что же ты не пошел с ними? — спросил Саид.

Рустем пожал плечами. Не хотелось ему говорить, что местные мальчишки почему-то чуждаются его. Может, им не нравится то, что на нем всегда чистая, аккуратно выглаженная одежда, а на ногах — сандалии, в то время как они бегают босоножими, в латаных штанишках? Рубашки они надевают лишь затем, чтобы пихать за пазуху побольше фруктов и овощей. А может, держатся от него в стороне потому, что он — внук учительницы: вдруг их проказы станут ей известны!

— Не позвали, что ли? — допытывался Саид.

— Ну их... — проговорил Рустем, пряча глаза. — Я лучше буду с тобой овец пасти.

— А ты приглашений не жди, — назидательным тоном поучал Саид. — Вот пошел бы да и загнал косога в лиман. Они бы тебя и зауважали.

— Как это... в лиман? — не понял Рустем.

— Не знаешь? Как увидят зайца, так и гонят его, улюлюкая и хлопая в ладоши, в сторону лимана. Косой с перепугу ничего перед собой не видит — бултых в воду! Тут его надо успеть схватить, пока не утонул.

Рустем, поразмыслив, признался:

— Жа-алко...

— Вон ты какой, — промолвил Саид и еще раз оглядел его.

В этот момент на колено Саида сел крупный оранжевый мотылек, он то складывал, то расправлял крылышки. Саид так и замер с занесенной вверх палкой.

— Глянь, красота какая, — шепнул он, боясь спугнуть мотылька.

Однако тот вспорхнул, замелькал над цветами, но садиться раздумал и полетел ввысь.

На степь упала тень. Солнце спряталось за огромную темную тучу. Туча подкралась откуда-то сзади, поэтому они и не заметили ее. Она затайливо меняла свои очертания, превращаясь то в черную пантеру, то в летящего дракона, и постепенно застилала все небо. Со стороны лиманов прилетел влажный ветер. И по траве зашуршали редкие крупные капли. Рустем подумал, что теперь они наверняка промокнут, и ему захотелось домой. Но сейчас как раз он и не мог уйти: Саид подумал бы, что он струсил, испугался грозы.

А Саид хлопнул Рустема по плечу и как ни в чем не бывало сказал:

— Хочешь, покажу тебе что-то?

— Ага.

— Ступай за мной. Только тихо. На той стороне — лисья нора. Если нам повезет, то, может, увидим, как возле норы забавляются лисята.

Рустем ступал на цыпочках, следуя примеру Саида, и держался за ним шагах в двух-трех. Они обогнули курган. Саид пригнулся. Заметив, что и Рустем сделал то же самое, он дружески подмигнул ему. Они опустились на четвереньки и поползли, осторожно раздвигая высокую траву, стараясь не шуметь. И вдруг с другой стороны холма — чего никак не могли ожидать ни Саид, ни Рустем — послышались ребячьи голоса. Саид вскочил и, перехватив посередине посох, кинулся вперед.

Двое малышей, стоя на коленях и о чем-то громко споря и отталкивая друг друга, заглядывали в довольно широкую нору, которую непросто было заметить из-за разросшихся кустов шиповника. Колючие ветки встопорщенного над норой куста изгибались, свисали вниз, стлались по земле и прятали темное продолговатое отверстие от посторонних глаз.

— Что вы тут делаете? — грозно спросил Саид.

Мальчишки вздрогнули, вскочили на ноги.

— Ну-у? — вплотную подступил к ним Саид.

— Тебе-то что? — с вызовом огрызнулся один, тот, что был повыше и, видимо, постарше.

— Чтоб никому ни слова про лисят, поняли? — наступал Саид. — Не быть мне сыном своего отца, если не заставлю вас жрать землю!

В этот момент из норы послышалось шуршанье, будто в ней кто-то пюзом гладил землю. Саид кинулся на траву и, припав к земле, заглянул в нору.

— Эй, ты, вылезай! — крикнул он вне себя от возмущения. — Кому говорят!

Рустем улыбнулся: неужели Саид к лисятам так обращается? Неужто они ручные? Однажды отец и мать водили его в цирк. Так дрессировщик в точности так командовал маленькими лохматыми собачками.

— А вдруг их там много и они искусают его? — с беспокойством проговорил один из малышей, тоже пытаясь заглянуть в нору.

— Дурак, они же боятся людей! Не видел, как удирала? — сказал старший.

— Нас же трое было, а она одна. А теперь Невидимка там один, а их, может, много, — резонно заметил младший.

— Эй, Невидимка! Не тронь лисят! Вылезай! — крикнул Саид, засунув голову в нору почти до плеч, и его голос выплеснулся обратно, как из бочки.

Саид попятился и присел на коленях.

Из норы показались чьи-то грязные пятки.

— Скорее! — поторапливал Саид. — Я тебе покажу, как лисят обижать!

Но ступни вдруг опять исчезли в норе.

— Ну, что ты там копаешься? Ладно, не трону! Вылазь побыстрее!

Ступни снова показались из норы, и оттуда еле слышно донеслось:

— Не мо-огу-у...

— Застрял, что ли?

— Да-а-а...

Саид в сердцах схватил Азама за щиколотки и потянул на себя. Куст шиповника над норой тревожно зашелестел, и солидный пласт земли колыхнулся и с глухим хрустом осел.

«А-а-а...» — раздалось из норы, и над ней появилась трещина, по обе стороны ее торчали белые рваные корни трав.

— У-ух-х! — вскрикнули малыши разом и отпрянули.

— А-а-а! — голосил в норе незадачливый охотник и сучил ногами.

— Не шевелись! — приказал ему Саид. — А то обвалится и придавит!

Однако, не зная что делать, он растерянно оглянулся на ребят.

— Бегите за лопатами! Мигом!

Мальчишки сорвались с места и очертя голову помчались к деревне.

Торчащие из норы ступни опять задергались. Куст шиповника снова встрепелся, задрожал.

— Не шевелись, кому говорят! — крикнул Саид и придавил ноги Азама-Невидимки к земле. — Потерпи. Сейчас откапаем.

Но ступни продолжали дергаться, жалобные всхлипывания и подвывания из норы доносились все тише и тише.

— Он же задыхается... — испуганно прошептал Рустем. — Давай вместе тащить!

— Не видишь разве? Едва тронешь — все обвалится.

Рустему вспомнилось, как на уроке физики старый учитель показывал им «фокус». Перед тем как начать рассказывать о «трении», он потребовал от своих учеников следить за его действиями повнимательнее, и из-под стопки книг медленно потянул тетрадку. Вся стопка поползла и чуть не грохнулась со стола, это вызвало у ребят неопишуемый восторг. «А теперь — внимание!» — произнес учитель и молниеносным движением выдернул тетрадку. Стопка осталась на месте, как и стояла.

— Надо вдвоем... И быстро... А то задохнется, — проговорил Рустем севшим от волнения голосом.

— Я же пробовал...

— Не так. А сразу.

Саид мгновение колебался. Задумавшись, потер подбородок и согласился:

— Давай.

Они ухватились — один за правую ногу, другой за левую. Для верности Саид уперся ногой в край норы и начал считать:

— Раз, два, три-и!

Они изо всех сил дернули и опрокинулись навзничь. Прямо на Рустема, больно саданув его пяткой в щеку, упал чумазый с ног до головы Азам-Невидимка. А глыба с кустом шиповника вздохнула и осела, завалив нору.

Чувствовалось, что у Саида так и чесались кулаки от желания наподождать этому сорванцу. Он взял его за плечо и сильно потряс.

— Эй!

Мальчишка медленно, с трудом разомкнул веки, устремил куда-то в небо мутный взгляд. Смотрел, смотрел и опять закрыл глаза. На левой щеке у него была ссадина.

— Может, сделать ему искусственное дыхание? — глянул на Саида Рустем.

— Умеешь? Так что же тогда медлишь?

Рустем поудобнее пристроился возле распостертого Невидимки, отвел его руки в стороны, потом сложил и плотно прижал к груди. Опять развел и снова сложил. Помнится, когда Рустем приехал в Ташлык в первый раз, он однажды хотел пойти вместе с мальчишками на пустырь, чтобы

погонять тряпичный мяч. Но Азам исподтишка показал ему кулак, дескать, не увязывайся за нами, если не хочешь заработать тумачков... Азам был одних лет с Рустемом, но на целую голову выше. Тоже мне, Невидимка...

Руки в стороны — руки к груди... В стороны — к груди...

— Эй, ты! — затормошил Невидимку Саид. — Не вздумай концы отдавать. Я еще должен рассчитаться с тобой, чертов охотник!

В стороны — к груди... В стороны — к груди...

Рустему сделалось жарко. Хоть бы дождик полил.

В стороны — к груди...

Невидимка слабо дернул руками — раз, другой, словно пытаясь вырвать их, — и вдруг сел.

— Ты что? — спросил он. — Что я тебе, кукла, что ли!.. — Лицо его сморщилось, и он оглушительно чихнул.

— Я... я... — забормотал Рустем, часто моргая, и перевёл растерянный взгляд на Саида.

Саид с размаху прилепнул к ссадине Азама-Невидимки лист подождника, и тот машинально схватился за щеку.

— Вот так, держи покрепче, — сказал Саид. — До свадьбы заживет.

— Ты чего дерешься-а? — возмутился Невидимка.

— А ты зачем за листьями полез? — Саид дернул его за крючковатый нос; однако злость его уступила место радости, что мальчишка очухался, и он не мог скрыть улыбки.

— Тебе-то что-о? Они твои, что-о ли? — огрызнулся Невидимка и принялся стряхивать с волос и с ушей землю.

— Из-за тебя зверюшки погибли! Вот что стало с их норой!

— Ничего не погибли. Там нет никаких зверюшек!

— Куда же они подевались?

— Сбежали. Там огромный грот.

— Какой еще грот?

— Говорю же — огромный.

Снова по траве зашуршал дождь. К Саиду, бренькая колокольцем, подошел козел-вожак и ткнулся лбом в его колени, как бы желая напомнить, что отаре не мешает поспешить в укрытие. Саид почесал его за ухом и оттолкнул: «Ступай, ступай! Летний дождь — желанный гость. Не раскиснете».

Однако овцы перестали пастись. Они сбились в кучу и блеяли, словно почували беду.

Из-за холма выскочил один из убежавших в деревню мальчишек. Он швырнул на землю лопату и, с трудом переводя дыхание, крикнул:

— Война! Война началась!

— Ты что, белены объелся? — спросил Саид.

И, заглушая его голос, в ответ пророкотал гром. Полыхнула молния, озарив все вокруг ядовито-зеленым светом. Тучи плыли, клубясь, с запада на восток, становились все гуще, чернее. Рустем смотрел сквозь сетку дождя вдаль, на клонимую ветром пшеницу, и думал, что погода, видимо, испортилась надолго, сквозь эти тучи солнце прорежется не скоро.

Невидимка поднялся на ноги. Грязь на нем размыла струи дождя, на него смешно было смотреть. Он взглянул на дружка, и они, как по команде, сорвались с места и бросились к деревне.

Рустем промок до нитки и, ежась, гладил себя по плечам.

— Вот так, брат, здесь и укрыться негде, — сказал Саид и подобрал лопату. — Я тут с овцами. Мне нельзя их бросать. А ты беги домой. Чего тебе зря мокнуть...

— Н-ет-ет, — сказал Рустем, постукивая зубами. — Я останусь с тобой.

— Какая еще война? Выдумают такое... — проговорил Саид, посмеиваясь.

Но в его глазах Рустем заметил тревогу.

Они забрались под куст шиповника, плотно прижались друг к другу и накрылись парусиновым плащом, просторным, как палатка, и пыльным. Саид помнил советы отца, который в любую погоду — и пасмурную, и ясную — брал с собой на пастбище этот плащ. По листьям шиповника, склонившегося над ними широким навесом, шуршал дождь, то затихая, то припуская с новой силой. На плащ падала сверху капля, другая. Им было под ним уютно, тепло. Позади возвышалось тепе, заслоняло их от ветра.

Овцы стояли, замерев, прижавшись друг к дружке, пережидали непогоду.

Чтобы скоротать время, Саид рассказывал о себе, о своей жизни. Он был лет на пять-шесть старше Рустема, но сразу проникся к нему доверием, разговаривал с ним, как равный с равным. После того как умер его отец, он остался у матери единственным помощником. Руки у него были сильные, ловкие, и он справлялся с любой работой. Во время сенокоса брал в руки косу и вместе со всеми отправлялся в степь, запасал корма для колхозных коров и овец. А во время жатвы скирдовал пшеницу, молотил, грузил на подводы тяжелые мешки. Он умел взбивать масло, доить овец, коров. И все же всем прочим занятиям Саид, конечно, предпочитал пасти овец. Здесь все ясно и просто. Куда проще, чем в дни учебы, когда надо думать о химии да тригонометрии. Овцы пасутся, а он часами лежит в траве и смотрит, как медленно разворачивает свои лепестки, расцветая, цветок, как пробивает корку земли молодая травка, или наблюдает за жизнью муравьев. При этом он словно бы сам становился и цветком, и травой, и муравьем. Он любил эту землю, от корней трав до макушек деревьев, от песчаной кромки морского берега до болотистых Сивашей.

По весне раньше всех своих сверстников Саид узнавал, где зацвели степные тюльпаны. Он с трудом высиживал в классе до конца уроков, испытывая непреодолимое беспокойство, будто его цветы мог сорвать кто-то другой, и как только звенел последний звонок, он прямо из школы пускался где бегом, где шагом, в одну из своих дальних прогулок в степь, куда большинство парней и девочек и не помышляли добираться. Возвращался, лишь дождавшись темноты, чтобы никто его не видел, и приносил охапки ярко-алых цветов семикласснице Найле.

Он знал наперечет, где среди высокой травы свили себе гнезда жаворонки, где опускаются на ночлег летящие с юга журавли. Он любил сидеть на верхушке тепе, потому что его видела издалека Найле, и если ей удавалось улучшить минутку-другую, она прибегала к нему, и они сидели вдвоем под этим кустом шиповника. Он рассказывал ей, как случайно ему удалось подсмотреть ритуальные танцы журавлей, как кормят своих птенцов жаворонки, с каким нетерпением ожидают лисята возвращения матери с охоты. Что и говорить, любил Саид в степи пасти овец.

За разговором они не сразу заметили, что дождь перестал и в облаках появились просветы, похожие на синие озера. Тучи начали таять, не достигнув восточного края горизонта, и в той стороне, низко над землей, разматывалась золотая лента, становясь все шире, ярче. Сначала в полосу ее света попали макушки деревьев, черепичные крыши домов, видневшихся в отдалении. И вот вспыхнули и словно начали плавиться большие окна школы, которая была к степи ближе всех остальных домов, на самом краю деревни. Теперь теплый золотистый свет заскользил по мокрой степи, вновь окрашивая все в сочные цвета. И было отчетливо видно, как убегает от нее тьма.

Овцы снова разбрелись в разные стороны и стали пощипывать траву.

Рустем сидел, обхватив руками голые колени. Ему вдруг показалось, что его кто-то позвал. Саид отвернул край плаща и из-под куста посмотрел по сторонам. Быстро вставая, он сказал:

— Мы здесь, оджа<sup>1</sup>. Не беспокойтесь.

<sup>1</sup> Оджа — учитель, учительница.

Рустем тоже выбрался из-под куста и увидел бабушку. Промокшее светлое платье на ней было освещено лучами заходящего солнца, и вся она казалась оранжевой. Из-под косынки, концы которой бабушка обычно завязывала на затылке, свисали мокрые пряди волос. Она поправила их на ходу, а они опять падали ей на лицо. Увидев внука, она остановилась, с облегчением вздохнула и погрозила ему пальцем. А когда Рустем подошел к ней, виновато потупя голову, она порывисто обняла его и прижала к себе.

— Всю деревню обежала. С ног сбилась. Хорошо, мальчишки сказали, что ты здесь.

— Это — мой друг, — с гордостью сказал Рустем и обернулся к Саиду. Ему давно хотелось иметь друга — такого веселого и мужественного, как Саид, постарше, чем он сам.

— Здравствуйте, оджа, — поздоровался Саид. — Мы с вашим внуком не сучали.

— Я рада, что вы подружились. Только в такую погоду лучше бы вы сидели дома, — сказала Зера-оджа.

— Тут мальчишки трепались, будто война началась. Это же неправда, оджа?

— Правда, Саид, правда. Фашисты напали на нас. Сообщили по радио.

Держа внука за руку, бабушка зашагала к деревне прямо через поле. Мокрые стебли травы, словно хлыстом, стегали Рустема по голым коленям. В сандалиях у него хлюпала вода. Но он не замечал этого и на ходу возбужденно рассказывал бабушке, какая беда приключилась с Азамом-Невидимкой, как они с Саидом едва привели его в чувство. Бабушка слушала рассеянно — мысли ее были заняты другим, а потом вдруг перепугалась, что ее ученик, по сути, чуть не погиб, рассердилась:

— Ну, что за озорник этот мальчишка! Прямо сладу с ним никак-го! Везде он успевает набедокурить. С родителями пробовала говорить, но и те не могут с ним справиться. А ведь отец у него крут, лупит вожжами.

Рустем подумал: «Может, поэтому Невидимка ненавидит меня? Если бабушка пожаловалась его отцу, а он потом выдрал сына...»

— Узнала я, что отец его чуть до полусмерти не избил, пожалела, что ходила к ним. Сама решила с Азамом заниматься. Но ведь и уроков, сорванец, как следует не учит.

Дома печь была натоплена. Бабушка велела Рустему раздеться, развесила его одежду сушиться. Вид у нее был очень строгий, он не привык к этому. Решил, что она на него в обиде, поэтому не хочет с ним разговаривать. Взял ее за руку:

— Извини, картанам<sup>1</sup>, я виноват...

— Да что ты, — сказала бабушка и погладила его по голове.

— Бабушка, а как же теперь мама?

Не ответив, бабушка легонько подтолкнула его к столу.

— Садись, будем ужинать.

Рустем сел. А перед глазами стояла мама. Оказывается, в его памяти до мельчайших подробностей запечатлелись каждая ее черточка, выражение лица, каждый ее жест. Вот она накрывает стол свежей скатертью перед тем, как они сядут ужинать. Вот гладит белье большим чугунным утюгом, вот садится с ним рядом, подперев щеку, за стол, чтобы помочь ему справиться с задачей.

Бабушка поставила на стол полную сковородку жареной картошки и кувшин кислого молока. Рустем заметил, что глаза у нее покраснели и полны слез. Но она быстро вытерла глаза кончиками пальцев и, взглянув на него, заставила себя улыбнуться.

— Ешь на здоровье. Целый день не был дома, проголодался.

— Давай подождем картбаба<sup>2</sup>. Может, сбегать за ним в кузницу?

<sup>1</sup> Картана — бабушка, картанам — моя бабушка.

<sup>2</sup> Картбаба — дедушка.

— Он не в кузнице. Кузницу картбаба запер. И сам он, и его подручный еще утром ушли в военкомат.

— Если дедушка пойдет на войну, он всыплет как следует этим фашистам, — сказал Рустем и налил себе кислого молока в фарфоровую белую кружку. — Только жаль, что война далеко, а то бы я тоже с ним пошел.

— Нет, родной мой, — сказала бабушка, и голос ее задрожал: — Она, проклятая, считай, уже в нашем доме. Ведь родители-то твои там, на границе. Хотела им телеграмму послать — не принимают.

И Рустем сразу вдруг осознал всю тяжесть свалившегося на них горя. У него пропал аппетит. Он отодвинул от себя кружку и тарелку с картошкой...

Погода была пасмурная, в комнате быстро стемнело. Бабушка зажгла керосиновую лампу, убрала со стола и, надев очки, села штопать дедушкин носок.

— Можно, я посижу с тобой, подожду дедушку?

— Посиди.

— А ты мне рассказывай что-нибудь.

— Я тебе уже все рассказала, ничего больше не осталось.

— Расскажи, как ты дедушку в первый раз увидела.

Темные глаза бабушки, увеличенные стеклами очков, блеснули. Она грустно улыбнулась.

— Ты же об этом сто раз слышал.

— Все равно... Интересно...

Старожилы в Ташлыке еще и сейчас помнят, как дед Рустема с перевязанным глазом примчался в селение на взмыленном вороном коне. Потемневшие бока коня вздымались и опадали, он дышал с хрипом и косил на сбежавшихся людей злыми глазами. Впереди же Якуба Демирджи сидела женщина, такая маленькая и тщедушная, что люди поначалу и не поняли, что он перед собой держит — женщину ли, узелок ли, край которого развязался и, свисая с коня, треплется на ветру. А разглядев, стали гадать, зачем это он привез ее, такую. Слишком белолицей показалась она им, изнеженной белоручкой — одним словом, совсем не подходящей молодому кузнецу в жены.

Якуб долго возился, пока отпер проржавевший замок. Снял с коня измученную дорогой женщину и на руках внес в дом. Все сразу смекнули — жена. И, расходясь, стали сокрушаться: Якуб вон какой йигит — видный, сильный, где только не побывал, чего только не повидал, а жены себе с толком выбрать не сумел. В Ташлыке есть девчата куда пригожее — рослые, крепкие, любая работа горит в руках. А он нашел какую-то хрупкую, тонкую, как стебелек мака. Эх, Якуб, Якуб! Если девушка не в теле, не кровь с молоком, то какая из нее жена? И никто не мог догадаться, что у нее уже есть дочь тринадцати лет.

Бабушка Рустема была очень красивой. Очень. Рустем любит рассматривать старый альбом. Особенно подолгу смотрит он на бабушкины фотографии. Нежный овал лица, тонкий, кокетливо вздернутый носик, задорный росчерк черных бровей, сверкающий и немножко ироничный взгляд уверенной в себе женщины. Волнистые волосы аккуратно зачесаны назад, завиты на висках. В ушах маленькие сережки.

Рустем, конечно, не мог не видеть, как бабушка меняется, что теперь она совсем другая, чем на фотографии, и порой волна жалости захлестывала его. Да и дед теперь не тот, что был прежде. Но любили они друг друга нисколько не меньше, чем тогда. При внуке об этом никогда не говорили, но он не маленький, все подмечал и сам.

Рустем сидел, облокотясь о стол, и изо всех сил поддерживал голову, чтобы невзначай не клюнуть носом. Он слушал бабушку замерев, стараясь не пропустить ни одного слова из того, что рассказывала бабушка из своей жизни. У Рустема уже начали слипаться глаза, но он старался открыть их пошире, чтобы бабушка не догадалась, как ему хочется спать. И все-таки он, наверное, уснул. Иначе увидел бы разве свою бабушку молодой де-

вушкой, в длинном белом платье с кружевами, с красивой прической и мерцающими в ней заколками? И дедушку увидел — молодого стройного йигита с орлиным взглядом и приветливой улыбкой.

Со двора послышалось громыханье подъехавшей телеги. Бабушка отложила шитье, сняла с усталых глаз очки. Машинально пригладила слегка тронутые сединой волосы, разделенные посередине пробором, и поправила косынку. И Рустем понял: дедушка приехал. Ну и засиделись они с бабушкой. Ходики на стене показывали двенадцать. Бабушка успела за беседой и дедовы брюки залатать, и наметать белыми нитками скроенную ему еще вчера байковую рубашку к зиме. Она глянула на внука и сразу поняла, что тот едва сидит. Ласково сказала:

— Идем, шайним<sup>1</sup>, уложу-ка я тебя.

... Рустему ночью приснилось задымленное черное небо. И летали по нему черные голуби — целая стая! — ухватив клювами за края огромную развеваящуюся простыню. А потом вдруг оказалось, что не простыня это вовсе, а жаркий клочок пламени. И металась с ним, с этим пламенем, черные голуби по черному небу, роняли клочья огня повсюду — на жнивье, на дома. Полыхнул, как свеча, минарет, загорелась мечеть. И душно сделалось от дыма, нечем стало дышать. Саднило в груди, и Рустем закашлялся. Долго кашлял. И проснулся.

Оказывается, начало светать. На краю его постели сидел дедушка, положив ладонь ему на лоб. Рустем схватил его руку, пахнущую железом, прижал к щеке. Во рту было сухо, он с трудом произнес:

— Дедушка, мне приснилась война! — И закашлялся.

— Если бы это обернулось сном...

Рустем потянул его за руку, пытаясь встать, но все поплыло перед глазами, и он снова упал на подушку.

— Лежи. У тебя жар. Сейчас бабушка принесет чаю с малиновым вареньем. — Голос деда доносился приглушенно, словно издалека.

— Дедушка, а ты не уехал на войну? Фашисты бы тебя сразу испугались...

— Я просился, сынок, хотел им всыпать. Но мне сказали, что староват я для такой драки. Да и оптика такая нынче непригодна, — дед постучал указательным пальцем по правому виску возле глаза и задумался, уставясь в одну точку. Когда он слышал это слово «война», в его сознании возникали, вызывая почти физическую боль, бои 1914 года — остервенение рукопашных схваток, искаженные яростью и болью лица, снежные поля, усеянные коченеющими трупами.

Голова у Рустема распухла, будто ее накачали велосипедным насосом. Такое ощущение было у него, помнится, когда он набирал полные уши воды, ныряя без конца в море. Он представил себе огромный мокрый камень на берегу залива. На камень этот, то и дело оскальзываясь, карабкались мальчишки и сталкивали с него друг друга, с визгом, смехом летели вниз — кто вверх тормашками, кто пузом, кто обхватив руками поджатые ноги. Серебристые брызги так и разлетались в воздухе. Рустему показалось, что он нырнул и никак не может вынырнуть: задыхается.

— Дедушка-а!..

Рустем приоткрыл глаза, возле него не дед, а бабушка. И бабушка, и все предметы в комнате расплывались. Веки были горячие, тяжелые, требовалось усилие, чтобы они не смыкались. Бабушка присела рядышком, приподняла и, придерживая за плечи, напоила кисло-сладким чаем. Потом растерла ему спину, грудь скипидаром и, плотно укутав, чтобы пропотел, пошла за врачом.

То ли уснул Рустем, то ли забылся. Почувствовав, что кто-то мягко держит его за запястье, снова открыл глаза. А перед ним незнакомый мужчина. Наклонился, смотрит. Седоватая борода клинышком, за очками

<sup>1</sup> Шайним — сокол мой.

большие прозрачно-светлые глаза. Улыбнулся, и лучики морщин разбежались от уголков глаз. Лицо доброе.

— Что болит, йигит?

Рустем покачал головой.

— Не болит... Только вот здесь... — Он положил на грудь ладонь. Там жгло, а дыханье из горла вырывалось горячее, как из кузнечного горна.

— Он вчера промок под дождем. Промерз, наверное, — сказала бабушка, стоявшая за спиной у доктора.

Бабушка подала ему табуретку, и он сел. Затем помог Рустему подняться и, задрав ему рубашку, стал выслушивать деревянной трубочкой, прикладывая ее к груди, спине.

Да это же Эрнест Алексеевич. Как он сразу его не узнал?

Когда дедушка привез бабушку в Ташлык, она тут умирала от скуки. В то время тут никакой школы и в помине не было. И особого хозяйства дед не имел, чтобы она хоть чем-то могла себя занять. Пара овец в поле. Корова в стаде. Утром и вечером подоишь — и весь день свободна. Забегала, правда, кто-нибудь из местных словоохотливых женщин лясы поточить, но ведь одно и то же, одно и то же...

А однажды заболел муж. Поистине, нет худа без добра. Помчалась она в соседнее селение, где жил, как она слышала, русский доктор. Отыскала его дом, постучала. Каково же было ее удивление, когда на стук вышла Верочка, подружка, с которой училась вместе в гимназии. А доктор, Эрнест Алексеевич, оказался мужем Верочки. Его-то как раз дома не было. Верочка упросила Зеру посидеть, пока муж вернется. Он вот-вот придет, с минуты на минуту. Захлопотала, запорхала по дому, не зная, где усадить подружку, чем угостить. А Зеру ничто не тешило, все мысли ее были дома, рядом с больным Якубом. Она односложно отвечала на вопросы подруги, нетерпеливо поглядывала в окно: не покажется ли, наконец, доктор? Её внимание привлекли стеллажи по обеим сторонам двери. На них плотно стояли книги. Толстые, тонкие. Золотые узоры, некогда украшавшие их корешки, уже потускнели. Старые книги. На русском, французском, немецком языках. В шкафу за стеклянной дверцей пожелтевшие от ветхости фолианты по медицине, фитотерапии. Шекспир, Достоевский. Вот бы почитать. А дадут ли?

Зера выпила чашку кофе, которую подруга подала ей по обычаю местных татар, и поднялась. Ожидать больше не было мочи. Верочка поняла ее, не обиделась, заверила, что немедленно придет мужа, как только он зайвится, но взяла с Зеры слово, что та снова придет, обязательно навестит их.

Уходя, Зера все-таки решилась и, обернувшись, спросила с порога не могла бы подруга дать ей что-нибудь почитать. «Ради бога! Ну конечно! Книжки для того и существуют. Выбирай, милая, сама, что хочешь!»

Зера в замешательстве стояла перед стеллажами, лихорадочно перебирая глазами корешки книг, с упоением вдыхая их околдовывающий запах, вспоминая свою собственную библиотеку. В первый раз, конечно же, всегда есть, что выбрать. Она осторожно взяла с полки «Путешествие по Крыму» Евгения Маркова и «Поэмы» Пушкина, по которым — перечитав их несчетное количество раз — тоскуешь вновь и вновь. Так по прошествии какого-то времени жаждешь опять услышать любимую симфонию.

С того дня, живя в Ташлыке, Зера спасалась от скуки чтением. Иного по субботам их навещали Эрнест Алексеевич с женой Верочкой. За разговорами не замечали, как бежит время, засиживались допоздна. Посиделки обычно заканчивались тем, что бабушка играла им что-нибудь на пианино.

Садясь за инструмент, Зера-оджа всякий раз вспоминала один из самых светлых дней своей жизни, когда муж невесть где раздобыл для нее пианино.

Как-то под вечер, когда сумерки еще только начали сгущаться, Зера, засветив лампу, села проверять ученические тетради. Напротив их двери остановилась подвода. Она поначалу не придавала этому значения — муж

нередко привозил то несколько мешков зерна, то тыквы с огорода, то арбузы — но, услышав в прихожей странную возню, выглянула из комнаты. Четверо дюжих йигитов и Якуб протискивали в узкую дверь прихожей пианино. Пианино! Самое настоящее! Она как стояла в дверях, так и замерла, сомкнув у подбородка пальцы, не веря глазам, от радости и растерянности не в силах произнести и слова.

Наконец пианино внесли в комнату и поставили на том месте, где оно стоит и сейчас. Зера сразу бросилась играть и, случайно обернувшись, увидела на лице мужа тихую счастливую улыбку, какую не часто можно было увидеть.

Эрнест Алексеевич нашел у Рустема воспаление легких. Прописал банки, какие-то микстуры, порошки и, в шуточной форме сделав бабушке выговор за то, что они с дедушкой их, своих старых друзей, давно не навещали, откланялся.

Долго провалялся Рустем в постели, даже счет дням потерял. По свежему степному воздуху соскучился, по яркому солнцу, по запаху трав, по птичьим голосам. И, конечно, по маме. Когда в комнате никого, кроме него, не было, он часто думал о ней: «Что же она так долго не едет? Ведь отпуск ее давно кончился. Хоть бы письмо прислала!» И дед с бабушкой стали молчаливы, в глазах тревога, улыбаются так редко. Тоже, наверное, гадают, почему дочь не возвращается. Беспокоятся. Хоть и скрывают от него тревогу свою. Рустем иногда не выдерживает, спрашивает то у бабушки, то у дедушки об одном и том же: «Ну, когда же мама приедет?» «Приедет, шаиним, приедет», — отвечает бабушка, а сама глаза в сторону отводит. А дед вздохнет только, по плечу его погладит и идет из комнаты, ничего не ответив. И у Рустема краснеют глаза.

Под вечер пришел Саид. Будто знал, что более всего Рустему хочется поесть, — принес овечьей брынзы. Бабушка увидела, как внук уплетает за обе щеки брынзу, обрадовалась, вышла из комнаты, оставив их вдвоем. Ведь во все время болезни она кормила его насильно. А тут...

— Что же ты так? — упрекнул его Саид. — Чуть дождичком обдало, ты и раскис?

— Да, Саид. Выходит, слабачок я. Можешь презирать меня за это.

Саид, оказывается, приходил и раньше. Но у Рустема был жар, и бабушка его непустила. Еще и отчитала: дескать, это из-за него внук простудился.

Пока Рустем лакомился брынзой, Саид решил развлечь его разговорами.

— А мне пришлось самому... без тебя обследовать грот, — сказал он. — Помнишь — где лисята жили?

Рустем помнил. Хотя сейчас ему казалось, что все это было давным-давно, чуть ли не год назад.

— Нора какая-то...

— Нора? Ха! Если бы ты знал, что это за нора! Как только ты ушел, я лопатой проделал лаз. Протиснулся в него и посветил фонарем. Вижу — не соврал Невидимка. Чуть подальше, метрах в двух-трех, настоящий грот начинается. Верх сводчатый. А с него то ли паутина, то ли корни растений лохматыми космами свисают — точь-в-точь ведьмины лохмы. Фонарь, правда, еле светит. Фитиль выгорел, едва до керосина достает. И все же разглядел я: цепочка лисьих следов куда-то в темноту уводит. Значит, есть где-то еще один выход. Думаю, плутовка им воспользовалась как запасным. Выходит, не погибли лисята, убежали с матерью. Вылез я обратно и давай шевелить мозгами: «Может, это одно из скифских захоронений, которые все еще находят в нашей степи?» — думаю. Дня через два я узнал, что ты заболел. Зашел проведать. А Зера-оджа сказала, что ты спишь. Ну, я все ей и выложил: так, мол, и так, там, наверное, несметные богатства, сокровища какие-нибудь спрятаны, что делать? Задумалась твоя бабушка в говорит: «Ты пока о находке своей никому не говори. Если это

действительно гробница, то ее должны вскрыть специалисты, археологи. Давай мы с тобой письмо напишем в Симферополь, в исторический музей. А там знают, как поступить». Так мы с ней и сделали. Написали. Я взял письмо, чтобы отправить. Возвращаюсь домой, а самого сомнения одолевать стали: «Вдруг там нет никакого клада. Сколько мороки мы доставим ученым людям! Нет, сначала самому надо проверить». И такое меня вдруг любопытство разобрало, что просто никакого терпения нет ожидать, пока кто-то приедет. Да и приедут ли? Война ведь, людям не до раскопок. На следующий день я сменил в фонаре фитиль, налил керосину, взял лопату, обмотал на всякий случай вокруг пояса веревку и погнал свою отару опять к тепе. Трава там хорошая, овцы любят в тех местах пастись.

Огляделся — никого вокруг. Зажег фонарь, соскользнул на брюхе в грот, а тут и на ноги подняться можно. И пошел я по узкому проходу, прямо по следам лисьим иду, знаю, что они меня куда-нибудь выведут. Ведь знала дыжая, куда бежала. И все же на всякий случай через каждые пятнадцать-двадцать шагов на стенке пещеры черчу черенком лопаты стрелку. И хорошо, что додумался это делать, гляжу — то слева, то справа другие ходы зияют. Не дай бог заблудиться, ни в жизнь никто не отыщет. А проход то шире становится — и подпрыгнешь — потолка не достанешь, то сужается настолько, что на четвереньках пробираться приходится. И не знаю, сколько я там под землей пробыл: согнувшись в три погибели шел и проползал; наконец, чувствую, ветром повеяло. А через минуту-другую и свет увидел. Самый настоящий, дневной! Когда вылез, зажмурился и долго глаз открыть не мог — таким ярким мне показался солнечный свет. И где, ты думаешь, я оказался?

— Где?

— В нашем яру. В старой каменоломне. Километра полтора, если не больше, отмахал я под землей. Сейчас я рассказал об этом твоей бабушке. Она говорит, что вся наша деревня стоит на катакомбах. В древние времена тут добывали камень. Потом каменоломню забросали, а ходы под землей так и остались.

— Мне тоже хочется поглядеть на этот грот, — сказал Рустем, вспоминая, как с малышкой Алие они пробирались сквозь заросли по дну котлована, искали козу и вздрагивали при малейших шорохах.

— Я тебе покажу его. Главное — скорее поправляйся.

На прощание Саид крепко пожал Рустему руку.

Работы у дедушки на кузне значительно прибавилось. Он чинил бороны, косилки, сеялки, ковал, клепал и даже ремонтировал некоторые механизмы тракторов. Осенью у кузнецов всегда работы полным-полно. А сейчас, когда идет война, каждый старался трудиться с удвоенной силой, знал, что этим он вносит вклад в победу. Но дедушка все же находил время днем, когда Зера-оджа в школе, забежать домой, проведать внука.

И однажды под вечер, пока бабушка была занята своими нескончаемыми делами, Рустем впервые после болезни вышел во двор и сел, прислонясь к стене, на врытую в землю скамейку. На ней обычно сживал дедушка, когда выходил вечерами после ужина покурить. Рустему показалось, что за то время, пока он болел, на свете ничего вроде не изменилось. Уже давно идет война, а небо точь-в-точь такое же, как и было, — синее-пресинее. И такие же белые облака по нему плывут, похоже на кудрявых овец из отары Саида. Вот только степь порыжела, побурела, обожженная солнцем и смоченная дождями. Вдали рокочут трактора, которые тянут за собой по полям, где поспели хлеба, комбайны. И все так же несется со стороны озер разноголосый хор лягушек. Обитательницы здешних лиманов прямо-таки поют, а не квакают. Может, это и не лягушки вовсе? Может, это пери — властительницы болот, о которых так правдоподобно рассказывал Муса-бабай? Ведь и в сказках нередко лягушка неожиданно оборачивается девицей-красавицей.

И вместе со всем этим что-то было не так, как прежде. Какой-то грозный электрический разряд, что ли, витал в самом воздухе. Какое-то напряжение чувствовалось даже в бабушкиной походке, когда она сновала то из дому в сарай, то обратно, то в кладовку за чем-то, то несла из стога курай, чтоб растопить печь. За последнее время она осунулась, неотступно думая о своей дочери и о зяте, оказавшихся, по ее словам, «перед самой пастью дракона», будто не внук болел, а она сама, глаза грустные, губы горестно поджаты. Рустем старался больше не докучать ей вопросами — где мама? когда приедет? Об этом бабушка знает не больше самого Рустема.

Дед внешне выглядит спокойным, даже шутит иногда, старается развеселить бабушку. Но когда их разговор вдруг обрывается и наступает тишина, они избегают смотреть друг на друга. Рустем понимает, что они неотступно думают о его родителях, оказавшихся, по словам бабушки, «перед самой пастью дракона».

Что-то и впрямь изменилось. В поле, в деревне. Что же? Ага, людей почти не видать. Не слышать нигде веселых голосов. Рустем вспомнил, дедушка говорил, что полдеревни ушло на фронт. А те, кто остался, — старики, женщины. В поле работать некому. Нынче все, даже дети, на жатве.

Откуда-то издалека начал доноситься гул. Все нарастал, приближался. В окнах завибрировали стекла, заклеенные крест-накрест полосками газет. Небо сплошь обложили медленно движущиеся крестики. Это в вышине, в последних лучах солнца, тяжело шли бомбардировщики. Наверное, правда, что с каждым днем все ближе и ближе подступает война.

Как только Рустем окреп и почувствовал, что руки и ноги вновь налились силой, он первым делом побежал в степь, к тепе, чтобы увидеть своими глазами, осмотреть грот, который все это время занимал его воображение. Ведь в большинстве книг, прочитанных им в последние дни, с подземными кладами и пещерами были связаны самые необыкновенные приключения, истории неожиданных находок, от которых прямо дух захватывало. Дважды обойдя вокруг кургана, то там, то здесь раздвигая руками засохшие заросли чертополоха, так и сыплющего семенами и колючими листьями, он наконец отыскал то место, где была лисья нора. Саид, оказывается, плотно вдвинул в нее огромный камень, а сверху положил дерн с пластами земли. Поэтому Рустем прошел мимо, не заметив. Теперь он стоял, борясь с искушением откатить камень в сторону и проникнуть в грот. Но там, наверное, темно, а он не взял фонаря. Рустем вспомнил, что у них в сарае на опорном столбе висит фонарь, заправленный керосином. Он возьмет его и придет сюда снова. Решив до срока тут ничего не трогать, Рустем медленно побрел обратно, собирая по пути букет из блеклых осенних цветов.

У старого заброшенного амбара с провалившейся крышей ему встретился Азам-Невидимка. Скорее всего, он увидел Рустема издалека и теперь поджидал; стоял он, широко расставив ноги, уперев руки в бока, и ухмылялся. У амбара, прислонясь к облезлой стене, сидели на корточках со скучающим видом двое его дружков. Рустем хотел пройти мимо, но Невидимка косо сплюнул сквозь зубы и поманил его пальцем. Рустем подошел. А что ему оставалось делать? Дружки Невидимки, видимо, заранее знали о намерениях своего предводителя и тоже злорадно ухмылялись.

— Что это? — спросил Невидимка и, не дав опомниться, вырвал из рук Рустема букет; шумно понюхал его, изобразив на лице блаженство, и бросил через плечо назад. — А это? — ткнул он Рустема в грудь пальцем. И когда Рустем глянул вниз, он, под хохот дружков, крепко ухватил его за нос.

Рустем машинально отбросил его руку. Было так больно, что на глазах выступили слезы.

— Т-ты что? — еле выговорил от возмущения Рустем.

— А т-т-ты не знаешь? — передразнивая, ослабил Невидимка. — Зачем нябедничал на меня своей бабке, а?

— Я? Ничего я не наябедничал!

— А почему же она сказала моей матери, что меня чуть не придавило? Сама, что ли, видела?

— Я только рассказал, как мы с Саидом спасли тебя.

— Спа-а-асли-и! Ой, держите меня! — захохотал Невидимка и обернулся к дружкам. — Вы только послушайте, что болтает этот дохляк! Они меня спасли, ха-ха-ха! Неженка! Маменькин сыночек! — Схватив кепку Рустема за козырек, он резко надвинул ее ему на глаза.

Рустем, царапая себе лоб, с трудом отодвинул кепку назад, надел как следует. Мальчишки медленно удалялись по дороге. Невидимка обернулся и напоследок еще крикнул:

— Иди, иди, ябедничай! Ябеда!

Если бы сейчас Рустем от обиды заплакал, мальчишки бы все равно не заметили. Но он не заплакал, хотя ему очень хотелось заплакать. На него вдруг нахлынула злость. Захотелось сию же минуту догнать Невидимку, с разбегу прыгнуть ему на спину, повалить на землю и отмолотить его изо всех сил кулаками. По башке, по спине. Чтобы он вопил от боли, звал на помощь свою мамочку. Но тут же прикинул, что с троими ему не справиться. И пожалел лишь об одном — что сразу не двинул обидчика кулаком, как только тот выхватил цветы. Стоило двинуть. Ох, как стоило!

Рустем медленно пробрел домой.

— Ты что такой кислый, будто тебя целый день продержали в винном укусе? — поинтересовался дед, едва Рустем вошел в кухню.

Бабушка, возившаяся у плиты, тоже обернулась и посмотрела вопросительно.

И сразу к горлу подступил ком. Рустем молчал целую минуту, прежде чем смог спокойно сказать:

— Ничего особенного. Ходил грот смотреть, устал.

Говорят, человек живет надеждой. Учительница Зера и кузнец Якуб Демирджи до самого последнего момента надеялись, что со дня на день их дочь приедет или, на худой конец, пришлет весточку. Но враг продвигался стремительно. Каждый день Якуб Демирджи, перед тем как уйти на работу, становился коленями на диван и дотягивался рукой до черной тарелки репродуктора; увеличив громкость, слушал последние известия. Чем бы в этот момент ни были заняты Зера-оджа и Рустем, они тоже замирали и слушали. Но ничего утешительного по радио не передавали. Напротив, каждый день называли все новые и новые города, оставленные нашими войсками.

С наступлением первых холодов фашисты подошли к Перекопу и заперли выход из Крыма. Из городов начали срочно эвакуировать промышленные предприятия. Морем.

В один из дней Якуб Демирджи отправился пешком в Евпаторию. О том, чтобы воспользоваться транспортом, не могло быть и речи. Колхозных лошадей реквизируют для фронта. На дорогах творилось бог весть что. Шли толпы людей — с узлами на плечах, толкая впереди себя нагруженные тачки. Заслышав гул самолетов, кидались врассыпную, прятались в кюветах. Старик Якуб оставался на дороге один. Гордость не позволяла ему распластаться на земле перед врагом. Не прятался, но и шага сделать не мог, видя, как желто-серый стервятник с черными крестами опускается низко над землей и строчит из пулемета вдоль кювета. По женщинам и детям. И Якуб Демирджи, вскинув над головой кулак, слал ему вслед проклятья.

С трудом добрался он до Евпатории. Единственная надежда оставалась — надежда на людей, с которыми работала их Земине. Может, врачи или медсестры знают хоть что-нибудь об их дочери? Может, им она прислала какую-нибудь весточку?

Долго блуждал старик по улицам, спрашивая у людей, пока отыскал тот санаторий, где работала дочь. Вернее, красивое трехэтажное розовое здание за чугунной оградой неподалеку от набережной, где прежде был санаторий.

А теперь тут санатория не было. Огромное здание оказалось пустым. Листы, каких-то бумаг устилали ступеньки у входа, коридор и шуршали от сквозняков. В бывших палатах стояли металлические койки, но без матрацев. Жутковато было видеть опустевшие помещения, еще недавно заполненные людьми. Якуб Демирджи быстро направился к выходу. Выйдя из огромного подъезда, спустился по ступенькам и зашагал к воротам по длинной, усеянной опавшими желтыми листьями аллее, которую давно уже никто не подметал. Оказавшись на улице, он направился в другой конец города — туда, где жила дочь. Она оставила ключ у соседей, с которыми у них общий коридор.

Ковальчуки — старик Ефим Петрович, жена его Анна Алексеевна и дочь Соня — к счастью, оказались дома. Как раз пили чай. Усадили гостя к столу. Из разговора с ними Якуб понял, что и соседям ничего не известно о его дочери. Только сейчас он почувствовал, как устал. Вынул из кармана большой платок, вытер лицо, чтобы оттянуть время и чуточку успокоиться. И только потом сказал:

— А я пришел... Думал, вы что-нибудь знаете о ней... — И все же голос выдал его волнение, был сдавленным и слегка дрожал.

Соня и Земине — одногодки, дружили они давно. У той и другой мужа были на военной службе. Оба на западной границе. Общие тревоги, заботы у этих молодых женщин. Соня молчала, комкая край скатерти, в ее глазах Якуб-ага заметил тревогу.

— От зятя есть известия? — спросил Якуб-ага у старика Ковальчука; допил стакан и отодвинул.

— Месяц назад письмо было. Писал: «К нашему дому врага не пропустим». Враг вон уже на пороге стоит, а самого нет.

Якуб-ага слушал и думал о дочери и своем зяте. Теперь он не сомневался, что с ними стряслась беда. Но можно ли терять надежду? Нельзя. Как жить без надежды? Непременно нужно надеяться, а заодно и что-то в меру сил предпринимать.

Якуб-ага сказал, что хочет заглянуть в комнату дочери и взять кое-что из вещей внука. Скоро зима, а вся его теплая одежда здесь. Ефим Петрович долго копался в ящике комода среди белья, пока отыскал ключ.

В комнате было прибрано. На столе в деревянной рамке под стеклом фотография дочери и ее мужа. Когда фотографировались, зять еще не был военным. Преподавал в школе. Якуб-ага протер стекло рукавом и долго смотрел на фотокарточку, прежде чем положить во внутренний карман. Тихо и невятно шелестел на стене черный и круглый, как и у них в Ташлыке, репродуктор. Казалось, что дочь только что вышла — в магазин или на базар — и с минуты на минуту вернется. Якуб-ага открыл шкаф, взял все, что нужно для внука, снял с вешалки его куртку, пальто. Свернул все и аккуратно сложил в рюкзак.

Прощаясь с соседями, он вернул им ключ и попросил присматривать за комнатой дочери. Надел на спину рюкзак и вышел из дому. Ефим Петрович, сидя за столом, кивнул ему, пожелал счастливого пути и остался дожидать сухарь, макая его в чашку с чаем. А Анна Алексеевна с Соней проводили гостя до калитки. Сердобольная старушка, прощаясь с ним, утерла слезы. Постояла, поглядела вслед, еле сдерживая себя, чтобы не перекрестить мусульманина в спину, и пошла обратно к дому, причитая:

— О, господи, что же ты творишь с людьми! Разбросал всех по свету. Что уготовил ты нам, какую кару, господи?

Дорога давно опустела. Стало тихо. Дедушка проверил, заперта ли дверь. Они сидели втроем, не зажигая лампы.

Вдруг над притихшей деревней разнесся протяжный вой. Мороз пробрил от этого воя. Выла чья-то собака, словно в предчувствии беды.

На окраине застрекотал автомат, и вой прекратился. Стало слышно, как по всему пространству степи перекликаются выстрелы.

Утром Рустема разбудил грохот. Спросонок ему показалось, что

рушится потолок. Он вскочил в страхе. Колотили в дверь. Дед уже шел открывать. Через мгновение прихожая наполнилась топотом, металлическим лязгом, громким говором на непонятном языке. Бабушка прижала Рустема к себе.

Здоровенный немец в пятнистом плаще и зеленой, лоснящейся, как арбуз, надвинутой на самые глаза каске, что-то быстро проговорил, указывая стволом автомата на закрытые ставни. Бабушка открыла окна, и комнату наполнил молочно-серый свет пасмурного дня. Немец обвел комнату взглядом и удалился.

Со двора доносились треск мотоциклов, лающая немецкая речь.

Бабушка наказала внуку не высовывать из дому носа. А сама вышла во двор. Рустем сел на табуретку и, облокотясь на подоконник, стал смотреть в окно. Всюду сновали немцы.

Бабушка шла к школе. Из окон класса летели парты, шкафы, столы. Напротив входа стояла машина, и из нее немцы что-то выгружали.

Вне себя от негодования бабушка поднялась по ступенькам, но у входа в школу ее остановил часовой.

— Пусть сейчас же прекратят выбрасывать парты! — строго сказала бабушка по-немецки. — Здесь учатся дети!

Часовой с автоматом, преградивший ей дорогу, вылупил глаза. Окрик женщины на его родном языке привел его в замешательство. Но в следующее мгновение его бульдожье лицо сделалось свирепым. Он закричал что-то и оттолкнул ее от дверей, вызвав тем самым веселый хохот у тех, кто разгружал машину.

— Занятия не отменяются. Будем проводить уроки у меня дома, — сказала Зера-оджа.

Минула неделя.

Пришли семеро ребятшек. Зера-оджа встретила их в строгом темном платье, в котором обычно приходила в школу. Волосы, тронутые редкой сединой, как всегда, гладко зачесаны назад и собраны на затылке в пучок. Она проводила детей на кухню и усадила вокруг большого квадратного стола. Рустем был восьмой. Все сидели за столом, тесно прижавшись друг к другу. Было холодно, бабушка набросила на плечи шерстяную шаль.

Вздыхнув, она приветливым голосом сказала:

— Сегодня мы с вами займемся историей, ребята.

За окном звучала чужая речь. Зера-оджа подумала о своих коллегах. В школе, кроме нее, работало еще трое учителей — двое мужчин и женщина, но никто из них не вернулся из отпуска. Мужчины сразу ушли на фронт, а женщина эвакуировалась к своим родным на Северный Кавказ.

На следующее занятие явилось четырнадцать ребят.

А еще через день — двадцать...

## «ПРАЗДНИК УРОЖАЯ»

Хлеб с полей кое-как убрать успели. А вывезти не смогли. Теперь людей подстерегал голод. Возле наполненного зерном амбара расхаживал часовой и грозным окриком прогонял даже мальчишек, если кто-нибудь из них во время игры смел сюда приблизиться. Хлеб фашисты намеревались отправить в Германию.

Они были довольны. Еще бы, столько дарового хлеба досталось! Не пахали, не сеяли, не жали — пришли и взяли весь урожай. И решили гульнуть по такому случаю — отметить, так сказать, «Праздник урожая».

Полиции с раннего утра рыскали по деревне — посуду собирали. Несколько раз в город и обратно проносились мотоциклисты — за продуктами и виски. Из города привезли какого-то начальника. Словом, собирались погулять на славу.

Деревня притихла. Собак и тех не слышно было. Наверно, как и люди, знали они, что оккупанты веселятся. Никто не рисковал в такой момент показываться на улице. Все знали про недавний случай: в соседней деревне подрались два пьяных солдата, и один пристрелил другого. Боясь наказания, он свалил вину на местных жителей: дескать, кто-то выстрелил из-за угла и скрылся. И фашисты расстреляли десять ни в чем не повинных людей.

Бабушка достала из-под лавки ручную мельницу, которую дед смастерил из двух отшлифованных каменных дисков, поставила ее на стол и стала молотить кукурузу, чтобы из крупы сварить к утру мамалыгу. Она хорошо заменяла хлеб, эта мамалыга, потому что так густо была сварена, что хоть ножом ее режь.

А дедушка, чтобы чем-то занять руки, взял прохудившийся ботинок внука и стал прилаживать латку.

Время от времени выходил кто-нибудь из школы и палил в воздух из автомата. Так, видимо, пугали партизан. На свое торжество они пригласили начальство из города, толпились, громко переговариваясь у входа в школу, — ждали. К вечеру подкатила черная легковая машина. Один из офицеров кинулся к двери, распахнул ее. Из машины вышел высокий и сухопарый, как жердь, полковник в сопровождении трех офицеров чином пониже. И вот уже более часа за стеной идет пьянка, справляют фашисты «праздник урожая», сулящий голод тем, кто взрастил хлеб.

Бабушка хотела поставить на плиту чугунок, да вспомнила, что в ведрах воды не осталось. Как же кашу варить?

— Сейчас принесу, — успокоил ее дедушка. Закончив работу, он срезал нитку ножом и бросил ботинок к порогу. — Еще сто лет носить будешь, — сказал он внуку.

Рустем обернулся.

— Дедушка, я тоже с тобой.

Он прихватил чайник, небольшой бидон и вышел на улицу вслед за дедом.

Небо было мрачное, без звезд. Напротив школы, едва видимый в темноте, стоял автомобиль. Дверь школы неожиданно распахнулась, и пьяный немец прямо с порога выпустил в воздух автоматную очередь. В зыбком свете увидев, как вздрогнул мальчик и, уронив чайник, испуганно прижался к деду, немец злорадно захохотал, что-то крикнул по-немецки и резко захлопнул дверь.

Колодец, к счастью, был не очень далеко. Но тем не менее, стоило немалого напряжения — в этот недобрый час пройти к нему.

Дед не спеша достал из колодца воды, наполнил ведра, чайник, бидон. Когда они отходили от колодца, к школе подкатил огромный грузовой с высоким брезентовым верхом. Из кабины вышел офицер, сказал что-то шоферу и быстрыми шагами направился к крыльцу. Взбежал по ступенькам и исчез за дверью. Дверца кабины осталась открытой, а мотор продолжал работать. Из кабины выпрыгнули двое солдат в больших, низко надвинутых на лоб касках, встали у входа в школу и закурили.

— Обойдем-ка, сынок, с той стороны, не стоит попадаться им на глаза. Однажды в детстве я шел мимо собаки, дремала она вроде бы, но вдруг вскочила — и за ногу меня. Ни с того, ни с сего. Понял, к чему это я?

Рустему не хотелось обходить вокруг школы, где грязи было по щиколотку. Он сказал:

— Они сейчас, наверно, уедут.

Дверь школы действительно отворилась. Солдаты одновременно бросили папиросы и машинально схватились за автоматы. В ярком потоке света появилась фигура полковника. На пороге он обернулся и что-то крикнул в коридор, откуда доносились голоса.

С полковником вышел только что приехавший офицер. Они громко разговаривали, смеялись. И со стороны нетрудно было понять, что офицер рассыпается в извинениях, что помешал веселью, а тот снисходитель-

но, но в то же время не без высокомерия успокаивает: `ничего, мол, никто из них не гарантирован от случайностей — война, и они должны помогать друг другу. Приглашал зайти и разделить с ним трапезу, но офицер благодарил, прикладывая руку к груди, и отрицательно качал головой. Видно, этот офицер тоже имел высокий чин, если провожать его вышел сам полковник.

Тем временем трое солдат открыли вторую половину школьной двери и, выкатив железную бочку, осторожно спустили ее по ступенькам. Подкатив к машине, стали загружать в крытый брезентом кузов. Приехавшие солдаты кинулись им на помощь. Но бочка была тяжелая, пришлось приложить некоторое усилие и офицерам. Только шофер почему-то оставался в кабине, будто не замечая, как надрываются остальные.

Когда бочка, наконец, была поднята, полковник, вытирая ладони платком, негромко приказал что-то своим солдатам. Те бегом кинулись в помещение. Двое из них вскоре вынесли ящик. В нем позвякивали бутылки. Они поставили ящик в кузов и ушли.

Дед от досады сплюнул, снова поднял ведро и сказал:

— Идем, их не дожدهмся. У бабушки, небось, чугунок перекалился без воды...

— Вон солдаты уже залезли в кузов, — заметил Рустем и все же медленно направился за дедом, стараясь не расплескать воду. Направились они не к дому, а в противоположную сторону, чтобы обойти школу сзади. Рустем шел и оглядывался. В этот момент к полковнику подскокил солдат и что-то подал. Полковник отпустил его и торжественно протянул подарок гостю. Тот галантно принял подношение. И вдруг нанес молниеносный удар полковнику по шее. У того отлетела фуражка. Но не успел он рухнуть на землю, из кузова прыгнули солдаты, схватили полковника и бросили в машину. Офицер вскочил на подножку, сел в кабину и еще не закрыл дверцу, как грузовик взревел и рванулся с места. Солдаты влезли в кузов уже на ходу.

— Это же партизаны! — догадался Рустем.

— Тихо! Ты что? — шикнул на него дед. — Идем скорее. Сейчас тут начнется представление. Дела-а!

Зера-оджа была уверена, что муж прав, когда говорит, что фашисты пробудут недолго. И решила проводить занятия у себя в доме до того самого дня, пока не вернутся свои. Но однажды во время урока явились староста Велиль-ахай и двое полицаев.

— Что здесь происходит, оджа? — спросил староста, обводя маленькими глазками-буравчиками притихших ребятишек.

— Школа занята. Так вот и выходим из положения, — сказала Зера-оджа.

— Ай-яй-яй, учительница, — покачал головой Велиль-ахай, ухмыляясь. — Разве тебе неизвестно, что порядки теперь новые и программа, стало быть, другая? Вот что. Еще раз соберешь у себя этих лоботрясов, пеняй на себя! Знаешь, что тебе будет, если власти узнают?

Зера-оджа пожала плечами.

— Вы же и есть наша власть, Велиль-ахай, — сказала Зера-оджа.

— Я-то что... Про господина Штальбе ты не слыхала? Про коменданта нашего? Он совестить тебя не станет. К стенке — и все! — Старик еще раз оглядел детей, не сводящих с него настороженных глаз, и гаркнул на них: — Ну, чего сидите? Марш отсюда! Марш!

Дети, гремя табуретками, повскакали с мест, кинулись к двери, как напуганные волком ягнята.

Рустему спросонок показалось, что кто-то камнем разнес вдребезги стекло. В комнате было темно. Где-то сыпались беспорядочные выстрелы. Вскоре в дверь сильно постучали. Наверно, били сапогами и прикладами. В прихожей послышался дедушкин кашель, и сразу весь дом заполнили солдаты. Один из них, больно схватив за плечо, сбросил Рустема с кровати, угостил подзатыльником:

— Шнель!

Его вытолкнули во двор.

Дед в белом нижнем белье стоял между двумя дюжими солдатами. Увидев, что внук в трусиках и майке топчется в тряпичных комнатных тапочках на талом снегу, дед хотел дать ему свои туфли, но фашист пихнул деда в плечо и, подталкивая автоматом, повел куда-то. Бабушка прижала Рустема к себе, накрыла полрой пальто, которое успела на себя набросить. Их зачем-то повели к центру деревни, где голосили женщины и раздавались крики полицаев. Рустем, дрожа от холода, всматривался в сумерки, стараясь не потерять из виду белую фигуру деда. Его тапочки промокли, в них хлопала вода. Со всей деревни согнали полураздетых людей на площадь, оцепленную автоматчиками. Шел мокрый снег вперемешку с дождем. Расплакался чей-то грудной ребенок. Люди шепотом спрашивали друг у друга, не знает ли кто, зачем их тут собрали. Никто ничего не знал.

Рустем сначала старался ставить одну ступню на другую, чтобы их поочередно хоть чуть-чуть отогревать. Но теперь уже он перестал чувствовать холод. И больше не дрожал. Тело сделалось будто деревянное. Сначала он потихоньку утирал слезы — так, чтобы бабушка не заметила. А теперь и слезы высохли. Постепенно светало.

В чьем-то курятнике неподалеку захлопал крыльями петух и закукарекал. Но тут же осекся, словно вспомнив, что при новом порядке слишкoм рискованно заявлять о себе.

На середине площади вышел офицер, в блестящих сапогах, в блестящем кожаном пальто. За ним следовали два автоматчика и полицай Мурад. «Штальбе... Штальбе...» — пробежал по толпе шепот. И Рустем понял, что это и есть тот самый страшный фашист, которого все боятся. Офицер раз, другой прошелся перед толпой, ступая прямо по лужам. Вдруг резко остановился и показал пальцем на молодую растрепанную женщину в ночной рубашке. Она стояла, прижимая к себе грудного ребенка, и исподлобья смотрела на офицера. Кто знает — может, ему не понравился ее взгляд? Солдаты тотчас схватили ее и вытащили из толпы. Это была невестка Мусы-бабая, того самого, который любил рассказывать ребятишкам всякие небылицы. Его единственный сын ушел на войну, а жену и ребенка оставил на попечение отца, велел беречь как зеницу ока.

«Айн!..» — сказал фашист, ткнув пальцем вслед женщине. Потом указал на какого-то старика: «Цвай!..» На девочку: «Драй!..» А следовавшие за ним по пятам солдаты тотчас хватили их и выводили на середину площади.

Отобрав десять человек, фашисты увели их и заперли в маленьком помещении, пристройке к амбару, где раньше хранились косы, тяпки, грабли и прочий колхозный инвентарь.

Офицер поднял руку, требуя внимания, хотя и без того было так тихо, что, казалось, слышался шорох снежинок, падающих на непокрытые головы людей.

— Ахтунг! Этот ночь неизвестным лицом убивайт немецкий зольдат. Если преступник не есть признайся сам или не есть выдан властям, то все люди, которые там есть, — офицер показал рукой в сторону пристройки, — будут расстреляйт! — Он отвернул манжет и посмотрел на ручные часы: — Вы есть размышляйт четверть часа!

Кто-то в толпе стал подвывать, словно скулила продрогшая собака. Но стоявшие рядом что-то строго сказали, и плач прекратился. Рустем, обхватив себя за плечи, плотнее прижимался к бабушке и продолжал тереть одну ногу о другую, хотя уже почти не чувствовал их. Он с трудом сдерживал слезы.

Дедушка говорил, что привелось ему испытать такое. В пятнадцатом году. Оглушенный взрывом снаряда, он попал тогда в плен... Дедушка говорил, что можно выдержать и такое, если только сумеешь заставить себя думать о чем-то хорошем. Тогда он думал о молодой

жене Зере и о семилетней дочери, которых оставил в Баксане на попечение чужих людей...

Рустем, чтобы согреться, стал думать, припоминать в деталях, как они с матерью ходили на пляж. Солнце было жаркое. Песок обжигал ступни. Хотелось поскорее все сбросить с себя и с разбегу броситься в набегающую на берег волну.

Но подул пронизывающий ветер, который всегда прилетает перед восходом солнца с той стороны, где море, и унес воспоминания. Не так-то просто, когда холодно, убедить себя, что жарко.

Люди молчали.

Автоматчики в глубоких касках, оцепившие площадь, стояли, как изваяния.

Офицер посмотрел на часы.

— Еще есть один минут! За каждый убитый немецкий зольдат будет расстрелят десят человек! Так будет всегда!

Он повернулся, чтобы дать команду автоматчикам, но заметил в середине толпы какое-то движение. Люди неохотно расступались, пропуская кого-то. Из-за их спин появился, опираясь на палку, щуплый старичок с седой растрепанной бородкой. Он был в нижнем белье, босой, а на голове каракулевая шапка. И Рустем не сразу узнал Мусу-бабая. Его вид, должно быть, показался офицеру смешным, и он усмехнулся.

— Я убил вашего солдата! Проклятье всем вам! Я! — сказал Муса-бабай и ударил себя в грудь кулаком. — Я убил! И всем вам прямая дорога в ад...

— Гу-ут, — проговорил офицер, сощуриль злые глаза, и отдал короткую команду по-немецки.

Двое автоматчиков схватили Мусу-бабая под руки и потащили к стене амбара. Старик выронил палку, ноги подкосились. Фашисты волокли его, не давая опомниться. Поставили у стены, отступили на несколько шагов и выпустили очередь сразу из двух автоматов. Старик, шаря руками по кирпичной стене, медленно опустился на землю и замер, задрал к небу всклокоченную бородку.

Заложников выпустили.

Разбредаясь по домам, люди с оглядкой переговаривались. Такой тщедушный и старый человек, каким был Муса-бабай, говорили они, конечно, никак не мог убить верзилу-солдата.

Вернувшись домой, бабушка села к столу и обхватила голову руками. Силы покинули ее. А дед в минуты сильных переживаний не мог сидеть без дела. Ему было необходимо чем-то заняться. Он вынес из кладовки самодельную мельницу, выгреб из торбы остатки кукурузы и принялся молоть. Рустем пригоршнями подсыпал зерно в отверстие в верхнем жернове, а дед вращал ручку.

Бабушка, наконец, выпрямилась и тихонько хлопнула о стол ладонями. Хоть и не произнесла она ни слова, но муж и внук этот ее жест поняли одинаково. «А жить все-таки надо...»

— Кукуруза кончилась... — сказала она, задумчиво глядя перед собой. — Мешками ее не перетаскать с огорода, сгниет под снегом.

В этот раз почти никто не успел убрать своих огородов. Самую работоспособную часть населения в первый же день войны призвали в армию. А те, кто остались, прилагали все усилия, чтобы убрать с полей хлеб. Убрали, обмолотили, ссыпали в амбары, а свезти на элеватор не успели — не было транспорта. При отступлении армии пришлось отдать солдатам всех лошадей и телеги, чтобы везти раненых. Пришли фашисты. Поставили у амбаров часовых.

Пока дед и Рустем мололи кукурузу, бабушка затопила печку, замесила тесто и испекла на сковороде тонкие кукурузные лепешки, которые пахли так вкусно, как настоящие пряники. Вскипел и чайник.

Правда, заварка давно уже кончилась, но бабушка бросала в кипяток какую-то высушенную траву, и чай становился душистее, чем настоящий.

Дед аппетитно жевал горячую лепешку с луком. Он макал в соль мелко нарезанные сочные белые дольки и с хрустом жевал. У Рустема обычно пощипывало глаза, едва он взглянет на лук, но в этот раз ему тоже захотелось луку. Он взял дольку, макнул в солонку и откусил.

В прихожей слышались шаги. В кухонную дверь постучали. Пришли четверо стариков — старейшины деревни. Еще в мирное время, когда председатель колхоза Меджит-ага собирался что-либо предпринять — начать пахоту или сев, или наказать кого-то за нерадивость, — он всегда приглашал для совета этих стариков. Знал, что их слово в деревне имеет не меньший вес, чем слово членов правления и его, председателя.

Старики отказались присаживаться к столу и расположились на табуретках возле плиты, где потеплее. Поделались своими догадками о делах на фронте, поговорили о сыновьях, о внуках, которые сейчас где-то воюют. Самый старший из них, девяностолетний Мустафа-бабай, обратился к богу с краткой молитвой, чтобы их дети вернулись с войнами живыми и здоровыми. И после этого сказал хозяину дома:

— Мы к тебе, Якуб Демирджи, вот по какому делу. Продержится этот их «новый порядок» до весны или нет — одному аллаху известно. А наш колхозный инвентарь — косилки, сеялки, бороны, плуги — все под дождем валяется, ржавеет. Не по-хозяйски это.

Якуб Демирджи исподлобья обвел стариков суровым взглядом:

— Хотите, чтобы я развел в кузнице огонь и работал на них? — Он кивнул за окно.

— Как же на них, когда эти плуги и бороны — наши! Они нам нужны. Мы живы, выходит, и колхоз наш цел. К весне наши прогонят этих. Что тогда делать будем? Скажем: «Освободили, теперь хлеба давайте»? Нет, брат, не можем мы сидеть сложа руки. Выжить должны. А значит — работать. Вот посоветовались мы, старики, между собой и решили просить тебя: разведи ты, Якуб Демирджи, в своей кузне огонь да принимайся за дело.

Дед молчал минуту, другую, положив на стол крепкие кулаки и опустив голову.

В разговор вступил другой старик:

— На клопов осерчав, нельзя поджигать дом. Будем сидеть руки сложа — и сады помрут, и поля высохнут... Вернутся же наши сыновья, прогнав врага, а мы им что? Вместо плодородной земли — бесплодный такыр? Что они нам скажут тогда? Вот о чем надо думать.

— Вся наша печаль-забота сейчас — не оставить наших детей при яловой земле. Враги приходят и уходят. А земля — вечная кормилица, — снова вставил слово мудрый Мустафа-бабай. И кому, как не нам, сейчас позаботиться, чтобы не погибли наши сады, луга, чтобы земля родила хлеб?

И Якуб Демирджи согласился:

— Ладно, — сказал он. — Все ясно: нет комбайнов — нужны серпы, нет плугов — нужны мотыги. Сегодня и раздую огонь.

— Вот и спасибо на добром слове. А по весне, живы будем, мы, старики да женщины, с божьей помощью вспашем и посеем.

Старики поднялись. Бабушка извинилась, что не может угостить их кофе, как было принято в добрые старые времена, вышла с ними в прихожую и проводила до двери.

Дед вынул из-под шкафа кожаный фартук, туго свернутый и завязанный бечевкой, большие кожаные перчатки, прожженные в нескольких местах, и сказал внуку:

— Пойдем со мной. Я остался без подручного. Поможешь.

— Что ты, какой из ребенка помощник, только измучается, — запротестовала бабушка.

— Никакой я не ребенок! — рассердился Рустем. — Не называй меня так!

Дед довольно ухмыльнулся и подмигнул внуку. Сунул ему под мышку фартук и перчатки, а сам взял завернутые в тряпку инструменты.

Они шли рядом, Якуб Демирджи и его внук. Мальчику хотелось ступать с дедом в ногу, и он старался делать большие шаги. Он еще не знал, что та жизнь, которую он жил до сих пор, кончалась и начиналась совсем другая, полная забот и тревог.

Дед снял с двустворчатой двери, похожей на ворота, большой ржавый замок и открыл ее настежь. Стены кузни внутри были черные от копоти, и, казалось, свет, проникший в нее через широкую дверь, не может выгнать отсюда темноты. Хотя печь давно остыла, тут пахло дымом и каленым железом.

Дед сложил в печи щепки башенкой и, вынув из кармана коробок, где оставалось всего три спички, долго принаравливался, чтобы разжечь огонь с первого раза. Щепки занялись оранжевым пламенем, затрещали. Розоватые блики заиграли на стенах кузни. Дед положил поверх огня три-четыре поленца, насыпал угля, зачерпнув в углу совком, и велел внуку раздувать мехи. Пока дед перебирал сваленные в кучу куски железа, Рустем изо всех сил дергал за рукоять мехов, и при каждом его движении воздух с посвистом вторгался в печь, и ядовито-желтый дымок, извиваясь множеством змеек, втягивался под широкий навес вытяжной трубы. Когда куски угля схватились голубоватым пламенем и заалели, как рубин, дед сунул в них отобранные куски железа.

Рустем смёл в совок валяющиеся на земляном полу серые обрезки копыт, оставшиеся с тех времен, когда тут ковали лошадей, и сухие кругляшки конского навоза. Вынес сор на улицу. После этого дед велел ему взять небольшой молот и бить по раскаленному куску железа, который держал на наковальне большими щипцами.

— Так, так, — удовлетворенно приговаривал он после каждого удара, поворачивая железку то одним, то другим боком. — Не спеши. Не трать силы, когда молот падает вниз, его веса достаточно. Точнее, точнее. Вот так. Молодец. Устал? Ну отдохни.

Рустем отрицательно качал головой, хотя уже дышал с трудом и пот с него лился градом. Дед улыбнулся, и все же взял у него молот.

Полдня Якуб Демирджи с внуком трудились не отдыхая.

Когда в полдень они отправились домой перекусить, Рустем от усталости еле передвигал ноги. Ломило плечи, будто ему кто-то выкручивал руки.

— Рустем! Да ты действительно — мужчина! — воскликнула бабушка, когда он вслед за дедом перешагнул порог.

Рустем удивился ее словам. Конечно, ему хотелось выглядеть взрослым, но понимал, что вряд ли бы успел так быстро измениться. Пока дед умывался, гремя рукомойником и оглушительно фыркая, Рустем подошел к зеркалу и взглянул на себя. Лицо его было темное от копоти, как и у деда, но это вовсе не делало его мужественным, а скорее придавало ему смешное беззащитное выражение.

Когда настала очередь Рустема мыть руки, черные от ввевшейся в кожу ржавчины и масла, которым смазывают колеса, они шуршали, как бумажные, и долго не мылились.

— Ну, как твой новый подручный? — спросила бабушка у деда, ставя на стол казанок с горячей кукурузной кашей, приправленной поджаренным луком, ласково взглянула на внука.

— У него крепкие руки, — сказал дед. — Из него получится кузнец. Есть кому унаследовать фамилию Демирджи.

Первые заморозки и снег, выпавший в середине ноября, были, в сущности, лишь первым предупреждением зимы. Но горячее южное солн-

це на время отогнало ее, неожиданную, и земля недолго оставалась под снегом. Побежали ручьи, запарила земля. И снова обманутая оттепелью земля оживила края обугленных холмов, черные шрамы лощин, хотя по утрам земля и становилась белой от инея. У некоторых людей хватало мужества отдалиться на какое-то расстояние от деревни, чтобы проверить, что уцелело на их земле. Они-то, эти люди, и принесли первыми весть, что огороды частью вытоптаны, частью сгорели, но местами целехоньки и с них все же можно снять кой-какое добро. Весть эта вселила в людей надежду. Большинство сельчан были полны решимости хоть по снегу собирать все, что уродила земля-матушка, чтобы не умереть с голоду. А коль земля о них позаботилась, они выживут. Они верили в это. Многие начали таскать с огородов початки кукурузы, подсолнухи, полусгнившие тыквы.

Якуб Демирджи тоже два или три раза сходил на свой огород за кукурузой.

— Говорят, на конюшне какая-то лошадь появилась, — как-то вечером сказала ему жена. — Мешком много ли натаскаешь...

— Эх-хе-хе... Лошадь одна, а людей много, — со вздохом ответил Якуб Демирджи. — Наш черед через четыре дня. Сам староста список ведет.

Подошел черед Якуба Демирджи. Еще с вечера он предупредил внука, что утром поедут на огород за кукурузой. И когда на рассвете под окнами гулко загромыкала телега, Рустем уже не спал. Довольный, что деду не пришлось его будить, он вскочил, окончательно прогоняя сон, протер глаза. Босой прошлепал к окну и открыл ставни. Занималось серое утро. Земля за ночь поседела, покрывшись инеем.

Рустем столкнулся в дверях с дедом, направлявшимся его будить. Дед был в телогрейке, подпоясан веревкой. На голове старая облезлая шапка с нелепо торчащими в разные стороны ушами.

— Молодец, — сказал дед. — Ранняя птаха уже клювик чистит, а поздняя только еще корм ищет. Сегодня надо успеть весь огород убрать.

Бабушка наскоро накрыла на стол. Сели завтракать.

Собрав со стола крошки, дед отправил их себе в рот и сказал поднимаясь:

— Насыпь-ка, оджа, в торбу ячменя для лошади.

— Осталось-то всего капля. Нечего будет жарить и пить вместо кофе, — сказала бабушка, явно не желая расставаться с остатками ячменя.

— Насыпь, — настаивал дед. — Животину эту «Партизанкой» кличут. Неспроста. Полиции над ней вон как измываются. Гоняют и день и ночь, а кормить не кормят. Насыпь. Сегодня она послужит нам.

Бабушка ссыпала в торбу весь ячмень, сколько было. Рустем бросился во двор вслед за дедом. В лицо дохнула утренняя прохлада.

Перед самой дверью стояла телега. Худющая низкорослая лошадевка темно-красной масти замерла, безучастно опустив голову, и, лишь изредка подергивая кожей, отгоняла с обнаженных язв цепких, как клещи, коричневых мух. Ткнувшись ей под ребристое брюхо, помахивал хвостом-кисточкой рыжий жеребенок.

Завидев вышедших из дома, лошадь поджала уши, напряглась вся, поводя тусклыми выпученными глазами, будто ожидая удара плети. Дед ласково похлопал ее по шее. Над натертым загноившимся хребтом роились мухи. Дед поправил на ней кошму, стараясь прикрыть ею розовые раны. Дал лошади из ладони ячменя, и она, жарко дохнув, заперевирала мягкими бархатными губами.

Подождав, пока лошадь съест ячмень, дед надел на ее морду уздечку.

Когда дед и внук взобрались на телегу, бабушка подала им узелок с нехитрыми харчами, дед освободил конец вожжей, слегка дернул ими и причмокнул губами. Лошадка, будто стряхнув с себя дремоту, медленно пошла, мотая головой. Дед не понукал ее, не торопил. Она была так истощена, что ей стоило немалых усилий тянуть даже легкую телегу. Жеребенок трусил рысцей, прижимаясь к боку матери.

Дорога пересекла речушку, подернутую зеленой ряской, и круто взбежала на взгорок. Лишь тут дед слегка подстегнул лошадь, чтобы проскочить речку с разгону. Взмутив воду, выскочили на противоположный берег. Дед соскочил на землю и подтолкнул телегу сзади, помогая лошади втянуть ее на взгорок.

Дед оглянулся на видневшуюся вдалеке школу, подкрашенную восходом. Вдохнул. Почти двадцать лет минуло с той поры, как он привез в свое родное селение молодую учительницу Зеру-оджа. Это было в двадцать первом...

А потом... нахлебался потом он лиха по самую макушку. И плен познал... Сбежал из плена с одним татаринном из-под Казани. Ночами пробирались сначала через польские, а потом через белорусские леса. Когда стемнеет, выходили к какому-нибудь селу, выбирали избу понеказистее и просились на ночлег. Добрые люди не отказывали. Правда, попадались и недобрые. Но чаще их впускали, кормили, а утром еще и на дорогу сухарей давали. Дошли так вдвоем с приятелем до Харькова. Здесь распрощались, разошлись в разные стороны. Тот в родную Казань подался, а Якуб — на юг. Но юг объят был пламенем гражданской войны. Накрепко запер барон Врангель врата в Крым. И Якуб, не раздумывая, решил сломать эти врата — вступил в красную кавалерию, которая неудержимым потоком влилась через Перекоп в Крым.

Когда Якуб вошел к себе в дом, низко наклонив в дверях голову, чтобы не стукнуться о притолоку, в длинной кавалерийской шинели с галунами, островерхой буденовке с нашитой суконной алой звездой, скрипя портупеей, Зера испуганно уставилась на него. Не узнала. Она сидела на диване и вязала для дочки теплые носки. А потом кинулась к нему, словно птица. Ее пронзительный крик до сих пор в ушах звенит. «Я-а-а-ку-уб!» И все. Больше ни слова не могла произнести. Затряслась вся от рыданий в его объятиях. А он целовал ее волосы, успокаивал, говорил что-то ласковое. Что именно — сейчас уж не помнит. Наконец она затихла, замерла. Потом неожиданно встрепенулась и бросилась во двор дочку звать.

— Земине! Папа приехал!

Но девочка где-то далеко играла с подружками, не услышала. Зато услышали соседи. Не прошло и нескольких минут, в комнату набилось много народу. Руки пожимают, обнимают. О своих близких расспрашивают, не встречал ли где. Рады, что Якуб Демирджи вернулся. А ведь все считали его погибшим. Теперь, даст бог, и остальные баксанцы домой воротятся.

Вечером, когда остались одни, Якуб Демирджи спросил у жены:

— Ждала?

— Еще как!

Он сидел на топчане и прижимал к груди дочку. Она не хотела от него уходить, так и уснула, обхватив шею ручонкой. «Родная моя доченька...» — Он наклонился и поцеловал ее в висок. Земине. Они так называли дочку в честь его покойной матери.

— А тебе не казалось, что я... что меня уже нет?

— Многие так думали. А я... — Она протянула руку и поправила ему прядь, упавшую на лоб, осторожно провела кончиками пальцев по его виску, впервые заметила на висках седину. — Я уверена была, что рано или поздно придешь.

— Уверена?

— Я молила бога, чтобы он вернул мне тебя. Я заклинала свой чудесный перстень... — Вытянув перед собой руку, она посмотрела на мерцающий на безымянном пальце перстенок. — Молила, чтоб он сберег тебя. И он помог, как видишь.

— Теперь будем жить по-новому, — сказал он.

Чуть свет он отправился в свою кузницу, что приютилась подле отвесной скалы под старым развесистым платаном. Отомкнул дверь и, наведя порядок внутри кузни, развел в горне огонь. «Вот и пришла, наконец, мирная жизнь!» — радовался он.

Но в полдень, когда он собрался пойти домой пообедать, за ним на коне примчался нарочный. Якуба Демирджи срочно вызывали в город, в ГПУ.

С начальником ГПУ Андреевым они служили в одном отряде. Вспомнили о недавних боях. Поговорили о том, как бегущие врангелевцы разрушали, громили и жгли все, что вставало на пути их отступления: станционные сооружения, мосты, солеварни, поезд с военным снаряжением и продовольствием, деревни, хутора.

— И теперь вокруг орудуют банды, остатки недобитых беляков, — задумчиво сказал Андреев. Он внимательно посмотрел на собеседника, словно хотел проникнуть в самую душу. — В окрестностях Баксана особенно нагло ведет себя шайка Халила-Бахвала. По ночам его головорезы врываются в деревни, отбирают у жителей хлеб, скот, убивают комсомольцев, политработников, учителей. В связи с этим вам, товарищ Демирджи, предписывается сколотить боевой отряд для борьбы с бандитами. И сделать это необходимо в кратчайшие сроки. Как только такой отряд будет создан, вы поставите нас в известность. Мы дадим оружие. Сколько дней вам понадобится?

— Трудно сказать... Большинство йигитов Баксана уже воюют за рабоче-крестьянскую власть. Где сейчас найти столько людей?

— Вокруг много других деревень.

...Менее чем за неделю сколотил Якуб Демирджи отряд из местных добровольцев. Все йигиты как на подбор — рослые, сильные, ловкие. Как ветер проносится сквозь теснины гор над долиной — так и отряд Демирджи, был скор он и проворен, без усталости разил врагов. Что ни день из окрестных селений приходили вести о налетах бандитов, о зверских расправах над партийцами, комсомольцами, активистами.

Бандиты обычно избегали боев. Сжигали сельсоветы, школы, убивали активистов и спешили скрыться в горах до прибытия чоновцев. Но в одной из деревень отряд Демирджи неожиданно встретил сильное сопротивление. В самом начале боя был сражен наповал конь Демирджи. Более двух часов длился бой, и бандиты через ущелье отступили в горы.

Над сельсоветом взвился красный флаг.

Несколько стариков подвели к Якубу коня. Гладкого, вороного, с белой звездочкой на лбу. Мощная грудь и гибкая, как у черного лебедя, шея. Кто знает толк в лошадях, с первого взгляда может сказать: вряд ли на всем полуострове есть еще один такой рысак.

— Сынок! — сказал один из стариков. — Прими от нас взамен твоей убитой лошади. Конь этот долгие годы славил имя своего хозяина на скачках. Многие баи подсылали своих людей к его хозяину с большими деньгами, считая за честь владеть таким конем. Но хозяин не продал его, хоть был самым бедным среди бедняков. Потому что конь этот не просто носил его на своей спине, а был ему другом. А вчера вечером на горной дороге его хозяина настигла пуля врага-завистника. Конь примчал его похолодевшее тело в деревню. Сегодня утром, едва мы успели предать сельчанина земле, нагрянули бандиты Халила-Бахвала. Они искали коня. Но мы спрятали его. Не достоин главарь ихний сесть на него. Прими, сынок, от нас Карылгача. Пусть он и тебе станет преданным другом.

С этими словами старик передал в руки Демирджи повод. Конь замотал головой и, словно признавая нового хозяина, забил о землю правым копытом.

Нередко Якубу Демирджи и его йигитам случалось по целым дням не слезать с коней, следуя по пятам за белобандитами, которые металась среди лесов и гор, путая следы. Многих переловили. Многие остались лежать в глухих ущельях и на обочинах дорог, застигнутые пулями Якуба Демирджи и его йигитов. Главарь банды Халил-Бахвал несколько раз ускользал, можно сказать, прямо из рук. Потом следы его затерялись.

Еще долго, около месяца, ездил Демирджи с отрядом, выискивая бандитов. Но те притихли, не давали о себе знать. Затаились? Где?

Наконец из ГПУ поступило сообщение о том, что Халил-Бахвал на побережье захватил рыбацкую шаланду и вместе с остатками своей

банды отбыл в неизвестное направление. Отряд предписывалось распустить, оружие сдать.

Йигиты снова занялись мирным трудом. Руки Якуба Демирджи соскучились по молоту да по железу, но Андреев опять вызвал его к себе, задержал у себя до самого вечера, уговаривал пойти работать в милицию. Он приводил довод за доводом, стараясь убедить Демирджи, что милиции сейчас нужны именно такие йигиты, как он: идейно закаленные, сильные телом и духом.

Якуб сказал, что не может этого вопроса решить сам. Пообещав посоветоваться с женой и после этого дать окончательный ответ, он вскочил на своего Ворона и помчался в Баксан.

Зеру и дочку он дома не застал. Коня своего привязал во дворе возле сарая и направился к Фатьме-анге и Ахмету-ахаю. Время было тревожное, и в его отсутствие Зера с дочкой обычно ночевала у стариков.

В доме горела лампа. Якуб заглянул в оконце. Хозяева и Зера сидели втроем. А малышка Земина спала, наверное, во второй комнате.

Якуб Демирджи тихонечко пальцем постучал в стекло.

В последнее время он приходил домой поздно. И Зера научилась узнавать его по стуку. Она вскочила и бросилась к двери. Открыв, на пороге крепко прижалась к нему. Он почувствовал, как сильно колотится ее сердце.

Будить дочь им старики не дали, и они отправились домой вдвоем. В небе ярко светила луна. Ни облачка. Деревья, дома, дорожка словно присыпаны серебром. А соловьи-то распелись!

Они зашли в комнату. На полу квадрат лунного света, расчлененный на ячейки. Якуб зашарил по карманам, отыскивая спички, чтобы зажечь лампу. Вдруг фыркнул и тревожно заржал привязанный у сарая конь. Якуб выглянул в окно и увидел, как за воротами спрыгнули с коней трое незнакомых. Когда они спешили, их не стало видно, однако Якубу Демирджи, повидавшему на своем веку всякого, это показалось подозрительным. Зера, тихонечко напевая, стелила постель. Глаза привыкли, и в комнате казалось теперь не так уж и темно.

Ворота тихо скрипнули, во двор проскользнул один из незнакомцев. Он быстрыми шагами пересекал двор. Якуб научен распознавать людей по походке. Этот шел не с добром.

— Запри дверь, — сказал он жене, вынув наган и не сводя глаз с незваного гостя.

И в это время вороной у сарая ударил копытами и заржал. Почуял, умница, что враг крадется, предупредить хотел. Человек замер, пристально вглядываясь в темноту, и вдруг кинулся обратно.

— Зера! Выходи! — донесся из-за ворот голос.

Халил. Откуда его черт принес?

Зера опрометью бросилась в комнату. Муж приложил к губам палец, чтоб Зера не подавала голос и не волновалась. А сам лихорадочно думал, что предпринять в создавшейся ситуации.

— Выходи, Зера, не бойся! Ничего мы с тобой не сделаем... если, конечно, сама выйдешь.

Якуб Демирджи высыпал из кармана брюк на стол пригоршню поблескивающих маслянистых патронов с налипшей на них махоркой. Улыбнулся, желая взбудорить жену.

— Слышь, Зера! Муженек-то твой, считай, попался в капкан. Это его конь стоит. С Демирджи мы с живого шкуру сдерем, а тебя не тронем, клянусь Кораном. В целостности-сохранности доставим за море к отцу. Хочешь ты этого или нет — все равно отвезем. Он так велел. Сказал: «Ее муж — мой враг. Не для кровного врага растил я дочь. Будет артачиться, вяжите и везите ее сюда, ко мне. Тут она образумится». Так что выходи, Зера. Иначе хуже будет. Бери за руку дочь свою и выходи. Мы тебе зла не причиним, хоть ты учительница и отвращаешь детей мусульман от алаха.

Якуб Демирджи не сводил глаз с ворот. Как узнать, сколько дружков привел с собой Халил-Бахвал? Вряд ли только двоих.

А соловьи не умолкали, трели их сыпались, как звездопад.

— Эй, учительница! — не унимался Халил, и его резкий голос словно плеткой хлестал по сонным деревьям. — Уговори-ка своего героя сдаться без боя. А то нам надоело ждать да упрашивать. Сейчас стрелять начнем. Можем ненароком и дочку твою задеть. Слышь, оджа?

Ворота снова чуть скрипнули. Во двор кто-то прошмыгнул и, прижимаясь к забору, чтобы быть в темноте, стал приближаться к коню. Карылгач заржал. Якуб Демирджи отстранил жену к стене, заслонив собой, и дважды выстрелил. Тень взвилась, как пружина, и перелетела через забор. И тотчас из-за кустов раздались выстрелы. В верхнем углу окна вылетело стекло; в нескольких местах зияли дырки с разбегающимися лучиками.

Якуб Демирджи схватил табуретку и выбил ею все стекла. В комнату хлынул прохладный воздух, слегка пахнувший хвоей, а соловьи словно приблизились, трели их стали громче. Якуб вскинул руку и разрядил всю обойму по кустам. «Знай наших! Чтоб не думали, что патронов не хватит на каждого!»

— Эй, кузнец! Слышь? Если ты мужчина, или жену с дочкой выводи из дому, или сам выходи. Давай поговорим, ха-ха, как йигит с йигитом! Тебе не жалко их, что ли? Дочка напугается — зайкой станет. А дед потом станет нас упрекать. Нам это ни к чему. Да и тебе тоже. Слышь, кузнец? Выпусти жену с дочкой. Мы им худа не причиним.

Машинально впихивая в ячейки барабана патроны, Якуб взглянул на жену. При лунном свете лицо ее казалось мертвенно-бледным, большие черные глаза лихорадочно блестели. Не сводя с него глаз, она отрицательно покачала головой.

Якуб заметил, как за забором мелькнула чья-то голова, и мгновенно выстрелил.

А соловьи заливались. Им не было никакого дела до того, что люди чего-то не могут поделить между собой.

— Эй, Демирджи! Ну и трус же ты! За женскую юбку прячешься? Выходи во двор, если считаешь себя мужчиной!

Под ногами хрустело битое стекло.

Створки ворот, заскрипев, резко разошлись в стороны, открылись настежь. Якуб одну за другой послал несколько пуль по промелькнувшим и тотчас исчезнувшим силуэтам. Бандитам, спрятавшимся в лесу за деревьями, стрелять стало сподручнее. Дом со всеми окнами у них как на ладони. И луна светит, как прожектор. Впрочем, и Якубу это на руку: лес в проеме ворот — словно картина в раме. Туда он и пальнул несколько раз. Загremели выстрелы. За кустами он заметил вспышки. Словно огромные светляки усыпали листья, мелькнули и пропали. Что-то ударило в глаза. Якуб пошатнулся и отпрянул, прижав левую руку к лицу, чувствуя, как пальцы обволакивает теплое и клейкое. Кровь.

Зера кинулась к мужу:

— Что с тобой? Ты ранен?

— Что-то попало в глаз.

— Дай посмотрю, уברי руку.

Ноги обессилели, и он, прислонясь спиной к стене, медленно опустился на табуретку.

— Убри же руку! — Зера пыталась отвести от его лица руку, и не могла. Ему казалось, если он уберет ладонь, то глаз вытечет.

Из лесу, как горох, сыпались выстрелы. Пули вонзались в противоположную стенку, завешенную цветным красным лоскутом вместо коврика.

В углу двора ржал Карылгач.

Якуб выставил в окно руку и выстрелил: пусть знают, что с ним еще не поконечно.

Зера прильнула к его глазу, раздвинула губами веки и поводила

языком по глазу. Он застонал, язык ее нащупал что-то колкое. «Потерпи, милый, потерпи...» — мысленно говорила она. Осторожно ухватила зубами занозу и вытащила. Это была маленькая, с ноготок ребенка, щепка, отбитая пулей от оконной рамы. Пока Зера разрывала на длинные полосы простыню, Якуб разрядил в окно всю обойму. Потом жена стала перевязывать ему глаз, а он на ощупь вновь зарядил наган.

Во дворе заметались странные тени. И забор, и сарай, и земля словно заколыхались. Лес посветлел, и на кронах деревьев заметались всполохи. Запахло дымом.

— Эй, кузнец, выпроваживай скорее жену с дочкой, если не хочешь, чтобы они изжарились, ха-ха-ха!

— Они, кажется, подожгли наш дом, — прошептала Зера. — Наверное, с задней стороны обложили соломой и подожгли.

Якуб Демирджи с перевязанным глазом сидел, прислонясь к стене.

— Ты слышишь? — встряхнула его за плечи жена. — Что-то надо делать. Если загорятся перекладкины — крыша рухнет.

Над лесом прошелестел верховой ветер. Белесые лохматые клочья дыма зависли над деревьями, и весь двор заполнился дымом, за его пеленой таяли и совсем исчезли ворота, лес. И в комнату стал проникать дым.

Якуб Демирджи вскочил, под ногами его захрустело растертое подошвами стекло. Он схватил табуретку, на которой только что сидел, и с маху ударил ею об оконную раму. И еще раз. И еще... Зера испугалась, решив, что он не в себе и вымещает зло на раме, от которой отлетела щепка и угодила в глаз. Но когда он вышиб из рамы все переплеты, она догадалась, что муж что-то задумал.

— Держи, — сказал он и вложил в ее руку наган, согретый его ладонью. — Держи обеими руками, он тяжелый. И не давай ни одному кашкыру<sup>1</sup> высунуть свой нос из-за кустов. А как только я окажусь на коне вот здесь, напротив окна, сразу прыгай ко мне в седло. Поняла?

Зера кивнула. И по привычке провела пальцами по своему перстню, ища поддержки.

Теперь из лесу не стреляли. Выжидали. Понимали, что с минуты на минуту в доме оставаться станет невозможно.

— Приготовься, — спокойно предупредил Якуб.

Зера сидела на табуретке, прижавшись плечом к простенку. Она положила руки, в которых сжимала наган, на подоконник. Оба указательных пальца на курке. Губы сжаты. Глаза зорко следят за кустами.

Якуб порывисто обнял ее за плечи, поцеловал и сиганул в окно. В дыму его сразу не заметили. Лишь через несколько секунд посыпались из-за кустов выстрелы. Замелькали среди деревьев фигуры. И Зера стала стрелять. Не торопясь, спокойно. И не все ее пули летели мимо цели, не все. Один из бандитов рухнул ничком как раз напротив ворот и теперь лежал не шевелясь, раскинув руки.

— Эй, Зера, что ты, чертовка, делаешь? — разнесся по лесу гневный голос Халила-Бахвала.

И в этот миг окно заслонила собой Якуб Демирджи, осадив вороного. Зера вскочила на табуретку, поставила ногу на подоконник. Муж подхватил ее под руки, усадил перед собой, и Зера почувствовала, что они летят. Она и заметить не успела, как они оказались на лесной дороге. Позади полыхал дом. Чтобы не задевать головой нависшие над дорогой ветви, надо пригнуться. За спиной гремели выстрелы и истошный голос Халила:

— В коня не попадите, мерзавцы! За него я с вас голову сниму!

Якуб взял из рук жены наган и, оборачиваясь, посылал пулю за пулей назад. Но Карылгач, к счастью, могучий конь. В округе нет скакунов, которые могли бы за ним угнаться.

<sup>1</sup> Кашкыр — волк.

К полудню следующего дня они прибыли в Ташлык. Это было в двадцать первом. Как далеки теперь те дни, двадцать лет живут они в его памяти, и сколько раз перед взором проходил каждый тот миг. Как вот сейчас. Двадцать лет — а кажется, все это было только вчера.

Привыкший скитаться по свету, Якуб Демирджи из Ташлыка ни разу надолго никуда не уезжал. Не хотел оставлять одних молодую жену и дочь.

А года три спустя после того, как они поселились в Ташлыке, тут и школу открыли. Отвели под нее просторный дом некогда жившего в нем бая. С того времени и учила Зера ташлыкских ребятишек.

И сам Якуб Демирджи породнился со школой, хотя работал в колхозе простым кузнецом. Ремонт нужен — пожалуйста: он, Якуб, поможет. Лучшего мастера все равно не сыскать в округе. Нужно топливо — Якуб привезет. В каждую парту, в каждую доску им вколочен своей гвоздь. Ребятишки стекло разбили — вставит. Краска где облупилась — подкрасит. Словом, учительница Зера хлопот не знала. А нынче даже дом их под одной крышей со школой: жилье для учительницы уже потом пристроили, попозже. Во всяком случае, когда Якуб поднимался на свою крышу черепицу подправить, то заодно и на школьной крыше наводил порядок. Так и жили они с Зерой душа в душу. Не заметили, как дочка повзрослела, — замуж выдали. Теперь внук вот растет. Жизнь постепенно налаживаться стала — так нет же, проклятые фашисты.

Дед пристроился рядом с Рустемом на облучке.

— Но-о, милая, но-о!

Лошадь, однако, не спешила. Она мягко ступала по мокрой песчаной дороге, по сторонам которой щетинилось рыжее поле, где деловито расхаживали черные галки. Жеребенок отбежал в сторону, догадавшись, что гораздо приятнее и легче трусить не по дороге, а по стерне скошенной пшеницы. Ветер взъерошивал жеребенку гриву. Он то уносился далеко вперед, распутив хвост-кисточку по ветру, то возвращался. И сырые кустики полыни колыхались, задетые копытцами молодого скакуна.

Рустему вспомнился мотив песни, которую часто напевала мать, занимаясь шитьем, и он, сдвинув на затылок кепчонку, стал насвистывать.

Дорога, заросшая травой и еле приметная, змеилась по степи. Телега кренилась то в одну сторону, то в другую, лошаденка дышала шумно, временами всхрапывая. Под колесами хрустели камешки. Впереди уже виднелась убегающая к горизонту плотная стена неубранной кукурузы и подсолнухов. И чем ближе подъезжали к ней Якуб Демирджи с внуком, тем больше им казалось, что не огороды это вовсе, а земля, испуганная войной, встопорчила рыжую гриву.

А небо сияло, как шелк, и по нему плыли клочья белых облаков. Вдруг откуда-то сбоку, из-за самых облаков, донесся гул. Первым желанием Рустема было выпрыгнуть из телеги и спрятаться в какой-нибудь канаве. Но дед оставался спокоен, и это придавало ему уверенности. Дед придержал лошадь и, заслонившись ладонью от солнца, посмотрел на небо. Рустем тоже всмотрелся и отыскал в вышине две точки. Временами они ярко поблескивали, разлетались в стороны и вновь слетались, и кружились, кружились, наполняя все вокруг тяжелым режущим гулом.

— Ты что-нибудь видишь? — спросил дед, напрягая слезящиеся глаза.

— Вижу! — Рустем нацелил палец в лазурное небо. — Во-он!

— А мои глаза уже не те, — вздохнул дед. — Бывало, видел, как ястреб парит высоко в небе и потом камнем падает вниз.

Телегу опять закачал на ухабах. Рустем, привалясь к деду, задрал голову и наблюдал за поединком железных птиц. Вдруг вверху

что-то оглушительно скрежетнуло, точно пилой провели по металлу, и оба самолета, задымив, стали падать.

Телега уже двигалась вдоль высокой стены огородов, и оба самолета сразу же исчезли из виду. Дед и внук напрягли слух, но никак-го взрыва не донеслось. Через некоторое время дед сказал:

— В лиман, должно быть, упали.

Вскоре они остановились возле своего огорода. И пока дед распрягал потную лошадь, надевал путы на ее передние ноги и, сняв с морды сбрую, подвязывал торбу с ячменем, Рустем уже успел отломить несколько початков кукурузы, распотрошенных и полубоблеванных птицами.

— Правильно, — похвалил дед. — Не стоит терять времени.

Солнце поднималось все выше. Оно уменьшалось, но палило все жарче.

Рустем и дед то работали рядом, то теряли друг друга из виду, но по шелесту кукурузы Рустем определял, где находится дед. Сухие и жесткие листья хлестали по лицу и рукам, как настоящие сабли. В глотке першило от пыли, и Рустема вскоре начала мучить жажда. Он сложил собранные кочаны в мешок и отнес в телегу. Заодно хлебнул из бутылки воды, холодной и удивительно вкусной, и опять заткнул горлышко бутылки кочерыжкой.

Дед тоже принес несколько мешков кукурузы, телега уже была наполнена наполовину.

Уже был полдень, Рустем устал, однако ему не хотелось первым предложить отдохнуть. «Хоть бы деду пришло в голову покурить, — подумал он. — Тогда можно было бы ему растянуться на поваленных стеблях кукурузы и полежать, не шевелясь, несколько минут». За воротник набилась шелуха, и от этого потную спину пощипывало. Веки набухли, перед глазами плыли большие яркие шары. Рустем вытер рукавом со лба пот и вдруг увидел, что дед стоит, замерев, и к чему-то прислушивается. Рустем тоже перестал шуршать и напряг слух. И ничего не услышал, кроме громкого стрекота сорок. Тревожный переклик их все приближался. Наконец стало ясно, что огородами кто-то идет. Торопится, как попало раздвигая кукурузу. Шорох из глубины огородов приблизился и неожиданно затих. Через минуту послышался кашель, и глуховатый голос спросил по-русски:

— Кто тут?

Рустем взглянул на деда. Оба стояли, не двигаясь.

— Есть кто-нибудь? — снова донесся голос. — Ведь только что здесь кто-то был, черт возьми!

— Что нужно? — спросил дед.

Стебли заколыхались, раздвинулись, и из-за них появился молодой мужчина. Русоволосый, в черном комбинезоне с большой подпалиной на плече. В левой руке он держал наган, а правой прижимал к бедру, чуть выше колен, кожаный шлем. На боку болтался планшет, перекинутый на длинном ремешке через плечо. Мужчина сильно хромал, дышал тяжело, прерывисто. Видно, пришлось ему поплутать по огородам.

Дед стоял как вкопанный и внимательно глядел в незнакомца.

— В какой стороне каменоломня? Далеко? — с трудом переводя дыхание, спросил незнакомец, подойдя поближе.

И тут же ветер издали донес таракхтеные мотоциклов. Они, видимо, медленно двигались по дороге вдоль огородов. Незнакомец беспокойно оглянулся, как бы намереваясь снова исчезнуть в зарослях.

— Далеко до каменоломни, — медленно проговорил дед, и по его лицу было заметно, что он о чем-то мучительно думает. — Не успеете.

Мотоциклы приближались. А с противоположной стороны, из огородов, послышались отрывистые голоса немецкой команды. Фашисты двигались широкой цепью.

Дед решительно махнул рукой:

— Идемте! Скорее!

И размашисто зашагал к телеге. Пригнувшись, уперся плечом в ее борт, крикнул от усилия. Телега опрокинулась. Посыпались наземь кочаны. Дед взялся за край порожней телеги, рывком поставил ее на место.

— Ложитесь! — велел он растерявшемуся человеку, указав взглядом на дно телеги. Теперь ни дед, ни внук не сомневались, что это был советский летчик, тот самый, который часа три назад отважно сражался в небе. Наверное, ему удалось спрыгнуть на парашюте. Он понял, чего от него хотят, взобрался в телегу и лег. Дед принялся охалками хватать с земли початки и бросать их в телегу. Руستم кинулся ему на помощь, и они за какую-то минуту наполнили телегу доверху.

Сороки, перелетавшие с места на место, почти касаясь крыльями метелок кукурузы, смолкли, успокоились.

Голос раздавался уже совсем рядом.

Дед подтолкнул внука в сторону огорода и сам торопливо отошел от телеги. Взялись за работу, словно и не прерывали ее. Руستم заслонял от пыли и трухи глаза да время от времени утирал потное соленое лицо. Он забыл об усталости. Ломал и кидал. Ломал и кидал.

Воздух рассек резкий звук, кто-то хлыстом стеганул по макушкам кукурузы. Руستم от страху втянул в плечи голову. И увидел приближающихся со всех сторон немцев. Ему захотелось, чтобы все это вдруг оказалось сном, но это было наяву, и ему сделалось еще страшнее. Он обернулся, посмотрел на деда. У того лишь на мгновение напряглось лицо. И он крикнул в гущу огорода по-татарски:

— Мы простые люди! Крестьяне.

— Хальт, — раздалось в ответ.

— Хальт так хальт. Стоим.

Руستم попятился и на всякий случай встал около деда. К ним подбежал вертлявый человек в длинной черной шинели. В руках он держал винтовку.

— Кто такие? — крикнул он.

«Полицай», — догадался Руستم, увидев на рукаве у него белую повязку. Прячась за спину деда, расширенными от ужаса глазами смотрел он в черные дула наведенных на них автоматов — вдруг сейчас выстрелят! — и изо всех сил подавлял в себе желание оглянуться в сторону телеги.

— Кузнец я. Вон из той деревни, что за косогором.

— Какого черта тут делаете? — спросил полицай, раздраженный тем, что нашли не того, кого искали.

— Видите же, кукурузу снимаем, — спокойно сказал дед.

Солдаты тем временем, потеряв к старику и мальчишке интерес, расходились в разные стороны, с автоматами наизготовку. Озирались по сторонам, внимательно всматриваясь и прислушиваясь. Полицай тоже стал продираться к дороге, раздвигая стебли винтовкой.

Дед мельком глянул на внука, взвалил на спину мешок с початками и не спеша направился вслед за полицаем. Руستم тоже поднял полмешка и пошел за дедом, чувствуя, как подгибаются колени. Подойдя к телеге, хотел было забросить на нее мешок, но вдруг заметил на верхней доске борта пятно свежей крови. А рядом, в нескольких шагах, лихо подкатив, остановились четыре мотоцикла. Из коляски выпрыгнул долговязый офицер в высокой фуражке и длинной шинели. Ростом он был почти с деда, но тонок, как жердь, и дед, если бы случилось им по-честному бороться, наверное, переломил бы его пополам. Полицай замер, выпятив грудь, но при этом у него еще больше округлился живот, и казалось — вот-вот лопнет. Полковник медленными шагами приближался к телеге, держа руки за спиной. Руستم же, как нарочно, завозился с мешком, ну никак не мог забросить его через борт, чтобы ссыпать в телегу. И, главное, будто загипнотизированный, никак не мог оторвать взгляд от пятна крови. Как же обратить на это пятно внимание деда? Тот, к счастью, сам увидел. Взял мешок у внука и положил его

на край телеги, прикрыв свисающим концом верхнюю доску.

— А-а, старик... Карош старик, — сказал офицер, поднимаясь на носках и покачиваясь в своих блестящих сапогах. Его глаза с белесыми ресницами пронизывали насквозь. — Здесь никто не ходил, старик? Мы искать советский летчик!

— Не видел, господин полковник, — сказал дед, опустив руки по швам. — Мы с внуком работали здесь, никого не видели.

— Пусть твой внук ответит сам. Ты тоже не видел никого, кароший малчик?

Рустем отрицательно покачал головой, глядя на офицера.

Рысцей подбежал маленький, кругленький полицай и сообщил с готовностью:

— Староста из местной деревни видел, как кто-то бежал к огородам.

— Что же ты стоишь, полфан? Искать! Бистро искать! — рывкнул офицер. Он еще раз с сомнением оглядел старика и мальчишку, потом резко повернулся и зашагал к мотоциклу.

Солдаты опять рассыпались и снова углубились в огороды. Их пугал малейший шум, неожиданно возникающий впереди. Стоило вспорхнуть птице, как они начинали палить.

Мотоциклы умчались по проселку, огибающему огороды.

И тут сороки опять застрекотали над кукурузой. Их долгий и веселый стрекот слышался то в одном конце огорода, то в другом и постепенно отдалялся. Рустем вздохнул облегченно, необъятное небо простерлось над ним еще шире. Дед, не сказав ни слова, взъерошил у него на затылке давно не стриженные волосы и, смочив водой из бутылки край мешка, тщательно вытер им с телеги алое пятно. Незаметно постучал костяшкой о доску и спросил:

— Ну, как там?

— Порядок, — глухо донеслось снизу.

Дед взял мешок и, сделав внуку знак, снова углубился в огород. Они работали еще около часа и заполнили телегу до краев. Дед сказал, что хорошо бы вернуться в деревню, когда уже стемнеет.

Все шло вроде бы хорошо. Лишь на спуске с последнего взгорка, откуда уже были видны крайние дома деревни, колеса телеги, загромыхав, скатились в речку и увязли в ее илистом дне. Несколько початков свалились в почерневшую, как деготь, воду. Кобылица, бедняга, как ни упиралась трясущимися ногами, никак не могла сдвинуть телегу с места.

Мимо шли четверо румынов. Остановились. Один стал растолковывать знаками: мол, надо разгрузить телегу, иначе ее не вызволить, и, чтобы не быть голословным, взял охапку початков и сбросил на землю. Дед подскок к нему и оттолкнул от телеги. Тот развел руками и отошел к приятелям, которые стояли в сторонке, как видно, заинтересованные, как же этот хмурый старик выйдет из положения.

А дед распряг лошадь и отвел ее в сторону. Затем сам взялся за оглобли, зажал их под мышками. Качнул телегу назад, потом вперед. Еще раз назад и опять вперед. Велел внуку подтолкнуть сзади, стронул телегу с места один раз, другой — и вдруг, налившись кровью, побагровев, вдохнув в себя воздух, повез, повез... И Рустем, промокнув почти до пояса, изо всех сил налегал на телегу сзади. Румыны, громко переговариваясь, тоже кинулись к телеге, уперлись в нее руками. Наконец дед остановился, грудь его вздымалась и опускалась, со лба капал пот. Он подзадоривающе подмигнул внуку и подвел к телеге лошадь.

Румыны восхищенно цокали языками. Затем, похлопывая друг друга по плечам и громко переговариваясь, они направились к евпаторийской дороге.

Дед неожиданно вздрогнул, как от удара, и, приставив к бровям ладонь, посмотрел в ту сторону, откуда они только что приехали. И Рустем тотчас

увидел, как в той стороне, поднимаясь к небу, клубится дым.

— Огороды подожгли, нечестивцы! — Постучав легонько о борт телеги, дед сказал: — Решили выкурить вас.

— Я бы скорее сгорел, чем дался им в руки, — глухо слышалось в ответ из-под початков.

— Пошли, милая, но-о! — Дед потянул лошадь за уздечку.

На краю деревни группами стояли молчаливо люди и смотрели, как полыхают вдали их огороды. Ветер уже донес сюда запах гари.

В школе около походной кухни возились трое немцев. Один, в белом переднике, помешивал большим половником в котле. Двое других разламывали топором парту и подбрасывали крашенные доски в огонь. Вокруг распространялся вкусный запах вареного мяса.

Дед подкатил телегу к сараю, развернул ее и поставил задом вплотную к двери.

— Ступай домой, переоденься, — сказал он внуку, который изрядно продрог.

— Не, — Рустем отрицательно качнул головой, решив сначала помочь деду разгрузить телегу.

И хорошо сделал, что не ушел. Потому что в этот самый момент из-за угла появился Мурад. На плече у него болталась винтовка дулом вниз.

— Я же сказал тебе, чтобы ты вернул мне лошадь после полудня! — Возмущенно стал распекать деда полицай еще издали. — А сейчас который час, ты знаешь!

— У меня нет часов, дорогой. Во всяком случае, не полдень, наверно, — попробовал отшутиться дед.

— Я не шучу с тобой, старик! Я собрался ехать на мельницу за мукой! А ну-ка разгружай быстрее!

— Ну к чему такая спешка, сынок? Благодаря тебе мы такое большое дело сделали. И очень тебе благодарны. Зайди в наш дом хоть на часок, будь гостем.

Мурад давно не замечал со стороны своих односельчан такого доброго и почтительного отношения к себе и в первую минуту даже опешил. Потом сдвинул на затылок черную пилотку и, посмеиваясь, сказал примирительным тоном:

— Я думал, вас там изжарили вместе с летчиком, которого ищут!

Дед сокрушенно покачал головой:

— Ая-яй-яй, из-за какого-то парашютиста мы лишились пищи на целый год. — Обернувшись к Рустему, сказал: — Беги, скажи бабушке, пусть стол накрывает для гостя! — И опять Мураду: — Иди, сынок, в дом. Побалуйся чаем, пока я тут управлюсь.

Бабушку Рустем застал на кухне заплаканную. Он передал ей просьбу деда. Она всхлипнула, прижимая к губам конец платка, и со злостью сказала:

— В своем ли уме твой дедушка! Нашел кого в дом звать! Этот Мурад вместе с немцами коровушку нашу увел из сарая и зарезал своими руками, а я должна для него стол накрывать!

И Рустема захлестнула такая волна жалости к их Сырлы<sup>1</sup>, что он чуть не заплакал вместе с бабушкой, но в прихожей уже слышны были шаги Мурада, и он, схватив бабушку за руку, зашептал горячо и требовательно ей на ухо:

— Так надо. Понимаешь? Так надо. Дедушка велел...

У бабушки только чуть вздрогнули брови. Она поняла. Даже заставила себя улыбнуться, взглянув на полицая.

— Заходи, Мурад, — проговорила она.

Рустем вернулся к деду, который опасливо сваливал початки кукурузы прямо в дверь сарая. Выполнив, может и нехитрое, поручение, Рустем все же немножко чувствовал себя героем. Он сейчас был бы рад и каким-нибудь

<sup>1</sup> Сырлы — Пеструшка.

скромным почестям, хотя бы в виде похвалы деда. Но деду, как видно, было не до него.

Он велел внуку хорошенько глядеть по сторонам и в случае чего громко кашлять. А сам просунул руку под початки, ухватил летчика за плечи и мигом вытащил его из телеги. Летчик так ослаб, обессилел, что едва держался на ногах. Штанина его пропиталась кровью. Он слабой рукой пожал широкую ладонь деда:

— Меня зовут Андреем.

— А я Якуб Демирджи.

Дед уложил его в углу сарая на соломе, бросил рядом узелок с харчами, которые остались нетронутыми, и, спешно заваливая его соломой, сказал:

— Уж придется потерпеть до темноты, сынок.

А Рустем схватил старое ведро и мигом сбегал за водой к колодцу чтобы вымыть дно телеги, по которому разлилась лужа крови.

Мурад не засиделся долго. Влил в себя стакан разведенного спирту, когда-то оставленного Зере-оджа Эрнестом Алексеевичем для компрессов и растираний, и зачавкал, закусывая луком с куском лепешки. Покрытая пылью бутылка со спиртом с прошлого лета в чулане стояла. Дед в рот не брал хмельного, берёг для лечебных целей — ноги растереть или там поясницу, когда заломит. А сейчас не пожалел. И даже сам за компанию с Мурадом хлебнул глоток.

Бабушка налила в стаканы белого мутноватого свекольного отвару вместо сладкого чая. Мурад жевал кукурузные коржики: обжигаясь, прихлебывая маленькими глотками отвар и, устремляя на опечаленную бабушку осоловелый взгляд, советовал не больно-то сокрушаться из-за коровы — дескать, когда война кончится, власти выдадут две, а то и три коровы вместо одной. А сейчас какое-то время придется перебиться без молока. Подумаешь, утрата — корова! Тут на войне люди гибнут.

В ответ ему бабушка силилась улыбнуться, но вместо улыбки у нее выходила горькая гримаса.

Разговор за столом не вязался. Дед, узнав, что фашисты увели их корову, приуныл. Мурад раскурил немецкую папиросу и, разглагольствуя, жадно поглядывал на дедовский недопитый стакан. И дед придвинул к нему свою порцию хмельного. Мурад одним духом опрокинул содержимое стакана в рот и встал, ссылаясь на неотложные дела. Дед вышел с ним во двор, чтобы передать телегу и лошадь из рук в руки, в целости и сохранности. А когда вернулся, на столе стоял казанок с кулешом из кукурузной муки, над которым вился душистый пар. Дед усмехнулся бабушкиной хитрости. И она, заметив это, проворчала:

— Глаза бы мои на него не смотрели! Слава богу, убрался. Давайте теперь поедем по-людски.

И Рустем, и дед с жадностью накинулись на еду, ибо с самого утра у них и маковой росинки во рту не было, а наработались и напереживались вдовсталь. А бабушка сидела за столом усталая, деревянная ложка в ее руках дрожала. Тихо, будто боясь, что кто-нибудь может подслушать, она рассказывала:

— Как только вы уехали, ворвались в деревню мотоциклисты. Пошли по дворам. На чердаки лазили, в сараи и курятники заглядывали, из автоматов палили. Вверх дном все перевернули, изверги. Летчика какого-то искали. А из дома в дом их этот Мурад водил. Летчика никакого не нашли, а увидели нашу Сырлы... — Бабушка опять всхлипнула и поднесла к глазам кончик платка. — А этот полицай, проклятый, прямо на моих глазах опутал ей ноги веревкой, повалил и ножом по горлу.

Дед молчал, что-то обдумывая, взвешивая в уме. Он хмурил брови и из-под прищуренных век пристально смотрел в одну точку на столе, на солонку с лежащим в ней надкусанным кружочком лука. Он вытер вышитым полотенцем губы и как бы мимоходом бросил, пристукнув несколько раз ногой об пол, под которым был погреб:

— Знаешь, голубушка, наведи-ка порядок в этом погребе. Приготовь там постель. И чтоб помягче была.

Бабушка долгим взглядом посмотрела на мужа.

— Сделай, о чем прошу. Потом все узнаешь...

Но бабушка уже и сама все поняла.

— Рустем! — позвала бабушка. — Оденься потеплее и позови мне Имета, Феми и Найле.

Рустем посмотрел в окно, за которым шел снег вперемешку с дождем, и мысленно совершил прогулку по деревне, припоминая, где живут эти ребята и девочка. Он колебался всего секунду, и бабушка не успела догадаться, что сломала внуку все планы. Он собирался спуститься в погреб к дяде Андрею, а тут — иди куда-то в холод, сырость. Бабушка начала было объяснять, где живут эти ее ученики, но Рустем не дослушал ее и вышел в прихожую одеваться.

Уже больше двух недель дядя Андрей у них. Ему сейчас гораздо лучше. А в тот день, когда дед, дождавшись, наконец, темноты, пошел за ним в сарай, дядя Андрей находился в полузабытьи и бредил. Нога распухла, у него был сильный жар. Дед велел Рустему выйти из сарая и хорошенько поглядеть по сторонам, чтобы их никто не увидел. Рустем сбегал за один угол, потом за другой, вернулся и сказал, что поблизости ни души. Тогда дед взвалил раненого летчика себе на спину и перенес его в дом. Лампу не зажигали. Бабушка сдвинула в сторону стоявший посреди кухни стол и открыла крышку погреба. Дед, ступая по шаткой лестнице, осторожно спустился вниз вместе с раненым. Тут он заранее, еще днем, отодвинул в сторону кадушку из-под соленья, ларь, где хранились раньше мука и всякие крупы, и соорудил топчан, положив на пару крепких ящиков широкие доски, а сверху постелив матрац из соломы. Бабушка накрыла постель белой простыней, впусшив, положила подушку.

Погреб освещался свечкой, поставленной на табурет у изголовья. Бабушка подала деду таз с теплой водой и спустилась вниз сама с какими-то склянками в руках. «Слава богу, немного спирту осталось», — сказала она.

Чтобы летчику перевязать ногу, ему пришлось разрезать штанину, пропитавшуюся кровью...

— Только быстренько. Нигде не задерживайся, — напутствовала бабушка, выйдя во двор следом за внуком и поправив шапку на нем.

По ташлыкским улицам, однако, не очень-то разбежишься в такую погоду. Ноги скользили по раскисшей земле, разъезжались, к каждому башмаку налипало по пуду грязи — того и гляди оставишь их в какой-нибудь луже.

Рустем обогнул школу, возле которой двое немцев разбивали топором книжные шкафы на дрова, и медленно, с трудом вытаскивая из грязи ноги, зашагал мимо крошечного, осевшего от ветхости дома, стоявшего, как и школа с пристройкой, где они жили, на отшибе; в нем обитали почти всегда хворые старик со старухой, четверо сыновей их ушли в один день на войну. Путь Рустема был бы гораздо прямее и ближе, если бы он пошел мимо колхозного правления, над входом которого нынче висел немецкий флаг со свастикой, а напротив, на разбитой колесами машин площадке, стояли две самоходки на гусеничном ходу, облепленные грязью, и черная, видно только что вымытая, легковушка. У легковушки был открыт копот, шофер ковырялся в моторе. Мальчишки селения боялись этого места и всегда старались обойти его.

Поодаль, у въезда в деревню, виднелся застрявший немецкий грузовик с брезентовым верхом, похожий на огромный фургон. Словно диковинный пятнистый зверь, то с рыком кидался он вперед, то пятился назад, раскачивался и увязал все глубже и глубже. Два дюжих солдата в плащах с капюшонами таскали из ближайшей скирды солому и кидали под колеса.

Дядя Андрей сказал: «Запоминай всё, что видишь. Пригодится». И Рустем был предельно внимателен, все запоминал.

Рустем раза четыре спускался к дяде Андрею в погреб. Садился на краешек топчана, и они беседовали. Рустем рассказывал об отце, который служил на границе, о матери, уехавшей к нему, и о том, как он по ним соскучился. А дядя Андрей говорил о самолетах, о небе, о том, какой видится земля сверху. Они сразу же подружились, мальчик и раненый летчик. Считай, они уже несколько дней были друзьями. И Рустему, шагавшему сейчас по слякоти, приятно было думать об этом. Дядя Андрей был военным, как и отец Рустема, и уже одним этим расположил мальчика к себе.

Деревня словно вымерла. Нигде не видно даже ребятишек, которые и в такую погоду, обычно укрывшись под каким-нибудь навесом, играли в лягу или в ножички. А сейчас то там, то здесь появляются лишь солдаты в пятнистых брезентовых плащах и блестящих, как мокрые арбузы, касках.

Ближе всех был дом Исмета. Стоя напротив его окон, Рустем сложил рупором ладони и крикнул:

— Исме-ет! Э-э-эй!

Никто не откликнулся.

Несколько раз позвал Рустем, но дом, казалось, был пуст. Пришлось подойти и, отворив дверь, заглянуть в прихожую: по земляному полу была в беспорядке разбросана старая обувь — башмаки с дырявыми носами и стоптанными задниками, рваные галоши. Из комнаты через приотворенную дверь доносилось ритмичное постукивание, будто в ступе зерно толкут. Знакомое постукивание, однако давным-давно позабытое.

Рустем счистил с туфель грязь о валявшийся у двери кирпич, чтобы не наследить, пересек прихожую и открыл дверь в комнату.

Исмет, сложив по-восточному ноги, сидел на подстилке. Одной рукой он на коленях придерживал книгу, а другой энергично раскачивал колыбель, которая и постукивала. При этом он еще и негромко пел.

— Привет, Цезарь! — весело приветствовал его Рустем.

Исмет вздрогнул. Быстро закрыл книгу, спрятал ее за спину. Узнав Рустема, успокоился и положил «Историю СССР» рядом с собой.

— Что это ты с порога сразу обзываешься? — буркнул обиженно.

— Сам читаешь историю, а сам не знаешь, что когда-то жил царь такой, Цезарь. Он обладал даром заниматься одновременно несколькими делами. Как ты: и колыбель качаешь, и читаешь, и поешь.

— Скажешь тоже, — улыбнулся Исмет, с прежним рвением продолжая раскачивать колыбель. — Мы про такого еще не проходили. Здесь про него не написано.

Колыбель постукивала и подпрыгивала, голова младенца перекатывалась из сторону в сторону, словно дыня на тоненьком стебельке. Братик Исмета родился два месяца спустя после того, как их отец ушел на фронт, совсем еще маленький.

— Ты что трясешь его, как погремушку? — сказал с укором Рустем.

— Боюсь, как бы опять не разорался... Едва мать за порог — он давай орать. Еле успокоил. Тут где-то недалеко немцы лагерь для военнопленных устроили, слышал? — Рустем отрицательно покачал головой, и Исмет продолжал: — Немцы их голодом морят, не кормят совсем. В деревне для них продукты собирают, кто что даст. Мать несколько сухариков понесла. А мне велела вот с этим... горлодером сидеть. А ты что? По делу пришел?

— Угадал. Бабушка велела позвать тебя.

— Зачем?

Рустем неопределенно пожал плечами:

— Не знаю. Велела и все.

— Ругать, небось, станет, что учиться не хожу, — высказал вслух предположение Исмет и вздохнул. — Но ведь никто не ходит. Староста же запретил.

Рустем пожал плечами:

— Придешь?

— Вот мама вернется, и сразу прибегу.

— Ну, пошел я. Мне еще к Найле надо зайти и к Фёми. Бабушка просила их тоже позвать.

Найле жила неподалеку от Исмета, через три дома. Рустем застал ее на веранде в окружении братишек и сестренки — мал мала меньше. Она сидела на корточках, склонившись над лоханью, и стирала, подливая из стоявшего рядом кувшина воды, настоянной на золе. Мальши, балуясь, взбирались ей на спину, тянули за подол, отталкивая друг дружку и смеясь, а она с притворной строгостью прикрикивала на них, журила, что мешают. Увидев Рустема, Найле поднялась, отбросила прядь с потного лба и шикнула на ребятишек, чтоб не шумели. Затем приветливо поздоровалась с Рустемом, осведомилась о здоровье его бабушки и деда.

Рустем сказал, что бабушка велела позвать ее. Впрочем, не только ее, а еще Исмета и Феми. Найле и спрашивать не стала, зачем. Она была старостой класса, и учительница всегда считала ее первой своей помощницей.

— Вот только управлюсь, и приду, — сказала Найле и, отведя взгляд в сторону, с грустной улыбкой добавила: — У мамы тиф... Неделю с постели не встает.

Рустем помолчал, выказывая тем самым Найле свое сочувствие. Название болезни ничего ему не говорило. Он только знал, что когда болеет мама — это очень плохо. Потом Рустем попросил Найле растолковать ему, где живет Феми. Девочка, шаркая надетыми на босу ногу галошами, проводила его до угла и объяснила, как ему удобнее пройти.

Рустем пошел, с трудом волоча разбухшую потяжелевшую обувь, а Найле вслед ему крикнула, чтоб поостерегся — у соседей Феми огромная черная собака. Председатель колхоза Меджит-ахай ушел в партизаны и семью свою увел, а собака осталась. Лежит у калитки и рычит на всех, кто приблизится, дом сторожит.

Рустем издали увидел тощую черную собаку и, поблагодарив мысленно Найле, подобрал камень. Собака заметила его приготовления и побежала, воровато оглядываясь, за угол.

Дверь в доме Феми, несмотря на холод, была распахнута настежь. Не дойдя до него нескольких шагов, Рустем услышал плач. Он остановился у порога и минуту колебался, войти или нет. Плач доносился то громко, то затихал, и слышались только всхлипы и вздохи. Когда стало тихо, Рустем все же набрался решимости и вошел.

Молодая женщина ничком лежала на постели, а Феми стоял около нее на коленях, одной рукой гладил ее плечо, а в другой держал стакан с водой. Он, как заведенный, бесцветным усталым голосом твердил одно и то же:

— Ну, хватит, мамочка, успокойся... Ну, хватит, мамочка, успокойся...

Женщина почувствовала, что кто-то вошел, и подняла опухшее от слез лицо, села, приглаживая волосы, одернула платье.

Рустем поздоровался еле слышно.

— Моего брата убили. Старшего, — произнес сдавленно Феми, и слезы затуманили его глаза, было заметно, что он изо всех сил сдерживается, чтобы не заплакать в голос. — Ночью его друзья приходили. Из леса. Они сказали.

Женщина опять закрыла лицо руками. Ее плечи судорожно затряслись.

Рустем стоял растерянный и не знал, что делать, как помочь Феми и его матери. Когда женщина успокоилась и задышала ровно, он легонько коснулся локтем Феми и шепнул:

— Тебя бабушка просила зайти...

— У мамы с сердцем... Временами задыхается. Воздуху не хватает. Нельзя ей одной...

Женщина взяла у сына стакан с водой и сделала несколько глотков.

— Мне полегче, сынок, — сказала она, положив левую руку на грудь. — Раз учительница зовет, ступай. Просто так она не послала бы за тобой.

Спустя какой-нибудь час Исмет, Феми и Найле сидели в доме у своей учительницы за кухонным столом. Рустем, опустившись на корточки перед дверцей плиты, кинул в нее пару сухих кизяков, подул, чтобы они разгорелись. Из дверцы повалил дым, и у него на глазах выступили слезы.

— Соскучилась по вас, детки, вот и позвала, — сказала Зера-оджа, наливая всем компот из сушеных яблок. — Расскажите, как живете, чем занимаетесь?

Феми шмыгнул носом и, опустив голову, утерся рукавом. Зера-оджа погладила его по голове:

— Знаю о вашем горе, мой дорогой. Рустем мне все рассказал. Никакие слова утешения не облегчат твоих и маминых переживаний. Ты должен стать маме опорой, помочь ей перенести это горе.

Найле подняла на учительницу большие глаза, на ее длинных черных ресницах повисли слезы.

— Я тоже маме помогаю как могу. Но ей с каждым днем все хуже и хуже. Неужели она не поправится, а, оджа? Неужели моя мама умрет? Люди говорят, что от тифа все умирают... — Найле обняла подошедшую к ней Зеру-оджа за талию и прижалась к ней мокрым лицом.

— Это серьезная болезнь, — сказала Зера-оджа, поглаживая девочку по худым вздрагивающим плечам. — Но давай верить, что мама твоя справится с ней, поборет ее. И мы должны помочь твоей маме. Иначе, что мы скажем твоему отцу, когда он вернется с фронта? Исмет, к тебе вот какая просьба. Прямо сейчас ты и Рустем ступайте в совхоз. Там живет врач Эрнест Алексеевич. Скажите ему, что я очень просила его прийти в нашу деревню и посмотреть маму Найле. Он очень хороший человек. Правда, и сам еле ноги таскает, но, думаю, придет, не откажет.

Исмет залпом выпил свой компот и поднялся из-за стола.

В плите гудело пламя, и от ее чугунного верха начало исходить тепло. Рустем бросил поверх пылавшей соломы еще несколько кусков кизяка и вслед за Исметом вышел в прихожую и стал одеваться.

— Постарайтесь уговорить, чтобы он вместе с вами пришел, — сказала вслед им Зера-оджа, когда они выходили из дому.

— Спасибо, оджа, — пролепетала Найле. — Я так боюсь...

— Скажите, дети, вы по школе не соскучились? — спросила учительница. — С сентября уже два с половиной месяца прошло, а мы всего несколько раз позанимались.

— Соскучились, оджа, еще как, — сказал Феми. — Но ведь...

— Мы с вами, дети, не должны прерывать учебу. Я позвала вас, чтобы попросить помочь мне в этом. — Зера-оджа села напротив Феми и Найле, не спускаящих с нее глаз, отогнула край клеенки и вынула из-под нее листок бумаги. — Это список детей, которые в этом году должны были впервые прийти в школу. В первый класс. Этот праздник у малышей отняли. И все же они должны начать учиться. Я вас прошу: обойдите все дома и скажите родителям первоклашек, что я, Зера-оджа, убедительно прошу их собраться сегодня в четыре часа в клубе... И всех наших старшеклассников позовите...

Солнце село, но было еще светло. На земле лежал снег. Правда, не кипенно-белый, а чуть сероватый, покрытый тончайшей пленкой золы. Ветер приносил эту золу со спаленных огородов.

Поскрипывала на ржавых петлях дверь, в кузню проникал запах мерзлой земли и прелой соломы. Солнце в эту пору садится совсем рано. Едва оно погружается за горизонт, Якуб Демирджи прибирает инструменты и велит внуку гасить в печи жар. Много людей за день приходит к ним в кузню. В большинстве — женщины. Трудно живется бедным женщинам без мужиков. Ножик наточить, и того не умеют. Вот

и идут все в кузню. Кому ведро запаять, кому ручку к топору приделать, кому ручную мельницу починить. Стал Якуб Демирджи и кузнецом, и столяром, и механиком. И внуку возле него — польза. Глядишь, тоже научится кое-чему. Поэтому дед не возразил, когда Рустем сегодня вдруг сказал:

— Можно, я еще немножко поработаю?

Дед кивнул. И даже не спросил, что он тут намерен делать один. Что бы ни смастерил — все равно хорошо.

А мальчику хотелось смастерить миниатюрный самолет из куска дюрала, чтобы подарить дяде Андрею. Он сделает ястребок и на крыльях нарисует звездочки.

Дед снял кожаный передник, инструментов убирать не стал. Вытирая о тряпку руки, хмуро бросил:

— Потом сложишь в ящик.

Рустем заметил: в дедушке произошла резкая перемена, когда до их селения дошла весть о том, что наши войска оставили Керчь. Словно черный смерч, пронеслась эта весть по крымской земле. Но еще отчаянно сражался Севастополь. По ночам можно было видеть, как северо-западную оконечность неба рвут в клочь всполохи, и с той стороны глухие, как стон, доносятся раскаты.

Дед направился было из кузни, но на пороге остановился и, не стесняясь внука, крепко выругался. Рустем подошел к нему. Отсюда было видно, как в деревню медленно въезжают, одна за другой, четыре тупорылых автомашины с огромными кузовами, крытыми брезентом. Проехали мимо кузни, переваливаясь на рытвинах; возле правления колхоза, где теперь комендатура, свернули вправо и остановились около амбара с пшеницей, почти вплотную подрулив к стене. Фашисты всегда ставят свои машины впритирку к домам, полагая, что так их не заметят советские летчики, а если и заметят, то не станут бомбить из опасения попасть в чье-то жилище.

Возле машин замелькали серые фигуры солдат. Они разгружали тюки с мешками.

Дед стукнул кулаком о косяк:

— Грабители! За нашим хлебом приехали!

Сегодня полицаи ходили по домам, сгоняли людей в амбар — насыпать пшеницу в мешки. С утра, наверное, начнут возить на станцию.

Уходя, дед на всякий случай предупредил Рустема, чтобы он не забыл запереть дверь, и под его неспешными шагами заскрипел утопанный плотный снег.

Рустем плавно подергал за ручку мехов. Под пеплом разгорался жар, и казалось, что задремавший было огонь все шире раскрывает свои драконьи глаза. Рустем смотрел, как постепенно раскаляется сунутая в жар дюралева пластина, и думал о том, что дед сейчас спустится в подпол и расскажет дяде Андрею о прибывших грузовиках. Дня три назад, когда они сидели втроем в погребе, как раз и зашел разговор о пшенице.

«Неужели ничего нельзя предпринять?» — спросил дядя Андрей, как только узнал о полном амбаре хлеба в их деревне.

Дед молчал. Он действительно не знал, что можно сделать, чтобы хлеб не достался фашистам.

Дядя Андрей приподнял голову с подушки и посмотрел на Рустема: «А что если мы поговорим с твоим другом Саидом? По твоим словам, это очень смелый парень»...

Они сидели при свече, и было слышно, как шипит желтоватый язычок пламени.

Дядя Андрей сделал неосторожное движение забинтованной ногой, лежавшей поверх одеяла, и поморщился от боли.

«Сбежал бы как-нибудь за ним. Пусть придет ко мне, — сказал он. — Лучше, если ночью...»

Недели две назад приходила мать Саида — посоветоваться с бабушкой. Привыкли сельчане во всем советоваться с учительницей. Особенно,

когда что-то касалось их детей. Мать Саида, понизив голос до шепота, рассказала, что третьего дня вернулся ее сын, оборванный, измученный, исхудавший. И теперь прячет она его в нише за сундуком, поверх которого сложены одеяла. Прознают фашисты, упекут в «добровольческий» отряд или ушлют в свою Германию. Что делать?

Бабушка сказала, что таким парням, как Саид, место в лесу, у партизан. «А где их искать?» — спросила мать Саида. Этого бабушка не знала, но к своим словам добавила, что Саид парень смысленный, сам сообразит.

Они разговаривали на кухне, сидя за столом, и дядя Андрей, обычно настораживающийся, едва кто войдет, оказывается, все слышал.

Вечером, когда Рустем спустился вниз, они долго сидели молча, потом дядя Андрей спросил у него, как у взрослого:

— Как ты думаешь, надолго к нам фрицы? — Так спросил, будто Рустем и в самом деле мог это знать. Видно, только об этом и думает, лежа тут целыми днями в темноте.

Рустем пожал плечами:

— Дедушка говорит, они ведут себя, как хозяева.

— Что же это получается? В деревне настоящих хозяев не осталось? Похозяйничали бы у меня фрицы, будь у меня нога цела!

— А что бы вы сделали? — спросил Рустем с некоторой обидой за своих сельчан. — Фрицы и полицаи чуть что — стреляют.

— Что-нибудь придумал бы, не сидел бы сложа руки. — И после паузы дядя Андрей неожиданно спросил: — Что за парень такой Саид? Ты его знаешь?

— Это мой друг, — сказал Рустем. — Он комсомолец... — И этим все было сказано.

После этого у них несколько раз заходил разговор о Саиде. Рустем говорил о нем охотно. А сейчас дяде Андрею почему-то захотелось увидеться с ним.

— Ладно, я скажу ему... — неуверенно пообещал Рустем.

— Что это за ответ, — усмехнулся дядя Андрей. — Слово пионера должно быть твердым.

— Хорошо, я приведу Саида! — сказа Рустем.

— Вот это другое дело, — улыбнулся дядя Андрей и дружески подмигнул ему: — Действуй!

Саид пришел поздно вечером. Дед надел тулуп и вышел на улицу убедиться, что за парнем никто не увязался.

— Что же вы припасли столько хлеба для врага? — в упор спросил дядя Андрей у Саида, едва они успели познакомиться.

— Хотели как лучше... Думали, успеем отправить, — с виноватым видом оправдывался Саид.

— Теперь, товарищ комсомол, давай думать, как сделать, чтобы этот хлеб им не достался.

Наверное, они по сей день все еще об этом думают. А фашисты вон уже свои машины к амбару подогнали.

Рустем поплевал на ладони, надел рукавицы и щипцами вынул из огня раскаленный кусок дюрала. Держа его на наковальне, стал обстукивать молотком. Целыми днями помогал он деду ковать новые зубья для борон, делать ступицы для колес, клепать развалившиеся плуги. Работая молотком, он часто украдкой поглядывал на свои бицепсы, думая, когда же они наконец станут выпуклыми и твердыми, как перевитая узлами древесина карагача. Он трудился, не жалея рук, и они у него заметно огрубели. Самостоятельная работа доставляла ему особое удовольствие. Он терпеливо бил молотком по металлу, придавая ему нужную форму. Удивлялся и радовался, что горячий металл поддается. Рустем уже многому научился. Дед иногда шутит, что из внука получится первоклассный кузнец. А что? И правда, получится! В прежние времена, когда мать спрашивала: «Кем же

станет мой сынок, когда вырастет большой?» — Рустем без колебания отвечал: «Пограничником! Как папа!» Как же далеко отодвинулись те светлые дни, когда мать была с ним рядом, когда он мог прикоснуться к ней рукой, говорить с ней, слышать ее голос. Где она сейчас?

Стоя лицом к лицу с дедом у наковальни и держа щипцами какую-нибудь железку, Рустем нередко задумывался о матери. В такие минуты он переставал слышать грохот молота и голос деда, который просил его повернуть железку то так, то эдак. И деду приходилось по нескольку раз повторять просьбу.

Пламя в печи угасало, и в кузнице стало темно. Можно было промахнуться и огреть себя молотком по руке. Рустем уже собирался заканчивать работу, когда посторонний голос заставил его вздрогнуть.

— Привет! — громко сказал долговязый паренек, перешагивая высокий порог.

— Привет! — ответил Рустем, взглядываясь в вошедшего.

Отблески горящего в печи угля осветили его лицо, и Рустем узнал Азама-Невидимку. Опустив молот на наковальню, он остановил на нем недоверчивый взгляд, каким окидывал тех, с кем был не очень дружен.

— Трудимся, значит? Давай, давай. Труд превратил обезьяну в чело-века, — сказал Невидимка, обнажив в ухмылке редкие зубы.

Рустем промолчал, хоть и напрашивался неожиданный гость на грубость. Сначала надо выяснить, что привело его сюда. Всем своим видом давая понять, что он нисколько не боится этого задаваку, Рустем отложил щипцы, молоток и сунул руки в карманы. От греха подальше. Рукам лучше иметь дело с раскаленным железом, и чужие мысли ими все равно не ухватишь.

— Чего тебе? — спросил Рустем, и в голосе его прозвучали не свойственные ему вызывающие нотки.

— Кой-кому, кажется, неясно... — продолжал ухмыляться Невидимка. — Кто сейчас трудится, тот льет воду на мельницу наших врагов...

— Твоя матушка сегодня весь день потела, насыпая пшеницу в мешки, точно в карманы им сыпала, — выпалил Рустем.

С лица Невидимки сбежала усмешка. На худых скулах заходили желваки. Он сделал шаг и взялся рукой за опорный столб. Рустем замер. Невидимка сейчас может наброситься на своего обидчика с кулаками. Рустем на всякий случай взял молоток и для острастки стукнул им слегка о наковальню.

Невидимка стоял в той же позе, держась рукой за опорный столб и выставив вперед левую ногу. Неожиданно он засмеялся и примирительным тоном сказал:

— Ладно, не обижайся.

Рустем стал оббивать молотком края уже остывшего дюрала. Невидимка смотрел на его руки в ссадинах.

— Что ты делаешь? — спросил Невидимка.

— Что надо, то и делаю, — отрезал Рустем. Другого разговора этот петух не заслужил.

— Самолет, что ли? Думаешь, получится?

Рустем обычно злился, когда ему говорили, что он не справится с тем, что задумал смастерить.

— Получится! — твердо сказал он.

— Вижу, что получится, — согласился Невидимка. — Как настоящий. Наш, да?

— А то чей же?

— Смотри-ка! А здорово ты наловчился!

— Сейчас звезды нарисую.

Азам-Невидимка обернулся на дверь. На улице быстро смеркалось. В небе засияли первые две-три звезды. Обычно, чем яснее звезды, тем морознее ночь.

— А я к тебе по делу. Выручишь? — сказал Невидимка. Голос его прозвучал неуверенно и даже как-то просительно.

«Надо держать ухо востро, — подумал Рустем. — Чтобы не оказаться в дураках».

— Какое еще дело?

— Одолжи напильник... До завтра.

— Зачем тебе?

— Нужен, вот так. — Невидимка провел ребром ладони по горлу. — Не стал бы клянчить.

— У нас только один. Если потеряется...

— Утром принесу. Вообще-то я стащить хотел. За тем и пришел. Но ведь ты и так дашь, верно?

Минуту Рустем колебался. «Наверняка бы стащил, если бы напильник лежал на виду». Ох, как не хотелось выручать этого задиру. И все же он выбрал среди инструментов, лежавших в железном ящике, трехгранный напильник и протянул Невидимке.

— Только обязательно принеси.

Тот почти выхватил напильник и был так доволен, словно всю жизнь только о том и мечтал, чтобы заполучить эту шершавую железку с острыми гранями.

Невидимка опрометью выскочил наружу, а Рустем вслед ему крикнул:

— Смотри не подведи!

Рустем убрал инструменты, плеснул в очаг воды. Сунув за пазуху еще теплый самолет, вышел из кухни.

Над полем в сиреновой дымке парили скирды, точно мираж. Деревня тонула во мгле. Если в чьем-нибудь окне промелькнет полоска света, фашисты стреляют без предупреждения. На окраине хрипло лаяла чья-то продрогшая голодная собака. Наверное, Меджита-ахая собака, председателя.

Рустем закрыл одну створку двери, потом другую, ржавые петли скрипели, сдвинул железный засов и повесил замок. И, стараясь согреться, вприпрыжку побежал по тропке, похожей на ручеек. Но внезапно, вспомнив о чем-то, зашагал медленно, степенно, бессознательно подражая походке деда, который ходил слегка вразвалку.

Бабушка уже приготовила скромный ужин, но они с дедом еще не садились есть — дожидались его, как обычно ждут с работы взрослого человека.

Бабушка проверила светомаскировку на окне и подняла иголкой фитилек у коптилки, налила в рукомойник подогретой воды.

Рустем умывался долго, с наслаждением, не торопясь и фыркая. Бабушка тем временем выставила на стол горячий чугунок с картошкой в мундире, поджаристые кукурузные лепешки.

После ужина Рустем, как обычно по вечерам, решил спуститься в подвал к дяде Андрею. Для этого всякий раз приходилось отодвигать массивный квадратный стол, за которым они ели, и отворачивать половик с крышки люка.

Прежде из погреба несло сыростью и приторным запахом залежалого картофеля. Сейчас здесь было тепло, пахло плавленной свечой и жильем. Дядя Андрей полулежал, подложив за спину две подушки. У его изголовья на табуретке горела свеча. Рустем присел рядом с ним.

— Какие новости? — спросил дядя Андрей.

Он себя чувствовал, как может себя чувствовать птица с перебитым крылом, привыкшая окидывать взглядом землю с подоблачной высоты и видеть разом все, что на ней творится. И мальчик для него был как бы посланцем из того другого мира, куда ему пока была заказана дорога и откуда он с такой жадностью ежечасно, ежеминутно ожидал вестей.

— Ничего хорошего. Дедушка, наверное, уже рассказал.

— Что машины прибыли? Да-а, дали мы маху. Саида не видел?

Рустем отрицательно покачал головой. О том, что сегодня утром ходил к нему домой, спросил потихоньку у матери Саида, можно ли с ним повидаться, а та вдруг набросилась, точно дикая кошка, и едва не огрела его скал-

кой, да прогнала, крича вслед: «С тех пор, как он отправился с овцами, глаза мои больше не видели моего бедного сыночка!» — об этом Рустем умолчал, не стал рассказывать.

Дядя Андрей посуровел и скомкал в кулаке край простыни:

— Куда же он запропастился? Э, будь мои ходули в порядке...

Дядя Андрей сегодня побрился и выглядел совсем молодым.

Ну, может, чуть постарше Саида. А обросший он почти смахивал на деда. Только у деда, если он не побреется несколько дней, вырастает седая щетина, а у дяди Андрея — темно-рыжая.

Сейчас летчик был хмур. Даже говорить ему не хотелось. Расстроился, что не удалось помешать фашистам увезти хлеб.

Рустем вынул из-за пазухи блестящий самолетик. Держа его двумя пальцами за хвостовое оперение и выводя протяжное монотонное «тр-р-р», описал им в воздухе дугу и мягко посадил на грудь раненого.

— Вот это да! Где взял? — удивился тот, и в глазах его зажглись радостные искры.

— Сам сделал.

— Са-ам?! Ну, молодец!

Дядя Андрей оживился. Стал рассказывать о воздушных боях, в которых участвовал сам, и о тех, которые наблюдал с земли. Он вертел в своих тонких пальцах самолет Рустема, и мальчику казалось, что самолет этот настоящий — выписывает петли, защищается, уходит от преследования противника, идет, атакуя, в пике. И Рустем уже видел себя в небе, в кабине юркого истребителя под плексигласовым колпаком. Он ведет воздушный бой, исход которого решают даже не секунды — доли секунды.

Послышался шум, завибрировали обитые досками стены погребца. Видимо, неподалеку проезжал тягач на гусеницах. Дядя Андрей настороженно прислушался.

— Но ведь это так трудно — быстро принять правильное решение. Наверно, это умеют летчики и разведчики, — сказал Рустем, выслушав рассказ дяди Андрея. — Я бы, наверное, не смог.

— В жизни каждого человека бывают минуты, когда он должен принять единственно верное решение. Иногда от этого зависит вся его дальнейшая жизнь. Бывает так, что она, жизнь эта, в тягость становится. Взять, к примеру, старика Мусу-бабая, о котором ты мне рассказывал. Он рассудил так: война без жертв не бывает. Я старик, свое прожил, и пусть лучше погибну я. А молодая невестка и внук должны остаться жить. У них еще вся жизнь впереди. Ошибись Муса-бабай в тот ответственный миг — и жизнь стала бы для него мучением. Верно?

— Но ведь часто бывает: сделаешь что-нибудь, а потом только понимаешь, что сделал не то.

— Нет, брат, так не годится, — засмеялся дядя Андрей. — Прежде чем что-то делать, надо хорошенько подумать.

— Сами же говорите: за одну секунду. Как тут успеть?

— Дело в том, что один может принять правильное решение в долю секунды, а другому на это и жизни не хватит. Вот тебе, к примеру, сколько времени нужно, чтобы принять важное решение? Минуты хватит?

«Ну, не такой уж я тугодум», — подумал Рустем и сказал:

— Полминуты.

— Тогда, прежде чем решиться на что-то, считай до тридцати... Я в детстве так и делал. Увижу, скажем, на заборе синицу — хватя из кармана рогатку. Цельюсь, а сам считаю: раз, два, три, четыре... Синица ф-р-р-р, и улетела, а я рад. Так ни одной птицы и не убил...

— Целых полминуты!

— Для начала совсем неплохо и полминуты. Потом тебе будет хватать двадцати секунд. Десяти! И наконец — одной секунды! Это приходит постепенно. Надо тренироваться.

Сверху заскрипели половицы. Шаги бабушки.

Наверно, они еще долго сидели бы и беседовали, но приоткрылась

крышка люка, пропустив в погреб желтую полоску света, и мелькнула бабушкина рука.

— Пора, сынок, спать. Пусть и дядя Андрей отдыхает, — слышался голос бабушки.

Рустему совсем не хотелось покидать погреб, где ему теперь так нравилось проводить время. Они пожелали друг другу спокойной ночи, и Рустем полез по лестнице вверх. Бабушка, кажется, собралась сделать дяде Андрею перевязку. Она держала в руках небольшой эмалированный таз с горячей водой и свежие прокипяченные бинты.

Ночь, однако, выдалась далеко не спокойной. Это была ночь, которую Рустему суждено было запомнить на всю жизнь. Хотя поначалу она и не предвещала ничего необычного, никаких неожиданностей. Прилетевший из степи сухой холодный ветер напал на их крайний в селении дом, шуршал на окнах снежной пылью, а за задней стеной начинали скреститься о стrelu акация и кусты сирени, словно просились впустить их в тепло погреться.

Лунный свет проникает сквозь ставни через тонкие щели, разрезав мрак сразу несколькими мечами, острия которых уперлись в стоявшее у стены пианино. Говорят, если человек очень долго не будет ни с кем разговаривать, то он и вовсе разучится говорить. А пианино? Очень давно не садилась за него бабушка. Говорит, настроения нет. А прежде в такие лунные вечера из открытых настежь окон часто разносились аккорды.

В Евпатории у них не было пианино. Мама не играла.

Где сейчас мама? Может, как раз в эту минуту ей очень нужна помощь Рустема? Он бы сразу кинулся ей на выручку, не раздумывая и полминутки, и доли секунды! Рустем вздохнул. Его лишь одно успокаивало: если она сейчас с папой, он, конечно же, не даст ее в обиду. Ей с папой хорошо. Она ведь очень хотела поехать к нему. И очень переживала, что им приходится жить врозь.

Рустем все углублялся и углублялся в частый лес своих воспоминаний, заблудился в нем и не заметил, как уснул.

И вдруг вскочил, словно подброшенный пружиной, и, шлепая босыми ногами по холодному полу, кинулся к окну. По всей деревне заливались собаки, сыпалась стрельба. У окон пробегали немцы, крича и ругаясь.

В комнату быстро вошла встревоженная бабушка в накинутой на плечи шали поверх ночной рубашки. Она велела сейчас же закрыть ставню и отойти от окна.

— Бабушка, там бой идет, да? — спросил Рустем, прижавшись к окну лбом и стараясь хоть что-то разглядеть за промерзшими стеклами.

Бабушка отстранила его и захлопнула ставню.

— Утром узнаем, что там происходит, — сказала она.

Утром Рустем вскочил спозаранок и бросился на кухню.

Застал там только бабушку. Она усадила его завтракать, сказав, что они с дедом уже поели.

Дед, придя с улицы, тяжело прошагал на кухню и, зачерпнув из ведра, осушил две кружки воды — будто не на морозе пробыл больше часа, а просто стоял все это время у кузнечного горна. Рустем и бабушка стояли посреди кухни и ждали, что он скажет. Утолив жажду, дед расстегнул тулуп из овчины, сел на табуретку, снял шапку, снова надел, руки его при этом дрожали. Наконец произнес:

— Амбар сгорел... Дотла... Шиш получили фашисты! Полыхнуло так, что и машины свои отогнать не успели. Только покореженные остовы и остались от них возле амбара. А в кабинах, говорят, шофера ночевали. Один успел выскочить. Сгореть им всем в аду, проклятым! — Дед говорил медленно, голос его был тихим.

— Теперь уж не разжиреют от нашего хлеба, — вставила бабушка.

— Так-то оно так, да только... — Дед отвел взгляд, снова снял шапку, комкая ее в руках. — Сынишку Мерьем застрелили. Азама, которого мальчишки Невидимкой звали.

— Боже мой... — только и выговорила бабушка, поднеся ко рту ладонь и побледнев. — За что же? Ребенка...

— Он поджег. Говорят, с ним еще кто-то был. Успел в степь убежать.

— Моего ученика убили... — Бабушка опустила на топчан, покачнувшись от головокружения. Как только прикрыла глаза, перед ней тотчас же возник Азам. Хотя Азама трудно было назвать исполнительным и послушным, он был одним из ее учеников, которых она привыкла считать почти своими собственными детьми. И плохие отметки Азам получал лишь из-за лени. А ведь у него были такие способности к математике! Боже мой, о мальчике, совсем еще ребенке, приходится говорить в прошедшем времени, подумала она и повторила вслух: — Боже мой, боже мой...

Дед встал и подал ей воды:

— Выпей. Возьми себя в руки. Еще не на такое наглядимся.

Рустем остолбенел от услышанного и не мог произнести ни слова. Он ясно представил себе Азама, долговязого, худощавого паренька, его мягко очерченный насмешливый рот, чуб, достояющий почти до бровей, выгоревший на солнце и ставший рыжим, и слишком длинные, загнутые, как у девочки, ресницы, и горделивую его осанку. Во всем его облике было что-то дерзкое.

— Почему же он не убежал, бедный? Как же так? — произнесла бабушка, вытирая концом косынки глаза.

— Далеко ли убежишь от автомата... — сказал дед.

— Тот, другой, убежал же...

— Проворнее, значит, оказался. Мурад до самого Таз-тепе за ним гнался. А возле самого кургана потерял его. Как сквозь землю, говорит, провалился... Я слышал, как он дружкам своим рассказывал: «Я его на мушку уже взял! — говорит. — А тут мне на голову то ли метеорит свалился, то ли самому дьяволу я чем-то не угодил». У самого, и правда, голова вся перевязана.

— Скорее, божья рука дотянулась до проклятого, — заметила бабушка.

— Словом, когда он очухался, тот как сквозь землю, говорит, провалился...

— Бедная Мерьем, как же она это переживет?

— Эх, Мерьем, Мерьем... — вздохнул дед. — Я еще всего не рассказал. Когда рассвело, согнали к телу Азама женщин со всего селения. «Чей? — спрашивают. — Признавайтесь!» Проходят женщины мимо, молчат: не знаем, дескать. А парнишка, как упал лицом вниз, так и лежит. Пуля в левую лопатку угодила, через сердце, видать, прошла. Левую руку под себя подвернул, а правая в сторону отброшена, и в ней трехгранный напильник. «Зачем, — думаю, — ему напильник понадобился?» А потом узнал: оказывается, железная решетка в оконце амбара перепилена... Ну, так вот, идут мимо убитого Азама люди, и никто не говорит, чей это сын. Знают, как фашисты поступят с родителями. И Мерьем бы пройти молча мимо. Но она, как только увидела своего Азама издали, кинулась к нему, закричала: «Сыно-о-чек! Что они с тобой сделали, изверги!» И упала возле него на колени, обхватив руками его голову, и давай целовать лицо сына.

Бабушка стала белее полотна. Заметив это, дед умолк, решил закурить. Пока сворачивал дрожащими пальцами сигарку, половина махорки просыпалась на пол. Долго не мог выбить кресалом искру. Наконец фитилек из ваты задымился, и в комнате запахло паленым. Он глубоко, с хрипом затаился и, заметив, что жена пришла в себя, сказал, выдыхая дым:

— Мерьем схватили и повесили. На нижней ветке карагача, что возле амбара. А рядом сына. Мертвого.

Рустем ясно видел перед собой лицо Азама-Невидимки. Ему казалось, что оно на его глазах преобразается, из мальчишеского, с мягкими чертами, становится мужественным, словно вырубленным из камня, лицом благородного Алима<sup>1</sup>, портрет которого Рустем однажды видел в музее.

<sup>1</sup> Алим — благородный разбойник, заступник угнетенных, живший в Крыму в начале XIX века, борющийся с мурзами и беями.

Больше не вмоготу ему было слушать рассказ дедушки. Захотелось сейчас же спуститься в подпол к дяде Андрею и поведать обо всем, что случилось в эту ночь. Хотя он, наверно, уже знает. Слышал, как рассказывал дедушка. Дед специально говорил громко, чтобы он слышал. И все равно Рустему надо немедленно поговорить с дядей Андреем.

А кто же еще был с Азамом?

Рустем, нащупывая ногой поперечины лестницы, спустился и закрыл за собой крышку люка. Дядя Андрей лежал, заложив руки за голову, и смотрел в одну точку. Желтый язычок свечи дрожал в его неподвижных зрачках. Кустистые рыжие брови изогнулись и сошлись над переносицей. Рустем сел с ним рядом. А дядя Андрей все глядел перед собой, и, если бы не положил поверх руки Рустема свою теплую ладонь, можно было бы подумать, что он не замечает его присутствия.

— Можешь не рассказывать. Я все знаю, — сказал он, чувствуя, что Рустему нелегко начать разговор, и, помолчав, спросил: — Ходил туда? Видел?

Рустем отрицательно покачал головой:

— Бабушка не велела мне выходить из дому. А дедушка даже в кузню не взял.

Минуту, другую они сидели молча. Потом дядя Андрей протянул руку и взъерошил Рустему волосы.

— Это тяжело — видеть повешенных. Особенно знакомых тебе людей. Однако на них стоит взглянуть. Чтобы запомнить на всю жизнь. Ты, йигит, должен их увидеть. А потом мстить, мстить. Чтобы и много лет спустя, когда станешь взрослым, рассказывать об этом своим детям. Люди должны помнить — что такое фашизм.

По отвердевшей земле ветер гнал поземку и почти успел забелить черные стены сгоревшего амбара с провалившейся крышей. Крона карагача раскачивалась, скрипела. Нижняя ветвь прогнулась под тяжестью двух тел, присыпанных снегом. Тела медленно поворачивались на натянутых веревках, ударялись друг о друга и издавали звук сталкивающихся между собой сухих бревен.

Рустем стоял и смотрел. Он словно окаменел. Не чувствовал, что начал мерзнуть, что и его снег присыпал-припорошил, не слышал он свиста ветра, карканья ворон над кроной дерева, распростершего к свинцово-серому небу оголенные тонкие руки, не видел ни тощего черного пса, протрусившего мимо, в сторону старой каменоломни, ни снующих вражеских солдат. Стоял и смотрел. И думал не столько о смерти Азама-Невидимки, сколько о своем несправедливом отношении к нему. Вспомнил его малиновое лицо, когда он стоял вчера напротив него в кузне, живой, с усмешкой на лице, и ничто не предвещало того, что случилось через несколько часов. В целом мире теперь уже не будет Азама-Невидимки. Никогда, никогда. Как же он вчера не догадался, для чего Невидимке нужен напильник! В обледенелом лице Азама сейчас он уловил какое-то странное выражение, которое вчера упустил. Или, может, он запоздало отыскивал в нем нечто такое, чего не замечал раньше?

## СХОДКА

У Рустема постепенно вошло в привычку просыпаться задолго до рассвета. Он лежал в холодные предутренние часы с открытыми глазами и дожидался, когда в едва приметные щели в ставнях начнут просачиваться в комнату сероватые полоски света и в прихожей дед зашаркает неторопливыми шагами, загромыкает в углу рукомойник, а на кухне захлопочет бабушка и оттуда донесется звяканье посуды, чугунных кружков на плите. Бабушка уже растапливала печь. Тогда он отбрасывал одеяло и вскакивал, стуча от холода зубами, словно окунался в холодную воду, и быстро одевался. Они с дедом наскоро завтракали и отправлялись в кузницу. Дед шел впе-

реди, а Рустем вышагивал следом, стараясь шагать так же широко, как дед, идти с ним след в след. Под ногами у них зябко похрустывал снег.

А сегодня Рустем проснулся чересчур рано. Ему пришлось долго ждать, пока на ставнях постепенно обозначились светлые полосы. Из темноты медленно проступали очертания стола, покрытого белой скатертью, старого шкафа, пианино со старинным бронзовым подсвечником, напоминающим трезубец Посейдона. За окнами сыпал сухой снег. Слух уловил какой-то странный звук — непрерывное гудение, похожее на жужжание шмеля. Будто невесть откуда среди зимы взявшийся шмель залетел за ставню и бьется о стекло. И стекла чуть-чуть дребезжали. Звук этот приближался, нарастал с каждой секундой и вот уже перешел в тяжелый монотонный гул.

Рустем подбежал к окну и распахнул ставни. Его обдало холодом и малиновым, как сельтерская вода, светом — напротив разгорелась заря, и уже раскалились докрасна зависшие над горизонтом полосы облаков. Прижав к стеклу нос, Рустем всмотрелся в зеленовато-желтое небо. Сначала ему показалось, что у него рябит в глазах. А это, оказывается, все небо было в крапинку, как мамин оранжевый платок. Маленькие черные точки медленно двигались по нему. Рустем начал считать, но сбился. Очень много их — будто кто-то просыпал маковые зерна.

На плечо ему легла рука. Дед. Рустем не заметил, когда он вошел в комнату. Одежда его пахла снегом: видимо, только что возвратился со двора.

— Одевайся. Выйдем-ка на улицу, — бросил он, тоже наклоняясь к окну и глядя в небо. Его голос дрожал от волнения, глаза радостно блестели.

Через минуту они были во дворе.

Небо, высвеченное восходящим солнцем, уже обрело цвет железа, вынутого из горна. Бабушка стояла у порога, прижавшись спиной к косяку двери. Поднеся ладонь к бровям, она вглядывалась в высь. Губы ее двигались — она считала самолеты. Все звуки: и голос бабушки, и кудахтанье в курятнике перепуганных кур, и тарахтенье мчащегося по дороге мотоцикла — потонули в непрерывном рокочущем гуле.

Дед обнял внука за плечи, наклонился и шепнул ему в самое ухо: — Смотри, сынок, это наши. Наши! Видишь, как фрицы переполошились?

Только теперь Рустем заметил, что перед школой взад-вперед снуют фашисты. Подгоняют машины вплотную к домам, вталкивают мотоциклы с колясками в заросли сирени.

Самолеты ушли за горизонт. Гул затих. Небо остыло, стало голубым. А они все стояли втроем и смотрели вслед улетевшим самолетам. В стороне, у других домов, виднелись группки людей. Они тоже смотрели с надеждой в сторону горизонта, где скрылись самолеты.

Из-за школы появился Мурад в своей всегдашней куцей черной шинелишке, с белой повязкой на рукаве. На плече винтовка дулом вниз.

— Своих увидели? — спросил, оскалась. — Обрадовались?

Бабушка глянула на него и, не сказав ни слова, ушла в дом.

— Мераба, служивый. У людей водится с утра приветствовать друг друга, — сказал весело дед, как бы желая сгладить очень уж откровенную неприязнь бабушки. — К добру ли твой приход?

— Сами отучили меня по-людски здороваться. Вас приветствуешь, а в ответ — плевок. Вон и хозяйка твоя, видишь как... Глянула, будто кipyтком ошпарила. Думаешь, не замечаю? Все вижу. Да худа никому не делаю, пока терпенье есть.

— Зачем пришел? — посуловел дед.

— К двенадцати велено в мечети собраться. На сходку. Авторитетные люди прибыли из мусульманского комитета. Хотят что-то важное сообщить правоверным.

В начале двадцатых в мечети открыли клуб. Сейчас опять староста и его подручные объявили сельчанам, что это не клуб вовсе, а мечеть. Выбросили наружу скамейки, пол застелили кийизом. И даже пригласили мастеров и начали не торопясь возводить деревянный минарет. Однако люди снова, уже по привычке, стекались в это помещение, точно в клуб.

Мурад потоптался, сказал что-то еще, но, заметив, что Якуб Демирджи вовсе не склонен к продолжению разговора, направился к группе людей у следующего дома. А те увидели его издали и стали быстро расходиться.

— У него какие-то странные глаза. Ты не замечаешь? — сказала бабушка, когда они втроем вошли в дом. — Все время лихорадочно бегают.

— Должно быть, навидались настоящего ада. Люди поговаривают, что он с карателями в массовых расстрелах участвует. И к немецкому шнапсу пристрастился, пьет, как последняя скотина, — заметил дед. — Да и под силу ли нормальному человеку смотреть, как несчастных людей, женщин с младенцами на руках, детей, стариков, заставляют себе могилы копать, а потом... из пулеметов...

— Накажи их бог, если он есть.

— Накажет. Лишит таких, как этот, рассудка.

В кузню с утра они не пошли. Дед посокрушался, что из-за какой-то сходки, будь она неладна, не сдержит слова, данного Абибе, пожилой вдове. На третий месяц после начала войны сразу две похоронки, бедняжка, получила — о гибели мужа и сына. Вчера пообещал ей, что сегодня непременно вставит новое дно в ее прохудившийся таз.

— Может, пойдешь в кузницу один? Справишься? — спросил он внука.

Но Рустему хотелось пойти с дедом на сходку. Дед насупил косматые брови и сказал, что детям там делать нечего. Рустем обиделся. «Не поймешь этих взрослых. То ты для них уже йигит, то вовсе дитя».

Дед заметил, что огорчил внука, и добродушно улыбнулся:

— Ладно. Идем, если хочешь.

Когда они выходили из дому, бабушка сказала, что собирается проведать больную женщину. Спозаранок прибежала ее перепуганная дочь, ученица бабушкина. Вся в слезах. Говорит, у матери жар, бредит, кашляет. Бабушка решила отнести ей аспирина и кое-какие другие лекарства, оставленные когда-то Эрнестом Алексеевичем и чудом сохранившиеся. В последнее время стоит заболеть кому-то, бегут за учительницей: дескать, образованная, должна знать, как от хворей избавляться. Врача-то в селении нет. Бабушка не отказывает, идет, дает советы. Ведь иной раз и добрым словом человека вылечить можно.

Бабушка пообещала вернуться раньше, чем они придут со сходки.

Народу в мечети собралось полным-полно. И мужчин, и женщин, хотя женщинам вход в мечеть был заказан именем пророка. Сидели на скамейках, внесенных снова по случаю сходки. Куски кийиза, свернутые в рулоны, были сложены в углу. Кому не хватило места на скамейках, те стояли вдоль стен, загораживая и без того маленькие оконца. В помещении было сумеречно и душно.

Увидев кузнеца Якуба с внуком, люди на последней скамье потеснились, приглашая их сесть рядом с ними. Демирджи кивком поблагодарил, но сесть отказался. Встал неподалеку от дверей, где воздух посвежее.

Курившие снаружи двое полицаев бросили окурки, растерли подошвами и тоже вошли в помещение.

Там, где михраб, ниша, указывающая направление к Мекке, стоял длинный стол под зеленым сукном. За ним сидели староста деревни Велиль-ахай с седой, подкрашенной хной, козлиной бородкой, в тонкой бархатной шапочке, похожей на турецкую феску; слева от него — средних лет мужчина с побитым оспой лицом, в каракулевой черной шапке, а справа — толстяк в рыжей лисьей ушанке, с плоской, лоснящейся, как блин, физиономией. Сложив руки на круглом конце своей палки, на которую опирался, он о чем-то задумался. Полуопущенные выпуклые веки придавали его лицу надменное и в то же время сонное выражение.

Рустем поднял глаза к потолку и стал любоваться резными балками с облупившейся краской. Они были сплошь в деревянных кружевах. По словам деда, это неказистое на вид здание отстроено лет триста назад, если не раньше.

Пока толстяк в рыжей лохматой ушанке о чем-то размышлял, староста и рябой переговаривались. В помещении было душно. Но вот рябой поднялся, надел очки, слегка сдвинул каракулевою шапку на затылок и откашлялся. И стало тихо. Так тихо, что слышался шелест бумаги, когда он перекладывал с места на место какие-то листки.

— Джемаат!<sup>1</sup> — обратился он к людям. — Я и высокочтимый Асадулла-эфенди Асадуллин прибыли к вам из мусульманского комитета. Все мы не жалеем сил своих во имя аллаха и процветания нашего края. Правоверные! Я хочу сообщить вам важное известие. Теперь никто не сможет посягнуть на нашу веру, на наше национальное достоинство. Армия неверных разгромлена. Непобедимые немецкие войска вступили в Москву!

На лбу рябого выступил пот, и он поминутно утирался платком. Наговорил он, делая паузы и шумно дыша, еще немало всякой всячины. В открытую дверь доносились звонкие голоса ребятишек, которые, шумно балуясь, носились перед мечетью. Рябой недовольно поглядывал на дверь и морщился. Полицай Мурад шагнул за порог, и кое-кому досталось по подзатыльнику, чтоб не шумели. Детвора разбежалась.

Рябой еще дальше сдвинул шапку на затылок, оголяя широкий лоб, отпил из стакана воды и продолжал свои заверения, что война скоро кончится, так как Красной Армии уже не существует. А в конце выступления призвал молодежь записываться в добровольческую мусульманскую армию.

И все сразу поняли, что это и есть то главное, ради чего они, эти представители так называемого мусульманского комитета, сюда прибыли. Люди заволновались, зашумели.

Рябой сел, утираясь мокрым платком, и посмотрел на толстяка.

Асадуллин поднялся, опираясь на палку. Он стал подробно описывать, какие льготы дает немецкое командование тем, кто служит в добровольческих отрядах. И призвал правоверных всячески стараться заслужить такую же честь.

Рустем заметил, что дед усмехается. А когда взглянул на него, тот лишь взъерошил ему волосы.

Настал черед и старосты, Велиль-ахая, поораторствовать.

— Оглянитесь назад, мусульмане! Вспомните свое прошлое! — воззвал он к собравшимся. — Мы же воинственный народ. Наш кривой меч держал под страхом не одно государство. Да не осрамимся мы перед святыми именами предков! Настал и наш час показать себя. Многое мы претерпели, сдерживая до этого дня свой благородный гнев! Вспомните, односельчане, как в двадцатых большевики отбирали у нас последние крохи. Как закрывали наши мечети, отвращая нас от бога. Как хотели заставить нас укрываться одним одеялом, а наших жен, дочерей сделать общими. Аллах не допустил этого.

Закончив речь, староста Велиль-ахай провел по бороде ладонями, отпил воды и сказал, кивнув на соседей справа и слева:

— Неловко мне, односельчане, перед представителями нашего мусульманского комитета — такая большая деревня, как наша, в прошлый раз дала немецкой армии только двух бойцов — Бавбека и Ашира.

Возле окна всхлипнула и заголосила женщина. Люди стали оглядываться.

— Убили моего Бавбека! Убили, окаянные!

— Уймись, Шерфе, — поморщился староста. — Твоего сына застрелили партизаны. Наши парни отомстят за него.

— Неправда-а! Не-ет!.. — Женщина рвала на себе волосы, царапала лицо: — Его застрелили псы поганые, фашисты. Он убежал от них, а его застрелили!

— Кто там рядом с ней, заткните ей глотку! — строго сказал староста. — Пусть даст мне договорить.

Женщины окружили тетушку Шерфе. Вывели ее на улицу, боясь,

<sup>1</sup> Джемаат — общество.

как бы не навлекла она на свою голову гнева властей, повели домой.

Староста, однако, договаривать не стал. Вздохнул тягостно и сел на место, всем своим видом выказывая: дескать, забыл, что хотел сказать, — так расстроен неуместной выходкой невежественной глупой женщины.

Под сумрачными сводами мечети опять торжествовала тишина.

Рябой надел очки, придвинул к себе бумаги, взял ручку, приготовясь писать, и оглядел зал:

— Ну, времени для раздумий было достаточно. Кто первый?

Легкий шорох прошел по рядам. Люди молчали.

Шумно задышав и опираясь на палку, опять поднялся толстяк в лисьей шапке:

— Вот что я вам должен сказать, уважаемые... В прошлый раз, когда тут были наши люди из комитета, среди вас немного нашлось смелых джигитов, которые записались в добровольцы. Поэтому теперь комитет поручил мне завести два списка — «белый» и «черный». Вот они! — Выпустив на мгновение из рук палку, он поднял в обеих руках по тетради. — Кто пойдет в добровольцы, запишу в «белый», кто не пожелает — в «черный». — Он сделал долгую паузу, понимая, что никто не возьмет в толк, что это за списки такие, но одно их название производит зловещее впечатление. Насладившись произведенным эффектом, он продолжал: — Думаю, к сказанному здесь нами добавить нечего. Но если кто-нибудь хочет высказаться — милости просим. — Он стоял, исподлобья оглядывая собравшихся. — Нет желающих? Значит, всем все ясно?

Кузнец Якуб высвободил руку, за которую держался внук, и машинально поднял ее.

— Вопрос имеется, — раздался в тишине его зычный голос.

Люди оживились. Сидящие за столом представители власти переглянулись.

— Так, так. Ну, давай... — Разрешил Асадуллин не сразу.

Якуб Демирджи прокашлялся.

— Вот тут было сказано, что Красной Армии пришел конец, что ее уже не существует. Так? Та-ак. А не сможете ли объяснить, уважаемые, что за самолеты летали нынче утром, при виде которых все сивоголовые в норы попрятались?

— Выбирай слова, уважаемый, — хмуро заметил Асадуллин и засопел еще сильнее, широко раздувая ноздри. Хотел еще что-то сказать, но кузнец Якуб выставил вперед широкую, черную от постоянного соприкосновения с железом ладонь и перебил его:

— Люди! Не первый год мы знаем друг друга, — обратился он к сельчанам, и голос его стал твердым, как металл. — Давно живем одной дружной семьей. Сосед делится с соседом куском сухаря, стаканом молока. Если сгорел чей-то дом, сосед, не задумываясь, даст ему кров. И друзья у нас одни, и враги тоже. Вспомните, односельчане, разве не было времени, когда мы готовы были перегрызть друг другу глотку из-за клочка земли, из-за охапки сена? Вспомните, друзья, с каких пор мы стали жить так дружно? Не с того ли момента, когда научились говорить слово «наше» вместо «мое»?! А теперь опять хотят между нами посеять вражду.

— Что ты мелешь, Демирджи? — крикнул староста, выставив вперед рыжую встопорщенную бородавку.

— Думай, кузнец, что болтаешь, — откуда-то сбоку послышался глухой угрожающий голос полицая Мурада.

— Знаем. И все знают, чем не угодила кое-кому Советская власть. И за что ее некоторые ненавидят, тоже знаем.

Лицо старосты вытянулось, у него затрясся подбородок.

— Что ты хочешь сказать, Демирджи? — спросил он сдавленным голосом.

— Нет у нас сыновей для сивоголовых, вот что хочу сказать!

— У тебя — действительно нету. У других есть. У тебя зато зять — в Красной Армии! Думаешь, мы ничего не знаем? Тоже кое-что знаем! Как бы тебе за него не пришлось поплатиться, старик! — И староста Велиль-ахай

укоризненно закачал головой. — Ай-яй-яй, пожилой человек, и бога не боится. Хоть бы уважаемых представителей комитета постеснялся.

Асадуллин затрясся в беззвучном смехе, живот его при этом поколыхался и снова опустился на место.

— Не слушайте, люди, выжившего из ума старца. Подходите к столу и записывайтесь. Добровольно. А не то...

— Кому записываться-то, нам, что ли? — раздался резкий женский голос.

— Дойдет черед и до вас, скоро и вы им спасителями покажетесь, — бросил кто-то из толпы.

— Что, перевелись среди вас джигиты? — вспыхнул Асадуллин.

Прошла минута, другая. В помещении стоял гул.

Вдруг староста вскочил, будто какая пружина в нем лопнула. Тыча пальцем в список, выкрикнул, брызжа слюной:

— Мне без двух годков семьдесят! Пиши меня первым! Пусть молодым стыдно станет!

Рябой демонстративно написал его фамилию и поднял голову, сверкнув круглыми стеклами очков:

— Кто следующий?

Молчание. Кто-то поглядывал на дверь, но возле нее стояли полицейя. Для того и стоят, чтоб никого не выпускать. И люди как-то сжались, словно ростом стали меньше: казалось, им хочется спрятаться за спинами друг друга, как это обычно делают ученики, не выучившие уроков.

Асадуллин недовольно хмыкнул, полистал тетрадь и вынул из нее исписанный лист бумаги.

— Вот у меня список всех жителей деревни, годных к военной службе. Мужчины от пятнадцати до пятидесяти четырех лет. Буду вызывать по фамилиям. Та-ак, кто у нас первый? Абдувелиев!

— Чего надо? — отозвался из задних рядов сильный голос.

— Будете записываться в добровольцы?

— Не-е... У меня живот вспорот, а потом зашит. Эти... Немчура вспорота штыком еще в шестнадцатом. Имею справку.

Но Асадуллин сделал вид, что не расслышал его объяснений:

— Занесу тебя в «черный» список. Отправят в Германию, будешь там гнуть спину на заводе. Кто следующий? Баталов!

→ Я же говорю, кишки зашиты, по нужде еле хожу, — пытался протестовать Абдувелиев.

— Баталов! Оглох, что ли? Кто-нибудь двиньте там ему в ухо, чтоб лучше слышал! — это голос Мурада.

— Нету его. Хвораает, — отозвался женский голос.

— Приведите!

— Лежит он, жар у него.

Асадуллин выпрямился и кивнул стоявшим возле двери полицейям:

— Ступайте, помогите Баталову подняться. Если есть надобность, подлечите. — Довольный своей находчивостью, он окинул взглядом сидящих в первом ряду и с усмешкой спросил: — Ну? Может, кто-нибудь надумал?

И опять раздался голос кузнеца Якуба:

— Думайте, люди. Хорошенько думайте.

Сказал и стал пробираться к выходу. Стоявший у двери полицейя не посмел остановить его, посторонился. Дед ожег его взглядом, шагнул за порог и пошел прочь, не оглядываясь.

Рустем тоже исподлобья глянул на полицейя, задержавшись на секунду у порога, цикнул сквозь зубы слюной, как это делал Азам, желая выказать презрение, и зашагал за дедом. Полицейя хотел было дать ему пинка, но промахнулся — Рустем отскочил в сторону. Догнав деда, он вложил в его большую руку свою ладонь — в знак солидарности, и пошел рядом.

А Демирджи шел и думал о том, что ему лучше было вовсе не ходить на эту сходку, как это сделал кое-кто из тех, кто поумнее. А коль пошел — сидел бы да слушал, а не распускал язык. Ведь и не собирался ничего гово-

речь. А уж если решился, то сказать все это надо было как-то иначе: чтобы свои поняли, а врагам нечем было бы крыть.

Бабушка еще не вернулась. На двери висел замок. Дедушка долго возился с ним, никак не мог попасть ключом в скважину — дрожали руки.

— Принес бы ты, сынок, охапку соломы, в печь подбросить. Что-то знобит меня, — сказал он.

Наверно, опять «давление». Когда дедушка разволнуется, у него всегда «подскакивает давление». Что за «давление»? У Рустема вон сколько бывает всяких огорчений, а на него ничего никогда не давит.

Рустем сбегал в сарай, где было сложено топливо, и вернулся с целой охапкой соломы. Дедушка уже растопил печь. Рустем впихнул в ее открытую закопченную дверцу соломы, и пламя загудело в самой трубе, теплые блики — розовые зайчики — заплясали на полу, на стенах. И сразу в комнате стало веселее, хотя печь нагревалась медленно.

— Прилягу, — сказал дед. — Ломает всего. Наверно, к перемене погоды.

— Может, бабушку позвать? — встревожился Рустем.

— Скоро сама придет.

Дед лег, не раздеваясь, на топчан, укрылся полушубком.

Рустем еще раз принес соломы. Когда в кухне стало потеплее, он решил спуститься к дяде Андрею. Надо же ему рассказать о сходке.

Спустившись на три ступеньки, Рустем остановился в нерешительности, не зная, закрыть ли за собой крышку или подняться обратно.

Дядя Андрей лежал, закрыв глаза, опустив руку с книгой, которая касалась пола. Вслед за Рустемом хлынул поток воздуха, огонек свечи зажегся, грозя погаснуть, и снова замер. Бабушка не велела беспокоить дядю Андрея, когда он отдыхает. Она говорит, что сон возвращает человеку силы и исцеляет лучше всяких лекарств.

Но дядя Андрей открыл глаза и улыбнулся:

— Ну, что же ты? Входи.

Рустем закрыл крышку люка и спрыгнул на пол. Над головой зашуршало, громыхнуло: дедушка расправил, видно, половик и поставил на место стол.

Дядя Андрей пожал Рустему руку, усадил его рядом с собой. Он был чем-то взволнован. И не успел Рустем обмолвиться про сходку.

— Послушай! — сказал дядя Андрей и, придвинув свечку к самому краю табуретки, взял книгу обеими руками: — Послушай! «Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстав немного, и по ущелью повел очами... — читал он медленно, негромко, но с чувством. И глаза его лучились. Нет, сейчас не пламенек свечи они отражали, они светились своим особым светом — ярче, чем свеча. — И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы: «О, если б в небо хоть раз подняться! Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О счастье битвы!..»

Дядя Андрей закрыл книгу и осторожно положил рядом со свечой. Вздохнул и устремил задумчивый взгляд в потолок, где среди паутины затаился мрак, припугнутый пламенем свечи. Долго молчали. Потом дядя Андрей спросил:

— Что творится на белом свете? Расскажи-ка.

Часто он так — вмиг переключается с одного на другое, сразу и не знаешь, что ответить. Рустем с минуту собирался с духом, прежде чем начать рассказывать о сходке.

Дядя Андрей слушал внимательно. Он сел, поморщившись от боли, и потрогал ногу выше колена.

— Болит? — спросил Рустем.

— Немного. Наперегонки еще с тобой не побегу, а ходить скоро, наверное, смогу. Многих записали? — поинтересовался дядя Андрей.

— Список составили заранее, а людей тех никого дома нет.

— Где же они?

— Кто где. Одни у партизан, другие к родичам в дальние деревни подались.

— Да-а... — задумчиво протянул дядя Андрей. — Деду твоему следовало бы похладнокровнее быть... Не простят они ему.

— Я заметил, что он вот-вот сорвется, не выдержит, хотел сказать, чтобы он считал в уме, как вы меня учили, да не успел.

Дядя Андрей в сердцах махнул рукой:

— Ишь, как они! Враги-то наши не теряют времени, за душами нашими охотятся. А мы тут сидим с тобой и лясы точим.

— Что же делать?

— Надо подумать. Никогда не знаешь наперед, как поступить. Верно? Рустем кивнул, потупясь, испытывая чувство вины, что тоже не знает, что делать.

— Нужно как-то людей поддержать, поднять в них дух. Чтоб в них не родилось ни капли сомнения в скором освобождении, — продолжал дядя Андрей.

— Я бы тоже хотел что-нибудь сделать... Вон Саид и Невидимка, они смогли...

Дядя Андрей положил руку Рустему на плечо, легонько сжал:

— Молодец. Может, начнем? Действовать так действовать. А то иные строят планы, а потом... Меньше слов, больше дела. Так начнем?

Рустем с недоверием посмотрел на дядю Андрея, не понимая, шутит он или говорит серьезно. А тот вынул из планшета несколько листов бумаги, разорвал пополам, положил на книгу. Подал Рустему авторучку:

— Я буду диктовать по-русски, а ты пиши на своем родном языке. Сумеешь?

Рустем кивнул.

— Пиши... Товарищи! Не верьте фашистам и их прихвостням! Красная Армия скоро вернется. Мы победим. Смерть фашистским оккупантам! Написал?

— Да.

— Теперь прочти. Как звучит по-вашему?

Рустем прочел.

— Сможешь так, чтобы никто не увидел, расклеить эти листовки в людных местах?

— Смогу.

Дядя Андрей опять положил руку ему на плечо, видно, хотел сказать, как это опасно, но вдруг над головой что-то загрохотало. Гулко застучали чьи-то шаги. Донеслись отрывистые голоса. Чужие.

— Что вам надо? — спросил дед и закашлялся.

— Сейчас узнаешь! — Голос Мурада.

— Тащи его на пол! Так его!

Послышались глухие удары, ругань.

Рустем заметил, как рука дяди Андрея поползла под подушку, раздался щелчок. Взвел курок. Скорее наверх, помочь дедушке! Рустем стремглав устремился к лестнице, но перехватил взгляд дяди Андрея, напряженный, испытующий. На лице его застыла холодная суровость, которой прежде Рустем не замечал. Это был один из тех моментов, когда мысли передаются без слов. Какие-то особые струны внутри человека улавливают их. Рустем совсем забыл, что дядя Андрей не может подняться. Он все еще внутренне колебался — хотел, не теряя ни секунды, броситься дедушке на помощь и одновременно признавал свое бессилие.

Дядя Андрей видел его состояние, он поднял руку и стал медленно загибать пальцы. Раз... Два... Три... И Рустем начал медленно считать, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Он стоял, до боли в ногтях вцепившись в лестницу, и не сводил глаз с крышки люка. Наверху все еще слышались удары, глухие стоны. Вдруг Рустему показалось, что крышка погребка сейчас откинется, скрипнет под тяжестью сапога верхняя ступень и... Он протянул руку и нашарил молоток, лежавший на бочке в углу.

Крошечное пламя свечи съежилось и погасло. Теперь дядя Андрей не увидит, как по щекам Рустема бегут слезы. Теперь их можно не сдерживать.

— Так его... Ногой поддай. В живот...

— В следующий раз не будешь язык распускать.

Голоса полицаев, тяжкие удары, глухой, сдерживаемый стон деда отдавались в голове Рустема, и она у него точно раскалывалась. Он чувствовал, как в висках пульсирует кровь. Мысли проносились с лихорадочной быстротой.

Послышался топот полицаев, устремившихся к двери.

Стало тихо. Дед что-то бормотал, с трудом переводя дыхание.

Дядя Андрей щелкнул зажигалкой и засветил свечку.

— Марш наверх! — приказал он.

Рустем, как обезьяна, быстро вскарабкался по лестнице, приподнял крышку люка и, взяв стол за ножку, сдвинул его в сторону, освобождая край половики, чтобы можно было выбраться.

Дедушка лежал на топчане, закрыв лицо мокрым полотенцем.

— Дедушка, — тихо позвал Рустем, подойдя к нему на цыпочках, и всхлипнул.

— Ничего, вытерпим и это, — глухо произнес дед и погладил его. Пальцы его были в ссадинах. — Сбегай, сынок, за бабушкой. Припозднилась она что-то.

Ночь...

Бабушка не ложилась. Она сидела у изголовья дедушки и прикладывала к его разбитому лицу мокрое полотенце. Думала, что внук давно уснул. А он не спал. Дверь из комнаты была приотворена, и он слышал, как она то плачет тихо, то шепотом прокликает изуверов-полицаев, призывая на их головы кары небесные. И вслед за ней мысленно повторял ее проклятья. Ему казалось, что после этих слов они обязательно будут наказаны.

Окончание следует.



**Владимир Лещенко**

### ***Баллада***

#### ***о скоростном бомбардировщике***

Когда-то самолет — не так себе,  
А тут, уже ничуть не скоростные,  
Взлетали устаревшие «СБ»,  
Взлетали наши соколы родные.  
О летчики, герои на подбор,  
Любимцы их взрастившего народа,  
И гордо сердца пламенный мотор  
До лета сорок первого пел года.  
То лето не подкрасить, как ни крась:  
Вранье не воскрешало никого-то.  
В то лето безнадежное дралась  
Геройски умиравшая пехота.  
То лето!.. Чем покрыть его и как:  
Победами не смыть того позора.  
Вовсю ломил тогда к востоку враг,  
Достойного не встретивший отпора.  
То лето — нет, его не заслонил  
День нынешний в свершеньях и достатках...  
Тогда последним каждый вылет был:  
«СБ» не возвращались на посадку.  
Когда-то самолет — не так себе,  
А тут, уже ничуть не скоростные,  
Взлетали устаревшие «СБ»,  
Взлетали наши соколы родные.  
Недавно еще грозные в бою,  
Катившемся степей монгольских твердью, —  
И в плотном уходящие строю,  
Как ныне выражаются, — в бессмертье.  
Из жизни уходил крылатый строй

Дорогой тяжкой памятного года —  
Тут всяк был никакой-то не герой,  
А просто сын геройского народа.  
Вот, значит, для чего и рождены —  
Ну только донесли бы руки-крылья  
Туда, где грудь воспевшей их страны  
Вспороли вражьи танковые клинья!  
Где держится всего-то «на ура»  
Пехота наша, жидкая рядами...  
От солнца заходили «мессера»,  
Уверенно хлеща очередями.  
Жестокий к отшумевшей славе год,  
С которым разминуться не сумели...  
Здравшийся бессильно пулемет —  
Смолкал стрелок, обвиснув на турели.  
И вот горит, срывается «СБ».  
Еще один... еще...  
Ну, трудно, верно,  
Сбивать, когда противник — так себе,  
Когда победам счет еще не прерван.  
Заход... еще...  
Легко и просто жгли:  
Дымились трассы,  
Скалились пилоты...  
Но все еще оставшиеся шли:  
Ведь там, поди, уж нет живой пехоты!  
И вражьи клинья входят в грудь страны —  
О правда тяжело памятного года...  
Вот, значит, для чего и рождены  
Они, сыны геройского народа.  
Дойти! Дойти...  
А нет — страна, прости,  
Что счастья не достало им хоть в том бы,  
Чтоб хоть один из всех смог донести  
Последние для всех взлетевших бомбы.  
Живи, страна!  
Другим тебя воспеть  
Победным громом славы небывалой...  
То лето, когда просто шли на смерть,  
Сжимая до последнего штурвалы.  
То лето — не покрыть его ничем,  
Одно из лет бессмертной жизни...  
Потом — фанфары песен и поэм,  
Потом опять шуметь о героизме.  
Свершений беспримерных череда —  
В который раз уж сказка стала былью...  
То лето заслонившие года —  
Как много они все же заслонили.  
Позор так просто славой заслонить...  
А там, глядишь, порой недобро-страдной  
В который раз  
Придется уходить  
В строю, как тот —  
Нисколько не парадный.  
Когда-то самолет — не так себе...  
Да есть ли что жестокой правды проще:  
Последний догорающий «СБ» —  
И в небе нашем  
Вечный дымный росчерк...

Встречай сынов, родимая земля:  
 Уж, вроде, так недавно провожала —  
 И вот в обнимку бродят «дембиля»,  
 И вот перрон ташкентского вокзала.  
 Как ребятя из дальних деревень,  
 Озоровато-веселы и русы:  
 Какое счастье — самый первый день  
 На самой первой станции Союза!  
 Светясь, играет бликами медаль —  
 Светлым-светла дорога награжденных.  
 А за спиной — осиленная даль  
 Двух лет, десантной службой обоженных.  
 Уж, вроде, так недавно и сошлись  
 С судьбой, которой проще не бывает,  
 А вот опять давнишняя та жизнь,  
 Где ни они, ни их'не убивают.  
 Теперь другим ползти по кручам гор,  
 Чтоб пасть на взятом с бою перевале,  
 И в рост идти на очередь в упор,  
 И обмывать, коль доживут, медали.  
 А доживут, родимая земля  
 Одарит счастьем жизни, как впервые:  
 Чего уж проще, если — «дембиля»,  
 Теперь уже наверное живые...

\* \* \*

Губы жаркие-жаркие,  
 Губы горькие-горькие...  
 Годы медленно шаркали  
 За цветастыми шторками.  
 Не нагнать, что упущено,  
 Не вернуть, что потеряно...  
 Я покорную, ждущую  
 Обнимаю уверенно.  
 Губы — жаркие ссадины,  
 Губы — вкуса рябинного.

Одаряешь украденным  
 У того, нелюбимого.  
 Да и я не похвастаю,  
 Что — любимый, что —  
 суженый,  
 Хоть за шторкой цветастою  
 Не горюем, не тужим мы...  
 Просто — губы, как ссадина,  
 Сгусток жара закатного,  
 Жгут и греют украденным  
 У вовек невозвратного...

\* \* \*

**В. Б.**

Знаешь, сердце бывает пусто —  
 Не стучись в него, не зови.  
 Знаешь, сердца горячий сгусток  
 Выстывает  
 И от любви.  
 Знаешь, сердце мелькнет кометой  
 По вселенной разлук и встреч...  
 Слышал, верно, что, мол, поэты  
 Не умеют сердца беречь.  
 Правды этих словес расхожих

Не бывает ни в жизнь лютей:  
Верно, вправду мы  
Непохожи  
На земных, как и мы, людей.  
Сердце мчит по вселенским глублям  
Меж остывших планеток — всех...  
Знаешь, мы выстываем — любим  
Ну совсем, ну совсем  
Не тех...

\* \* \*

Везут меня в мой Святогорский,  
Везут не так уж чтоб торопко —  
Не став еще землицы горсткой,  
Бредет по миру моя тропка.  
А с ней живут мои тревоги —  
Моим, земным, обыкновенным, —  
Но тряско-мерно катят дроги  
С отвоевавшимся военным.  
Ни зова труб сквозь лязг железа,  
Ни мишуры крестов-регалий...  
Сипит возница полутрезво:  
«Ну настрадались, отстрадали!..»  
Еще идут угрюмо-прямо  
Мои негрязнувшие беды,  
А вы толпитесь возле ямы —  
Вы ждете, наспех отобедав.  
Терпенья вам: прилично к месту  
Скорбеть, вздыхать, молчать сурово —  
Ведь вы воспитаны, Дантесы,  
И ты, Наташа Гончарова.  
Тетрадный лист с прощальным словом,  
Шикарно-траурные банты...  
Шагать бы вам к победам новым,  
Да ждут сигнала оркестранты.  
Да помянуть вот надо в речи  
Мои негрязнувшие строфы —  
Ведь вы честны сегодня, Гречи,  
И вы за правду, Бенкендорфы...  
Просыплюсь в мир землицы горсткой —  
В ней все, что только мной успелось:  
Везут со мной в мой Святогорский  
И боль, и жаль, и страх, и смелость,  
Тоску надежды, счастья муку —  
Чем жил надсадно. Жил в охотку!  
...Ну, кто там первым тянет руку,  
Чтоб дать могильщикам на водку?..



**Юрий Вологин**

### ***Однополчанину***

Трубили военные трубы.  
Звучали походные марши.  
И шла наша юность на убыль,  
И не было младших и старших.

Немного на свете осталось  
Из тех, из семнадцатилетних,  
Прошедших от первой атаки  
К атаке победной, последней.

Военные ритмы бряцали,  
Гремели, судьбу половиня.  
На фронт уходили юнцами,  
Домой возвращались — мужчины.

О подвигах в детстве мечтали...  
Ну что же, победа за нами.  
Нам тоже, как доля, досталось  
Кровавое красное знамя.

### ***На кургане***

Волгоград... Сталинград...  
Подойду и застыну в молчанье.  
Спит он, старший мой брат,  
Бестревожно он спит, беспечально.

Знал он — враг не пройдет.  
Пядь земли в огневой круговерти.  
Несдающийся дзот.  
И Звезда золотая посмертно.

Не хотел он наград,  
Жить, любить он хотел бесконечно.  
Спит он, старший мой брат.  
Человек и солдат безупречный.

Смертью жизнь утвердив  
На священной земле волгоградской,  
Спит, и не разбудить,  
Спит мой брат, спит в могиле он братской.

## ***Ночь в деревне***

По дороге на деревню  
Пахнет мокрыми деревьями,  
Пахнет травами. На вкус  
Воздух сладок, как арбуз.

Возвращаюсь слишком поздно.  
Сам с собою говорю.  
Словно флюгер на ветру,  
Роща кружится березовая.

Глаз далекой электрички.  
Вспышка. Сумрака разрыв.  
Словно кто-то чиркнул спичкой,  
Погасил, не прикурив.

## ***Сиренево***

Ах, Сиренево — село так называется.  
Очень рано здесь рассветы просыпаются.  
И в Сиреневе, в Сиреневе, в Сиреневе  
На рассвете, на закате — все сиренево.

Сад — сиреневые кудри, кудри белые,  
Белизна, и та сиреневою сделалась.  
Здесь река журчит напевами свирельными,  
Приглядишься — и вода ее сиренева.

И горчит река в душистой сладкой кипени.  
Эх, вино весны, не все ж ты мною выпито!  
Юность здесь поет мне сказочной Сиреною.  
Дым из труб печных, не сизый он — сиреневый.

## ***Тишина***

Темный город. Улицы уснувшие.  
Ветви ив туманны и странны.  
Помолчим. И тишину послушаем.  
Есть свой голос и у тишины.

Ветерок замрет в листве опасливо.  
Песня тишины — она проста.  
Только мать умеет так же ласково  
Убаюкивать свое дитя.

Ветви ив. Теней легучих кружево.  
Город наш досматривает сны.  
Помолчим. И тишину послушаем,  
И запомним голос тишины.

## *Шаркия*

Лета знойного жар яр.  
Где же ты? — отзовись, Шаркия.

Шарк по-русски значит: Восток.  
Здесь бутон через миг — цветок.

Тороплив он и пылок, Шарк.  
Искра здесь через миг — пожар.

Так и ты за миг расцвела.  
Так и ты палила и жгла.

Цвел в глазах твоих знойный Восток  
Так, что сладок был сердцу ожог.

А потом — саратан, сушь...  
Отзовись, молчанье нарушь.

Лета знойного жар яр.  
Где же ты? Шаркия... Шаркия...

---

# РАССКАЗЫ—ПРИТЧИ

Любовь Старцева

## Л ж е ц

Он болел долго и тяжело. Болезнь согнула, изломала его, отныне он постоянно ощущал неудобство своего тела. И стыдился его. Окно комнаты стало теперь для него и окном в мир. Времена года безмятежно шествовали мимо этого окна. Время звенело стаей стрижей в майском небе, горько и трепетно пахло пылающей листвой в осенних кострах, врвалось в комнату ослепительной январской снежностью — тогда раздвигались стены, потолок уходил в такое же белесое небо и думалось смело, свободно, легко... Время шло, стремительное и равнодушное, карая и милуя. Время подослало к нему одиночество — и горечь первого общения с ним навсегда осталась рубцом в душе. Но он искал и нашел защиту от одиночества. В себе. В своем еще слабом и хрупком мире, что тонким деревцем пророс в его сердце и вскоре зашелестел первой листвой. Воспоминания, грезы, фантазии, непостижимо и причудливо слившись воедино, веселой птицей закружили над деревцем, и ясная ее песня манила и обещала что-то счастливое и далекое. Он знал, что ему никогда не дойти до этого далека, но он видел те чудесные дали, где скрывалось оно. И чтобы хоть отдельные несбыточные мгновения приблизить и навсегда оставить с собой, он стал рисовать. На листах бумаги ожила его мечта о единственном городе Друзей, где люди вольно парят в солнечных лучах и птицы бесстрашно садятся им на плечи. В рисунках утолялась тщательно спрятанная жажда по доброте и ласке, по которым он тосковал, как тоскуют по солнцу в хмурые дни затяжных дождей. И над всем торжествовало божество — цвет! Власть и обаяние цвета влекли его неодолимо. Видимо, это свойство всех юных миров — видеть вселенную обновленной и праздничной. И жизнь, недавно проходившая скучной вереницей дней, вдруг стала интересной, словно распахнулось окно в весенний утренний сад.

Ему открылась истина — независимость внутренняя обособлена от внешней, и в будущем он уже не видел прежних трагедий. Философски сносил зависимость от погоды и сужающийся круг друзей. Родители со дня свадьбы истоиво коллекционировали взаимные обиды. И потому им постоянно было недосуг позаботиться о нем дальше обеда и одежды, прибавить цветных стеклышек в калейдоскоп его дней.

Прошлые друзья обрели профессию, семью, удобную привычку говорить о мелочах, а главное — апломб, придающий солидность и значительность. Клятвы юности, поиски Великого смысла стали для них уже сказками детства. Жизнь обманула их, они в этом не сомневались, — и кляты эту жизнь, жаловались на нее, сплетничали про нее. Он — недужный затворник — был для них хрупкой памяткой ушедшей юности. С мальчишеской искренностью он по-прежнему верил в жизнь и, что было вовсе непостижимо, в себя. Они слушали его, взрослые и умудренные, и втайне завидовали. Говорили уклончиво: «Ты жизнь открываешь через форточку, а мы кипим и варимся в ней». И уходили в свой привычный разношерстный быт, к увядающим женам и послеобеденной газете. Он понимал, что уроки прекрасных муз, разбавленные однообразием будней, еще не жизнь. Но не мог понять их довольства собой при недовольстве жизнью. И чувствовал неловкость за них перед прошедшей юностью.

Он любил наблюдать, минуя скучные подробности двора, как угасали расточительные вечера, заливавшие золотом даже несвежие лужи. И как неспешно, осторожно на землю ступала ночь. Привычно опрокидывался над городом Ковш, и вновь до рассвета мчал и мчал вечно юный всадник на верном коне — Мицар-Алькор...

Была в зените ночь. Босоногий ветер беспечно бегал по саду, кидался сухим сливовым цветом, приносил чудные запахи дальних полевых трав и неукротимую, безумную мечту — лететь, лететь вслед за ним. К дальним огням горизонта.

Полет был непостижим, необъясним.

Но... Тело, преисполненное прошлым, неловкое, громоздкое, еще отказывалось повиноваться — и он неуклюже свалился в цветущие кусты смородины. Оглушенный, ослепленный открытием, он долго лежал неподвижно, и небо кружило над ним своей блистающей зонт, где безмерный Путь, разбрызгивая созвездия, убегал в бесконечность... А мысль уже спешила в будущее! Грезилась чудесные перемены. Ночь подарила меньше летать, не передвигаться — огорчило мимолетно: что была ходьба перед головокружительным чувством полета!

Первая робость прошла, он научился управлять своим телом — полет распрямлял его, делал гибким, упругим. Пространство он осваивал с любовью и жадностью птицы. Смущала и тяготила только необходимость имитировать перед посторонними прежнюю беспомощность. Молчание от невозможности поделиться невероятным: свершившееся не укладывалось в законы логики и здравого смысла, а удивлять он никого не хотел. Он хотел просто жить — наедине с ночью, обручившей его с тайной. Едва погружались в сон дом и улица, бесшумно отворялось окно — и ночь принимала его, наполняя сердце счастьем. Сделав несколько виражей над домом, он порывисто устремлялся в спящий город. «Лжец! Лжец!» — хрипло лаял преданный дворовый пес. Пес считал своим долгом говорить правду в глаза.

Он уже знал в городе в лицо все дома, словно деревья в своем саду, но спрятанная за стенами жизнь не слишком интересовала его. Он был романтиком и понимал, что провинция бедна событиями и неизменно подводит под свой средний знаменатель всех, ждущих от мира только хлеба и зрелищ. А гении и пророки, как известно, серийно не производятся. Но полуночное небо, шелест листвы, волглый запах земли и фонари, бессонные хранители улиц — он чувствовал почти физическое родство с этой умиротворенностью, кротостью стропитивого многоликого существа — города, уснувшего до рассвета. «Ночью все — боги и герои», — с усмешкой думал он и наслаждался этим долгим покоем, обьявшим здания, деревья, дороги...

В окно он заглянул случайно — привлек особенный, хрупкий отблеск июньского полнолуния в глубине... Девушка разметалась в глубоком сне. Черными и тяжелыми прядями волосы раскинулись по подушке, и в этом темном ореоле лицо сияло смуглым осколком солнца.

Прошедшая юность улыбнулась ему издалека! Сейчас счастливее его — он знал — на земле никого нет. Нерастроченная нежность правила поступками его: царственные лилии, томные розы, глазастые ромашки — он сорвал бы и звезды с небес! Для букетов, еженощно летящих в окно незнакомки... Он ничего не пытался узнать о девушке. Проснувшееся чувство было слишком искренно и сильно, чтобы вносить в него банальные реалии. Было достаточно, что она есть.

Незнакомка заполнила и мечты, и надежды, и рисунки: в городе Друзей ее облик мелькал то в толпе, то в вечернем окне, то в ярких утренних небесах. Мгновения, когда в прозрачном тумане акварели возникало ее лицо, наверно, были самыми отрадными среди всех иных мгновений...

Вечер купался в золоте. В воздухе блуждал тонкий аромат свежелоплого сада. Где-то близко пела горлица. Было дремотно и уютно на душе от этих безмятежных минут закатного лета. Он привычно поджидал ночи, мысленно уже кружил в небесах, поэтому не сразу заметил гостью соседки. Сомнений быть не могло... Вероятно, она и раньше приходила сюда, но тогда он еще не выделял ее среди других. Быстрыми птичьими движениями девушка то откидывала волосы, то поправляла бусы, то вытягивала руку, любящая кольцами, и рот ее беспрерывно смеялся. «Собрала все маленькие безделушки», — с нежностью думал он, стараясь сквозь стук своего сердца расслышать голос.

Разговор их являл собой коктейль из обсуждений телепрограмм, последних сплетен, упоминаний о бесчисленных женских победах в прошлом и о множестве жертв в настоящем. «Ты представляешь, один до того втрескался, что заваливает меня розами, каждое утро нахожу». «Как, это на третьем-то этаже?!» — недоверчиво изумилась подружка. «На третьем! — ответила победительно. — Уже два месяца!» «А может, и кроме букетов было кое-что?!» — хихикнула подружка со значением. «Ну да, я бы ему вломила по портрету!» — И девица пронзительно захохотала, показывая крупные зубы и полнокровные десны. Ее обильно покрытая бижутерией плоть сверкнула в заходящих лучах, словно грудь медалированного пса...

Ночью ветер шумел о грядущей осени, и где-то вдали пропели первые трубы устремленных на юг птиц. Старые заботы и новые беспокойства подступили к сердцу, сти-

рая недавнюю боль. Близкие ненастья сулили постылую зависимость от дома: прежние радости прежних зим виделись ему, вволю глотнувшему воли, бумажными цветами. Вновь затревожила задремавшая было мечта о скрытом за горизонтом мире такого блеска, ликования и удивления, что заходило в восторге сердце...

И когда недобрый ветер ноября принялся зло швырять в запоздавшие стаи желтую листву, он неслышно скользнул в окно и вскоре затерялся среди звезд и птиц.

## Притча о счастье

Как бывает не только в сказках, давно или недавно жила одна Женщина. Впрочем, не одна. Была она матерью своих детей и женой своего Мужа.

Когда-то они с Мужем любили друг друга, и в этой любви Женщина видела свое счастье. Ведь в молодости для счастья часто достаточно одной любви. Но вскоре Женщина засомневалась: любовь была чем-то смутным, беспредметным — ни в руки ее не взять, ни в шкаф не поставить. А счастье должно утолять желания и потребности, они с Мужем уже не однажды в этом убеждались. И начались тогда их скитания по свету в поисках такого счастья — большой солнцеголкой монеты.

Но оттого, что Муж скоро пристрастился обменивать солнцегокое на веселящее, счастье не задерживалось возле них. И Женщина решила тайком припрятывать его — на черный день и на жизнь не хуже, чем у людей. Тогда же ее затомила мечта об оседлости. Белый свет они открывали с изнанки: с унылых барачков, заплыванных пивных, застиранных мыслей таких же искателей счастья — и жизнь везде казалась Женщине одинаково скучной и невыразительной. Но из привычной боязни прогадать она долго колебалась в выборе.

Осели они в прибыльном рыбацком Городке, омываемом бурливым морем и разделенным надвое неспешной рекой. Для Женщины север Городка, заселенный местным «бомондом», сразу стал лелеемым идеалом, любимым предметом размышлений и снов. Но жить предстояло на безалаберном юге, в непонятном мире чуждого ей люда, беззаботно транжирящего дни своей жизни и содержимое кошельков. Утешала лишь мысль о счастье, с тихим звоном оседающем в ее руках. И, ревниво озираясь на заречную жизнь, Женщина начала строить свой дом — и это окрашивало хлопоты о процветании в дополнительные цвета ее тайных далеко идущих планов...

Женщина затратила много сил и энергии, чтобы ее незабвенная мечта воплотилась в разнообразной недвижимости и изобильной пище. Но в кухонном чаду и покупательском угаре она, видно, упустила какую-то мелочь, так, пустяк — вроде душевной теплоты. И Муж сменил выпестованный Женщиной сытый достаток на простенький уют вестелой вдовицы. Вдовица радовалась ему, а не толщине его кошелька, и была уверена, что в ласке нуждаются не только дети и животные, но и мужчины.

Не дав Женщине времени побить окна в доме разлучницы, судьба сокрушила ее новым ударом: сбежала с матросом горячо любимая Дочь и ушел в матросы Сын — надежда и опора. Потерянная и постаревшая, Женщина искала причину своих бед и, конечно же, нашла. Горбунья — вот кто занес в ее благополучие бациллу несчастья, старшая ее, крест ее... Не поняла Женщина вовремя знака судьбы и теперь расплачивается за это!

Девочка родилась со странностями — к полугоду говорила и бегала! — и стала вершиной счастья Женщины. Восторги подруг и соседок играли упоительные мелодии на струнах ее самолюбия. Тем был ужаснее день в преддверии их странствий, когда Женщина обнаружила в кровати горбатого уродца с лицом ее ненаглядной... Доктора оказались бессильны. Лишь один, умевший не только прослушивать сердце, но и выслушивать, что неболело в нем, сказал: «Исцелить ребенка может только любовь». «Я в сказки давно не верю!» — отрезала Женщина.

Переезды и другие дети, здоровые и обыкновенные, благотворно сказались на ее переживаниях. Много лет Женщина даром кормила, поила, одевала Горбунью. Ведь даже шерсть — спрос на носки везде был устойчив и велик — уродица не могла прятать! Единственным ее рукоделием было вышивание носовых платков. Но кому нужны платки, цветы на которых пахнут, цветут и отцветают, а птицы поют? Так думала Женщина до обоснования в счастливом крае между рекой и морем. Но в элитарном обществе Городка иметь одушевленный лоскуток стало признаком хорошего тона. Обрадованная этой пользой от бесполезного, Женщина не сразу заметила, что вырученные высокие суммы бесследно исчезают. Возвращаются к своим владельцам...

Озаренная внезапной догадкой, Женщина со злым бессильем сказала Горбунье жестокие и жалкие слова: «Уходи! С тебя началось зло в моем доме, так пусть тобою оно и кончится».

Горбунья исчезла. А вскоре в небесах поднялся шелест, свист и щебет — это переговаривались птицы с ее платочков, собравшиеся в многоцветную стаю, устремленную за горизонт, за стаей, крича и толкаясь, бжеали пораженные горожане...

Женщина же угрюмой тенью стала бродить из дома в дом, упрямо веря, что счастье можно найти и забрать, словно обретенную вещь. Эти приходы пугали детей, и жители решили поместить ее в лечебницу. «Я лечу душевнобольных, — сказал доктор, — но у этой женщины нет души».

Вероятно, поныне ищет Женщина свое счастье, все иное забывшая и всеми забытая.

## *Притча о звездах*

Никто не верил, что Лимонница видела звезды. «Все эти выдумки от безделья, — говорили деловитые муравьи, — что это еще за звезды? Ты бы лучше занялась чем-нибудь...»

«Ах, как это интересно, как интересно! — трещала сорока. — Но все это сущий вздор, уверяю тебя: если бы звезды были на самом деле, я узнала бы о них раньше всех».

Но Лимонница видела звезды! Произошло это скорее по вине своевольной майской грозы, чем по ее желанию: она не успела вовремя спрятаться и насквозь вымокла. От беспокойства за свой нежный наряд Лимонница даже после заката не смогла сомкнуть глаз. И тогда впервые многоглазая ночь заглянула в ее маленькую легкомысленную душу — и растревожила своим сиянием. И ослепительная мечта вспыхнула в ее проснушемся сердце!

«Пусть никто не верит, что они есть, пусть! — шептала Лимонница, тревожно перепархивая с одной маргаритки на другую. — Я и сегодня не буду спать и... я долечу до них!»

Заболевшего звездой не исцеляют снадобья и уговоры. Лимонница нетерпеливо ждала, когда ночь вновь глянет на нее своими бесчисленными глазами.

Звезды сияли над горизонтом, мерцали над вершинами деревьев, перемигивались по сторонам. Звезды были везде — слепяще-белые и алые, золотые и весенне-зеленые. Лимонница выбрала одну — ярко-голубую, словно колокольчик на весеннем лугу. Она любила этот цвет — в нем были простор, свежесть и беззаботность.

Влажный ночной ветер пробежался по деревьям и травам, погладил мимоходом спящих птиц, сорвал последний цвет с яблонь, наклонился над оробевшей Лимонницей — и повлек ее. Она поднималась все выше и выше, благодарная ветру за неожиданное сочувствие. Звезда приближалась — веселая и манящая.

Уже сияние ее заполняло все пространство, уже нестерпимый жар обжигал дыхание... и, беспомощно трепеща крыльями, Лимонница упала возле лампы хрупким безжизненным лепестком...

## *Притча о ценностях*

Угасал закат.

В небесах странствовал ветер, смешивал и разносил окрест запахи порченной рыбы, соленой влаги, подогретого ужина и дальних иноземных городов. Море было смуглым и шумливым, как восточная женщина.

И в этот миг на берег выбросилась Амфора. Время, история и морские глубины изрубцевали ее тело, но и теперь облик ее дышал гармонией высокого искусства. Душа давно канувшего в века мастера-эллина запечатлелась и в пластике линий, и в непридуманно-поэтических строках, словно на незабвенной пелике Ефрония: «Ласточка, вот она ласточка! Да, клянусь Гераклом! Вот она! Наступает весна».

Какие ослепительные горизонты для мечты распахнулись бы внимательной душе! Но об Амфору споткнулся дурак. Бормоча извечное: «В хозяйстве все пригодится» — подхватил он непонятный предмет и двинулся дальше.

На подходе к своему хозяйству дурак уже знал, подо что приспособит обретенный горшок. Тщательно проклиная чью-то бесхозяйственность, он очистил горшечное нутро от напластований веков и засолит в нем огурцы. Слышал он от кого-то, что засол в глиняной таре обладает особенной приятностью. Эксперимент удался: рвались в поднебесье, ласкали обоняние великолепные ароматы огродной флоры.

Но непродолжительной была эта огурцовая идиллия — ведь и блаженные тропы дураков неисповедимы. Не о чудесном засоле, не о горшке — об Амфоре прознали лихие знатоки искусства и контрабанды...

Только соглядатаи-звезды наблюдали в полуночном просторе одинокий парус, торпливо уносящий бесценный груз. Парус изнурительно боролся со своевольной волной и вскоре исчез — то ли за беззвездным горизонтом, то ли в строптивых глубинах моря.

Попутру дурак сильно горевал о разоренном засоле. Но его утешило, что похитили только тару.



Владимир Чеботин

### *Прогноз погоды*

#### 1. НАД СРЕДНЕЙ АЗИЕЙ ДОЖДИ...

— Над Средней Азией дожди?  
В разгаре лета?  
Как ни суди, как ни ряди,  
Негоже это!

Глядят на небо старики:  
— Чилля — и грозы?  
А вдруг, прогнозам вопреки,  
Рванут морозы?

Не будем голову ломать,  
Где беспорядки...  
Сама с собой природа-мать  
Играет в прятки.

Веками выстроенный дом  
Сама ломает,  
Зимой не думая о том,  
Что будет в мае...

Капеллу певчих соберет,  
Весну раструбит,  
А завтра песню оборвет —  
И все погубит!..

#### 2. ВОЗМОЖНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Легко природу обвинять.  
Она безгласна.  
Зачем на зеркало пенять —  
И так все ясно!

Тебе пернатый мир орал  
Из всех скворешен,  
Что скоро высохнет Арал,  
Но... ты безгрешен!

К тебе зывали, что с огнем  
Играть опасно,  
Но ты был так же глух и нем,  
Слепец несчастный!

И так — всегда. Из века в век.  
Скачи, мустангер!  
В аду ты — грешный человек,  
А в жизни — ангел!

Когда закончен круг земной,  
К чему скандалить?  
Мы с головы своей больной  
Все в Лету свалим!

...Последний крик из темноты:  
— Спаси! Тону я!..

Восстань!  
У гибельной черты  
Стоишь вплотную...

\* \* \*

Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.  
А. С. Пушкин.

Ты сотни душ растлил и уничтожил —  
И вот достиг заветного поста!  
Сиди, сияй самодовольной рожей.  
Но... жалок тот, в ком совесть нечиста.

Ты выбил визу, Родину отринув,  
И, гордый, едешь в райские места,  
Где ждет тебя библейская малина...  
Но... жалок тот, в ком совесть нечиста.

Ты поучаешь, ни во что не веря, —  
И мед льют твои лъстивые уста!  
Нет-нет, ты не похож на изувера,  
Но... жалок тот, в ком совесть нечиста!

## Сны золотые

— Ты — мой Колумб! — сказала женщина с  
улицы  
Франсиско Хосе де Гойи в Мадриде.

Я не Колумб. Я просто пахарь  
Из зауральского села.  
А ты сиятельной Махой  
В мой номер сумрачный вошла.

Где мы? В Испании? В Тавриде?  
Сегодня? Тыщу лет назад?  
...Горел в полнеба над Мадридом  
Неописуемый закат.

И со стены Франсиско Гойя  
Веселым дьяволом глядел,  
Но... черный крест над изголовьем  
Напоминал: всему предел...

Зачем выпытывать ревниво,  
Куда мой путь меня ведет?

...На каменистой этой ниве  
Чертополох один взойдет.

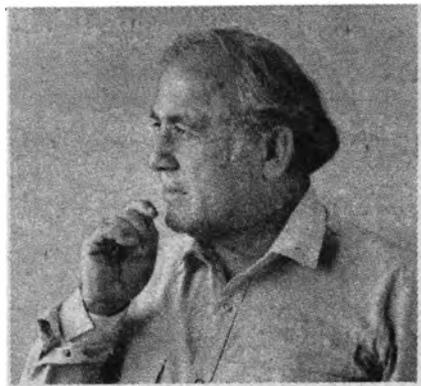
\* \* \*

Подарю тебе ночь.  
Будут звезды  
Да задумчивый ветер с полей.  
Я возьму золотистые гроздья —  
Ты мне меду хмельного налей!

И не будем давать обещанья —  
Ведь любовь будет снова права!  
Лучше ты сбереги на прощанье  
Припасенные утром слова.

И когда по росистому полю  
Одинокий протянется след,  
Отпусти их, сердешных, на волю, —  
Я прощальный услышу привет...

---



Максуд Кариев

## РАССКАЗЫ

### Не трогайте звезды!

Это невозможно забыть.

Медленно текли дни небывало жаркого лета. За день беспощадное солнце так раскаляло землю, хоть лепешки на ней пеки! К вечеру духота делалась невыносимой. Было трудно дышать, как в тумане. Зной, зной... И сухие желтые закаты, неподвижные безмолвные тополя, падает солнце за горизонт, танцуют золотые пылинки в его последних лучах.

Мы с постелями залезали на крышу. Горячая ладонь неба ложилась на лица. Закрыв глаза, мы ждали полуночи, ждали часа ночного ветра. И ветер приходил, пахнущий снегом гор, прохладный, шептался с тополями, пел свои загадочные песни.

В нашем кишлаке в те годы электричества не было. Черная тушь мрака заливала землю, только иногда меж кронами деревьев слабо мерцал красноватый огонек — в чьем-нибудь доме горел масляный светильник. В такие темные, безлунные ночи особенно хорошо было спать на крыше. Прямо перед глазами — небо, вышитое звездами.

Я не знал еще названий звезд и созвездий. Мама иногда показывала мне: «Вот это — Семь Разбойников, это — Черпак». Но более всего любил я утреннюю звезду, ее сиреневатые влажные лучи в рассветном небе. Заглядываясь на Соломенный Путь, я задумывался, потом спрашивал:

— Мама, если загадаю загадку, ответите?

— Ты все еще не спишь?!

Небо, полное звезд, — как луг с голубыми подснежниками. И вдруг одна падает, чиркнув по черному белым, куда-то проваливается. «Почему падают звезды? — думал я. — Почему мама, увидев падающую звезду, хватается за ворот своего платья и трижды сплевывает?»

Зачем она это делала — по-моему, она и сама не знала, я спрашивал, она отвечала: «Обычай предков!»

— Загадаю, мама?

— Говори, — шепчет она сквозь сон.

— «На крышу рассыпал коробочки хлопка, утром встал — ни одной нет».

Тишина, молчит мама, только слышится легкий шелест ее дыхания. Я смотрю в небо, на Соломенный Путь. По темной синеве словно проехала арба, груженная соломой, а солома рассыпалась. Отец рассказывал, что в древности караваны, идущие через пустыню, находили дорогу по этим звездам.

— Мама, разгадали или сдаетесь?

...Молчит. Наверное уснула. Нежная жалость, любовь, тоска сжимают мое сердце. Бедная моя мама, трудно ей приходится! С утра до ночи на ногах, уборка, стирка, стряпня, с малышами возня — все на ее плечах. Отец работает в колхозе, уходит утром, приходит ночью уставший. Детей в семье четверо — я и три сестры. Мы весь день работаем на приусадебном участке. Работаем, работаем, а сорнякам нет конца. Солнце печет, губы сразу же делаются сухими и шершавыми, и болит поясница — не разогнуть. Сестры смеются: «Глядите, у братца спина не разгиба-

ется!» Глядя на то, как мы копаемся, мама, конечно же, не выдерживает. Тоже берется за прополку. Как быстры и ловки ее тонкие, смуглые руки!

- ...Мама, сдайтесь?
- Сдаюсь! Говори...
- Да это же звезды! Поняли?
- Мама не отвечает.
- Почему вы молчите?
- Верно, помнишь... — бормочет мама.
- Что помню?
- Загадку...

Я вспоминаю: да ведь эту загадку загадывала мне она сама зимой, когда мы сидели, согревая ноги в сандале, за окном падал косой снег, ветер выл тоскливо, и было бы одиноко и страшно, если бы не было рядом мамы. Мы тогда не смогли отгадать загадку, сдались.

- Мама, мамочка!
- Что тебе еще?
- Кто вам загадал эту загадку?
- Моя мама.
- А ей кто?
- Ее мама... Твоя прабабушка.
- А ей — кто?
- Хватит, спи наконец! Завтра рано вставать.

Мама поворачивается набок и засыпает. Сестры уже давно спят, вон как сладко посапывают! Только меня бессонница мучает, небо не дает мне уснуть. Звезды, бессонные звезды... до чего же вы прекрасны. Вы как песня неба. И мне хочется петь вместе с вами...

Прошли годы. Теперь я живу в городе, в многоэтажном доме. Часто по ночам выхожу на балкон, смотрю в небо, но огни нашего огромного города не дают мне увидеть звезды, затмевают их. Отсюда, с девятого этажа, город сам похож на звездное небо, упавшее на землю.

...В воскресенье, взяв с собой внучку, еду в родной кишлак. Еду в гости к далекому детству.

Как все изменилось вокруг! Широкие улицы, новенькие дома, роскошные сады, цветники... А небо, звезды? Тут все по-прежнему, перемен нет.

Маме далеко за восемьдесят. Но, увидев меня, она словно молодеет. И так же радостно блестят ее глаза, и так же звучит ласковый голос, как много лет назад. Все интересует ее: здоровье родни — всех помнит, каждого по имени называет, и как там жизнь в городе, и все ли у всех хорошо?

- Все здоровы, все в порядке, — говорю я.
- А сам? Что-то побледнел, похудел. Здоров ли?
- Со мной все в порядке, мама.
- Тебе ведь тоже немало лет. Уже шестьдесят, сынок.
- Да, магушка, пропади она пропадом, эта старость!
- Ну-ну, сынок, кто молод душой, тот вечно молод... Что-то ноги у меня болят.

Отчего бы это, сынок?

...Опять сжимается сердце. Мама, мама, только бы вы жили вечно!

Странно и чуть печально возвращение в страну своего детства. Не умолкает, не стихает тревожная память, все хранит она: и боль, и радость. Так ярко рисует: прошедшие годы — как на ладони. Но ничего нельзя вернуть. С соседского двора свешиваются ветви шелковицы. Какие ягоды у нее были! Белые, крупные, сладкие! Как поспевают — нас с дерева и ружьем не стонишь. В конце сада урючина «сахарного» сорта. А мы ели урюк совсем еще зеленым, с бледной мягкой косточкой внутри. Дорогой мой дом, старый сандал, согревавший нас. Крыша, небо, звезды...

Песня звезд, ты все еще звучишь во мне! Падают в душе прозрачные капли бесконечной мелодии без слов.

«О, звезды, почему не спите, почему не смыкаете глаз? О чем мысли ваши? Ответьте мне, кто вы? До утра горите вы в синеве, как хрустальные лампы, всем дарите поровну сияние свое... Отчего на рассвете пустеют ваши чертоги? Вы песня или тишина? Родник волнения, исток жизни, детства моего мечты, вы мое вдохновение, звезды...»

Да, пусть вечно звучит этот напев! Не трогайте звезды, пусть небо всегда будет мирным и чистым! «Звездные войны» — что может быть жесточе, нелепей?

Так я долго сидел, глядя на небесные луга, полные звезд. Мама вышла из дому, обняв внучку, тихо подошла ко мне.

- Скажу загадку, отгадаете? — спрашиваю я у мамы.

— Говори, сынок, — она погладила мое плечо.  
— «На крышу рассыпал коробочки хлопка, утром встал — ни одной нет!»  
Сдаются?  
— Звезды! — сказала внучка Назима.

## Экзамен

Вернувшись с работы, Умар Валиевич Валиев сразу же кинулся к телефону. Позвонил на междугородную, попросил Наврузистанский район — «как можно скорее, срочно!» Несколько раз повторил, какой нужен номер, по слогам. С облегчением вздохнув, положил портфель на место, пошел переодеться.

В синем тренировочном костюме — вернулся, уселся в кресло возле телефонного столика, уставился на аппарат.

Когда же зазвонит, когда? Спят они там, на междугородной? Минуты тянулись нестерпимо, стрелки часов словно склеились. Молчит!

Снова стал набирать номер междугородной. Занято! Отбойные гудки словно гвозди забивают в голову! Совсе уж выйдя из себя, брякнул трубку на место.

Жена, Марьямхон, войдя в комнату, с удивлением смотрела на мужа.

— Что-то случилось? Куда звоните? — спросила встревоженно.

— А, тому... Бабаеву, Ташмату. Обещал помочь ему. Ведь бывает же так! Человек руками, зубами держится за высшее образование! А его баловню — хоть трава не расти! Порхаёт, как мотылек! Письменную по математике сдал — и исчез! Хоть бы пришел, поинтересовался: как, мол, мои дела! Дела-то скверные. Двойка... Из-за этого лоботряса я до сих пор просидел в институте, делать мне больше нечего, только его искать!

— Зачем вам его искать, сам явится! — позевывая, сказала жена.

— Эй, когда же ты поймешь! Он же провалился!

— А вам что, если и провалился? — Жена никак не разделяла беспокойство супруга.

— Ну, женщина... Оказывается, ты ничего не понимаешь... — Умар Валиевич безнадежно махнул рукой.

— Так объясните!

— Я принес домой его письменную работу. Но мне нужен он сам!

Марьямхон, глядя на мужа, пожалала плечами.

— И вы из-за этого выходите из себя? Придет так придет, нет так нет! Пусть об этом думает он сам и его отец.

— Отец... Ты забыла, как он нас угощал? — рявкнул муж.

— Хоть и угощал...

Раздался длинный, резкий звонок. Умар Валиевич вздрогнул, словно их подслушали и отозвались. Тьфу, тьфу — не накликать бы... Дрожащей рукой взял трубку.

— Наврузистан? — крепче прижал трубку к уху. — Алло, алло, кто у телефона? Сурайхон, это вы?

Наскоро поприветствовав, перешел к делу.

— Ташмат-ака дома? Когда вернется? Похоже, задержится? Батырбек? Поступит, обязательно поступит! Из-за него и звоню. Он мне нужен, срочно, нигде не могу найти. Зачем? Не телефонный разговор. Позвоните знакомым, в Ташкент. Если Батырбек у них, пусть пошлют ко мне.

Положив трубку, Умар Валиевич вздохнул — словно гора с плеч. И тотчас вновь почувствовал усталость. Улегся на диван — подушку под голову. Развернул газету, но строчки сливались перед глазами.

Часов в десять жена разбудила его.

— Вставайте, этот ваш парень явился! Ждет на айване.

Со сна Умар Валиевич не сразу сообразил, в чем дело, что-то пробормотал и повернулся набок. Жена не отступилась.

— Вставайте же! Наврузистанский парень здесь!

— Пришел, значит? — Потирая глаза, Умар Валиевич встал. Вдруг все вспомнил — и выскочил на айван.

Ага, вот он, Батырбек, — примостился на краешек стула. Стеснительный!

Привстав, начал здороваться, расспрашивать, Умар Валиевич оборвал его:

— Э, мое здоровье, мои дела! Ты бы о своих подумал, сынок! В институт поступаешь, разве можно быть таким беспечным? Математику провалил — и в ус не дуешь? Великолепно! А я тут — телефоны обрываю!

— Простите, — забормотал Батырбек. — Я искал вас днём. В кабинете вас не было, лаборантка сказала, что не знает, где вы и когда придёте.

— В эти дни... сюда зовут, туда зовут! Полжизни на заседаниях пройдёт! Ладно, не в том дело! Вот что самое главное: письменную работу придется переписать. Вот так!

— Как? — растерялся парень. — Я же её сдал?

— Сдал, дорогой... Да вот что ты там понаписал! Да... и как ты с такими знаниями ухитрился получить золотую медаль? Ладно, не обижайся, такое бывает.

Батырбек, вынув платок, вытер лоб. Пригладил волосы, снова вынул платок.

— Ладно, не в обиду сказано, — махнул рукой Умар Валиевич. — Теперь надо поправлять дело. Работа твоя у меня.

— У вас? — Батырбек чуть не упал со стула. — Как же это?

— Э, сынок, не будь наивным!

— Она проверена?

— Проверена, проверена. И «двойка» выставлена — такая, что не сотрешь! Посмотри сам.

Умар Валиевич протянул парню его работу, всю исчерканную красным карандашом.

Парень глазам не поверил. Да, его работа, листки с печатями. Как она попала в руки Умара Валиевича? Уму непостижимо! Вот, значит, какие тут делаются дела. Может, и у других абитуриентов так же? А ведь в комнату, где сдают письменные экзамены, посторонние не допускаются! Если кто-то сунется не зная, мигом выпроваживают. Интересно.

Что же сказать этому солидному, уважаемому человеку, профессору?

Батырбек снова вытер взмокший лоб. Голова шла кругом, его бросало в жар и холод. Умар Валиевич, ничего не замечая, говорил озабоченно:

— Теперь вот что нужно, сынок! Бери эту работу, пойдешь куда-нибудь в тихое место, заново перепиши — внимательно, исправляя все ошибки! И чтоб никто не видел! Запомни, ничего не пропусти, ни одной пометки! Перепишешь — несколько раз перечитай, проверь! И завтра, не позднее шести часов утра, принесешь сюда и отдашь мне.

Умар Валиевич повторил все это еще два раза, неизменно подчеркивая, что надо все сделать чистенько, аккуратно. «И чтоб никто — ни-ни!»

Батырбек, держа в руках листки, слушал молча. Что сказать? О нем заботятся. От всей души стараются... Что сказать?

Уже успокоившись, Умар Валиевич задал новый вопрос:

— Где ты остановился, у кого?

— У родственников.

— Как они, люди интеллигентные?

— Да, Мухтарам-апа — врач, в поликлинике работает. Сыновья учатся в университете.

— Хорошо, прекрасно! Если они в математике понимают, пусть тоже посмотрят твою работу... на всякий случай.

— Простите меня... — пробормотал Батырбек.

— Да, ладно, что уж...

— К вам просьба.

— Чего?

— Простите, Умар-ака...

— Прощаю, прощаю, в чем дело?

— Может, можно это не переписывать?

— Значит, не поступишь в институт!

— Ладно... не поступлю...

— Ты что говоришь? Ты в своем уме?

— Я подумал... обдумал...

— Что ты обдумал?

— Вот это...

— Ну, я вижу, ты того... перегрелся! О чем ты говоришь?

— О том, что... видимо, я не смогу поступить в институт в этом году.

— Что, что?

— Я не смогу... так сделать...

— Что ты несешь? Отец, мать только и думают, что ты поступишь! Радуются!

А ты...

— Я им сам скажу...

— Пожалеешь! Вспомнишь, каким был дуралеем!

Умар Валиевич и добром уговаривал, и ругался, кричал — парню все было как с гуся вода. Знай, свое: «В этом году не поступлю!» Профессор растратил все увещевания, все назидания, которые знал и смог придумать, использовал весь жар

своего красноречия. Все напрасно! Парень упрямо повторял, что работу переписывать не будет. Видно, этот кишлячный недоучка, рохля и не понимал, что значит высшее образование. Умар Валиевич попробовал еще раз:

— Другие, чтобы поступить в институт, всех родных, всех знакомых на ноги поднимают, ищут, кто бы помог, — и не находят! Тебя, растяпу, к готовому плову позвали! А ты еще нос воротишь!

...Умар Валиевич не зря так выходил из себя. Поймите положение! Батырбекову отцу обещано твердо: сын поступит! А тому другу, что в приемной комиссии сидит, тоже обещано всякого про щедрость и гостеприимство Ташмамат-ака! Обещал познакомить, когда тот приедет в Ташкент, друг ждет, потирая руки.

А сам Умар Валиевич! Задолго до начала экзаменов Ташмамат-ака пожаловал к нему, да не с пустыми руками. Вы, мол, почтенный, живете на одну зарплату, так вот, тут кое-что с базара, свеженькое, для здоровья. И еще пошутил: «С меня магарыч!» Профессор от денег стал отказываться, тот настаивал. «Ну ладно, даете в долг — отдам!» Из того «магарыча» больше половины как-то незаметно разошлось.

— Ты твердо решил? Не передумаешь? — не отставал Умар Валиевич.

Парень мотнул головой.

— Нет... не передумаю.

— Вижу, ты до смерти упряма! Ну хоть отцу не говори пока. Я сам ему позвоню.

— Мне все равно.

Умар Валиевич замолк. Сил больше не было, измучился. Камень словом не прошибешь! И все же, чуточку передохнув, он завел снова:

— Послушай, сынок... Ты еще молод, не можешь понять... Ты подумай: вот мы в свое время учились — нам никто не помогал, нас никто не поддерживал. Тяжело было — все-таки учились! Мучились!

— Да, учились, это вы правильно... Мы тоже хотим, как вы. Мучиться да учиться...

— Эй, постой, не перебивай! Что я хочу сказать? У тебя есть все возможности учиться. Исправишь эту злосчастную работу — дальше все пойдет хорошо. Чего я от тебя прошу? Невозможного? Только переписать эти листки! И отдать мне!

Вот горячится! Вот пристаёт! Батырбеку уже невмөготу было слушать. С другой стороны — жаль старика, добра ведь хочет.

Словно по контрасту, вспомнился школьный учитель математики Насыр-ака. Как-то было — не смог Батырбек решить задачу на контрольной, заглянул к товарищу. Насыр-ака заметил. Оставил их всех после уроков. Целый час говорил — о честности, о самостоятельности.

— Простите! Можно, я пойду? — спросил Батырбек.

Умар Валиевич чуть не задохнулся от злости. Если бы можно было этому балбесу дать оплеуху!

— Ладно! Заставить тебя не могу... По правде говоря, в жизни я не видывал такого наглеца!

— Это не так.

И ушел!

Умар Валиевич, покачиваясь, направился к шкафу. Достал из ящика валидол, положил под язык. Рухнул в кресло; закрыв глаза, думал.

О нем, о Батырбеке. Ведь молод совсем! А взрослых, солидных людей слушать не желает. Ну ладно — чужого! Отец с матерью — умные люди, живут всем на зависть. И на них этому щенку наплевать! Что хочет, то и делает! В рот кладут — выплевывает! Нет, это невозможно! Так не бывает! Может, он боится, что и переписать работу не сможет правильно? А признаться не хочет. Может, он такой стеснительный? Ну конечно, по нему видно. Надо было оставить его здесь и понаблюдать, как он переписывает. Или... еще кого-нибудь привлечь на помощь? Сам-то ведь он не специалист в этой области. Его дело — аналитическая математика. А тут на практике...

Его размышления прервала жена.

— Вас к телефону! Район.

Ну конечно — Ташмамат-ака. Умар Валиевич поспешно схватил трубку.

— Здравствуйте, да, я. Ташмамат-ака, здоровы ли, как дела, как семья?

Задав все положенные вопросы и ответив, в свою очередь, Умар Валиевич сказал:

— Приезжайте! По телефону не могу. Это касается вашего сына. Приезжайте немедленно!

Вернулся на айван. На столе — те самые листки. Да ведь эту работу надо сдать завтра, рано утром! Позднее нельзя, а Ташмамат-ака, даже если вылетит первым рейсом, к шести не успеет. Еще же надо переписать работу. Тоже нужно время. Как же быть?

И надо ему было наживать себе эту мороку? Ладно бы еще, парень оказался

старательным, лез бы из кожи, лишь бы поступить! Так нет! Переписывать не хочет: ему наплевать на свое будущее! Эх, молодежь.

Умар Валиевич почувствовал: голова разламывается. Решил: будь что будет! И тут его вдруг осенило. Разве обязательно, чтобы Батырбек сам переписывал эту работу? Найдется кто-нибудь поумней да поговорчивей. Перепишет, а завтра Умар Валиевич тихо, незаметно подсунет листок в кипу других работ. И тогда Батырбек будет принят. А его папа будет всем обязан Умару Валиевичу...

Батырбек, выйдя из дома профессора, не знал, куда направиться. И вдруг вспомнил про Зоки...

Пока крутились по коридорам, ожидая очереди сдавать, делились слухами — со многими перезнакомились.

Зоки особенно понравился Батырбеку. Не болтлив, не нахален, как другие. Из рабочей семьи. Без репетиторов — готовился сам. А сдавал — лучше всех. У него обо всем можно было спрашивать — ответит. Не листает судорожно учебники, не набивает карманы шпартгалками.

Приглядываясь к нему, Батырбек давно уже понял, что сам подготовлен слабо. Сдавал, но как? Разве так, как другие? И не только Зоки...

Из Кашкадарьи одна девчонка приехала, Таджихол. Такая способная, такая усидчивая! Тоже с золотой медалью кончила. Да, видно, повесомее медаль, чем у него! С ней разговаривать не всякий осмелится; тотчас посадит в калошу. Книжки, которые она прочла, Батырбек и в глаза не видывал.

Письменной по математике Таджихол нисколько не боялась.

— Мой любимый предмет... В школе были только пятерки.

— Но здесь все-таки институт! Вдруг попадется такое, чего в школе не проходили?

— Математика — моя душа. Будет «пять», я знаю!

Работу она сдала раньше всех.

Да мало ли таких? Не у всех же, как у него, «уцененные» пятерки! Золотая медаль... А по письменной — провал!

У Зоки в доме — гости, веселье. Оказывается, у старшего брата, Раупа, — он работал мастером на заводе, — в семье событие: первенец!

— Входи, раздели нашу радость! — воскликнул Зоки. А в доме что творится! Накрывают стол, носятся из кухни в столовую и обратно.

Мать Зоки внесла большое блюдо с горячими лепешками. Сестры несли татарские сладости — знаменитый чак-чак, золотистый, благоухающий медом, всевозможные печения... С краю стола поставили бурлящий самовар.

Батырбек потихоньку озирался.

Хорошо у Зоки! Пол блестит, все вокруг словно вылизано — ни пылинки, ни соринки. А сколько народу! Большая семья — и все собрались, все за одним столом, у всех одна радость.

И Батырбеку все были рады, он это почувствовал сразу. Легко дышалось здесь, где старшие и младшие искренне уважают друг друга, разговаривают без крика и обиды.

Невольно вспомнился свой дом.

Да, там тоже порядок. Но от множества вещей, особенно от бесчисленных ковров, душно и тесно. Ходишь по комнате — за тобой глядят вслед: не дай бог, заденешь, поцарапаешь, поломаешь! Все — вещи, все денег стоят. Гости в доме тоже бывают. И тоже — все стоящие люди.

...Однажды он услышал разговор отца с инспектором, работавшим у него на базе. Они играли в карты и беседовали.

— Ташмамат-ака, не пора ли дать мне самостоятельность? На какую-нибудь ответственную работу, а?

Отец ответил:

— Дорогой мой, поскорее вступайте в партию! Без этого вам вверх не пробиться!

Батырбек не понял, в чем тут смысл. Тогда не понял.

В дом ходят только «полезные» люди. Собравшись за столом, они хвастают своим положением, а главное — хвалят хозяина. Ташмамат-ака такой, Ташмамат-ака сякой. Самый скромный, самый щедрый, самый смелый. И семья-то у него чудесная, и дом, и сад. И сам он для всех защитник и покровитель — пусть здравствует на счастье всем!

А бывало и так: соберутся на чью-нибудь свадьбу, день рождения. Как выпьют — глядишь, забыли про жениха с невестой или про именинника. Все разговоры — вокруг Ташмамат-ака.

...Часто гости садятся играть с отцом в карты. Игра отца веселит — пока он

выигрывает. Но вот если проиграет — беда! И тогда гости, так или сяк, но дают ему отыграться.

Раньше отец работал на откормочной базе. В контору свою купил и установил бильярд. Играл на нем только сам — с избранным партнером. И потому надо было кое-что понимать. Если партнер начинал класть шары в лузу один за другим, Ташмамат-ака спрашивал: «Ты давно у нас работаешь? Всем доволен?» Окружающие смеялись, но игроку было не до смеха.

Батырбек обо всем этом слышал, все видел... А задумываться стал лишь в последние годы. Стал сравнивать, примечать. Вот у них дома — сверкающая полировкой мебель, ковры чуть ли не в два слоя. В гараже новенькая ГАЗ-24 — на ней никто не ездит, она ждет его, Батырбека. На матери столько всякого блестит — как на новогодней елке! И вечные разговоры — что сколько стоит, где достать.

Зачем все это, зачем?

Вот здесь, в скромно обставленной квартире, где все веселы, деятельны и от души рады гостям, Батырбеку дышится легче, чем в родном доме!

Пришло время уходить. Зоки провожал товарища.

— Прости, Батыр, совсем из головы вон — как у тебя с экзаменами?

— Не знаю. Во всяком случае...

— Что замолчал?

— Неважно, в общем, — признался Батырбек.

— Провал?

— Похоже, что так.

— Ничего! Не расстраивайся! Не ты один. Я слушал лекцию: каждый год выпускников средней школы бывает почти сто тысяч, в вузы поступают — тысяч тридцать. Чего огорчаться! Ты один из семидесяти тысяч. Что ж, всем с ума сходить? Все находят, где устроиться.

— Я не расстраиваюсь, но...

— Хочешь остаться в городе — можно на стройке поработать.

— Сперва надо в армии отслужить. Потом буду думать, где учиться. И работать буду.

— Вот это правильно! Хорошо, что не ищешь кривых путей. Прямым — к удаче ближе.

— Спасибо, я тоже так думаю.

Зоки крепко пожал ему руку.

— Экзамен ты все-таки сдал. Не институтский — экзамен жизни. И я тебе желаю всего хорошего!

— Спасибо.

Перевод с узбекского Т. Захидовой.



Сергей Брынских

## МАХАЛЛЯ

- Человек покоряется обычаям, даже внутренне смеясь над ними.
- Возрождается, в том числе и в благоустроенных квартирах, допотопный дедушкин сандал.. Как к этому относиться!
- Если я сижу на курпаче, значит, я отсталый!
- Хорошо ли живется женщине в махалле!
- Человек не рождается с генами интернационалиста.

### ДОРОГА В НИКУДА

Если свадебный обряд за последние двадцать пять — тридцать лет стал намного роскошнее, обогатился всевозможными ритуальными новшествами, то обряд похорон остался фактически без изменения. Вот как описал похороны писатель Айбек в своей автобиографической повести «Детство»:

«Дед умер, когда я был на улице. С нашего двора донеслись громкий плач и причитания. Прибежал я, а отец, бабушка, мать, тетка сидят у изголовья дедушки и плачут... Во дворе у нас уже собрались жители махалли, соседи, знакомые, родственники. В полдень дедушку понесли на кладбище. Я был мал, но все хорошо помню. Мы долго шли через Беш-агач к Бурджару. В халате, подпоясанный новым поясным платком, в старенькой тюбетейке, босой, я семенял в толпе, запинаясь на каждом шагу и проливая слезы. Было жарко, душно. От жары у меня пересохло во рту. На Беш-агаче я напился из большого канала, черпая горстью мутную воду. На кладбище, когда дедушку стали засыпать землей, я заглянул в могилу. Как страшно! Дядя оттолкнул в сторону. Тут какой-то старенький человек начал громко читать коран. Все притихли...»

Мне самому приходилось не раз бывать на таких похоронах. Все так и происходит: умер человек, собрались мужчины, сидят на скамьях возле дома покойного, ждут, пока родственники и близкие простятся и тело покойного будет обмыто, его завернут в саван и спеленают, после полудня положат на погребальные носилки — тобут, накинут на них полосатый узбекский халат, если умер мужчина, или паранджу, если умерла женщина, и несут на кладбище, торопливо, под всхлипывания и причитания. На кладбище идут только мужчины. Женщины остаются дома и продолжают оплакивать усопшего. Хоронят без гроба, просто завернутым в саван. Затем все участвующие в похоронах обязательно присаживаются, где кому удастся, и кто-нибудь из стариков читает молитву. На том обряд похорон завершается. Все расходятся с кладбища по домам и лишь через несколько дней собираются на поминальный плов. Поминают умерших и тогда, когда все цветет, и когда идет первый снег. Годичные поминки устраиваются примерно по прошествии одиннадцати месяцев. Вот таков обряд, у каждого народа он свой, и этот ничем

не лучше и не хуже других. Время ничего не изменило в этом обряде. Правда, если кладбище очень далеко, тобут с телом покойного ставят на машину, а провожающие едут автобусами. Есть и еще одно новшество. Боясь обвинения в отсталости или в религиозности, родственники обставляют похороны «на уровне современных требований», везут тело покойного до могилы в гробу, а затем перекадывают на тобут и хоронят в соответствии с обрядом. С подобной «маскировкой» я лично никак не могу согласиться. По-моему, безнравственно, даже из самых благородных побуждений, навязывать одному народу обряд погребения, заимствованный у другого народа. В гробу хоронить или в саване — какая разница? Если есть разница — пусть это решают санитарные врачи и ведут соответствующую разъяснительную работу. Разумное будет принято в наш просвещенный век любым народом, хотя, быть может, и не сразу. А пока каждый вправе рассчитывать, что его похоронят так, как ему хочется. Пожелал Константин Симонов, чтобы после смерти его тело подвергли кремации и прах развеяли над степью, и люди выполнили волю умершего.

Вообще, если говорить о новшествах, то вид современного мусульманского кладбища несколько изменился за последние десятилетия. Раньше на кладбище сплошь были небольшие, похожие друг на друга обмазанные глиной с саманом холмики, иногда с приземистым кирпичным сводом. Теперь же стоят памятники, и часто весьма роскошные, — из мрамора, гранита или черного камня. Такую картину я вижу и на кладбище, где хоронят умерших из нашей махалли. Когда мы только начинали строить свои дома в 1958 году, на этом кладбище были однообразные могильные холмики, теперь же оно все в памятниках. Своими наблюдениями я как-то поделился с махаллинским аксакалом. Он, выслушав, горестно покачал головой:

— Да, все меняется в жизни. Даже кладбище. Мой покойный отец говорил мне: «Сынок, когда умру, не ставь на моей могиле памятника. Если всем ставить, в скором времени земля станет сплошным кладбищем. Людам жить и пахать будет негде».

Мудрый, видимо, был его отец. Далеко вперед видел. Сегодня в Ташкенте кладбища по площади начинают соперничать с городом и теснят, теснят колхозные поля. По мусульманской религии когда-то запрещалось изображать людей и животных. Ни скульптурный, ни рисованный портрет не разрешалось делать. Именно поэтому раньше на Востоке ограничивались в основном растительными геометрическими орнаментами. Теперь же над могилами ставят и барельефные, и даже полные скульптурные изображения умерших.

Помнится, в детстве мы ходили с братом и его товарищами, занимавшимися рисованием в кружке Дворца пионеров, на этюды за город. Обычно нас окружали любознательные кишлачные ребята. Стояли и смотрели, как брат с друзьями рисуют поля, цветущие сады, бело-синие далекие горы. Иногда брат или кто-либо из его товарищей предлагали любопытным мальчишкам попозировать — уж очень «натура» была живописной: в полосатых халатах «на вырост», тубетейках, босиком или в ношенных-переносных глубоких галошах. Одна только мысль, что их могут нарисовать, повергала ребятшек в ужас, они разбегались. Кто-нибудь постарше, как бы извиняясь, на ломаном русском языке объяснял, что нельзя рисовать, запрещено, если их нарисуют, с ними приключится несчастье.

Архитектурно-исторические памятники Узбекистана расписаны либо растительным, либо геометрическим орнаментом. Изображений людей, как это принято в христианских храмах, вы не увидите, впрочем, изображений птиц и животных тоже. Хотя были и исключения: например, в Бухаре есть медресе Надир-Диван-беги, памятник XVII века, который тем и примечателен, что на его портале изображены летящие аисты и бегущие лани.

Значит, исключения есть, перед временем, его веяниями и тенденциями бессильными оказываются даже хранители и толкователи религиозных законов. Они идут на уступки, но лишь тогда, когда новый обряд или обычай принят и одобрен самим народом. Споры нет, старые обычаи и обряды очень живучи и отмирают только тогда, когда им найдена достойная замена. В связи с этим приведу слова В. Г. Белинского из его статьи «Литературные мечтания»: «Да, обычаи — дело святое, неприкосновенное и не подлежащее никакой власти, кроме силы обязательств и успехов в просвещении! Человек, самый развратный, закоренелый в пороках, смеющийся над всем святым, покоряется обычаям, даже внутренне смеясь над ними. Разружьте их внезапно, не заменив тотчас же новым, и вы разрушите все опоры, разорвете все связи общества, словом, уничтожите народ».

## НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В жизнь старого Ташкента, в его порядки и обычаи, в его административное самоуправление после присоединения в 1871 году Туркестана к России царское правительство не внесло никаких существенных изменений, если не считать того, что была запрещена работоторговля и все рабы были отпущены на свободу. (Им в районах Каракамыша и вдоль дороги Альчак были отведены земли для поселения и занятия сельским хозяйством.) Но по-прежнему оставались в неприкосновенности махаллинские мечети, казии осуществляли суд по установлениям шариата, в школах и медресе учащиеся обучались как и прежде, как и прежде соблюдались народные и религиозные обряды и праздники, которые частично дожили и до наших дней, навруз, например.

По утверждению одних, навруз — это начало мусульманского нового года и, следовательно, праздник религиозный. Другие считают, что к мусульманской религии навруз никакого отношения не имеет. Преподаватель истории одного из ташкентских вузов, живущий в нашей махалле, с жаром доказывал мне, что навруз — народный праздник, ведь мусульманская религия ведет счет годам по лунному календарю, а навруз всегда отмечается в один и тот же день — весеннего равноденствия, причем, отмечают этот праздник далеко не все мусульманские народы, а лишь те, которые в доисламскую эпоху исповедовали зороастризм.

— Этому празднику, — говорил он, — более трех тысяч лет, а мусульманство на земле существует около полутора тысяч лет.

Трудно было что-нибудь возразить по этому поводу, тем более, что и в русской истории мы тоже сталкивались с подобным явлением, когда древний обычай или праздник объявляли религиозным, хотя никакого отношения к религии он не имел, даже противоречил ее установлениям. В качестве примера можно привести русскую масленицу. Ретивые искоренители старины и религии посчитали в свое время и ее религиозным праздником, хотя известно, что масленица приходится всегда на период великого поста, когда христианам надо молиться и в грехах каяться, нельзя есть ничего скоромного, а тут масляные русские блины, песни, пляски, скоморохи, хороводы. Попы не раз, в частности на Стоглавом соборе в 1551 году, пытались запретить масленицу как греховный бесовский праздник.

И такие праздники или обычаи есть у каждого народа, и они ничуть не разъединяют народы. Однажды уже за полночь вышел я во двор подышать весенним воздухом и слышу, что соседи не спят. Во дворе и на террасе горит свет, слышатся разговоры и даже девичий голосок напеваёт под аккомпанемент дутара. Пахнет дымом костра, смешанным с ароматом цветущего сада. Утром спрашиваю у соседа, что произошло, почему у них во дворе всю ночь горел костер и ходили люди. Да и сейчас еще женщины хлопочут у очага.

— А-а-а, — загадочно улыбнулся он. — Это женщины сумалак варили. Кушанье такое, наше, весеннее, потом попробуешь.

О том, что в узбекских семьях женщины весной на подоконниках, словно помидорную рассаду, проращивают пшеничные зерна и готовят из них особое кушанье, называемое сумалак, мне приходилось слышать и раньше. Приготовить его не просто, достаточно сказать, что кушанье в течение суток необходимо варить, постоянно помешивая. Некоторые относятся к этому обычаю, как к какому-то вредному пережитку и склонны с ним даже бороться. Но люди почему-то верят, что сумалак приближает весну и делает ее обильной дождями, что для здешнего засушливого климата немаловажно. Кое-кто даже считает, что сумалак обладает целебными свойствами. Возможно, эти воззрения связаны с народной психотерапией.

Мой же сосед потом, предлагая мне отведать сумалак, с иронией сказал:

— Говорят, что сумалак очень полезен для здоровья, хотя вряд ли в нем остались хоть какие-нибудь витамины, целые сутки варили, но все равно попробуй, по-моему, вкусно.

Сосед пододвинул мне пиалушку, наполненную однородной кашцей коричневого цвета. По его примеру я отломил кусочек лепешки, обмакнул в сумалак и отведал. Своеобразный приятный сладковатый вкус, даже чем-то отдаленно напоминающий шоколад или густо разведенное какао со сливками. Много его при всем желании не съешь — как в русской поговорке: «Сладкого не досыта, горького не до слез».

— К пророщенным пшеничным зернам, — продолжает рассказывать сосед, — добавляются мука, жиры, немного сахара и еще разные специи, и все варится в котле в течение суток при постоянном помешивании. Глаз не сомкнешь, на минутку отойти нельзя — пригорит, и весь многодневный труд пойдет прахом. Вот и сговариваются несколько соседей вместе варить сумалак. Это очень старая традиция, от бабушек и прабабушек. Чтобы не уснуть и не проспать сумалак, женщины развлекаются, как могут: поют песни, тихонько наигрывают мелодии на дутаре и дойре, девушки танцуют. Словом, получается что-то вроде нашего девишника или посиделок.

Посиделки... девишник... Припоминаю я, что когда-то рассказывала мать об этих самых посиделках и девишниках в длинные зимние вечера. Было... было... и у нас тоже. Вспоминаются и какие-то старинные русские обряды и обычаи, связанные с приближением весны. Из далекого детства выплывают одна за другой картинки деревенской жизни. Снег за окнами оседает, солнце заглядывает в избу через маленькие окошки, которые уже оттаивают и можно посмотреть на заснеженную улицу, из другого окна увидеть, что поленица дров возле сарая заметно убавилась. Мать с бабушкой хлопочут у русской печки. Вот они достают из нее румяные караваи хлеба, кладут на столе, накрывают полотенцами. Хорошо помню, что хлеб, пирог или шанежку, только что вынутые из раскаленной печи, сразу есть нельзя, надо чуточку подождать, дать отдохнуть. С нетерпением слежу, как проворные руки делают крендельки из теста в виде птичек. Это «жаворонки», они приближают весну. Так все считали, как и узбеки считают, что сумалак способствует наступлению плодородной и влажной весны.

Мать с бабушкой усадили стаю симпатичных «жаворонков» на лист и сунули в печку. Минуты тянутся удивительно долго. Наконец вот они, все как один румяные, с нежной хрустящей корочкой, с глазками-изюминками, и в самом деле похожие на симпатичных птичек. И еще вспоминается весенний день, когда из клеток, в которых всю долгую и студеную зиму жили у нас пеночки, малиновки да синички, мы выпускаем в открытую форточку птичек на свободу. Мать говорит, что теперь наступает тепло и птички уже не замерзнут, начнут вить гнездышки. И мы рады, ведь это настоящий праздник — дать птичкам свободу.

Давно это было, далекое-далекое детство, перемешанное со сказками. У каждого народа много старинных обычаев и праздников, на все случаи жизни свои порядки да установления, свои приметы и привычки, традиции и предрассудки, порой кажущиеся даже нелепыми, противоречащими здравому смыслу, но, несмотря на повсеместное распространение просвещения и научных знаний, еще живущие и даже дорогие для человеческой души, как отзвуки прошлой жизни наших предков, как исторические реликвии, связующие нас какими-то незримыми душевными нитями с дедами и прадедами, объединяющие в единое целое и великое — народ. Обычаи регламентировали поступки человека, его отношение к другим, поведение в различных ситуациях. Они устанавливали этические и морально-нравственные нормы.

Обо всем этом подумалось мне, когда сосед угощал меня сумалаком.

Сумалак — это тоже один из тех народных обычаев, какими жизнь человеческая украшается на земле, как сама земля украшается в весеннюю пору цветами. От многих таких цветов мы отказались сами, посчитав старины предрассудками, вредными пережитками. Убеденно пели

мы в школьные годы «Весь мир насилья мы разрушим до основанья...» и, разрушая этот мир, не смогли отделить от него то, что не имеет отношения ни к насилью, ни к эксплуатации, ни к религиозному фанатизму и невежеству, и теперь, оглядываясь на пройденный путь и оценивая самих себя сегодняшних, детей своих и подрастающих внуков, мы понимаем, что в тяжелых и трудных боях мы отстояли и построили много хорошего, но немало хорошего и потеряли. Потеряли и разрушили то, что теперь пытаемся восстановить, реставрировать, привить и воспитать.

### «ЕСЛИ Я СИЖУ НА КУРПАЧЕ, ЗНАЧИТ, Я ОТСТАЛЫЙ?»

В жизни человека есть в общем-то два стабильных коллектива, в которых он вращается: трудовой — по месту работы, и коллектив соседей по месту жительства, в нашем случае — махалля. Мы очень много уделяем внимания трудовым коллективам, особенно в последнее время в связи с начавшейся перестройкой, даже принят закон о трудовом коллективе. На территории Узбекской ССР действует «Положение о махаллинских (квартальных) комитетах». Оно тоже в какой-то мере определяет круг обязанностей граждан по месту жительства, которые сводятся в основном к тому, чтобы не нарушать общественного порядка и правил социалистического общежития, пожарной безопасности, санитарных и других правил. Все это очень важно, но, на мой взгляд, не самое главное в работе махаллинских комитетов. Житель махалли может и не нарушать перечисленных правил и требований, и в то же время махаллинскому комитету не мешало бы заняться его воспитанием. Многие из тех, с кем приходилось беседовать о махалле, считают это существенным нашим упущением в идеологической работе. Вот одно суждение, высказанное собеседником, который в довоенные годы был активным пионером и комсомольцем, участвовал в самодеятельных агитбригадах, прошел фронт, ранен, после войны получил высшее образование, преподавал и в школе, и в вузе. В разговоре с ним я невольно улавливал остатки непримиримости и напористости его комсомольской юности и даже некоторую обиду, что сегодняшняя молодежь, да и не только молодежь, в чем-то отошла от прекрасных традиций 30—40-х годов.

— Национализм и религиозность, — словно не говорит он, а размышляет сам с собой, — сегодня сосредоточились в махалле. Эти пауки прошлого нашли здесь для себя тот темный угол, где легче свить паутину и куда не достает рука хозяйки с веником, чтобы смести эту паутину.

Оценка оказалась для меня неожиданной, и, чтобы убедиться, что правильно его понял, я спросил, не сгущает ли он краски?

Он не стал настаивать на своем, но и от слов своих не отказался. Он попросту замкнулся и стал другим, словно кто-то щелкнул тумблером и переключил его на иной режим. И мне стало ясно, что во мне он попросту не нашел достойного, понимающего собеседника. По-видимому, он даже пожалел, что откровенно высказался. На том и расстались. При следующей нашей встрече он сам поинтересовался, как подвигается моя работа над статьей о махалле. Я сказал, что проблем очень много и так быстро о ней не напишешь. Он едва заметно усмехнулся и посоветовал: «Вы про сандал напишите, про курпачу и даже про ичкари. Это современному русскому читателю тоже интересно — старина, восточная экзотика!.. Теперь много всяких охотников возрождать все старое».

— Мне кажется, вы зря иронизируете, — ответил я, — В статье я не собираюсь удовлетворять лишь любознательность поклонников восточной экзотики, хотя собираюсь написать и о сандале. И ничего страшного в этом не вижу.

— Не видите?.. Сейчас некоторые не только в собственных домах, а и в секциях устраивают для себя сандалы. Правда, не на угле, а электрические, современные, — в голосе собеседника опять чувствуется усмешка. — И про ичкари я не случайно упомянул. Для нас сегодня и эта проблема не снята с повестки дня. Вы бывали когда-нибудь в гостях в узбекском доме?

— Да, хотя бы у вас бывал, — напомнил я.

— Мой дом не в счет. У меня нет ни сандала, да и ичкари тоже.

— Ну, разумеется, бывал. И в годы своей молодости, и в пору зрелости, и сейчас тоже. А что?

— Ничего. Это я так. Раз бывали — значит, сами все видели. — И на этом мы расстались.

Конечно, видел. Я мысленно перебросил себя в далекий военный сорок третий год. Именно тогда я впервые вплотную познакомился с сандалом. Нет, до этого, еще до войны, я бывал в домах узбекских сверстников, но это случалось как-то мимоходом и по преимуществу летом. В сорок третьем году я уже работал на заводе. Вместе со мной трудилось немало таких же, как я, подростков-узбеков. С некоторыми из них я оканчивал школу ФЗО и дружил. Был у нас Фаттах Исмаилов, работал, как все, на деревообделочных станках, и случилось так, что на циркульной пиле он покалечил руку. Однажды после смены я пошел его проведать: как он, что с ним? Жил я тогда на Урде, а Фаттах на Лабзаке. Был слякотный промозглый вечер с липким снегом и пронизывающим ветром. В ботинках у меня хлюпала вода, и пока я добрался, ноги совсем околели. Фаттах и его мать по моему виду сразу все поняли и заставили поскорей разуться, усадили к сандалу.

— Грейся, а то простудишься, — говорила мне его мать. — У сандала ноги погреешь, никакая простуда не пристанет.

Сунул я ноги под одеяло поближе к жаровне с углями, и постепенно тепло стало распространяться по всему телу, перестал дрожать и клацать зубами о пилушку с чаем. Ботинки мои и носки пристроили за дверью возле горячей мангалки — жаровни, которая обычно делалась из старого ведра и имела в во многих ташкентских домах для приготовления пищи, особенно когда в городе были перебои с керосином. На мангалке посапывал, посвечивая медными боками, длинноносый чайник. В ту пору во многих старогородских ташкентских домах еще не было печей, и сандал по своему назначению ничуть не отличался от камина, но в пожарном отношении считался более опасным, особенно после того, как в сандалах стали использовать не древесный, а каменный уголь. Тогда часто люди угорали. Именно это обстоятельство вызвало необходимость борьбы с сан-

далом, особенно в конце сороковых — начале пятидесятих годов. Борьбы резкой и непримиримой.

Сандал тогда ассоциировался с такими понятиями, как феодально-байские пережитки, невежество и отсталость, даже религиозный фанатизм. Через махаллинские комитеты, красные чайханы велась большая разъяснительная работа среди населения. В партийных, комсомольских и профсоюзных организациях строго разговаривали с теми, кто не хотел отказываться от сандала. Все это дало свои результаты: сандал, если не повсеместно, то уж в Ташкенте, областных и районных центрах, был вытеснен печами. И вот опять мой оппонент возвратил меня к разговору о сандале, сказал о том, что, как птица феникс из пепла, вновь возрождается, и даже в благоустроенных современных квартирах, допотопный дедушкин сандал. И о курпаче он тоже упомянул не случайно.

Да, во многих узбекских домах и квартирах, даже самых современных по своей обстановке и интерьеру, можно увидеть следующее: наряду с комнатами, обставленными дорогой мебелью, есть комната в старом узбекском стиле. В ней зачастую мебели нет никакой, кроме невысокого столика с телевизором. Пол устлан паласами и коврами, вдоль стен курпачи и подушки. Дастархан располагается прямо на полу посреди комнаты или на низеньком столике, высота ножек у которого не более 25 или 30 сантиметров. Вокруг этого столика участники трапезы усаживаются в традиционных восточных позах — сложив ноги «калачиком». Такое сидение за столом и вообще такая комната тоже кое у кого рождает мысль об отсталости, о приверженности к феодально-байским пережиткам.

Я заинтересовался у одного соседа, человека образованного и сравнительно молодого, занимающего руководящий пост в одном из учреждений, чем объяснить, что у него в доме есть такая комната с традиционной восточной обстановкой? Может быть, это просто дань старым вкусам и привычкам или на самом деле так удобнее?

— Вкусы и привычки трудно отделить от понятия удобства. И вы тоже у себя дома все обставляете и организуете в соответствии с вашими вкусами и привычками. Когда вам это удается, вы считаете, что дома у вас уютно. Не так ли? Ну вот, — продолжал он, получив утвердительный ответ на свой вопрос, — мне в этой комнате тоже удобно. Понимаете, за день на работе я устаю сидеть на стуле до такой степени, что поясница болит, даже шея деревенеет. А придя домой и в этой комнате просто отдыхаю, сидя в традиционной позе, подложив под локоть или за спину подушки. И кушать так удобнее, и газету почитать, и посмотреть передачу по телевизору. Это мне. Я молодой, — посмотрел он на меня, словно желал удостовериться, правильно ли я его понял. — А представляете, старикам каково сидеть на стуле, когда они с детства привыкли сидеть по-восточному. Для стариков такая комната просто необходима. У меня в доме нет стариков, но ведь приходят гости.

— Старики... — попробовал я выдвинуть контрдовод. — Сегодняшние старики, если им даже восемьдесят или семьдесят лет, тоже ведь в жизни не чуждались европейской мебели. Помнится, и в доме вашего отца...

— Были, — соглашается он. — И сейчас мы не отказываемся совсем от европейской мебели, потому что детям, например, удобнее готовить уроки за столом. Они так в школе привыкли. Поэтому мы теперь даже в вопросе о мебели стойкие интернационалисты, — как-то полушутя закончил он.

О курпаче и мебели в узбекском доме у меня состоялся примерно такой же разговор, но с человеком значительно старше меня. Старость всегда мудра и рассудительна, и он объяснил все гораздо проще.

— Мебель — столы, стулья, скамейки и шкафы, — все делается из древесины, а на территории Средней Азии с древесиной во все времена было трудно. Лесов ведь здесь нет. В России же древесины достаточно, и еще в России на земле не посидишь, земля сырая. Поэтому и делали у вас мебель из дерева. А у нас и земля другая, сухая. Поэтому в традиционном узбекском жилище вы не видели деревянных полов. Правда, все переменялось. Взять хотя бы нашу махаллу, она мало чем отличается от обычных индивидуальных домов где-нибудь в Центральной России или на Украине. А почему? Да потому что теперь лес появился, его привезут хоть из Сибири, хоть из Карелии. Но привычка, традиция все-таки остались, нам все равно кажется, что сидеть на полу удобнее. А некоторые люди считают, что если я сижу на полу, значит, я отсталый. Разве я становлюсь лучше или хуже, когда пересаживаюсь с курпачи на стул или со стула на курпачу? Я все тот же. Другое дело, что некоторые из узбеков традиционное сидение на курпаче по-восточному связывают сегодня с каким-то особым проявлением патриотизма, нарочито это выпячивают, ставят себе это даже в заслугу перед другими. Можно действовать в ущерб интересам своего народа и сидя на курпаче. Я так думаю.

— И я тоже так думаю, — согласился я и спросил его мнение о сандале.

— Лично я бы сделал у себя в доме сандал. Нет, не в комнате, а на айване, на террасе. Зимой спать на свежем воздухе полезно для здоровья. А ноги в тепле, не простудиться.

— Что ж, — говорю я, — кому что нравится. Одни зимой для здоровья лезут купаться в ледяную воду, другие стремятся в выходные дни в Чимган покататься на лыжах с гор...

— «Моржи» и лыжи — это одно, а сандал — это совсем другое. Про «моржа» никто не скажет, что он отсталый человек, а про любителя сандала — обязательно.

Отсталый человек... Вспомнилась мне моя поездка по Каракалпакии. Тогда я побывал во многих городах и населенных пунктах, в колхозах и совхозах и даже на самых отдаленных пастбищах автономной республики. Тогда мне тоже бросилось в глаза сочетание современных плановых домов с традиционными юртами. В Нукусе, Чимбае, Кунграде, Ходжейли и других местах бывало так: стоит индивидуальный дом, современный, кирпичный, под железной крышей, из нескольких комнат, с электричеством, газом, центральным отоплением, а во дворе юрта, и хозяин, как правило, в жаркое время приглашает гостей не в дом, а в юрту.

Тогда я по-настоящему оценил юрту в жарком пустынном климате. В современном доме и кондиционер в жару посчитаешь не за благо цивилизации, а лишь за источник простудных заболеваний. В этом я не раз убеждался. Перепад температур между улицей и таким помещением весьма

значительный, иногда до озноба. А вот юрта, если к ней отнестись без предубеждений, действительно удобна, в ней и в самом деле спасаешься от жары и духоты, в ней прохладно за счет хорошей вентиляции и притока свежего воздуха. За все время моего пребывания в Каракалпакии и в полуденный зной, и в ночное время я отдавал предпочтение юрте, так как она имеет неоспоримые преимущества даже перед самым современным жилищем. И тогда же я пришел к выводу, что правы каракалпаки, которые, получив квартиру в благоустроенном доме или построив современный индивидуальный плановый дом, не спешат отказаться от юрты и ставят ее во дворе. Так и узбеки тянутся к традиционному, сложившемуся веками облику жилища, в том числе и к сандалу.

А только ли с сандалом и юртой такая вот история? Внедряя в жизнь среднеазиатских народов блага цивилизации, мы неправомерно отмечаем иной раз все традиционное и связываем его с отсталостью и пережитками. Правы ли мы полностью, считая, что жизнь на европейский манер гораздо лучше, удобнее, чем на азиатский? Климатические условия порой все-таки диктуют свои особенности быта, и надо с этим считаться.

## ДЕТСКИЕ ИГРЫ И ВЗРОСЛЫЕ ЗАБОТЫ

Народная узбекская пословица гласит: «Выбирай не дом — выбирай соседей». Если «у соседа мир, у тебя — покой». Вообще пословиц о соседях немало у каждого народа. У русского народа тоже есть, такие, например: «Ближний сосед лучше дальней родни», «Жить в соседях — быть в беседах». И сегодня в махалле все соседи стараются жить дружно. На нашей улице дома стоят попеременно: русский домохозяин, узбек, опять русский, опять узбек. На соседней улице так совпало, что на одной стороне большинство домов принадлежит русским, на другой — узбекам. Так и стоят дома, с виду очень похожие, смотрят окнами друг на друга, и с той и с другой стороны перед домами аккуратные газоны, живые изгороди. В отношениях между соседями тишь да гладь. Соседи у нас в махалле умеют ладить, делят и радость, и горе, если в чем-то объявилась у кого-то нужда, помогут все вместе, независимо от национальности. И в махаллинском комитете все дела решают сообща. Есть в нем и узбеки, и русские, и татары, и корейцы. Никто не обижен. В составе махаллинских комиссий по благоустройству, по работе с молодежью, в совете ветеранов и в женсовете тоже полный интернационал.

А вот дети... Нет, ссориться не ссорятся, но ведь и дружбы особой не заметно, все-таки есть какая-то обособленность. Да что в махалле! В иной семье наблюдаешь такую картину: у одного соседа четверо детей — два мальчика и две девочки. Старшие мальчик и девочка учатся в школе с русским языком обучения, младшие — с узбекским. И друзья у них соответственно разделяются, у каждого свои, и не контактируют между собой эти друзья из разных школ, хотя и живут по соседству.

Мы сидим с Кадыром Юнусовичем на скамеечке возле его дома, беседуем о погоде, о недавних проливных дождях, о том, что в Пскентском и Букинском районах паводок причинил немалый ущерб. На улице сегодня сухо, тепло и солнечно. Ребятишки разных возрастов играют тут же неподалеку, рады, хорошей погоде.

Неожиданно Кадыр Юнусович обращает мое внимание на то, что дети на улице разбились на две группы — по языку обучения. Те, которые обучаются в узбекской школе, играют отдельно. Эта группа по своему национальному составу однородна. Дети из школы с русским языком обучения играют тоже обособленно, но среди них русские, узбеки, корейцы, татары. Все они, в отличие от первой группы, свободно говорят по-русски.

— Почему бы это? — с некоторым недоумением вскидывает на меня взгляд Кадыр Юнусович. — Помню себя в их возрасте, жили мы тогда на Шейхантауре, неподалеку от базарчика, играли все вместе, хотя и учились в разных школах.

— Да, это так, — киваю я. — И мы тоже не разделялись, играли все вместе хоть в ащички, хоть в орехи или в ляngu, хоть в «чок-чок». Я это хорошо помню. А сейчас... Я это давно подметил, разделение по языку обучения во время игр произошло не сегодня и не вчера. С одноклассниками дружат. У моего сына был друг Алишер, у дочери подружки — Дилбар, Малика... И у внука тоже есть друзья-одноклассники Хасан и Хусан. А вот друзей из узбекской школы у него нет, хотя те и живут от нас через дом или два. Спросил я его как-то, почему они не играют вместе? Пожал плечами: «Не знаю, они сами не хотят».

— Не хотят... — усмехнулся Кадыр Юнусович. — Наверное, есть причина... Наверно, влияет языковой барьер, — предположил он и сам усмехнулся своему собственному предположению. — Когда мы были такими, как они сейчас, все равно понимали друг друга: слово по-русски, слово по-узбекски, а то и знаками объяснялись.

— Наверное, тут что-то другое. — И я поведал ему о весьма курьезном случае, рассказанном одним из руководителей технического кружка в Доме пионеров. «Знаете, — говорил он, — когда в начале учебного года записываешь ребятам в кружок и заносишь в журнал сведения о каждом — в какой школе учится, где работают родители, возраст, национальность, — так ребятишки из узбекской школы на вопрос о национальности отвечают: мусульманин; а ребятишки-узбеки из русской школы говорят: «узбек». Что-то тут все-таки кроется: мусульманин и узбек. А?

— Странно... — озадаченно протянул Кадыр Юнусович и, помолчав, добавил: — Хотя иногда с этим и встречаешься. Бывает так: разговаривают два молодых человека, один что-то предлагает, а другой не соглашается, хочет сделать по-своему, и тогда первый говорит ему: «Э-э-э, мусульман-ми сан?...» — то есть: «Да мусульманин ли ты!» Всерьез, конечно, этого не принимаешь. Ну какие они мусульмане! Ясно ведь, что неверующие. Но все же, может быть, напрасно мы не придаем этому значения. — Он замолчал, а я подумал, что дети во всем подражают своим родителям и часто все, что слышат от них, несут на улицу и в школу. В связи с этим вспомнились мне слова Акмаля Икрамова из статьи «Несколько слов об интеллигенции», опубликованной в газете «Кзыл Узбекистон» в январе 1926 года:

«Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась у нас благодаря борьбе между двумя непримиримыми классами, благодаря столкновению двух противоборствующих сил. И здесь вовсе не уместно говорить о примирении этих сил. Если националистически настроенная интеллигенция говорит о каком-то «национальном освобождении», «формировании узбекской национальности», и если даже боролась за это, то она имела в виду выгородить национальную буржуазию, защитить ее интересы. Надо сказать еще об одной правде: узбекская (буржуазно-националистическая) интеллигенция избегает слова «узбек», употребляя вместо него «мусульманин», так как она, как и прежде, следует пресловутой идеологии пантюркизма и панисламизма».

— Да, видимо, тут дело не в языковом барьере,— прервал молчание мой собеседник, и я с ним соглашаюсь, тем более, что некоторые учащиеся узбекских школ старательно изучают русский язык. В этом я имел возможность не раз убедиться. Приходилось мне встречаться с юными читателями по линии бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Узбекистана. Так, в дни празднования Дня Победы мы с поэтом Ильясом Муслимом выступали в школе № 77, где учащиеся хорошо понимали и разговаривали по-русски, задавали много вопросов, декламировали стихи о войне Константина Симонова и других поэтов, пели на русском языке песни, показали инсценировку «У могилы Неизвестного солдата».

Недавно меня пригласили в узбекскую школу № 99, и получилась у нас с учащимися девятыдесятих классов интересная беседа о жизни и творчестве великого русского поэта А. С. Пушкина. Учащиеся проявили неподдельный интерес ко многим сторонам его творчества и жизни, читали наизусть стихотворения и отрывки замечательной пушкинской прозы. По просьбе учителей в этот же день и в этой же школе я провел беседу с учащимися пятих-шестых классов, и опять с удовлетворением отметил для себя, что и в младших классах довольно-таки хорошо владеют русским языком и с интересом знакомятся с произведениями классиков русской литературы.

Конечно, в таком большом столичном городе, как Ташкент, детям легче изучать русский язык. Мы говорим об этом с Кадыром Юнусовичем, а заодно и о том, что учащиеся русских школ в подавляющем большинстве совсем не знают узбекского языка, хотя и учат его с третьего класса. Это, кстати, сказывается и на знании родного языка учащимися-узбеками, занимающимися в школе с русским языком обучения. Оба мы в нашем разговоре приходим к тому, что в русских школах надо поправлять дело с преподаванием узбекского языка. Государство тратит средства, расходует дорогое ученическое время, а дети языка не знают.

— Узбекским ребятишкам русский язык нужнее, чем русским узбекский,— пытается найти этому оправдание мой собеседник, используя давно известный аргумент, что на узбекский язык все книги и учебники не переведешь, все кинофильмы не продублируешь.

И все-таки дело не в том, кому нужнее, кому нет. Знание второго языка и тем и другим полезно и в жизни всегда пригодится. На территории республики оба языка равноправны, и дети оба языка должны изучать с равным усердием. Когда-то мы, заканчивая десятый класс, сдавали на аттестат зрелости экзамен по узбекскому языку и устно, и письменно. Сейчас это почему-то посчитали ненужным. Почему? Изучение в школе языка братского народа — это тоже часть интернационального воспитания, причем немаловажная. И дело надо поставить таким образом, чтобы узбекские дети, обучаясь в русской школе, знали бы родной язык не хуже тех, кто учится в школе с узбекским языком обучения. Вот тогда, наверное, и не будут одни называть себя мусульманами, подчеркивая перед другими какое-то свое превосходство.

— По-видимому, мы что-то упускаем в этом вопросе,— сказал Кадыр Юнусович,— недорабатываем. Знаете, я обратил внимание на такие вот слова в докладе на пятом пленуме ЦК Компартии Узбекистана. Подождите, сейчас я принесу газету.— Он пошел в дом и быстро вернулся.— Вот прямо так и сказано: «И у нас в Узбекистане имеются не единичные проявления национальной замкнутости, ограниченности, чванства, местничества, иждивенчества. Они проявляются в разных, часто завуалированных формах. Но мы должны постоянно проявлять политическую бдительность, классовое чутье, уметь под любой личной распознавать и решительно пресекать малейшие попытки нанести урон дружбе и братству советских народов». А вот тут еще: «Притупилась у нас острота к вопросам интернационального воспитания и межнациональных отношений. В последнее время мы все реже стали вспоминать и объяснять массам, особенно молодежи, значение той огромной братской помощи народов страны, и прежде всего великого русского народа, благодаря которой произошло становление и развитие Узбекской Советской Социалистической Республики».— Собеседник отложил газету и задумался.— Верно сказано, притупилось внимание...— Он помолчал, словно ждал, а что же я скажу, и продолжал:— И в то же время обвинять их в каком-то национализме,— он кивнул в сторону играющих мальчишек,— не знаю... не думаю... Надо поговорить об этом в махаллинском комитете.

## ОТКУДА СЫР-БОР ЗАГОРЕЛСЯ

Однажды сосед, далеко не молодой человек и со степенью кандидата наук, с каким-то восторгом и удивлением рассказал:

— Знаете, ездили наши товарищи за границу — ученые, педагоги, общественные деятели и писатели тоже. Побывали в Америке. Там они встречались с узбеками. Есть и в Америке узбеки, разговаривали с ними, и с детьми тоже. И знаете, что они обнаружили?

— Что?

— А то, что там узбекские дети, несмотря на отрыв от родины, очень хорошо разговаривают по-узбекски, даже лучше наших. И литературу узбекскую знают. И узбекский язык у них чище, какой-то более целостный, не засоренный заимствованиями, хотя они учатся в школе с английским языком обучения, общаются все время с англоязычным населением.

— Значит, все-таки дело не в языке обучения, не из-за него у нас в стране дети все хуже и хуже знают родной язык, а в чем-то другом?..

Я сказал «в стране», потому что не только в Узбекистане дети недостаточно хорошо знают родной язык и родную литературу. Это болезнь общая, многих союзных и автономных республик. Беспокойство по этому поводу особенно сильно прозвучало с трибуны пленума правления Союза писателей СССР, состоявшегося в апреле месяце прошлого года. Приведу лишь некоторые высказывания:

Нил Гилевич (Белоруссия): «...ни в столице Белоруссии Минске, ни в одном из областных центров, ни в городе и даже в городском поселке республики практически нет ни одной белорусской школы».

Борис Олейник (Украина): «...в некоторых наших областных центрах количество украинских школ приближается к нулевой отметке».

Худайберды Дурдыев (Туркмения): «Как обстоит дело с обучением в школах родному языку, насколько хорошо им владеет подрастающее поколение, насколько сами писатели тратят усилия на его совершенствование? Наши изыскания на этот счет по всей республике дали далеко не радужные результаты».

Исмаил Шихлы (Азербайджан): «...хочу поддержать выступления Гилевича и Олейника, поднявших проблему изучения и преподавания национальных языков».

Школ с национальным языком обучения никто никогда не закрывал, наоборот, их открывали в первую очередь, если были учащиеся. Это я знаю точно, так как долгие годы проработал в народном образовании. Дело в том, что сами родители сегодня все чаще отдают своих детей в школу с русским языком обучения и этим осуществляют свое конституционное право «пользоваться родным языком и языками других народов СССР» («Конституция СССР», статья 36).

В свое время, когда я работал в школе учителем, мог наблюдать из года в год растущее количество учащихся нерусской национальности в классах с русским языком обучения. В школе, в которой учатся дети из нашей махаллы, в классах с русским языком обучения все больше детей местной национальности, несмотря на то, что рядом школа с узбекским языком обучения. Я происхожу это не по чьей-то воле. Это вполне закономерный процесс: родители думают о будущем своих детей, хотят, чтобы они, получая высшее образование, были действительно хорошими специалистами. Выше уже говорилось о том, что на язык каждой союзной или автономной республики практически невозможно перевести все имеющиеся учебники или издающиеся в мире книги по той или иной отрасли знания. На мой взгляд, остановить процесс уменьшения школ с национальным языком обучения можно только в том случае, если преподавание русского языка, а также иностранных языков — английского, немецкого, французского — поднять в них на должную высоту. Поборники искусственного увеличения количества школ с родным языком обучения вряд ли предвидят все последствия этого шага для своего же народа, ибо это обязательно скажется на качестве подготовки специалистов из числа людей местных национальностей.

Выступая на пленуме правления Союза писателей, Юрий Мушкетик (Украина) отметил, что «...не до конца уточненное и разработанное положение о праве родителей выбирать школу с языком преподавания на практике привело к тому, что, скажем, в моем родном Чернигове, где во времена моей юности большинство школ были украинские, как и во многих других городах республики, не осталось ни одной школы на украинском языке. Или остались одна-две».

Вот это самое «одна-две» говорит о том, что Юрий Мушкетик не знает истинного положения с украинскими школами. Готовясь выступить по такому серьезному вопросу и со столь высокой трибуны, Ю. Мушкетик должен был опираться на точные данные, взять их хотя бы в министерстве просвещения республики или в том же управлении народного образования города Чернигова. Это одно. И второе, по мнению Юрия Мушкетика выходит: надо лишить родителей права выбирать школу с языком обучения. А как тогда быть со свободой личности и с правами граждан СССР, записанными в Конституции страны? Вспоминая о временах своей юности, Юрий Мушкетик не подумал и о том, что жизнь не стоит на месте. В «Литературной газете» за 13 мая 1987 года опубликована беседа «Почему у нас мало по-настоящему образованных людей?» Один из участников беседы, доктор философских наук В. М. Межуев, сказал следующее: «Во всех развитых странах возрастает число лиц с высшим образованием — тех, кто работает головой, а не только руками. И недаром в Японии уже поговаривают о введении всеобщего высшего образования».

В Японии, в капиталистической стране. А если мы будем ориентировать детей лишь на изучение родного языка и не будем создавать им необходимые условия для изучения русского языка и ряда иностранных языков, причем, изучения глубокого, досконального, сможем ли мы решить те задачи, которые перед всеми нами, и большими и малыми народами нашей страны, ставит научно-технический прогресс?

Нет, я умышленно остановился столь подробно на выступлениях участников пленума Союза писателей, потому что их единомышленников немало и в нашей махалле — те же взгляды, те же подходы к решению проблемы. Выше я упоминал семью соседа, у которого двое старших детей учатся в школе с русским языком обучения, а двое — с узбекским. Так вот третьего ребенка они тоже отдавали в русскую школу, и он учился в русской школе до четвертого класса. Собирались и самую младшую дочку отдать в русскую школу. Но вот такие веяния, что дети должны учиться лишь в школе с родным языком обучения, возобладали, и родители вынуждены были подчиниться общественному мнению махаллы, забрать мальчика из четвертого класса и перевести в узбекскую школу, а дочку отдали в школу с узбекским языком обучения, о чем до сих пор жалеют, когда заходит разговор о будущем детей.

Живут в нашей махалле две старушки — тетя Поля и тетя Катя, и сколько я их знаю, столько они обе няни-надомницы, и за все эти годы вынуждены не один десяток детишек из узбекских семей. Родители специально отдают своих детей русской няне, чтобы они с раннего возраста усваивали русский язык.

Непонимание необратимости и значения этого процесса — тяги к изучению русского языка — приводит порой к неправильным выводам, противоречащим интересам родного народа.

Всякие попытки поставить заслон в виде запретительных мер не усилят патриотизма и не улучшат знания родного языка. Сравнительно недавно в «Литературной газете» Чингиз Айтматов высказался так: «Во Фрунзе киргизских школ не прибавляется, а строятся их сотни. Давно назрела пора открыть в столице республики детские сады с киргизским языком. Никто сему не препятствует, но никто и не занимается, а ведь все это в современных условиях приобретает жизненно важное значение для народа. Что же это за национальная культура, которая не имеет своей базы?»

Мне думается, что открывать одноязыкие детские сады — значит слишком упрощать, даже примитивизировать проблему. Думаю я об этих ребятишках, воспитывающихся в таком детском саду, пробуя представить их в будущем, и сомнение берет: а вырастут ли они интернационалистами, а скажут ли они, став взрослыми, нам спасибо за то, что в детстве с ними провели подобный эксперимент? А решим ли мы такой мерой проблему, которую хотим решить? Своими сомнениями я поделился во время нашей беседы с председателем Ташгорисполкома Шукуруллою Рахматовичем Мирсаидовым. Выслушал он меня и задумался, а потом сказал:

— Нет, пожалуй, этой проблемы мы так не решим.

Можно привести немало примеров, когда ребенок воспитывается в детском садике на территории своей махаллы, учится в школе с родным языком обучения, но вот насчет патриотизма, любви к родной культуре, к истории своего народа дело обстоит неважно. В нашей махалле я провел маленький эксперимент: останавливал мальчишек школьного возраста, от десяти до четырнадцати лет, и спрашивал, каких узбекских писателей они знают, читали, например, «Детство» Айбека или «Озорника» Гафура Гуляма?

Увы, ребята отвечали, почти не задумываясь, что знают Садрриддина Айни и Алишера Навои — и все. На второй вопрос я получил отрицательный ответ у всех опрошенных. Это обстоятельство заставило меня задуматься, и я пошел в детскую библиотеку, находящуюся как раз между обеими школами, в которых учатся дети из нашей махаллы. На мой вопрос, есть ли повести Айбека и Гафура Гуляма и берут ли их читать ребятишки, библиотекарь — молоденькая девушка, ответила так:

— Ну, конечно же, есть. И на узбекском, и на русском языках. А вот как их читают, сейчас посмотрим.

Посмотрели, книжки действительно есть. На узбекском языке по несколько экземпляров и той и другой повести, но ни одной книги ребята не брали, во всяком случае, книжные формуляры оказались абсолютно чистыми со дня поступления книг в библиотеку. Правда, тот факт, что «Детство» («Болалик») Айбека ребята не брали, я отнес за счет издательства: книга издана совсем без иллюстраций, с блеклой обложкой, оформленной гораздо скучнее каких-нибудь специальных книг или монографий по хлопководству или обработке металлов. Подержал я эту книгу в руках и подумал, а патриоты ли сами издатели, которые делают такие книжки для детей? (Замечу попутно, что в издательствах республики, как правило, главными редакторами, заведующими редакциями да и простыми редакторами работают писатели).

Уверен, что писатели, ратующие сегодня за одноязычные и многонациональные детские сады, требующие увеличения количества школ с родным языком обучения, сами в свое время не смогли бы стать писателями, если бы в детстве их поставили в условия подобной национальной изоляции, начиная с детского сада. Наблюдая сегодня в нашей махалле ребятишек, ограничивающихся только своей национальной средой, я вижу, как они сильно проигрывают по сравнению с теми, кто растет в интернациональной среде. Родители это тоже видят, и не случайно на III пленуме ЦК Компартии Узбекистана в докладе был приведен такой факт: «Недавно мы получили письмо от 200 семей, в основном узбекских, проживающих на массиве ТашМИ, которые длительное время не могут добиться открытия для своих детей русской школы».

А как же добиться, чтобы дети знали родной язык, были действительно патриотами своего народа, своей национальной культуры? Не берусь отвечать на этот вопрос сейчас потому, что он требует отдельного и весьма обстоятельного разговора. Скажу только одно, что согласен с тем, что отметил на XX съезде ВЛКСМ М. С. Горбачев, касаясь вопросов воспитания подрастающего поколения: «Человек не рождается с генами интернационалиста или националиста. От него самого, от воспитания, от общества зависит, каким он станет в жизни. И каждому новому поколению советских людей предстоит каждый раз вновь обретать чувство интернационализма в межнациональном общении, совместной учебе и работе». Думается, что далеко не последняя роль в воспитании интернационалистов принадлежит махалле, махаллинским комитетам.

### «КАК ЖИВЕТЕ, ЖЕНЩИНЫ-ГОЛУБКИ?»

— А чем плохо живет женщина хотя бы в нашей махалле? — сказал мне один из собеседников.

Что можно ему возразить? Нет, вроде бы действительно неплохо живет женщина, вроде бы все по Конституции, все в духе времени: и паранджу сбросила узбечка шестьдесят лет назад, и образование получила, и в общественную жизнь активно включилась, и работает, и труд ее оплачивается наравне с мужчиной. Ни в чем, казалось бы, не ущемляют ее прав и давно уже исчезли всяческие феодально-байские пережитки в отношении к женщине. Все это так, но и все же: «Значительная часть женщин — свыше 1 миллиона 120 тысяч, среди них 690 тысяч многодетных матерей, занятая исключительно домашним хозяйством. Многие из них под нашим мужем или родственником ограничивают себя лишь семейными заботами... К большому сожалению, еще не везде феодально-байское отношение к женщине получает серьезный отпор со стороны общественности. Безнравственно, более того — преступно быть молчаливым, равнодушным свидетелем драмы человеческой личности. Хочется надеяться, что женсоветы возьмут под свой постоянный контроль семьи, в которых еще господствуют отсталые нравы, где унижается человеческое достоинство». (Из материалов V съезда женщин Узбекистана).

Наш разговор с Маххамом Баратовичем, членом махаллинского комитета, именно об этом и шел — о «женском вопросе». Я высказываю предположение, что неплохо бы в махалле иметь свою библиотеку, а библиотекарь должен вести серьезную культурно-просветительскую работу, так как книга еще не стала по-настоящему спутницей жизни многих жителей махалли, особенно женщин. Если в школе или в период обучения в институте или техникуме узбечка дружит с книгой, то, выйдя замуж, расстанется с ней.

— Ну, это бывает не только с узбечками, а и с русскими тоже, — возражает собеседник.

— Бывает, но реже, — уступаю я. — В махалле надо шире проводить и лекционную пропаганду, и не ограничивать ее лишь лекциями о международном положении, на которые ходят опять-таки одни мужчины.

— А женщинам это неинтересно. И вообще, о международном положении они слушают беседы по телевизору, к тому же, им некогда ходить на лекции: дом... дети... заботы...

— Согласен, дети... заботы... — в тон ему повторяю я. — Ну а если организовать, например, лекцию участково врача-педиатра. Что-то не припоминается мне, чтобы когда-нибудь висело такое объявление о лекции для женщин. На такую лекцию они пришли бы?

— Наверное, пришли бы, но им ведь негде собраться. В махалле нет клуба.

— Можно ведь и в чайхане собрать, места хватит, особенно летом.

— Нет, в чайхане как-то неудобно. Можно, конечно, но женщины сами не пойдут в чайхану.

Неудобно в чайхане, и это мне понятно: не принято по стародавним традициям. Понятно мне и другое. Отношение к женщине в махалле не то что, скажем, на производстве, в трудовом коллективе, хотя и там иногда дают понять, что равноправие равноправием, а все-таки... Есть такое, и спорить не надо. В махалле ей всегда напоминают об этом, мол, всяк сверчок знай свой шесток. Если посмотреть со стороны, то сразу же бросается в глаза то, что в махалле еще действует негласный принцип разделения по полу. Женщины ходят друг к другу в гости в связи с какими-нибудь праздниками или обрядами. Женщины собираются сами по себе, мужчины тоже сами по себе. Так ведется исстари. И если даже праздник, и у кого-то в доме гости, то мужчины празднуют и угощаются в одной половине дома, а женщины — в другой. Ладно, сейчас хоть в «старом» городе не стало мужских и женских очередей в магазинах, а лет тридцать назад действовал такой порядок: отдельно очередь для мужчин, отдельно для женщин. Ушло в прошлое, канул в Лету, и молодежь не знает об этом. А вот со старыми обычаями да привычками дело обстоит несколько сложнее. В войну и в пятидесятые годы многие из них, казалось, совсем ушли в прошлое и уже никогда не вернуться. Но нет, рано так было считать.

Обряды и религиозные праздники теперь, как правило, отмечаются многолюдным угощением. Утром у кого-то устраивается плов, и приглашаются на него только мужчины. Идут они группами по десять-пятнадцать человек, не спеша, мирно беседуя. Туда же подъезжают и на автомашинах, а то и на автобусах приглашенные из других махалля, и опять только мужчины. Женщины сидят дома или собираются на работу, ведут детишек в детский садик, провожают старших в школу.

Приходилось мне бывать на таком плове: встретят, угостят и проводят с подчеркнутым восточным гостеприимством. Все продумано, все идет четко, как по писаному. У хозяина во дворе расставлены столы. По мере подхода очередной группы гостей усаживают за свободный стол, действует своеобразный конвейер: одни уже поели и прощаются, другие еще едят, третьи лишь садятся за стол. Гостей встречают только мужчины, угощают, разносят ляганы с пловом, чайники с чаем только юноши.

Гости едят плов руками, но если кому-то понадобится ложка, ему ее, конечно, принесут. Руки перед едой моются тщательно, и некоторые уверяют, что есть руками вкуснее. Возможно и так, но я не заметил никакой разницы: вкус плова зависит от искусства повара. Другое дело, что тут все стараются показать свою приверженность старым обычаям, а потому и приходят на этот плов не надеяться, а просто поддержать традицию. Эти же самые люди в другое время, например, в столовой в обеденный перерыв, и не подумают есть руками такой же точно плов, обязательно возьмут ложку.

Так вот, женщин вы в момент угощения пловом не увидите. На глаза посторонним мужчинам они показываться не должны, не положено. Хотя этих же самых женщин эти же самые мужчины потом на улице могут встретить десятки раз, разговаривать с ними — и никого это не смущает. Но сейчас, в момент угощения пловом, никто из женщин даже невзначай, даже в случае крайней надобности не покажется. Этим самым подчеркивается, что хозяин дома и все его домочадцы ревностно чтут старые обычаи.

Нет, я не против старых обычаев. Есть среди них разумные, не противоречащие нашей социалистической морали. И даже в данном случае можно было бы махнуть рукой и сказать: «А, муж и жена — одна сатана, сами разберутся, как им жить в собственном доме». И даже описывать все это я бы не стал, если бы... Если бы за всем этим не виделась попытка чьей-то злой воли вернуть к жизни старые порядки, отсталые взаимоотношения между людьми, отжившую мораль. Мне так и слышатся отзвуки мрачного дореволюционного прошлого, когда жена обязательно говорит мужу «вы», а он ей в ответ только «ты». Видится мне осколок старого мира, когда муж и жена вместе идут в магазин или в гости, но муж идет на два шага впереди и разговаривает с женой, бросая слова через плечо.

Влюбился парень в девушку, до свадьбы всюду вместе, и все, казалось бы, у них на равных, а после свадьбы начинаешь замечать в разговоре, в поведении молодой женщины перемены, постепенно утрачивает она все то, что старательно закладывала в течение десяти лет наша советская школа. Не со всеми это происходит, но и та часть молодых женщин, которые начинают мириться хоть в чем-то, хоть в семейно-бытовых мелочах, с ущемлением своего достоинства, не может не вызвать у общества тревоги.

Иногда поутру выйдешь из дома и видишь, что молодые хозяйки, невестки да снохи, старательно подметают и поливают улицу, каждая перед своим домом, и это служит безошибочной

приметой: сегодня какой-то религиозный праздник. Мужчин за этим занятием вы никогда не увидите, это ниже их достоинства. И девочкам с детства внушают, что подметать и поливать — только их дело. Во время субботников в школе, когда проводится генеральная уборка двора и прилегающих улиц, мальчики соглашаются на любую другую работу, только бы не мести у всех на виду улицу. Был однажды такой случай. Приехал ко мне внук, тогда ему было лет семь. Бабушка велела ему подмести двор и возле дома тротуар. Мальчишка, приехавший из России, бодро взялся за выполнение бабушкиного поручения. Через несколько минут слышу, дразнят моего внука и смеются над ним. Кто бы это мог? Выглядываю из окошка: соседские девочки, сверстницы внука и чуть постарше, показывают на него пальцами и смеются.

Махалля, ее мнение, регламентирует поступки и даже образ мыслей человека. Она не оставляет без внимания и не прощает отступления от норм и правил ни в большом, ни в малом. В данном случае я имею в виду не всех жителей, а только местной национальности. К ним махалля не знает снисхождения.

В последние годы в Ташкенте, да и не только в Ташкенте, участились межнациональные, так называемые смешанные, браки. Лично я знаю немало таких интернациональных семей, когда русский женат на узбечке, узбек на русской или украинке, еврей на кореянке, кореец на татарке, и у всех у них стаж семейной жизни перевалил за два десятка, а то и более лет. Знаю и такую семью, в которой пять сыновей — узбеков и пять невесток разных национальностей: узбечка, кореянка, татарка, русская и украинка. Сурайя-апа проявляет много такта, понимания и делает все, чтобы в этой большой многонациональной семье царил лад, совет да любовь. Ее покойный муж, участник Великой Отечественной войны, при жизни очень чутко относился к каждой молодой паре. Однажды мне пришлось быть свидетелем весьма характерной сценки. На праздник к родителям собрались все молодые семьи. Два внука — двоюродных братца, у которых разница в возрасте не больше годика, — затеяли игру. Один бойко разговаривает по-узбекски, так как живет в доме бабушки и дедушки и мама у него татарка, а другой внук, Валиджан, или на русский манер Вовочка, хотя в метриках и значится узбеком, а по-узбекски не знает ни слова. Играют двоюродные братцы, мы беседуем с дедом, а Сурайя-апа ставит нам на стол чай и угощенье. И вдруг Вовочка-Валиджан тербит бабушку за юбку и жалуеться: «Бабушка, бабушка, а почему Сабир что-то говорит, говорит, а я ничего не понимаю!»

— Ничего, Вовочка, играйте. Сабир помладше тебя. Вот подрастет и научится, и ты его поймешь. А пока играйте.

Сурайя-апа не стала вносить ясность, справедливо считая, что двоюродные братья подрастут и постепенно сами во всем разберутся, что Сабир, разумеется, научится русскому языку, а Валиджан-Вовочка выучит узбекский, больше общаясь со своими родственниками.

Такой подход к решению проблемы межнациональных браков со стороны родителей и родственников соответствует всему ходу развития нашего общества и духу интернационализма. Но есть и другие примеры, когда родня всячески противится межнациональному браку, и чаще это происходит не без влияния махалли. Кончил парень узбекскую школу, но по-русски говорил совершенно свободно, был начитан и развит, службу в армии проходил в одном из западных округов, перед возвращением женился и привез жену — белоруску. И из себя ничего молодуха, и по дому работать не ленилась, а вот не прижилась, не ко двору пришлась, не смирились родители с тем, что женился сын и брат не на узбечке. Забрала она трехмесячного сына и уехала к своим родителям. Но не развелись, молодой муж отказался подавать на развод. Вот и ждет махалля, чем это кончится. Победа чаще всего в таких случаях бывает на ее стороне. У другого соседа дочь хотела выйти замуж по своему выбору, но родители не дали своего согласия. Так и осталась она незамужней, хотя и сваталась к ней другие, и родители соглашались. Тоже грустная история, и тоже в ней не обошлось без влияния махалли. И не случайно на III пленуме ЦК Компартии Узбекистана говорилось о новых подходах в работе с семьями и по месту жительства. О необходимости нацелить на бескомпромиссную борьбу против старых устоев махаллинские и домовые комитеты, провести их аттестацию, укрепить коммунистами, комсомольскими активистами, представителями передовой интеллигенции.

## МАХАЛЛЯ НА САМООБСЛУЖИВАНИИ

Махалля, как и всякий живой организм, борется за свое выживание и потому чутко реагирует на характер окружающей жизни, по-своему приспосабливаясь к ней. Укоренившаяся в последние годы недооценка социально-бытовой сферы, дефицит товаров народного потребления, неразворотливость нашей службы оказания услуг населению заставили махаллю переходить на самообслуживание, что, в свою очередь, не замедлило сказаться и на морально-нравственных критериях ее обитателей.

Если человеку надо починить в собственном доме крышу и никто ему ее из государственных организаций не починит, то он будет искать помощи где-то на стороне, у частника. Если нужно поставить забор, вставить стекла, починить водопровод или отопительную систему, произвести текущий ремонт, владельцу индивидуального дома по самой малой-малости придется обращаться к частнику. Случись же неполадки в многоквартирном жэковском доме, квартиросъемщику намного проще, хотя и в этом случае не без хлопот. В ЖЭКе есть дежурный электромонтер, слесарь, есть книга регистраций вызовов, должны принять заявку, прийти и починить. Если же будут волокитить, квартиросъемщик может жаловаться по инстанциям, вплоть до Министерства коммунального хозяйства, в конце-концов напишет в газету, в тот же «Вечерний Ташкент», кто-нибудь да поможет, одернет и заставит волокитчиков сделать необходимое.

Владельцу индивидуального дома жаловаться некуда, никто его и слушать не станет: твой дом, вот и выкручивайся сам, как хочешь. Есть в городе организация, которая производит строительство и капитальный ремонт индивидуальных домов, но с разными мелочами они связываться не станут. Конечно, было бы хорошо: позвонил по телефону в службу «Сервис» или другую

организацию, занимающуюся оказанием мелких бытовых услуг, сказал: «Пришлите специалиста». У тебя приняли заказ, записали адрес и прислали в условленное время человека, он выполнил необходимую работу, ты оплатил, тебе выписали квитанцию, спасибо — спасибо, и на том до свиданья.

Хорошо бы! Но ведь этого нет, и еще когда будет? На XXVII съезде партии в докладе по этому поводу было сказано: «Требуется как можно быстрее создать современную сферу услуг. Это задача центральных организаций, но в не меньшей, а может быть, и в большей мере Советов Министров союзных республик, всех органов местной власти. Должны быть приняты решительные меры для ликвидации резкой диспропорции между спросом на услуги и их предложением. Прежде всего на услуги, связанные с облегчением домашнего труда, благоустройством и ремонтом квартир, туризмом, автообслуживанием, потребность в которых растет очень быстро».

Потребность растет очень быстро, а вот предложение услуг не очень торопится. Есть в махалле люди разных специальностей и профессий, всякие мастера-умельцы, которые готовы прийти на помощь и оказать необходимую услугу. Конечно, безвозмездно, ты платишь деньги, которые с тебя могло бы получить государство, к общей нашей выгоде. В последнее время приняты постановления «О мерах по дальнейшему повышению роли и усилению ответственности Советов народных депутатов за ускорение социально-экономического развития в свете решений XXVII съезда КПСС», «О борьбе с нетрудовыми доходами» и «Закон об индивидуальной трудовой деятельности». Все это очень важные и нужные документы, народ с нетерпением ждет, когда они претворятся в жизнь. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В печати, по радио и телевидению некоторые журналисты с упоением рассказали читателям и зрителям о возникших кооперативах по бытовому обслуживанию, но скромно умолчали, что пока вклад этих кооперативов в бытовое обслуживание двухмиллионного населения нашего города мизерный, что в эту область никаких существенных перемен они не внесли и, по всей видимости, не внесут в ближайшее время.

Я прекрасно знаю, к кому из соседей мне обратиться, если нужно произвести ремонт дома, сварить из труб шпалеры под виноградник, привезти цемент или гравий, песок или известковый раствор, у кого можно купить саженок роз или фруктовых деревьев, к кому обратиться, если поломался телевизор или мотор у автомашины почему-либо не заводится, кто испечет нужное количество лепешек, если вдруг намечается большой семейный праздник. Не выходя из нашей махаллы, могу постричься по последней моде. Если заболит кто-либо из домашних и участковый врач пропишет уколы, я знаю, с кем говорить и кто не откажет, ведь участковую медсестру не дозовешься да и не всякой доверишь делать эти уколы. Махалля привыкла сама себя обслуживать. Конечно, повторяю, все это не за спасибо, все это может быть и подороже государственных расценок на такого рода услуги, но зато уж за своевременность и качество исполнения можно не беспокоиться: соседу никто не станет делать кое-как, потому что здесь долго жить рядом — и самому, и детям, и внукам.

Вот и говори после этого о борьбе с нетрудовыми доходами. Хотя какие же они нетрудовые? Самые настоящие трудовые. В соответствии с законом об индивидуальной трудовой деятельности оказание таких услуг вполне допустимо и даже поощряется, если человек получает патент или платит соответствующий налог. Но зачем ему брать патент, если его деятельность носит как бы разовый характер, ведь он просто по-соседски оказывает услугу? Он же не обслуживает клиентуру за пределами махаллы?! Портнихе, к примеру, вполне достаточно заказов от соседок и их дочек.

— Какая же это разовая деятельность, — удивится иной читатель, — если нет отбоя от просителей и заказчиков, ну и что ж, что в пределах одной махаллы? Надо брать патент, платить налог. Обязательно.

Вообще-то надо, но хоть сто фининспекторов придут в махаллю, им никто никогда не скажет, что вот, дескать, тот-то занимается побочным промыслом и всю выручку от этого занятия кладет себе в карман, ни копейки не платит государству налогов, патент не берет. Никто не скажет, и я промолчу или отвечу, как в той популярной песне: «Ничего не знаю, ничего не вижу, ничего никому не скажу».

Почему не скажу? Да очень просто: что я, враг сам себе! Сосед только услышит о патенте или налоге, сразу же перестанет заниматься такой индивидуальной деятельностью, а служба «Сервис» не поспежит ко мне на выручку, ей до моих забот и печалей нет дела. Это она не раз доказывала. Что? Теперь налаживается и встает на ноги служба бытового обслуживания населения? Вот когда наладится и встанет на ноги, тогда и разговор будет другой.

## А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?..

А дальше все своим чередом: город растет в высоту, сносятся старые махаллы, а их жители из домовладельцев превращаются в квартиросъемщиков, но напрасно кто-то подумает, что махалля отмирает. Она попросту приспособляется к новым условиям, живет и действует в многоэтажках, и многие утверждают, что это очень хорошо, так как махалля и здесь объединяет людей, как бы цементирует коллективы. Жаль только, что архитекторы об этом не помнят.

— О чем? — спрашивают, и уважаемый аксакал напоминает мне, что раньше в каждой махалле был своеобразный центр — гузар, где находились чайхана и другие общественные службы и помещения.

— Понимаете, — говорит он. — Без чайханы никак нельзя. Ведь внутри жилого квартала ее легко предусмотреть, места достаточно. В тени, в прохладном месте, возле небольшого искусственного водоема с фонтаном. Можно ведь?

— Конечно, можно, — говорю я, вспомнив, что этот год в нашем городе будет годом чайханы. Так сказал председатель горисполкома.

— А не создаст ли организация махалли в многоэтажках каких-то изолированных по национальному признаку групп среди жильцов квартала или микрорайона? — спрашиваю.

— Не создаст, — после короткого раздумья уверенно ответил он. — Ведь мы ни от кого не обособляемся. Вот я знаю, в некоторых жилых микрорайонах в каком-то одном доме целый этаж специально спроектирован и оборудован для таких общественных мероприятий, как свадьба. Этим помещением может воспользоваться каждый, независимо от национальности. Если свадьба, в своей двух-трехкомнатной квартире много ли народу посадишь? Вот и предусмотрели.

— Ну, хорошо, — стараюсь я предложить собеседнику посмотреть на этот вопрос о махалле еще с одной стороны. — Махалля сейчас почему-то все свое внимание сосредоточивает лишь на проведении свадеб, поминок и различных тоев, а новые обряды?

— А что новые обряды, — смотрит он на меня немного изумленно. — Как будто не знаешь: проводы в армию, вручение паспортов...

Нет, не много он насчитал наших новых обрядов и обычаев, которые вошли бы в жизнь народа надолго и прочно, которые отражали бы уровень культуры и характер нашего общества, его морально-нравственные принципы. Нет у нас еще стройной и целенаправленной, глубоко продуманной системы в этом деле. Есть лишь попытки придумать, внедрить, распространить что-то новое. Да ведь и времени у нас для этого мало было: из тех семидесяти лет, что в стране существует Советская власть, мы больше половины либо залечивали раны, нанесенные войной, либо, напрягая все силы, развивали промышленность и сельское хозяйство. Так что не до новых обрядов нам было.

Прошли годы, выросли дети, подрастают внуки, вот и думаешь, а что же мы оставляем им? Много, конечно, оставляем: землю и ее недра, которые принадлежат народу, многоэтажные и многолюдные города, возделанные поля и сады, автострады, железные дороги и каналы, заводы и фабрики, самолеты в небе и космические корабли в космосе... А для души что?.. Нет, я не о литературе и музыке. Я о традициях и обычаях, о наших обрядах и праздниках. Что оставляем? Первомайские и ноябрьские демонстрации, новогоднюю елку, День 8 марта и День Советской Армии, ну еще День строителя, День физкультурника, День геолога, День химика, День торгового работника, День медицинского работника, День космонавтики, День милиции, день... день... На все профессии дней не хватает. В году 365 дней, а различных профессий насчитывается до десяти тысяч, и без любой из них общество не может обойтись. Да и тот ли это путь? Может быть, нам достанет одного общего праздника труда, но такого, чтобы в этот день действительно чувствовался именно труд, мастерство, чувствовался всенародно. Есть у нас День знаний, но почему-то этот день больше считается праздником школьников, который вытеснил ставший традиционным и принятый всем народом День учителя. Отмечаем так, для галочки.

Всякий праздник тогда приживается и укореняется в жизни общества, когда он сам по себе обрастает определенными обрядами и обычаями. Без них он не становится всенародным; а чаще остается очередным мероприятием.

Новые обряды и праздники надо глубже и основательнее продумывать в деталях, лишь затем внедрять. А то говорят: надо проводить вручение паспортов — вот и проводят его в махалля, кто как себе мыслит и кто когда. А если всем родившимся в одном году вручать паспорта в один день по всей стране, скажем, в «День совершеннолетия»? И узаконить этот день, и считать его всенародным праздником. То же самое и с праздником Труда или праздником Весны. Пусть он называется «Навуруз» и пусть проводится по всей стране в день весеннего равноденствия и будет это наш, советский праздник с определенным ритуалом и обычаями, обрядами и традициями. Точно так же можно ввести по всей стране праздник Урожая.

Разговорился я как-то в нашей махалле с одним аксакалом о религии и о молодежи, о том, как внедряют старики в сознание молодых людей религиозные догматы, а он мне отвечает:

— Разве мы их плохому учим? Любая религия учила человека всегда уважать старших, не лгать, не грабить, не убивать, осуждала воровство, моральную распушенность, призвала жить в труде и добывать свой хлеб в поте лица, быть милосердными. Если не мы, старики, научим этому молодых, так кто же? Стариков моего возраста в махалле и джоньки не наберется. Да, мы собираемся в нашем маленьком молебном доме и молимся, и не скрываем этого. В махалле все об этом знают, и никто нас не осуждает — ни русские, ни узбеки, ни люди любой другой национальности. Мы люди старые. Ехать молиться в мечеть далеко, здоровье не позволяет. Мы никому не мешаем, и не то что молодежи, а и людей преклонного возраста, которым за шестьдесят, мы не приглашаем молиться с нами. Пусть нам никто не мешает. Мы все уже в прошлом, в старом времени. Молодые живут в новом времени, у них все впереди, и мы не хотим им мешать, а желаем только помочь. Мы их учим не религии, не заставляем заучивать коран, а только говорим о вечных ценностях, с которыми им легче будет прожить свою жизнь. Нельзя совсем отбрасывать старые, проверенные веками обряды и обычаи, — они еще нужны будут людям.

Другой аксакал и в другое время, словно продолжая мысли первого, пожелал:

— Если вы придумаете новые обряды и обычаи и народ примет их душой, то старое само уйдет безвозвратно. Религии, как люди, приходят в этот мир и уходят, только срок жизни у них дольше, чем у людей. Умрем мы, старики, и многое из жизни уйдет вместе с нами. Кое-что останется, конечно, как воспоминание. Сейчас среди людей, которым за пятьдесят, может, один из ста знает коран, да и то приблизительно. А среди молодых... — Он вздохнул и больше не сказал ни слова, углубившись в какие-то свои старческие думы.

«Новые обряды и обычаи, и чтобы народ их принял...» В душе я был согласен с аксакалом и через некоторое время вспомнил о нем, когда снова прочитал в Программе нашей партии следующие строки:

«Важнейшая составная часть атеистического воспитания — повышение трудовой и общественной активности людей, их просвещение, широкое распространение новых советских обрядов и обычаев».



Александр Берлянд

## У ИСТОКОВ

Советской Армии — 70 лет. Пройден большой путь. На этом пути наша Армия покрыла свои знамена немеркнувшей славой, предстала перед всем миром символом справедливости, интернационализма, мужества и отваги.

Обращаясь к красноармейцам, отправляющимся на фронт, Владимир Ильич Ленин говорил: «Вперед, товарищи красноармейцы. На бой за рабоче-крестьянскую власть, против помещиков, против царских генералов. Победа будет за нами».

Вещими были слова Ильича. Во всех битвах за власть Советов, за свободу и независимость нашей Родины победа неизменно была за Советской Армией.

История нашей армии — это история народного подвига, это миллионы людских судеб, каждая из которых — гордая песня о красоте человеческой души, о верности и любви, о преданности Родине.

То, о чем я хочу рассказать, происходило в годы Великой Отечественной войны на тех самых местах, где родилась в первых боях Красная Армия, — под Нарвой и Псковом. Герои моих документальных рассказов простые солдаты. Их имена вы не найдете на торжественных памятниках и обелисках. Но тем и примечательна наша Армия, в том ее и величие, что каждый в ней имеет право на благодарную память потомков. Каждый...

### СЛЕЗА

Мы назвали ее слезой, эту изумительную, чистую, даже с какой-то голубишной воду. Она неспешно поднималась, затопляя нашу редакционную землянку так, что, вычерпав вечером все до капли, мы где-то к рассвету ощущали её холодное дыхание около самой спины, хотя разместили наши жердевые нары почти под самым потолком.

Но вода, повторяю, была изумительно прозрачна и чиста так, что, прежде чем спустить ноги и снова заняться ее вычерпыванием, мы утоляли жажду и наполняли большой алюминиевый чайник, предусмотрительно подвешенный к потолку.

Кристалльная чистота воды была тем более удивительна, что просачивалась она сквозь землю, насквозь пропитанную кровью — нашей и вражеской, сквозь землю, что затем войдет в историю Великой Отечественной войны как знаменитый Нарвский плацдарм.

Нарва... Сколько раз вторгалась она в нашу историю, оставаясь в ней то горькими, то героическими страницами. За «конфузию» у ее стен оплатил Петр превеликой викторией, одной из тех, что подняли над миром славу России.

А спустя два столетия, в феврале восемнадцатого, вновь сошла на поле брани, здесь же под Нарвой, молодая Советская Россия со злым врагом. Великая идея родила великую силу. У Нарвы в победоносных боях и состоялось рождение Красной Армии.

И вот мы снова, уже в 1944-м, на Нарвском плацдарме, сплошь залитом кровью, и бои идут такие жаркие, что их не охладить и этой воде, заполняющей траншеи, блиндажи, землянки, — все на свете.

В одном из них мы потеряли Мишу Соснина. Нет, он не служил в редакции нашей дивизионной газеты. Был он из дивизионной разведки, и командовавший ею майор Валитов говорил, что нет у него более смелого, находчивого и дерзкого красноармейца.

Михаил любил нашу газету, наш небольшой отряд. Поскольку мы почти всегда находились рядом с КП командира дивизии, а где-то неподалеку были и разведчики, Миша в свободное время (а и такое порой бывало у разведчиков) приходил к нам.

Он с удовольствием крутил колесо печатной машины, помогал укладывать свежий номер газеты в посылки, за которыми приходили почтальоны из частей и подразделений. И еще знал он, что есть у нас гитара. Любил Михаил, тихо тронув струны, запеть что-нибудь совсем простое, но такое близкое и родное, что сердца наши бились как бы в одном ритме — чуть приглушенно и в то же время взволнованно.

И вот наш друг и отважный разведчик погиб. Позже мы узнали, как это случилось.

До 26 июля, дня, когда наши войска, преодолев мощные оборонительные рубежи, форсировали реку, штурмом овладели городом, подняв над Нарвой алое знамя победы, было еще далеко. Но подготовка к решительным боям велась, и в ней, пожалуй, самую важную роль играла разведка. Именно разведчики должны были обеспечить наше командование исчерпывающей информацией о противостоящем противнике, системе его обороны, расположении огневых средств и о многом другом, без чего нельзя спланировать наступление.

Разведчики только им известными путями пробирались в тыл врага, добывая необходимые сведения.

Однажды разведгруппа, скрытно переправившаяся на другой берег и продолжавшая движение в тыл, наткнулась на засаду. Михаил со свойственной ему храбростью метнул гранату и, вырвавшись вперед, привлек к себе внимание фашистов, которые и сосредоточили на нем огонь. Это ликвидировало момент внезапности, дало возможность в считанные секунды организовать оборону, а затем и атаковать засаду. Так ценою своей жизни разведчик Соснин спас своих товарищей.

Разведчики не оставили своего друга на чужом берегу. Они принесли его в нашу землянку, положили носилки на деревянный настил.

Пока разведчики копали могилу, мы стояли у тела бойца, еще не сознавая до конца, что видим этого отважного воина и доброго товарища в последний раз.

Стояли, не замечая, как текут по нашим щекам слезы, тихо кадая в уже образовавшееся на полу землянки озерко. А вода все прибывала и прибывала, и казалось, носилки плывут по ней, унося боевого товарища куда-то далеко, далеко...

#### 40 ЛЕТ СПУСТЯ

26 июля 1984 года газета «Нарвский рабочий» вышла многоцветной. На первой полосе красными буквами надпись: «26 июля 1944 года Москва салютовала воинам-освободителям нашего города».

Да, 40 лет прошло, и мы, большая группа участников тех памятных боев, ветераны частей и соединений, освобождавших Нарву и приехавших на юбилейные торжества, идем по нарядным улицам города. Хороша Нарва, утопающая в зелени, застроенная красивыми домами, шагнувшая далеко за пределы довоенных границ.

А тогда... Около сотни полуразрушенных зданий и две жительницы — Прасковья Макарова и Александра Васильева — встречали советских воинов. Два человека из тридцати тысяч, ранее населявших город, две патриотки, не покинувшие родной город. Их имена и сейчас живы в Нарве, но уже в названиях улиц.

Мы идем по улицам и читаем таблички с их названиями. Улица лейтенанта Сергеева, лейтенанта Хорша, разведчика Деева. Это одни из тех, кто первыми ворвались в город и первыми сложили за него свои головы.

Страшный был бой. Перед наступающими частями была река с ее быстрым течением и обрывистыми берегами, протянувшиеся от Финского залива до Чудского озера проволочные и минные поля, несколько рядов траншей с дотами и бронеколпаками. Да и сам город был превращен в крепость: в нижних этажах и подвалах домов враг установил самоходные орудия и пулеметы.

Но это не спасло фашистов. Тщательно разработанная наступательная операция, мощное огневое обеспечение, воздушные атаки штурмовиков, а также неукротимый наступательный порыв советских воинов привели к победе.

Обо всем этом говорилось на торжественном собрании, организованном горкомом партии. Его секретарь с гордостью сообщил, что в Нарве живет сейчас почти сто тысяч жителей.

Я по журналистской привычке заносил кое-какие данные в блокнот, когда кто-то тронул меня за плечо.

Ко мне подошёл и сел на оказавшееся рядом свободное место мужчина

в полувоенном костюме с орденами и медалями на груди. Сразу видно было, что одежда эта давно не использовалась и ее вытащили из шкафа специально по случаю праздника.

Уловив в моем взгляде эту мысль, человек заметил: «Да, я давно не надевал это обмундирование (он так и сказал — обмундирование), может, скорее узнает кто...»

Я сделал собеседнику знак, чтоб дал дослушать рассказ секретаря горкома. И только он закончил, я вышел в фойе вместе с неожиданно появившимся рядом ветераном.

— Узнал вас сразу, — сказал он. — Вы из редакции к нам в полк приходили, со мной как-то раз на передовой беседовали.

Я внимательно посмотрел на своего собеседника, но узнать его так и не мог. Сколько лет прошло! Да и с кем только не приходилось встречаться дивизионному газетчику! Разве упомянешь.

Даже когда он назвал себя, я не мог вспомнить, где и когда с ним встречался. А рассказ его меня заинтересовал, и я постараюсь изложить его.

— Я слышал, — начал мой собеседник, — что вы собираете материал о послевоенных судьбах наших однополчан. Мне даже попала ваша книжечка «Встречи после войны». К сожалению, о своих послевоенных делах ничего особо интересного рассказать не могу, а вот один эпизод военных дней может вас заинтересовать.

Я утвердительно кивнул головой, и мой однополчанин, назвавшийся Окуневым Сергеем Петровичем, продолжил:

— Как-то в начале апреля наша часть вела разведку боем. Потом уж мы узнали, что замысел был таков: если удастся, то закрепиться на противоположном берегу и постараться расширить захваченный участок. Это могло ускорить начало всеобщего наступления.

Вышло же все по-другому. Наш батальон (а я был командиром взвода) переправился под покровом ночи на другой берег, но был замечен и контратакован превосходящими силами противника. После короткого, но ожесточенного боя мы отошли снова за реку под прикрытием нашей артиллерии.

Я говорю «мы», хотя в данном случае себя не имею в виду. Раненых удалось всех забрать, а убитых пришлось оставить. А я как раз и был убит, или, точнее, выглядел убитым — раненный, оглушенный разрывом мины и отброшенный под обрывистый берег.

В сознание пришел в каком-то помещении без окон и дверей и почти в полной темноте. Утлая коптилка чуть-чуть освещала мое новое прибежище, оказавшееся подвалом. Малейшее движение отдавалось сильной болью в правом плече. Ощупал руку. Правое предплечье — забинтовано. Сознание хоть и вернулось, но помнил я только начало боя и представить даже не мог, как попал в это мрачное подземелье.

Так пролежал я еще какое-то время, когда что-то скрипнуло. Присмотрелся. Приподнялась доска, видимо, прикрывавшая вход в подвал, чуть заструился свет, и я увидел, как кто-то спускается по лестнице. Еще несколько секунд, и в полутьме прозвучал женский негромкий голос:

— Ну как, голубчик, полегшало?

В моем положении было не до расспросов о том, где я и кто эта женщина, и я только благодарно кивнул.

Уже спустя много дней (мне трудно было даже сосчитать их, для меня все казалось ночью) узнал я, как все произошло.

После того памятного боя у реки подобрал меня на рассвете две русские женщины и укрыли понадежнее, с тем, чтобы следующей ночью перетащить к себе, в подвал. И еще узнал я, что через этот подвал прошли три наших красноармейца. Сейчас они находятся в другом месте, на окраине города. Туда спустя несколько дней, когда окреп, пошел и я.

Велико же было мое удивление, когда увидел, что среди трех укрытых в разное время наших красноармейцев был и мой однополчанин Гайрат Якубов (его мы звали Гриша), которого считали без вести пропавшим.

Немалое удивление и радость вызвали у меня и экипировка воинов, и целый арсенал оружия, собранный спасшими их людьми.

С этого дня стали мы все вместе готовиться к участию в боях за освобождение города. Поздно ночью выходили на улицу, подбирая наиболее удобное место для засады.

И вот этот час настал. По нашей улице, отстреливаясь, отходил враг, и мы ударили по нему с тыла пулеметным огнем. В этой схватке Гриша, вернее Гайрат, погиб, подорвав гранатой себя и нескольких окруживших его фашистов. Вот, собственно, и все.

Мой собеседник умолк, но меня еще многое интересовало. Из дальнейшей беседы узнал я, что Гайрат Якубов родом из кишлака, находящегося неподалеку от Карши, куда и было направлено сообщение о его героической гибели взамен

ранее посланного о его пропаже без вести. Сам Сергей Петрович мечтает попасть в Узбекистан в надежде найти семью Гайрата, да все не получается — работа, семья, внуки. Да и его судьба непросто сложилась. Прежде чем вернуться в часть, проходил тщательную проверку — где был почти четыре месяца, чем занимался? Но все обошлось, вернулся в свой полк и довоевал до победы.

Вместе мы пробыли в Нарве с ним еще два дня. Положили цветы у братской могилы. Побывали и в тех местах, где шли бои в далеком и близком восемнадцатом году.

Оглянулись окрест. Как все изменилось с годами. И только одно осталось неизменным — вечная любовь народа к Родине своей и готовность защищать ее до последнего вздоха.

## САЛЮТ НАД МОГИЛОЙ ПОЭТА

В июле 1944 года развернулись ожесточенные бои по освобождению Псковщины. Шли они в тех самых местах, где вела свои первые бои в 1918 году только что рождавшаяся Красная Армия. Красноармейцы и командиры воевали храбро, стремясь быть достойными славы своих отцов.

В полосе наступления нашей дивизии были заповедные пушкинские места — Тригорское, Михайловское, Святогорский монастырь. Как ни тяжелы были бои, но наши артиллеристы на эти святые места не обрушили ни одного снаряда.

Я был у Святогорского монастыря буквально в первые часы после освобождения поселка Пушкинские горы. Вот он, известный по многочисленным иллюстрациям, Святогорский (Успенский) монастырь, сооруженный еще в XVI столетии. Сразу за оградой, слева от главного входа, скромное надгробье. На белой мраморной плите надпись: «А. С. Пушкин». Далее даты рождения и смерти. Последнее пристанище поэта.

В монастыре у фашистов была конюшня. Валялось сено, навоз. Все вокруг монастыря захлавлено.

Командир дивизии полковник Городецкий оставил у могилы взвод саперов, которые сразу же занялись расчисткой территории. В первую очередь привели в порядок надгробье. Женщины из медсанбата и полевой почты, разместившиеся неподалеку, нарвали цветов и усыпали ими могилу.

Во второй половине дня за оградой был выстроен один из дивизионов артиллерийского полка. Со всех батарей собрали ракетницы. Замполит полка сказал несколько проникновенных слов, и в воздух взлетели разноцветные ракеты.

Впервые красные и зеленые ракеты не обозначали начала или завершения наступления. Это был салют в память об Александре Сергеевиче Пушкине.

Солдаты преклонили колени у могилы поэта, чье имя велико и бессмертно, как велика и бессмертна Россия.

Мне довелось побывать на Псковщине спустя десять лет, и случилась у меня встреча, воскресившая один из эпизодов славного 1918-го...

Было это в 1954 году. Летом. Наш катер, пересекший неоглядную гладь Псковского озера, оказался вблизи берега и причалил у маленькой пристани Самолва на Теплом озере, что соединяет Псковское озеро с Чудским.

Пассажиры катера были в большинстве своем отпускники, пожелавшие провести отдых в этом чудесном уголке русской природы. Шел катер по маршруту Псков — Тарту мимо мест, с которыми связаны многие памятные страницы истории нашей Родины. И люди, кажется мне, ощущали это — такое у всех было настроение. Здесь, у Самолвы, все вышли на открытую корму и замерли в благоговейном молчании. Где-то совсем рядом был ныне опустившийся на дно озера Вороний камень, на котором, как свидетельствует летописец, стоял князь Александр, наблюдая за ходом битвы с немецкими рыцарями. Тогда, в XIII столетии, преградили русские воины дорогу тевтонам, и «Ледовое побоище» стало предметным уроком врагам нашей Отчизны.

Когда прошли это памятное место, заговорили как-то одновременно. Вспомнили, как воевал Псков с армией польского короля Стефана Батория и короля шведского Густава Адольфа. И так, постепенно, от XIV века добрались до XX, до событий февраля 1918 года, когда здесь был дан отпор немецким захватчикам, нарушившим Брестский мир.

В эти дни под Псковом родилась Красная Армия.

...Катер наш уже давно отвалил от пристани и полным ходом мчал по Чудскому озеру, а разговор все шел о событиях истории.

Среди пассажиров катера была одна немолодая пара. Он — высокий, с седыми буденовскими усами, с лицом, будто рассеченным двумя глубокими морщинами,

одет в полувоенный костюм — сапоги, гимнастерка, галифе. Позже узнал я, что ему за семьдесят, хотя по виду этих лет не дашь.

Жена же его, хотя и была моложе, выглядела намного старше. На лице ее будто какое-то несчастье отпечатало боль.

В путешествии, кроме меня, было еще двое военных журналистов, и все мы ехали с целью побывать на местах, где в 1944 году велись решающие бои по освобождению прибалтийских советских республик от фашистских захватчиков.

Пожилая пара чем-то привлекала наше внимание. И суровой замкнутостью, и взволнованностью, которая проявлялась в каждом их жесте. И еще чем-то, чего мы не знали и о чем очень хотели узнать.

Несмотря на внешнюю суровость, Петр Антонович был человеком хотя и не очень разговорчивым, но не замкнутым, как казалось. Узнали мы, что работал он до недавнего времени в Ленинграде на Кировском заводе. Рассказал и о событиях, относящихся к 1918 году, когда они с Марией Никитичной (при этом он обнял жену за плечи с нежностью, которой мы в нем не подозревали) вот в этих местах сражались с врагами молодой Советской власти.

...Петроград. Год 1918-й. Февраль. Дни, полные тревог. Не рассеялся еще дым октябрьских боев, а город, ставший родиной революции, готовился к новым сражениям. На заводах вспыхивали летучие митинги. По улицам маршировали рабочие отряды. Шли батальоны революционных солдат, моряков Балтики. И над всем этим в морозном воздухе неслись суровые и вдохновенные песни революционной борьбы.

В одном из рабочих отрядов шли и они, Петр Антонович с Машей.

Ленинский призыв «Все на защиту Петрограда» поднял на борьбу столичный пролетариат, всех, для кого революция была делом жизни. Для него, для Петра Антоновича, — рабочего и сына рабочего — революция была всем. Ну а что касается Маши, то жизнь мужа была и ее жизнью...

Наскоро сформированный из рабочих отрядов красноармейский батальон был брошен навстречу рвущимся к Питеру немецким войскам и с ходу принял бой километрах в шестнадцать от Пскова.

Петр Антонович посмотрел на нас, прикинул, видимо, сколько нам лет и стоит ли говорить об этом, решил:

— В учебниках истории об этих боях написано несколько строк. Под Нарвой и Псковом молодая Красная Армия разбила войска немецких империалистов. Эти первые победы ознаменовали собой рождение Красной Армии. И все. Больше никаких подробностей. А жаль. Среди многих сражений, снискавших Красной Армии славу непобедимой, те бои заняли бы далеко не последнее место.

Петр Антонович заботливо поправил шаль на плечах жены и продолжал:

— Патронов у нас было по две обоймы. Армейской выучки — никакой. А немцев все же погнали. Дрались так, потому что знали, вот сейчас решится — жить нам по-новому или снова гнуть спину на хозяина.

Рядом и Маша была. Все время видел ее. Только когда бой затих, обнаружил — нет Маши. Сердце застыло. Кинулся искать. Нашел санитаров и от них узнал: ранена Маша, увезли ее.

Петр Антонович нашел Машу в бессознательном состоянии после операции, которую сделали тут же в полевых условиях. Нельзя было Маше на фронт. Как просил ее остаться! Не захотела. А уже билась у нее под сердцем новая жизнь, уже думали о том, как сложится судьба их будущего сына. Почему-то считали, что обязательно будет сын.

Увезли Машу с другими тяжелыми в Питер, не чаяли увидеть живой.

А раненых все подвозили и подвозили к лазарету. Петр Антонович, подавленный горем, лишь автоматически отмечал это. И вдруг услышал удивительно знакомый ровный голос.

Пошел на этот голос. У костра среди раненых сидел Озеров. Петр Антонович сразу узнал этого старого питерского рабочего, которого знали многие. После девятьсот пятого года сидел в тюрьме. Был большевиком. Говорили, что где-то в ссылке видел он Владимира Ильича Ленина.

Прислушался. Рассказывал Озеров о том, что Ленин, возвращаясь из ссылки, поселился неподалеку от здешних мест в Пскове. В Пскове же провел он совещание революционных марксистов с «легальными марксистами», посвященное созданию «Искры».

Говорил Озеров тихо, неторопливо, слушали его не шелохнувшись, забыв на время о ранах своих.

Сани, на которых привозили раненых, возвращались обратно. Собрался и я поехать. Рассказ старого большевика как-то отодвинул мое личное горе. И не только мое. Я видел, как поднимаются многие раненые и идут к саням. О чем думали они: о том, что рассказал рабочий? О своих домашних — о жене или матери? Или о том, что завтра в бой? Кто знает? Только шли, не оглядываясь...



Юрий Мориц

## ЛИЦА ЗНАКОМЫЕ И НЕЗНАКОМЫЕ

ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ГЕРОЕ

### I. ВИТЯЗИ НА РАСПУТЬЕ

Более века назад И. С. Тургенев обратил внимание читателей на факт почти одновременного появления «Гамлета» Шекспира и «Дон Кихота» Сервантеса. Знаменитые образы воплотили основные типы человека — рефлектирующего отрицателя и сражающегося героя. Гамлеты и донкихоты равно нужны человечеству, что с неоспоримой наглядностью подтверждает их неистребимость в самой жизни и в литературе. Как бы ни было слабо творение того или иного художника слова, мы все-таки обязательно обнаружим в его персонажах хотя бы отблеск вечных типов, созданных титанами эпохи Возрождения.

Наше время с его стремительным процессом общественного развития, как никогда раньше, способствует генерализации психологических черт именно этих крайних типов человеческого поведения. Сам процесс обновления жизни сложен, внутренне противоречив, протекает он без остродраматических столкновений, и вполне естественно появление человека, несколько растерявшегося в сумятице преобразований, а то и разочаровавшегося в жизни или в самом себе.

Вообще-то герой размышляющий, глубоко задумавшийся «о времени и о себе», — совсем не редкость, мы с ним встретимся на страницах почти любого крупного произведения современной прозы, в том числе, конечно, и прозы Узбекистана. В этих заметках хотелось бы привлечь внимание читателя лишь к тем литературным героям, у которых самоанализ стал самоудовлетворяющим в силу определенных, чаще всего кризисных обстоятельств.

Излюбленная ситуация произведений Р. Мир-Хайдарова — герой в отпуске или в путешествии, то есть в такой момент жизни, когда можно поразмыслить обо всем на свете. Непроста эта жанровая форма. Действия почти никакого, все держится на мысли, воспоминаниях, ассоциациях. Перед нами политическая проза с ее безудерж-

ными всплесками публицистичности, резкими выпадами против негативных явлений жизни.

На раздумья, напряженные, мучительные, человека обычно побуждает ситуация неблагоприятия. Могут быть, конечно, и исключения. Так, у героя повести «Из Касабланки морем»<sup>1</sup> Мансура Атаулина, «прагматика, хозяйственника, человека аналитического инженерного ума», все превосходно, да и пребывает он в довольно приятной полосе жизни — после длительной загранкомандировки возвращается домой на теплоходе, совершающем круиз. Изысканный комфорт, милые девушки, развлечения... Но вот Атаулин из веселого неожиданно делается мрачным и уединившимся, о чем-то долго и сосредоточенно думает. Что же произошло? На первый взгляд, ничего особенного. Листая старые газетные подшивки, наш путешественник натолкнулся на статью в «Литературке» под названием «Потоп», в которой описывается история одной из нелепейших строек. Вновь и вновь вчитывается Мансур в строки очерка о строительстве злосчастного комбината химического волокна. Злится, негодует... Еще бы! Погублены река, обширные земельные угодья, выброшены на ветер сотни миллионов народных средств. Особое возмущение Атаулина вызывают руководители стройки (кое-кто из них угодил под суд), проектировщики (их вины никто не заметил), да и непосредственные исполнители.

Поначалу бурные эмоции Атаулина носят несколько отвлеченный характер, как переживания стороннего наблюдателя возмутительных фактов. Но, порывшись в памяти, инженер с нерадостным удивлением устанавливает, что и он лично, да, да, лично, в некоторой степени причастен к преступной стройке, «полгода просидел

<sup>1</sup> Рауль Мир-Хайдаров. Из Касабланки морем. Т., Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1987.

там», видел, понимал полную несостоятельность проекта и... помалкивал. Точно так же, как и солидарные с ним товарищи по работе. Впрочем, разговоры-то толковые были, но «дальше про-рабской не пошли». Вполне порядочные люди, умудренные опытом специалисты, считали, что это их не касается, «есть, мол, заказчик, есть генеральный подрядчик, есть проектный институт... пусть у них голова болит».

Уместно заметить, что невеселые раздумья и переживания, составляющие основное содержание произведения, но совсем натурально про-биваются через розовый жирок суперблагопо-лучия героя. Слишком он удачлив, этот Мансур Атаулин. Выглядит на пять с плюсом, в работе преуспевает, и денег куры не клюют, впереди — радужные перспективы. Вычитанная им в газете неприятная статья, как тучка на бирюзовом небе. Зляя, бесят подобные факты, но... помельтеши тучка да и исчезнет.

Переживания смягчаются тем, что сам-то он, Атаулин, не такой плохой, как некоторые. Да, есть пятнышки, но они не так велики. Есть, есть доля вины. Не ставил громко вопрос о безобразиях — это так. Но ведь и те, кто повыше, не ставили!

Автор внимательно следит за тем, чтобы переживания героя не перехлестывали через край, чтобы не потревожили слишком заметно его ду-ховный комфорт. Чуть задумается Мансур, а тут ласковые девушки, ресторан, веселая пирушка, а то и туристическая поездка в Стамбул, Мар-сель...

Большая проблема приглушена еще тем, что раскрывается она через восприятие человека, так сказать, «со стороны» — десять лет не был Атаулин на родине. Благородное киление и благо-родное негодование инженера впечатляют, конечно, но ведь то, что стоит за статьей в га-зете, — беда, и притом большая, настоящая. Всю ее не окинешь взором из прекрасного далека. «Пожалуй, придется начинать все сна-чала», — итог раздумий героя. Итог этот разоча-ровывает вялой неопределенностью, необяза-тельностью. Герой нечто пережил, знакомясь с негативными фактами действительности, но потрясения не испытал, возможно потому, что сами факты вторичны, даются через газетные публикации.

В позу задумавшегося поставлен Р. Мир-Хай-даровым и герой повести «Чти отца своего»<sup>2</sup> Гияз Исламов. Перед нами один из тех, в ком время, сложное, переходное, запечатлелось режущими глаз изъязмами. Поначалу жизнь Исла-мова являла собой сплошной праздник. Успехи на производстве (он инженер-строитель), жена-красавица, друзья, похожие на ремарковских «трех товарищей»... Честолюбивый Гияз опре-делил «некую точку отсчета своей взрослой жиз-ни: заработать первый трудовой орден в трид-цать лет». Весело и бодро идет он к заветной цели и... скидает сразу же, как только сталки-вается с жизненными невзгодами. Сменив «гран-диозную стройку» на ремонтную контору, он тихо прозябает до тех пор, пока не открывает неприятную истину: оказался на краю болота, еще шаг — трясина засосет. С этого момента,

собственно, начинается главное в жизни Гияза — раздумье.

Итак, задумавшийся герой. «Застрял на полу-станке» — этими словами Гияз Исламов опреде-ляет суть жизненной ситуации, в которой не-ожиданно оказался.

Как и у Атаулина, итог раздумий неутешите-лен: «Я усталый, издерганный горожанин, запу-тавшийся в жизни» — констатирует Исламов.

Гияз не рисуется, на жизнь он смотрит трез-во — иллюзии давно изжиты. К тому же по са-мому складу характера этот человек вроде бы не склонен к ипохондрии, он добросовестно ищет выход из нравственного тутика. Каковы они, ка-питальные нравственные ценности, способные стать опорой на многотрудном жизненном пути? Любовь? Дружба? Эти могучие возбудители ду-ховной энергии были и растаяли как дым. Есть еще один мощный стимул — долг перед родом, обязанность продолжить его, упрочить славу, не уронить честь. Этот мотив особенно подробно исследуется в повести, на что указывает и назва-ние ее — «Чти отца своего». Однако в ходе скру-пулезного художественного исследования выяс-няется, что родовые инстинкты героя, хотя и сохранились, недостаточны уже для утвержде-ния оптимистического мироощущения.

«Где воздвигнутый тобой дом? Тобой поса-женная ель?.. Почему нет в тебе гордости за свой род?» — горестно спрашивает себя герой и не находит ответа.

Гияз в конце концов приходит к в общем-то верному выводу: надо быть, уверяет он себя, «не просто трудягой, честным человеком, надо стать борцом». Невозможно не согласиться с та-ким выводом. Добавим в похвалу автору, что анализ героем своего жизненного пути внутрен-не логичен, последователен. И все же мы ни на шаг не продвинемся вперед в понимании героя, если ограничимся лишь итогами его собственно-го самосозерцания, не обратив внимания на объективное содержание образа. Необходимо учитывать не только то, что герой о себе думает, но и то, что на самом деле собой представляет. Как только мы станем на эту точку зрения, так сразу убедимся: он не совсем тот человек, за которого себя выдает. Рассуждения Гияза Исла-мова о борьбе красивы, но все это слова, слова, слова. Человек этот слаб, инертен, в нем сидит Обломов. «Он принадлежал к тому типу лю-дей, — замечает автор, — что хорошо знают свое основное дело... но вот за пределами дела пасуют перед бытовыми неурядицами, сменой обстановки».

Бессмертному Илье Ильичу несчастная сла-бость помешала сделать последний шаг на пути к высокому счастью. Точно с такой же бедой сталкивается герой Р. Мир-Хайдарова. «Страх пер-ед бытовыми неурядицами, переездами, обще-житиями останавливал его, хотя душа рва-лась к делу...»

Какая же сила превращает Гияза Исламова в современного Обломова? Одно ясно — не тем-перамент. Гияз горяч, импульсивен, как на-стоящий южанин. Разного рода неблагоприятные обстоятельства, и личного и общественного ха-рактера, осложнили его жизнь, это так, но не настолько, чтобы человек окончательно заки-с и опустился. Нет, тут дело в другом, более су-щественном, без чего действительно не может быть полна жизнь настоящего человека. Пас-сивным Исламова делает отсутствие сильного стимула жизни. Нет у этого человека ни идеи значительной, ни цели великой. А то, на что

<sup>2</sup> Повесть вышла почти одновременно в двух изда-тельствах — ташкентском (сборник «Из Касабланки морем») и в Москве («Чти отца своего» М., 1987.)

он пытается опереться,— любовь, дружба, родовые устои — в том конкретном виде, в каком они явились,— оказалось лишь быстро ускользающими миражами.

Р. Мир-Хайдаров лишь слегка обозначил тот важнейший мотив-безверие, отсутствие значительной, способной воодушевить человека идеи. Как это произошло, отчего человек стал таким, почему великая идея оставляет холодным Гяза,— все эти вопросы не разрабатываются в повести, но без этого мы не поймем до конца и истоков атрофии воли сильного человека, неожиданно уподобившегося грустному и мечтательному романтику минувшего века.

Разочаровавшийся в жизни герой оказывается и в центре объемистого романа Станислава Кулиша «Время собирать камни»<sup>3</sup>. С внешней стороны, у Родиона Алтунина все, вроде бы, благополучно. Даровитый ученый-археолог, педагог — студенты от его лекций в восторге. Успешно, хотя и немного поздно — к сорока пяти годам — защитил в Москве... Но все это лишь внешние «знаки» его бытия. Если же заглянуть поглубже, герой — воплощенное неблагополучие. Пусто вокруг Алтунина, хотя, вроде бы, он все время окружен людьми и тянется к активному общению. Жена — чужой человек, с дочерью разлад, с настоящей любовью так ничего и не получилось... Тоскует, мечется человек. Отсутствие подлинно значительного дела побуждает Алтунина к духовному уединению. Впрочем, стоп, стоп! Как это? Только что было сказано: признанный ученый, любимец студентов... Да, именно так. И удивляться тут нечему. В общественно-официальной сфере у человека все благополучно, может быть, даже блестяще — весь он и его жизнедеятельность — предмет лютых зависти неудачников, а присмотритесь к счастливчику и убедитесь, что никакой он не счастливчик, а, может быть, даже наоборот — находится перед угрозой нравственной гибели. Подобная раздвоенность — явление довольно распространенное, жаль только, что различные ипостаси личности существуют здесь каждая сама по себе, не образуя единства, а это приводит к эклектике образа, лишает его психологической достоверности. Автору не удалось, к сожалению, создать целостный характер, так, чтобы через внешнее благополучие талантливого ученого и педагога проглядывал облик явного банкрота.

Почему же так получилось? Автор старается всячески подчеркнуть значительность своего героя, но реальный Алтунин сопротивляется этому намерению. Он, например, не действует, а все больше размышляет и... киснет. Духовный вакуум требует заполнения, и вот ученый муж оглушает мозг алкоголем, как мальчишка бегающий за каждой юбкой, предается тягучим воспоминаниям.

Поклонение Бахусу занимает почетное место в жизни интеллектуального героя. Пьет он в одиночестве и в компании, днем и ночью, с мужчинами и женщинами. Заметим, что и другие персонажи не отстают от Алтунина, и даже пофилософ стимулирует свое красноречие с помощью «беленькой». Плохо, что непомерное увлечение алкоголем изображается автором как бы мимоходом, эмоционально беспристрастно: пьют — ну и ладно. То, что Алтунин много

пьет, не связывается с духовным кризисом героя, с тем, что ему и жить-то не хочется, и когда его настигает случайная и нелепая гибель, он встречает ее даже, кажется, охотно.

Попытки художественного осмысления личности, переживающей духовный кризис или задушной о неблагополучии своего социального бытия, — знамение времени. Пока можно отметить лишь робкие подходы к раскрытию этой темы. Герои рассмотренных выше произведений если и могут быть названы гамлетами, то лишь в ироническом смысле. По-настоящему они не задумались о жизни, больше скользят по поверхности явлений, и в итоге лучшие из них могут лишь изречь несколько общих фраз относительно необходимости «идти вперед», «совершенствоваться» или «начинать все сначала». А между тем, и от размышляющего героя мы вправе ожидать большего — не только картины нравственного страдания от сознания несовершенства жизни, но и глубокого ее анализа, и смелого отрицания всего того, что противно человеческому разуму, и активно-го утверждения высокого нравственного идеала.

## 2. ПРАВЕДНИКИ, ЧУДИКИ, ДОНКИХОТЫ...

- При анализе литературных явлений мы то и дело сталкиваемся с представлениями хотя и обветшалыми от времени, но все еще сохраняющими реальную силу воздействия на умы людей, а следовательно, и на литературный процесс. К таковым, в частности, относится представление об иерархичности литературных героев. В течение многих десятилетий старательно выстраивалась чудо-лесенка, чтобы каждому было ясно, какому герою, на какой ступеньке находиться. Как-то незаметно пришли к молчаливому согласию: чем выше человек по общественному положению, тем значительнее он и как литературный герой. Постепенно выработывался «эталонный» положительный герой, в котором наиболее полно были воплощены «типические черты» советского человека вообще. При этом социальная значимость героя во многом определялась его профессионально-должностным статусом. Одно дело, скажем, ответственный партийный работник, сталевар, шахтер, комбайнер, пилот; другое — парикмахер, портной, официант. Профессия у нас, таким образом, является или в мантии величия, или в рогожке презрения, смягчаемой юмором. Мы привыкли к жесткой нормативности, к неумолимо-логичным образам-категориям. Но жизнь, безмерно сложная, противоречивая, требует иных, более гибких подходов к анализу явлений, более тонкого художественного инструментария ее познания. Настало время и более решительного, нежели прежде, пересмотра устоявшихся принципов оценки героя, его места в жизни. Этого требует сам процесс развития литературы.

Вот героиня повести Юрия Сладина «Свах»<sup>4</sup>. В привычной шкале социальных ценностей ей, возможно, вообще не найдется места, поскольку «созидательная деятельность» этой жен-

<sup>3</sup> Станислав Кулиш. Время собирать камни. Т., «Еш гвардия», 1986.

<sup>4</sup> В сборнике «Серебряный колодец». Т., «Еш гвардия». 1984.

щины никем официально не зафиксирована, и поэтому как бы не существует. А вот в реальной жизни бабуся Аннушка, как зовут героиню, для многих людей является самым необходимым и нужным человеком на свете. Именно она и ей подобные выступают в роли мудрых строителей жизни.

Сваха — слово полузабытое. Но это как для кого. Аннушка так прямо и называет себя свахой, справедливо считая свою роль в жизни исключительно важной и необходимой. И на самом деле, у себя дома полдеревни переженила, теперь вот приехала в большой город, чтобы выдать замуж внучку, красавицу Люсю, точнее, — Людмилу Николаевну Федорову, ведущего экономиста солидного учреждения. Что мы видим? Живут и работают рядом умные, высокообразованные люди. «Творят», «вносят вклад», «соответствуют», «активно участвуют». И... маются одной бедой, поскольку начисто лишены способности создать то главное, без чего жизнь человеческая не будет полна, — семейный очаг. Ох, эти неразрешимые проблемы, такие простые и вместе бесконечно сложные, — замужества и женитьбы, фатальный распад семей, несбывшиеся надежды на то, что когда-нибудь «все образуется». И как хорошо, когда приезжает из далекой оренбургской деревни ласковая словоохотливая бабуся, и вскоре все устрояется самым лучшим образом. У бабуся Аннушки, не без труда, конечно, и невозможное становится возможным. Серьезно подходит она к человеку, который для нее, «что замок со ста секретями».

Для современной литературы характерно освоение художественных традиций в более широком диапазоне, нежели прежде. Так, ориентация на героя-идеолога, героя-борца дополняется вниманием к типу праведника, которого крупным планом изображал Н. С. Лесков. Не обходили его своим вниманием Тургенев, Островский, Толстой. В образе праведника особенно привлекает способность к сопереживанию, любовь к людям, щедрая на живую, конкретную поддержку. Сейчас, когда социальная инертность, равнодушие пустили в жизни довольно прочные корни, внимание к привлекательному типу праведника необыкновенно обострилось. И литература живо откликнулась на эту потребность, рождая галерею образов, пленяющих нравственной добротой, бескорыстием, самоотверженностью.

Ясно, что такой герой требует адекватной жанровой формы, соответствующей стилистики. Неуютно живется ему в неоглядных просторах романа, иное дело жанры рассказа, повести, в которых легче проследить парадоксальное сочетание высокого и обыденного.

К открытию в неприметном «чудике» Человека с большой буквы стремится Г. Вогман, создавший привлекательный образ такого героя в рассказе «Прощай и здравствуй, дед Тишка»<sup>5</sup>. Образ создает контраст внешней непрезентабельности и внутренней серьезности характера. Бобыль-шатун — так себя называет Тихон Козырев — неприхотлив в быту, он давно привык довольствоваться малым. «Без одного не могу, без людей», — говорит он о себе просто. Этому человеку как воздух необходимо ощущение собственной полезности. Устроившись

сторожем в интернат, дед в скором времени становится кумиром ребят. Так случилось, что этот неказистый, чудаковатый, обладающий многими странностями человек сумел завоевать сердца «трудных» подростков, оказать, на зависть дипломированным педагогам, самое благотворное воздействие на их души.

Подобных героев представляет и проза Дины Рубиной. Словесный рисунок ее точен, изящен. Много поэзии, зоркой наблюдательности в рассказах и повестях Д. Рубиной. Богата палитра ее эмоциональных красок.

Герои Д. Рубиной — чаще всего натуры духовно тонкие, страдающие от грубого несовершенства человеческих отношений, неустойчива быта, людского непонимания. Таков Илья, герой рассказа «Чужие подъезды»<sup>6</sup>, этакий шалопай, недотепа, беспечно шагающий по жизни. Наступит момент, бесхарактерный Илья прозреет... Но упущенное не вернешь.

С пристальным вниманием вглядывается Д. Рубина в такое, например, необходимое нравственное качество личности, каковым является доброта. Большинство героев ее произведений испытывается именно на доброту как на главное определяющее качество личности. С особой охотой изображает Д. Рубина человека неприкаянного, с чужинкой. Любимые герои писательницы нравственно чисты, по-детски наивны. Полнее всего раскрываются они в общении со стариками и детьми, особенно детьми. Можно даже сказать, что «детское в них — непреходящая и очень важная черта личности.

Чрезвычайно характерен для творчества Д. Рубиной «талантливый и смешной Алтухов» («Этот чудной Алтухов»). Суть Алтухова в том, что, будучи человеком разносторонне одаренным, он не стремится богатство своей личности обменять на славу или деньги. Себя он растрчивает щедро, безоглядно, может быть, даже слишком опрометчиво. Впрочем, талантливо любить, радовать собой ребенка, женщину, товарища — не в этом ли вечное назначение человека?

Чертами симпатичного «чудика» Д. Рубина наделила и юного следователя, поправ тем самым незабываемую традицию изображать представителей данной профессии монолитными и твердыми, как гранит. Речь идет о Саше, герое повести «Завтра, как обычно».

Доброта, утверждает писательница всем образным строем своего произведения, нужна каждому человеку, но более всего, наверное, представителям «злых», суровых профессий. Так появился образ юного еще следователя Саши, нежно привязанного к ребенку и делающего тяжелую грязную работу во имя торжества добра и чистоты в отношениях между людьми.

Повествование ведется автором от имени центрального героя. С первых же страниц обнаруживается, что магия профессии не имеет власти над автором, и пишет она не детектив, а скорее бытовую повесть, всю пронизанную юмором и лиризмом, местами чрезвычайно грустным. Есть в этой повести, конечно, и преступники, и следствие, и даже трагическая гибель одного из главных персонажей, но вся эта линия не подминает под себя другие, но дается как равноправная, в ряду иных образов и явлений.

<sup>5</sup> Дина Рубина. Отворите окно. Повести и рассказы. Т., Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1987.

Тут уместно отметить характерную черту творчества Д. Рубиной, выдающую в писательнице прилежную ученицу Чехова. Все, что попадает в фокус изображения, рисуется ею как главное, единственное и неповторимое. Поэтому с одинаковым пафосом и, конечно, тщательностью прорисовки подробностей изображаются не только Саша, старики, Маргарита, уборщица Люся, сослуживцы, рецидивист Сорокин, но и апельсины, похожие на солнца, какая-нибудь болонка, увиденная в магазине, тюремная кляча Изольда и многое другое. Для Д. Рубиной, кажется, нет деления на главное и второстепенное, и ее «второй план», фон, столь же интересен и значителен, как и первый. Художественная целостность такого рассредоточения художественного внимания выясняется не сразу, точно так же, как и необычная трактовка центрального героя.

Строгая и небезопасная следовательская должность совсем не для Саши,— скажет почти каждый, кто хоть немного узнает этого поддета непосредственного, немного смешного человека, добряка, эту голубиную душу. Саша едва ли не раб своей безбрежной доброты. Воспитывает племянницу, брошенную непутевой матерью, носит больной соседке картошкы с базара, кормит сахаром тюремную клячу. Ласковым именем Саша его называют и крошечная девочка Маргарита и матерый рецидивист. Чуть меланхоличного, мечтательного, его легко представить артистом, педагогом... Но чтобы следователем... Нет! Да и сам он понимает, что лучше бы ему, пожалуй, устроиться в какой-нибудь пиццоторг. Порывается уйти, пишет и рвет заявления. И все-таки не уходит. В этой парадоксальной развязке и сосредоточен смысл и характер героя и всего произведения.

Так что же такое — Саша? Перед нами все тот же знакомый незнакомец, человек не от мира сего. Назначьте его на любую должность, он не изменит себе, в любой ситуации прослышет «ненормальным», «выламывающимся». Меньше всего будет думать о себе, поразит знакомых анекдотической непрактичностью. Он и женится таким образом, что всю жизнь свою будет нести крест. Этот аспект в повести вполне определенно обозначен. Пленник неслыханной своей доброты, мучающийся от сознания собственно несовершенства,— таков Саша.

Можно легко представить хмурое, недовольное лицо **Незыблемого авторитета**, которому Саша определенно не понравится. Более того, приведет его в крайнее негодование, как образ, совершенно не типичный для того солидного ведомства, в котором он пребывает по досадному недоразумению. «Это совершенно не то, что нам нужно,— уверенно провозгласит Незыблемый авторитет,— нежизненно! И даже нелепо».

А на самом-то деле в смешном чудике Саше как раз и воплощено то, чего так не хватает нам всем, не хватает, как свежего воздуха, как самого насущного и необходимого,— простой человечности, участия к людям, сердечности, честности перед собой и другими. И, конечно, люди, такие, как Саша, нужны в первую очередь в той сфере жизни, где особенно легко и быстро утверждается «отупение, онемение души».

Внутренний мир мягкого, незлобивога, но твердого, когда это нужно, Саши сложен, поскольку отражает бесконечно сложную коллизию жизни — встречу человека с изуверством, маразмом, распадом личности. Герой, таким образом, поставлен автором в ситуацию, требующую напряженной борьбы, преодоления в себе

слабости, утверждения в личности созидательного начала. Д. Рубина озабочена прежде всего выявлением истоков нравственной стойкости своего героя и находит их не в каких-то отвлеченных принципах, не в фальшивом пафосе, не в абстрактно понимаемом долге, а в самой жизни, ее естественных потребностях. Так оправдывается парадокс сюжета повести о следователе: герой ее повернут не столько к «делу», сколько к своей малолетней племяннице, для которой он, в силу особых обстоятельств, стал почти отцом. Комически трогательные отношения с Маргаритой да еще с «дедом с бабой» составляют ядро содержания произведения.

В рассказах Д. Рубиной «Терновник», «Уроки музыки» созданы образы женщин, у которых сострадание за чужой беде составляет сильнейшую страсть души. Марина, героиня первого из них, журналист, в одиночестве воспитывает ребенка. «Левая работа», заставляющая вечера проводить за машинкой,— злой демон, отравляющий ей существование. Однако жизненные тернии не ожесточили сердце молодой женщины. При встрече с чужой бедой она не задумываясь поделится последним.

Похожа на сердобольную Марину и героиня рассказа «Уроки музыки». Доброта героини в этом произведении даже чрезмерна, она становится навязчивой идеей, превращая женщину в рабыню несчастной слабости характера. Во всяком случае, она страдает от своей доброты, и довольно серьезно. Не любила музыку, но, не желая огорчать родителей, получила музыкальное образование. Годы, и притом лучшие, были посвящены служению ложному идолу... Наконец рассталась с профессией музыканта. Но можно ли до конца избавиться от того, чему посвящена жизнь? «Вбитое в меня высшее музыкальное образование сидит во мне, как хронически воспаленный аппендикс...»

Рассказ начинается с того, что сосед, вдовец, обремененный большим семейством, уговорил героиню давать уроки музыки своей дочери Корине. Женщина, страдающая безволием, не могла отказать соседу. Таковая завязка. В дальнейшем выясняется, что уроки бессмысленны: Корина лишена способностей, занимается лишь, чтобы не обидеть любимого отца. Печальная история, таким образом, повторяется. Постепенно героиня привязывается к девочке, к ее семейству, а когда случается беда с кормильцем, изъявляет готовность взять к себе троих детей и в придачу сумасшедшего старика, чтобы хоть как-то облегчить участь несчастных. Даже после того, как из этой затеи ничего не вышло, она мучается из-за того, что не смогла помочь. «Много раз потом я заходила в их подъезд и подолгу звонила у двери — не могла отделаться от мысли, что там, в этой квартире, ждут моей помощи трое детей и сумасшедший старик...»

Д. Рубина стремится к предельной объективности, избегает определенного выражения авторской позиции, что имеет и свои отрицательные следствия. Так, в рассматриваемом рассказе не проясняется в достаточной степени грань между добротой и слабостью. В итоге характер героини оказался как бы затемненным, так что не ясно, восхищения или жалости достойна эта женщина. Писательница рассказывает нам о таком случае, когда анализ следствий чувств и поступков героини совершенно необходим. В рассказе же есть точное фиксирование происходящего, но ощущается слабость именно анализа. Героиня, подчиняясь душевному порыву, пишет положительную рецензию на скверный

спектакль, чтобы не повредить режиссеру, находящемуся в полосе неудач, закабальет себя ненужными делами. Для нее едва различимы добро и зло, здоровое и больное, нужное и ненужное. Писательница исследует психологическое состояние человека, испытывающего страдание от сознания несовершенства жизни и собственной слабости.

Вариант такого характера как некий казус изображен Владимиром Маканиным в рассказе «Лебедянин». Герой его, педагог, человек, наделенный немалыми достоинствами, из-за гибельной мягкости характера попадает прямо таки в анекдотические ситуации и в конце концов расплачивается за «доброту» дорогой ценой.

Д. Рубина подсмотрела в жизни явление, художественно еще слабо освоенное. Это характер человека, остро реагирующего на несовершенство жизни. Результаты исследования такого характера неоднозначны, поскольку поступки героев непредсказуемы. Марина, подающая нищим («Терновник»), задумывается вдруг о Христе и венце терновом. Более импульсивная героиня «Уроков музыки» вся в порыве, действии, хотя бы и безрассудном. Д. Рубина не стремится к подведению окончательных итогов. Своими историями она говорит нам лишь о нравственных следствиях соприкосновения души человеческой с драмой жизни. А эти уроки чрезвычайно важны.

Люди, подобные героиням Д. Рубиной, — как сигнал о неблагополучии. Что-то случилось в жизни, сместились какие-то пропорции, и душа, чуткая к чужой боли, не зная меры, не умея быть благоразумной в горестной ситуации, всю себя отдает людям, чтобы остановить беду. Можно по-разному объяснять и оценивать таких людей, но язык не повернется их осудить, ведь если переведутся они, чудики и подвижники, жизнь потускнеет, утратит свои краски, лишится живого тепла.

### 3. ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ

Герой, борющийся или хотя бы потенциально готовый к схватке с силами зла, во все времена был мил сердцу читателя. В нем воплощается духовная энергия народа, его лучшие устремления. Особенно обостряется интерес к такому герою в периоды переломные, когда от степени активности, энергии человека зависит скорость течения самого времени. Листая страницы толстых журналов, мы убеждаемся, с каким нетерпением ожидает читатель современного героя, в котором отразилось наше трудное время с его живыми потребностями. Конечно, нельзя ожидать, что такой герой появится в самый момент ломки старых и создания новых форм общественных отношений. На это чудо мы не надеемся. Но вполне оправдываются более скромные ожидания, и литература представляет нам в изобилии персонажей, действующих довольно активно или хотя бы готовящихся к такой деятельности. Не все тут удачно, не все бесспорно. Тем любопытнее присмотреться к этим явлениям.

Диалектику активного, деятельного характера пытается исследовать Виталий Нечипоренко в своих повестях о строителях. Сам в прошлом инженер-строитель, В. Нечипоренко знает производство, и нарисованные им картины подкупают достоверностью подробностей. Писатель умеет создавать острые ситуации, столь необходимые для раскрытия всех «готовностей»

личности, хотя и не вполне еще владеет искусством соединения динамики характера с динамикой борьбы.

В повести «Сухой парк»<sup>7</sup> автор столкнулся в непримиримом конфликте двух сильных руководителей — начальника строительного участка Бориса Кайтанова и молодого инженера Дмитрия Папышева. Можно сказать, что тут встретились не только два противоположных типа хозяйственного руководства, современного и рутинного, но и полярные взгляды на жизнь, различные нравственные принципы. Дмитрий Папышев мыслит категориями нынешнего дня, его антагонист Кайтанов, не лишенный ряда достоинств, воплощает административно-волевой стиль руководства. Всем хорош Борис Кайтанов, но, «... если встанет ему поперек дороги, он не успокоится, пока не сомнет вас». Своих позиций Кайтанов так просто не сдает, а в схватке, возможно, не погнушается и грязными средствами. Зловещие примеры расправы над теми, кто посмел «высунуться», уже имеются. Бухгалтер вот пропал. Был один такой, чересчур принципиальный, — и пропал. Искали, да не нашли. Ясно, что борьба Папышеву предстоит предельно острая. Как же она развивается, чем окончилась? На эти вопросы автор не дает ответа. Доведя повествование до кульминации, ставит точку, и сюжет, таким образом, представляет собой лишь широко развернутую экспозицию. Спора нет, художник имеет право и на подобное решение. Характеры обрисованы, ситуация намечена, что **будет** дальше, читатель, наделенный живым воображением, способен представить и сам... Так-то оно так, и все же подобное решение сюжетного конфликта ощущается как некий изъян произведения в целом. Ведь герой остался не испытанным в главном — в противоборстве с сильным противником, воплощающем рутину, которая совсем не собирается сдавать завоеванных позиций.

А может быть, отказ от изображения главной схватки объясняется неубедительностью самого героя, сконструированностью его достоинств? На самом деле... Слишком он пай-мальчик, Папышев. И инженер отличный, и с людьми умеет ладить, и кавалер ловкий... С какой стороны ни посмотрим — ни сучка, ни задоринки. А включи такого молодца в серьезный конфликт, и ведь еще не известно, что получится. Скорее всего конфуз получится. Сомнет его всеильный Кайтанов и будет, как прежде, царствовать в своих владениях.

Крепко сложен и герой повести В. Нечипоренко «Отклонение»<sup>8</sup> Антон Безуглов, аттестованный его насмешливым приятелем как «энергичный руководитель нового типа». В Безуглове привлекает его бьющая через край энергия. Молод, знающ, инициативен. И невероятно честолюбив. Строительство трассы линии электропередач для него не только очередная производственная задача, но и путь к признанию.

Придумал для себя «теорию кистеперой рыбы»: «Надо двигаться, упорствовать, видеть цель, и тогда можно достичь всего». Сокрушительное поражение, которое он потерпел, осуществляя честолюбивые намерения, на первый взгляд,

<sup>7</sup> В сборнике «Будни и праздники», Т., Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1986.

<sup>8</sup> В. Нечипоренко. Зимний отпуск. Повести. Т., Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана «Еш гвардия», 1987.

объясняется внешними, отчасти даже случайными обстоятельствами — подвела бригада шабашников-халтурщиков. Но по большому счету поражение Антона Безуглова — следствие всего стили его далеко не совершенного руководства. Молодой инженер слишком самоуверен, в людях видит бездумных исполнителей, недооценивает или, вернее, в грош не ставит трудовой коллектив как живое целое, имеющее свой характер, разум, волю. Приняв на работу бригаду шабашников, возглавляемую ловкачом и авантюристом Тантибиным, портрет которого вполне удался В. Нечипоренко, Безуглов руководствуется лишь соображениями непосредственной выгоды, вытекающей из досрочного окончания объекта, который он возглавляет. А то, что нанес обиду коллективу, выразил ему недоверие, молодому честолюбцу даже в голову не приходит.

Сам того не замечая, Безуглов совершает ошибку за ошибкой. Уволил хорошего работника, не разобравшись наказал подчиненных. И не замечает горе-руководитель, что не идут к нему люди ни с радостями, ни с бедами. Не хватает Безуглову главного — человечности.

Таков он и в любви. Как-то не по-людски, слишком лихо, в ударном темпе разорвал отношения с одной женщиной, чтобы тут же закрыть любовь с другой, более симпатичной. Переживания покинутой его особенно не волнуют. Эгоистичный, черствый, Безуглов как тип руководителя напоминает Чешкова из пьесы Игнатия Дворецкого. Тот же железный характер, неумолимая логика, беспардонность в решении человеческих судеб.

По поводу подобных руководителей один из героев повести, Твердохлеб, говорит с осуждением: «Видят они в человеке только его деловые качества. А чем он живет, о чем думает, — вроде бы дело десятое! Эх! Умницы ведь, производсто знают, работу любят, а в человека смотреть не хотят».

Чтобы понятнее был Безуглов, автор вводит в повести его, так сказать, «двойника» — главного инженера мехколонны — Шарова. Если у Безуглова его жизненные принципы еще только формируются и обкатываются, у главного инженера они уже заостренились в своей определенности. «Главное — попасть в струю», — наставляет он своего подчиненного. Если Безуглов не утратил вполне совестливости и, совершив ошибку, мучается сомнениями, то Шаров в своем консерватизме затвердел окончательно.

Контуры непримиримого борца с социальным злом намечены, хотя и не вполне убедительно, в романе Исфандияра «Возвращение»<sup>9</sup>. Острые современные проблемы, оголенная местами публицистичность, историческая ретроспекция — все в нем выдает жанровые приметы романа политического.

Основу сюжетного каркаса составляет здесь противоборство двух сильных характеров диаметральной социальной направленности — журналиста Махмуда Умарова и «самого большого начальника», которого «не то что в районе, в области боятся», Нуриева. В определенных, конечно, пределах Нуриев чувствует себя не подвластным никому властелином. «Любого купит и продаст» — довольно необычная харак-

теристика директора промышленного объединения. Но говорится такое, увы, не без основания. Конфликт с Нуриевым, даже сравнительно невинный, чреват для смельчака самыми тягчайшими последствиями. Вреден журналист? Смести его с пути! Вот так, ни больше, ни меньше.

Махмуд Умаров заявлен в романе как честный принципиальный журналист, один из тех, кто не дрогнет в столкновении с противником, как бы ни был он страшен. Заявлен, но не реализован в должной степени. По страницам романа он проходит этакой тусклой, неприметной тенью. Может быть, ему уделено мало места? Нет, в романе подробно обрисовываются различные периоды жизненного пути Умарова, история несчастной любви к женщине, которую он ценит как «всесильный допинг».

Получилось все же, что Умаров-борец и Умаров — просто человек не слились в единое целое, они существуют как бы порознь. Образ стойкого борца в значительной степени декларирован, действует же обыкновенный, не очень сильный, а в чем-то даже надломленный человек. Такие, как Умаров, редко бывают победителями, чаще — жертвой. В романе он и изображен как потенциальная жертва, лишь случайно избежавшая гибели. Правда, Нуриев оказывается поверженным. Но Умаров тут ни при чем. Поражение отрицательного героя прямо связывается в романе с наступлением периода перестройки и происходит как бы автоматически. Возможно, именно тут сказывается непроясненность философской концепции произведения. Роман постоянно распадается на три слабо связанные между собой сферы повествования. Одна посвящена журналисту Умарову, другая — его антагонисту Нуриеву. Имеется еще один обильный событиями пласт повествования — рассказ о днях жизни грозного властелина Востока Великого Кагана монголов. Заметим, что масштабы да и деятельность этих людей столь различны, что связь между ними едва нащупывается. Этому в немалой степени способствует фрагментарно-хаотичный принцип «монтажа» эпизодов и сцен повествования.

Философский аспект — один из важнейших. Его введение в роман согласовывается с позицией центрального героя, занятого поневоле (он в больнице) размышлениями. С разных сторон обдумывается Умаровым суть зла, меняющего свое обличье. При этом на первый план в размышлениях журналиста выдвигается злоецащая фигура Нуриева.

Что же он собой представляет, Нуриев?

Автор вполне определенно осветил веки биографии «антигероя», путь его движения к власти, отчетливо раскрыта и некая «философия» делания зла во имя добра, которая сочинена Нуриевым, вероятно, для духовного комфорта.

У Нуриева два лица. Одно представляет нам образцового руководителя крупного промышленного объединения. Это «человек незаурядный, огромной воли и организаторских способностей, он так поставил свое хозяйство, давал такие прибыли государству, что из отстающих район выдвинулся на одно из первых мест по многим показателям. Его имя стало известно в республике...» Оценка эта принадлежит самому Умарову.

Другое — нечто невообразимо ужасное, — лицо авантюриста, деспота, уголовного типа. Окруженный преданными людьми, подстрахованный поддержкой сверху и, чувствуя себя недостижимым владыкой, деловито творит произвол. Парадокс этой личности в том, что, творя

<sup>9</sup> Исфандияр. Возвращение. Т., Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана «Еш гвардия», 1986.

беззаконие, он считает себя необходимым явлением жизни, очень полезным народу. «Именно на таких людях, как я,— говорит он журналисту, не боясь показаться лицемерным,— держится государство. Благополучие общества зависит от инициативных личностей, смелых, умеющих рисковать».

Получается, вроде бы, что зло неизбежно, что без него и самое добро не утвердится. Этот постулат, лежащий в основе тусклого мирозерцания Нуриева, автор развенчивает всем строем повествования, в том числе и с помощью обширной исторической ретроспекции из времен Чингисхана.

Джамуха, друг и соперник хана, пытается объяснить кровавого деспота, когда говорит ему: «... Подумай, что ждет тебя в будущем! Достойно ли ценой крови и слез тысяч и тысяч людей построить великую империю, в которой все и всем будут довольны?»

Деятельность Томучина в романе изображается как фатально предопределенная. Ведь он ценит и даже любит родича и соратника своего Джамуху, но силой обстоятельств становится его смертельным врагом, которого должен уничтожить и уничижить. Зверский характер Томучина — слепок столь же зверских обстоятельств, в которых человеческому уцелеть почти невозможно. Исфандиар и показывает, что человеческое у Томучина сведено к ничтожно малой величине. Характерен эпизод казни юноши. Томучин хотел было уже его помиловать, но как только тот посмел обратиться к человечности Великого Кагана, и тем самым приравнять его к простым смертным, казнь молниеносно совершилась.

Все, что касается Томучина, само по себе убеждает. А вот ниточки связи этого образа с вождем «районного масштаба» представляются совершенно ненадежными и даже эфемерными. Надеясь Нуриева какой-никакой «философией» и к тому же соотнеся его со зловеще-величественным властелином восточного мира, автор льстит своему герою, возводит его в степень значительного явления. Правомерно ли подобное художественное решение?

Черты социального типа, к которому принадлежит Нуриев, получили в последние годы исчерпывающее объяснение. Нуриев и ему подобные, как мы знаем, порождены временем, когда грубо попирались советские законы, нормы социалистической нравственности, «широкое распространение получили приписки, хищения, взятки, которые привели к разложению и перерождению определенной части кадров».<sup>10</sup>

Периодическая печать дает нам обильнейший материал, говорящий о том, как вольготно себя чувствовали в этих условиях всякого рода лихоимцы, «предатели нашего партийного дела». Нуриев как раз из их числа. Беда лишь в том, что, раскрывая этот образ, автор допустил некоторые неточности, а они, в свою очередь, повливали на всю идейно-художественную структуру произведения.

Вызывают сомнения, скажем, неверные суждения о необыкновенных успехах предприятия, руководимого Нуриевым. Мысль об этом высказывается как нечто бесспорное. Однако практика показывает, что так называемые «производственные успехи» деятелей вроде Нуриева — чистой воды липа, плоды очко-втирательства, приписок, одним словом, махинаций. Автор тут не вдается в подробности, но у читателя не может не сложиться впечатление, что «образцовое хозяйство» Нуриева всего лишь красивый фасад, за которым скрывается жалкая развалюха. Ни для кого не секрет, что политический крах нуриевых явился обратной стороной краха хозяйственного. Нет, Нуриев — это не серьезный деятель, имеющий хоть какие-то нравственные устои и приносящий пользу, а очень опасный авантюрист с ухватками матерого уголовника. От его слов, и тем более дел, смердит ужасно. Нуриев грязен, мерзок, страшен в своей примитивной психологии преступника. Но как при этом мелок и ничтожен. Обворовать, подольститься к сильному миру сего, предать, убить или организовать преступление — да, тут сфера его грязных и подлых деяний. И при чем тут, скажите, тень великого Томучина? Как можно сопоставлять ничтожество с властелином, одно имя которого приводило в оцепенение народы?

Остросовременными проблемами насыщен и роман Тулепбергенов Каипбергенова «Зеница ока», получивший немало положительных откликов в печати. Роман был завершен в 1981 году, можно сказать, на пороге этапа перестройки. Тем интереснее проследить, что и как угадал писатель, какие тенденции сумел предвосхитить, перед чем остановился в неведении.

Как и в прежних своих произведениях, Т. Каипбергенов опирается на фольклорную традицию. Это выражается не только в усвоении богатств поэтического языка устной народной поэзии, но и самого способа мышления образами крупными, определенными. В романе мы найдем россыпь пословиц и поговорок, метких, хлестких, немало здесь щедрого юмора, но есть и едкая, задиристая сатира. Нет, этот роман не назывешь эфемерным созданием, несущим хилое тело образности на упругих ножках публицистичности. Пафос современной проблематики сочетается в нем с полнокровной, весомой образностью, что и делает это произведение значительным явлением.

Важнейшее достоинство романа — высокий уровень правдивости в изображении жизни. В нем нашли верное отражение и беды приписок, и уродливая система мелочной опеки хозяйственной деятельности со стороны вышестоящих инстанций, и многое такое, что и сегодня дает обильную пищу публицистам.

Сюжетное напряжение в произведении создается испытанным способом — противоборством двух незаурядных характеров. Ержан Сержанов, отдавший колхозу лучшие десятилетия жизни, представляет в романе тип отживающего, волевого стиля руководства.

«Жанлыкцы привыкли к грозным и призывным речам. Начальник в их представлении должен, даже обязан пламенеть словом души. Нужна гроза, гром, молнии, страх божий, зато потом и даль ясна и путь виден».

<sup>10</sup>. Отчет ЦК Компартии Узбекистана XXI съезду Коммунистической партии Узбекистана. «Правда Востока», 31 января 1986 г.

Если Сержанов берет всеокушающим волевым напором, то противопоставляемый ему Жаксальк Даулетов, новый руководитель хозяйства, — демократичен, терпим, знающ. «Вот ведь как подходил Даулетов — щенком ласковым, ягненокм ясноглазым...» — говорится о нем без лукавой иронии.

Противопоставление характеров выдерживается автором довольно последовательно, оно включает в себя и портретную характеристику образов, опять-таки с оглядкой на народное восприятие.

«Выглядел Даулетов так себе. Неавторитетно... Роста пустякового. Против Сержанова — телок против племенного бугая. И нос мелкий, не сержановский, и глаза без строгости и значительности».

Принципиальная новизна Даулетова как руководителя не столько во вносимых им организационно-технических переменах, сколько в настойчивых попытках найти точки соприкосновения между экономикой и нравственностью. Понятно, что сама установка на подобную деятельность сопряжена с вступлением героя в конфликтную ситуацию. Каждый шаг Даулетова к цели встречает сопротивление не только бывшего директора, ставшего заместителем, но и секретаря райкома партии. Что особенно тяжело, не поддерживают его и «молчаливые, упрямые, своенравные» жаналыкцы, свикшиеся со старыми рутинными порядками. За Даулетовым идут буквально единицы. И борьба за утверждение новых принципов впереди предстоит, по-видимому, нелегкая.

Выдюжат ли Даулетов? Романист не обязан давать ответ на такие вопросы. Его герой проверен на прочность в ряде столкновений с непростыми жизненными проблемами. В более сложных он, может быть, поведет себя иначе — кто знает... Автор, как видно, не ставил перед собой задачу создания портрета героя. В Даулетове подчеркивается именно обыкновенность, некоторая даже заурядность. И внешность-то у него неказистая, и откровенен до назойливости. Шутит неудачно. Одним он кажется хитрым, другим слабым, третьим глуповатым. Впрочем, все это кажущиеся недостатки. Но есть и настоящие, нешуточные.

Белинский говорил, что любовь «может служить пробным камнем нравственности» — истина, вроде бы, прочно доказанная жизнью. Так вот, Даулетов, изучающий нравственные проблемы в их сочетании с экономикой, в своей личной жизни далеко не безупречен. Запутался в отношениях с двумя женщинами. С женой своей, Светланой, временами ведет себя, ну, совершенно хамски. И мы видим, что черты руководителя-производственника, и просто человека, не нашли в Даулетове счастливо сочетание — бог весть, чем это может обернуться в дальнейшем. Нельзя от всего этого отмахиваться, как от пустячка, досадного «недостатка». Слабинка, трещинка в душе завтра может побудить к предательству, стать причиной крушения личности. Все это наводит на невеселые раздумья. Ведь дело, за которое берется Даулетов, огромно по масштабу, значению своему, трудностям его осуществления, и скверно, если его зачинатель окажется калифом на час.

Как бы там ни было, Даулетов интересен, знакомство с ним будит мысль, заставляет глуб-

же задуматься о тернистых путях перестройки.

Заслуживают серьезного внимания и так называемые второстепенные персонажи этого романа. К ним, в первую очередь, принадлежит Завмаг — так его зовут сельчане, пренебрегая собственным именем. Нет, это не просто заведующий магазином, а маг и волшебник, верховный жрец, ведающий распределением необходимых жизненных благ. Познавая самую суть хищника в особенно уродливом, вылепленном провинциальными условиями варианте, автор показывает, как легко он вырастает в жизнь, проникая во все поры общественного организма. Странно видеть в мясника за чтением молитвы, говорили древние. Но в «Жаналыке» никому не кажется странным, что плутню завмагу доверена роль и партийного вожака. Правая рука директора совхоза, он и в партком втерся, и на роль моралиста претендует, и тайные карательные акции творит, вездесущий, липкоугодливый, коварный. Таков Завмаг.

Сложной внутренней диалектикой примечателен и образ тугодума Мамутова, секретаря парткома совхоза. До чего же нелепа фигура партийного руководителя с лакейской формулой «чего изволите!» При Сержанове на долю секретаря выпала роль безмолвной тени председателя. Трусоватый, нерешительный, Мамутов при новом директоре собирается более четко определить свою жизненную позицию. Боязно ему делать ставку на нового руководителя, энергичного, но еще такого ненадежного. Не сулит доброго и союз с низвергнутым Сержановым. На кого полагаться? «Выходит, и тут риск, и там тоже. Только в одном случае придется сидеть и ждать, что с тобой сотворят, а в другом действовать, рассчитывая на победу. Вот так — либо творец, либо тварь. Читать себя тварью, хотя бы даже и господней, противно. А действовать?.. Тут нужна уверенность. Ее-то пока и не было у Мамутова...»

Некоторое время Палван Мамутов играет жалкую роль премудрого пескаря, который «живет и дрожит», но, преодолев нерешительность, все же впрягается в общую упряжку с новым директором. Медленно, с невероятными муками выжимает из себя раба, и, кто знает, может быть, со временем станет он настоящим человеком.

\* \* \*

Знакомство с наиболее значительными образцами литературно-художественной продукции республики (преимущественно русских писателей) убеждает в том, что литература наша вступила в сложный переходный период развития. Все более решительно ломаются сложившиеся тематические стереотипы, утверждаются, пусть пока еще робко, принципы реалистически-правдивого отражения жизни. Литература становится «многосторонней». И, главное, пробивает себе путь тенденция сближения с жизнью, отражения явлений, реально существующих, а не только тех, что пригрелись писателям в их творческих снах. Происходит и своеобразная смена поколений литературных героев. В прозу приходят персонажи, отражающие новые веяния, новые запросы жизни. Заметно активизируется поиск ответов на «больные» вопросы времени.

### Люди с хвостами, или Под пиалой еще одна пиала

УЗБЕКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СОВЕТОЛогов

У Абдуллы Каххара есть сатирический рассказ «Люди с хвостом». Герой его — умудренный опытом аксакал. Однажды ему довелось сопровождать иностранного гостя. Турист то и дело смотрит вокруг. Нет, его не интересуют достопримечательности. Ему хочется увидеть, наконец, людей с хвостами. Ведь на его родине ему все время твердили о том, что все узбеки с хвостами и изъясняются между собой какими-то бессвязными звуками. Увы, таковых не оказывается, и гость вынужден признать, что узбеки, оказывается, люди как люди...

Когда читаешь работы некоторых советологов, невольно вспоминаешь блестящую и язвительную издевку Абдуллы Каххара над цивилизованными дикарями. Однако турист всего лишь жертва тех, кто хорошо знает, что делает.

Наши идеологические противники вот уже семьдесят лет измышляют всяческие небылицы, порой открыто, порой подспудно пытаются бороться против нашего строя, против наших идеалов. Тем не менее мы идем своим путем. Конечно, этот путь труден, у нас были серьезные ошибки и не все вопросы решены. Но устои наши крепки, а главное, идет перестройка, которая продвинет вперед наше общество. Вот это и не дает покоя нашим оппонентам. И объективность они то и дело подменяют злобной предвзятостью, за которой так и видишь бесовский хвост.

Распространяются, к примеру, слухи: мол, в СССР узбеки, казахи, туркмены, киргизы вынужденно сливаются с русскими, исчезают национальные языки, в условиях отсутствия свободы творчества нивелируются национальные литературы. Словом, белое выдается за черное, развитие — за регресс.

Так они говорили раньше, так говорят и сейчас. Изощренное становится тактика, но стратегия, суть одна и та же; сколько ее ни маскируй, правду все труднее становится скрывать от мировой общественности. Вот и приходится голую ложь наряжать в «приличный» костюм объектив-

ности, хотя при этом события и факты ретушируются.

Вот статья У. Фирмана «Чувство национальной самобытности у узбеков», напечатанная во французском журнале «Кайе дю монд рюс э советик». По утверждению автора, писателям Узбекистана «навязывается определенный круг тем». Вот эти темы: «Успехи советской Средней Азии, достигнутые после свершения Октябрьской революции; прогрессивное значение завоевания Туркестана русскими; образ гениального вождя; дружба народов СССР; атеистическая пропаганда; новая роль женщин в освобожденном узбекском обществе; неизбежность победы коммунизма». Если же что-то пишется на другие темы, уверенно вещает У. Фирман, то, конечно, не публикуется.

Мы ни от кого не скрываем, что названные выше идеи и темы для нас были и остаются священными. Но существование «запретных» тем и «запрещенных» рукописей — голословное утверждение, мало того, это противоречит «логике» самого автора. Однако откуда взяться логике, когда желаемое так хочется выдать за действительное.

У. Фирман ссылается на статью П. Кадырова «Корни платана», пытается жонглировать мыслью писателя, что самобытные корни узбеков «должны прочно произрастать на среднеазиатской почве, а не превращаться в сорняки, питающиеся за счет других растений».

Приводя эту мысль, советолог, а вернее — антисоветчик, тут же искажает ее, грубо передеформирует в удобном ему духе: сорняки, мол, это те, кто пришел в Среднюю Азию и паразитически питается ее почвой. Но ведь это типичная «подмена тезиса»! И таким вот образом делается попытка подорвать отношения братских народов.

У. Фирман и дальше не скрывает своих намерений. Опять-таки, прикрываясь мнимой объективностью, он пишет, что национальные прикладные искусства — резьба по ганчу, керамика,

ковроткачество вызывают восхищение русских, а вот музыка будто бы их раздражает. Его даже нет охоты серьезно опровергать, настолько широко известна популярность наших ансамблей, певцов, музыкантов в стране и за рубежом.

Когда читаешь статью У. Фирмана, приходишь к выводу, что он глубоко не знает современной узбекской советской литературы. И поэтому заранее заготовленная схема советолога то и дело подводит его. Чем объяснить, например, его суждение, будто бы узбекские писатели характеризуют героев, сохраняющих обычаи предков, «как честных, трудолюбивых советских патриотов», а узбеков, проявляющих нетерпимость к народным традициям, «критикуют и высмеивают». Да, у нас, как и у других народов, происходят естественные диалектические процессы синтеза национального и интернационального, традиционного и нового, процесса взаимного обогащения и роста. Но как же примитивна схема месье Фирмана перед нашей жизнью и литературой!..

Другой советолог, М. Рывкин, тоже не отстает от своего коллеги. Правда, в его книге «Вызов мусульман Москве. Советская Средняя Азия» есть и верные наблюдения. Например, что интерес среднеазиатских народов к своему историческому прошлому выражается в развитии исторического романа. Однако, М. Рывкин и тут преследует свои цели, его-то совсем не занимают ни интересы нашего народа, ни наше прошлое.

Говоря об имевших место в свое время спорах вокруг киргизского фольклорного эпоса «Манас» и узбекского «Алпамыш», автор утверждает, будто они были осуждены советскими историками за «панисламистские феодальные и националистические тенденции», впоследствии, продолжая он, советские историки реабилитировали эти эпические сказания, а также национально-освободительные движения среднеазиатских народов, направленные против царского угнетения».

Во-первых, непонятно, как сам М. Рывкин оценивает эти культурные исторические явления. Во-вторых, почему процесс выработки правильного, ленинского отношения к сложным вопросам нашего наследия, борьба как с догматизмом, так и с идеализацией сводятся опять-таки к примитивной конструкции «запрет — реабилитация»? Ведь все, о чем говорит советолог, никогда не замалчивалось, всему давно дано объективное освещение.

Если М. Рывкин старается заново ревизовать нашу историю, то советолог Р. Кочар строит свои измышления на примерах поэтических произведений. Его статья с таким невинным на первый взгляд названием: «Образцы поэзии современного Туркестана на тему родства и братства» — свидетельствует именно об этом. По мнению Р. Кочара, в советской Средней Азии существуют два противоборствующих течения: одно — коммунистическое, противостоящее истории, литературе, языку и единству Туркестана», второе — националистическое, борющееся за независимость и объединение народов Туркестана».

Поэты, принадлежащие ко первому течению, что бы ни писали, «на вооружение берут политику советского руководства», а принадлежащие ко второму создают произведения, внешне соответствующие коммунистической идеологии, а на самом деле служащие интересам нации. Словом, Р. Кочар тщится доказать, будто среди среднеазиатских литераторов существует какая-то пантюркистская оппозиция Советской

власти. Но с доказательствами туго, и поэтому, естественно, некоторые стихотворения и строки трактуются весьма странно. Снова идет в ход передергивание карт. Оказывается, скажем, туркменский поэт Ата Атаджанов («Годы, годы», «Дороги, дороги»), узбекский поэт Гафур Гулям («Великое торжество казахского народа»), каракалпак И. Юсупов («Каракалпак»), посвящая свои стихи братским народам региона, стремились подчеркнуть лишь то, что «тюрки — одной крови», что это «одна нация». С домыслами тут все в порядке, им отданы тысячи слов, а вот о социалистическом характере нашего интернационализма, в отличие от поэтов среднеазиатцев, у автора, конечно, — ни словечка.

Д. Монтгомери, как известно, давно и упорно занимается «проблемами истории узбекской литературы». И всякий раз «открывает» нечто доселе неслышанное. В статье «Шахимардан» — звено в цепи советского узбекского литературного наследия» он поставил перед собой цель — подвергнуть критическому анализу знаменитую поэму Х. Алимджана «Шахимардан», посвященную памяти Хамзы. Какой там, однако, анализ! Выясняется, что автору статьи безразличны сюжет и композиция, конфликт, изобразительные средства поэмы. Д. Монтгомери находит, видите ли, что «Х. Алимджан был реалистом, умел видеть тенденцию развивающихся событий и понимал, что успех и, возможно, даже способность уцелеть будет зависеть от сотрудничества и согласия с новой системой». Дальше больше. Оказывается, Х. Алимджан написал эту поэму для того, чтобы сделать карьеру. «В поэме, — продолжает свою мысль автор, — позиция поэта отвечала целям художественной пропаганды, проводимой правительством». Само собой напрашивается вывод: положение писателя обеспечивается тогда, когда он воспекает позицию правительства. О том, что позиции могут совпадать, советологу невдомек. Но кто дал ему право ставить под сомнение искренность большого художника? Да и нет оснований для этого!

Одним из главных козырей в крапленой колоде антисоветизма по-прежнему остается тезис о насильственной русификации «малых» народов. В той или иной форме его можно обнаружить во всех статьях и книгах о Советском Востоке.

Вот, например, некий Арал Мехмет Иса в статье «Игры вокруг эпоса «Манас» усиленно протаскивает идею, будто по «вине русских критиков» после Октябрьской революции «Манас» был признан непригодным для коммунистической идеологии Советов».

Между тем, факты, а не домыслы свидетельствуют, какую благородную роль сыграли русские ученые в изучении и утверждении ленинского отношения к нашему туземному наследию. Так что, неприглядные «игры» вокруг этого вопроса затевают сами фальсификаторы. Но и этого им мало. Арал Мехмет Иса и в произведениях писателей Средней Азии и Казахстана пытается выискать «вину русских». На сей раз в статье «Критическое изучение романа Толегена Касымбекова «Сломанный меч» и отражение в романе подлинных отношений с Туркестаном». «Ученый» пытается извлечь из романа киргизского писателя заключение, что писатель, якобы, «восстает против присоединения Киргизии к России». Таков итог этого «критического изучения», хотя ни сюжет, ни конфликт, ни помыслы и действия героев романа не дают к тому ни малейших поводов. Да, не отрицаем, «Сломанный меч» — повествование о

сложном и противоречивом времени в исторической судьбе киргизского народа. Герои романа — киргизы, узбеки и представители многих других национальностей — совместно борются против царской России, против чиновников и эксплуататоров. Так оно и было. Но разве не против тех же врагов выступали и русские? И разве не эта борьба, а затем и совместное созидание новой жизни навсегда сплотили наши народы? Тем не менее самозваному «специалисту» очень хочется, чтобы хотя бы писатели Средней Азии «восстали против русских».

В этом нет ничего удивительного. Ведь братство народов в СССР раздражает многих антисоветчиков, в том числе и уже упомянутого господина У. Фирмана. Его другая статья называется «Перспективы ассимиляции в произведениях двух молодых узбекских писателей». Процесс сближения наций в СССР, по У. Фирману, представляет собой ассимиляцию с русским народом. И ничего более. В качестве материала для своего заранее заданного тезиса советолог берет рассказы молодых узбекских писателей Хуршида Дустмухамедова и Алишера Ибадинова.

У. Фирман сам же отмечает, что рассказ Х. Дустмухамедова «Солнце Киовы» внешне не имеет никакого отношения к узбекам». Действительно, это история молодого американского индейца, который решает отомстить за смерть отца, убитого белым фермером. Однако, по мнению У. Фирмана, в рассказе между индейцами и узбеками будто бы проводятся параллели. Русские якобы завоевали Среднюю Азию, как в свое время белые захватили родину индейцев Америку. «Итак, — резюмирует автор, — так же, как американцы не понимали ценности индейской культуры, так и русские видят мало ценного в традиционной среднеазиатской культуре».

Вот как нынче «тонко» порой делается антисоветчина. Другая тема, другие сюжеты, другие герои — и вдруг русификация, ассимиляция. Нет ассимиляции в тексте — поищем ее в «подтексте». А заодно прикроем антисоветизм либеральной видимостью антиамериканизма, сближим принципиально различное и в идеологии и в реальной истории, ее результатах...

Примерно такова же «кухня» при анализе рассказов «И солнце — огонь» и «На берегу озера» А. Ибадинова.

Несколько слов о первом рассказе. Арабские завоеватели (VIII век) обращают местное население — зороастрийцев в мусульманскую веру. Им противостоит Альп Тегин, пострадавший из-за своего неподчинения правящей верхушке, которая пошла на компромисс с захватчиками. И этот исторически правдивый конфликт толкуется Фирманом по-своему.

Он пишет, что «А. Ибадинов делит своих героев на тех, кто, как и Альп Тегин, верен своим культурным, религиозным и языковым традициям, и на тех, кто, как родной брат Альп

Тегина Арслан Тархан приняли ислам только для того, чтобы продолжать властвовать при поддержке арабов, и ради этого отказываются от своей веры и языка». По упорному утверждению Фирмана, писатель внушает современному узбекскому читателю идею о недопустимости сотрудничества узбеков с русскими. Даже использование писателем языковой архаики, необходимой, как известно, в любом историческом повествовании, толкуется Фирманом как «патриотический» протест против «русификации»...

Поистине удивляет и «анализ» другого рассказа А. Ибадинова. Студентки филологического факультета Азиза и Гульнара в составе фольклорной экспедиции отправляются в отдаленный кишлак. Автора нисколько не смущает, что даже сам обыденный для нас факт бережного собирания образцов народного творчества опрокидывает его концепцию. Он стоит на своем. Фирман, забыв об авторе рассказа, о его позиции, самолично отдает дань уважения тем «современным националам в узбекском обществе», которые, как студентка Азиза, «верны своей культуре и языку», и осуждает тех, кто «продан русским», как Гульнара, которая «не видит ничего ценного в своем наследии».

Да, такие, «не помнящие родства», личности у нас, и не только у нас, есть. Но при чем здесь Россия, и какие такие органы препятствуют любви к своему фольклору, когда вся советская культурная политика, все наше искусство построены на интернациональных основах!.. И как можно сводить к «ассимиляции» живые и естественные процессы развития национальной жизни в нашей стране!

Все эти и подобные им публикации и впрямь рассчитаны, очевидно, на «людей с хвостами», каковым и оказался незадачливый иностранец из острого рассказа Абдуллы Каххара. Буржуазные фальсификаторы, как выражаются у нас в народе, «ищут под палой еще палу», т.е. пытаются выискывать то, чего нет, произвольно толкуя факты.

Однако не следует нам и вовсе отмахиваться от измышлений наших «заклятых друзей». И в кривом зеркале можно кое-что разглядеть. Например, то, что за последние годы в наших литературах заметно ослабел критический, диалектический пафос изображения национальной жизни, ее социальный анализ, она порой показана односторонне, идеиллически. На новом уровне следовало бы активизировать тему интернационализма в его единстве с национальным. И тут перестройка. Верные ориентиры здесь — лучшие произведения советской многонациональной литературы, ее классика и ее современность. Они дают достойную ответь любому нападкам и звне, помогают наводить мосты добрососедства и понимания со всем миром, строить свою жизнь. По общим нашим законам социальной справедливости, гуманизма и братства.

## Восточные мотивы «Мастера и Маргариты»

«Мастер и Маргарита» — роман, содержащий множество загадок, начиная от имен персонажей, толкования их странных поступков, кончая местом действия в довоенной Москве, где все совершается с ошеломляющей, прямо-таки феерической быстротой. Читая «Мастера и Маргариту», вспоминаешь легенду о докторе Фаусте, Гоголя, Достоевского, Гофмана, а искрометный юмор романа обращает нас к Мольеру, которого Михаил Булгаков так любил. А целая тема романа, одна из главных ее историй — история римского прокуратора Понтия Пилата и арестанта Иешуа Га-Ноцри, обращает нас к библейским мотивам, к историческим хроникам двухтысячелетней давности, в которых красочно описана жизнь Иудеи и сопредельных ей земель Ближнего Востока — прародины будущей арабской культуры, сотворившей себя из множества других культур и вошедшей потом мощной струей в единое понятие — «восточная культура».

«Восточные» мотивы романа, искусно переплетенные русским писателем в сложной архитектуре произведения, представляют собой одну из интереснейших загадок «Мастера...».

Таинственное, интригующее, в духе «Тысячи и одной ночи», повествование начинается уже с первых страниц, когда в Москве, на Патриарших прудах, перед мирно беседующими Михаилом Александровичем Берлиозом и поэтом Иваном Поныревым из знойного воздуха неожиданно соткался прозрачный гражданин странного вида. И когда между ними мало-помалу возникает глубокомысленный спор о смысле жизни, предназначении человека, украшенный мистической иронией автора, то на вопрос незнакомца: «Спрашивается, кто же управляет жизнью человека и всем вообще распоряжком на земле?» — поэт сердито отвечает: «Сам человек и управляет...»

Суть спора приобретает особую окраску, когда мы узнаем, что задавший полемический вопрос является не кем иным, как самим сатаной, мифологическим персонажем — Воландом, только что прилетевшим со своей свитой в город, чтобы нарушить мирный, привычный ход его жизни.

Вообще-то сатана порожден в народной мифологии и Европы, и Востока исключительно для того, чтобы нарушать привычное, подвергать все сомнению, высмеивать; сам того не желая, сатана обращает зло в добро. Эта мысль с поэтической страстью подчеркнута в эпиграфе к роману, взятом из «Фауста» Гете:

Я — часть той силы,  
что вечно хочет  
зла и вечно совершает благо.

В народной, в частности в тюркской, мифологии сатана нередко выступает и против религиозных догм, искушает порочных служителей культа и даже дерзит самому богу. Поэтому Коран осыпает сатану проклятиями, призывает верующих бить его камнями, чтобы не попасть в дьявольские сети. Воланд, по замыслу Булгакова, и есть та «сила, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Благо же он совершает не только тогда, когда разоблачает Никанора Ивановича Босого, Степана Богдановича Лиходеева, Аркадия Аполлоновича Семплеярова — людей нечестных, порочных, завистливых, но и во многих других случаях, так красочно описанных в романе. И как бы подводя под свои деяния философскую основу, изрекает истины, многие из которых перекликаются с догмами восточной философии, с мироощущением восточного человека, его взглядами на жизнь и на смерть.

В том же споре на Патриарших прудах Воланд с присущим ему сарказмом говорит: «Вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собой, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого. И вот ваше управление закончилось! А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, тут иностранец прищурился на Берлиоза, — пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет — поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним совсем другой?»

Не звучат ли в этих рассуждениях восточные, точнее, суфистские представления о том, что человек и его жизнь подчинена заранее начертанной кем-то судьбе и то, что написано на роду, то непременно сбудется?

То, как погиб Берлиоз, что произошло с друзьями персонажами романа, показывает, что Булгаков пытается внести существенные поправки в суфистское представление о предопределенности человеческой судьбы. Воланд наказывает не всех подряд, а лишь «избранных», как бы говоря им: сколько бы вы ни делали зла, судьба ваша определена, возмездие придет неминуемо, здесь вы бессильны управлять своей жизнью. Зато те, кто стремится после себя оставить доброе имя и доброе дело, пусть через муки, страдания, идут к своей цели, то есть управляют своей судьбой сами. Воланд даже помогает Мастеру вновь заполнить рукопись сожженного романа: «Рукописи не горят!» — и заботится о дальнейшей судьбе романа после смерти его автора. Одна из последних глав этой увлекательной истории так и называется: «Судьба Мастера и Маргариты определена».

И как тут не побить сатану камнями, следуя призыву Корана, если он снова вносит путаницу в незыблемую религиозную догму, пытается по-своему толковать ее закон о заранее начертанной кем-то человеческой судьбе! Побить-то можно, но все-таки надо признать: по отношению к Мастеру и его детищу — роману о Понтии Пилате, Воланд повел себя благороднее критиков Латунского и Аримана, литератора Мстислава Лавровича, выступления которых против Мастера и его романа были злобны и несправедливы.

Образ самозабвенного Мастера как бы олицетворяет собой идеал восточного мудреца, аскета, что сродни булгаковскому идеалу художника.

Мастер кроток, не приемлет суеты, не желает мстить своим врагам и живет по принципу: долготерпение, умение смотреть прямо в глаза невзгодам жизни рано или поздно будет вознаграждено. Одним из главных человеческих пороков он считает трусость. Поэтому отношение Мастера к таким понятиям, как жизнь и смерть, рождение и старость наполнены стоической философией. Уход в небытие, смерть он воспринимает спокойно и умиротворенно. Можно сказать даже: смерть ему желанна, ибо знает Мастер, что с его смертью начнется новая жизнь, жизнь его детища, рожденного в муках романа. Смерть — есть продолжение жизни, рождение другой, высшей жизни, — один из главных мотивов восточной философии бытия.

Другой мотив, связанный с жизнью Мастера и также навеянный восточной философией, — это мотив двуединства бытия, который с такой убежденностью проповедует Воланд в споре с учеником Иешуа Левием Матвеем, историческим персонажем двухтысячелетней давности, окутанным библейскими легендами.

«Дух зла и повелитель теней», как называет Воланда Левий Матвей, восклицает, пытаясь втолковать свое понимание законов жизни:

— Не будешь ли так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы существовало зло, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп!».

— Я не буду спорить с тобой, старый софист, — отвечает Левий Матвей, как бы отступая перед доводами сатаны.

Тот, кому Воланд бросает в лицо: «Ты глуп!» — пророк проповедующий добро во имя полного исчезновения зла.

Однако, на протяжении всей истории религии, этот тезис, одинаково важный как для христианства, так и для мусульманства, рождал противоречивые, порой трагические чувства в душах верующих своей отвлеченностью, несовпадением с подлинным течением живой жизни, с природой самого человека. Добро всегда шло рядом со злом, часто меняясь местами и показывая человека противоречивым, раздвоенным. Свет сменяется тенью, ночь переходит в день, а на рассвете и закате свет и тень так густо замешаны, что нельзя их различить. По восточным, в частности тюркским, представлениям — так было и так будет всегда, пока стоит земля. Народная мудрость выражает это двуединство бытия кратко и афористично: «В месяце — пятнадцать дней светлых, пятнадцать — темных». И религия, обещавшая победу добра над злом, ведь над тенью, по сей день не смогла поколебать это народное представление. Отчасти, наверное, из-за «козней сатаны», который, подобно Воланду, подвергает сомнению и осмеивает все схоластическое, надуманное, далекое от каждодневного нашего опыта.

Тезис о двуединстве бытия М. Булгаков разрешает и как мыслитель, в философском плане, и как художник — в психологически точных портретах, показывая общее у самых, казалось бы, резко противостоящих друг другу персонажей, взаимоподменяя их, людей, живших в далекие библейские времена в Ершалаиме и в сороковых годах нашего века в Москве. Несмотря на резкое различие, есть много общего у Иешуа и Мастера, у красавицы-ведьмы Маргариты и евангелиста Левия Матвея (их роднит хотя бы это — жажда крови тех, кого они считают врагами Иешуа и Мастера — Иуды и критика Латунского), но более всего дополняют друг друга, несмотря на такое различие, иллюстрируя мысль о двуединстве бытия.

От начала повествования и до конца Воланд и Понтий Пилат пребывают в угнетенном состоянии духа. Это по замыслу автора должно выражать непрерывную работу самых темных, застенных тайников человеческого сознания, хотя то, что делает сатана, исполнено легкой игры, замешано на колдовстве. Даже самые жестокие, кровавые свои деяния он совершает шутя, как бы выполняя роль безудержного на выдумку артиста в большом театральном представлении.

Но это лишь чисто внешне. На самом же деле, подобно Понтию Пилату, Воланд предельно нацелен на главную свою роль — судьи. Он судит устоявшийся порядок вещей в образе казнокрадов, доносчиков, глупцов, самодовольных чинуш. Пилат же, учинив суд над Иешуа, пресекает всякую попытку изменить устоявшийся образ жизни в Иудее, который также держится на доносах, подкупах, обмане. И выходит, опять прав сатана, который срывает покров с людских пороков?! Прав-то он прав, но делает это с какой-то холодной прямотой, оставляя нас, читателей, духовно безучастными, лишь возбуждая в нас нечто похожее на злорадство: «Порок высмеян!»

В теме «Суд сатаны» отчетливо видно влияние Гофмана с его романтической оголенностью, холодной дистанцией и мистическим юмором.

В своем же неправедном суде Пилат не то что-

бы не самостоятелен в решениях, но так же, как Воланд, почти безучастен к происходящему, потому и позволяет первосвященнику иудейскому Иосифу Каифе повернуть решение суда в выгодную для синедриона сторону.

Иешуа казнен, но с тех пор, почти две тысячи лет, Пилат сидит в одиночестве на горной площадке, и у ног его валяются черепки разбитого кувшина. Кувшин, сотворенный из глины, из праха, — в восточной поэтической традиции символизирует бренность бытия. (Разбит кувшин надежд, мечтаний.)

Можно воскликнуть: «Как? У этого мрачного, холодного убийцы есть мечтания? Надежды?» Выходит, что есть, иначе Пилат не сидел бы сейчас на горной площадке и не мучился бы оттого, что чего-то не сказал арестанту Иешуа, что-то не спросил, чтобы узнать истину. А ведь как хотел он узнать! Но не судьба... И как хочет он теперь променять свою роль великого наместника Римской империи на участь оборванного, голодного бродяги Левия Матвея, чтобы постичь эту истину, услышать ее из уст учителя Иешуа Га-Ноцри. Но чтобы постичь эту истину, Пилат должен быть прощен Иешуа — такова подоплека этого трагического поединка. И Иешуа прощает Пилата.

Духовный поединок Пилата и Иешуа и все, что с этим связано, написано в традициях Достоевского. Здесь приходит на ум не только «Великий Инквизитор» и знаменитый «Разговор Ивана с чертом» из «Братьев Карамазовых», но и общая направленность романа, где дана мучительная полемика со всеми основными философскими

идеями того времени, но главное — с религиозными догматами. Это в традициях русской литературы — сострадать падшим, прощать заблудших.

Вместе с прощенным Пилатом мы, читатели, должны отгадать истину по ходу романа. И мы узнаем ее из уст Мастера, к которому пришло прозрение при созерцании одинокой фигуры сидящего прокуратора: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!»

Недаром прозрение пришло именно к Мастеру, человеку, чье детище — роман — стало бессмертным. И недаром первый, кто засомневался в бессмертии религии, был ученик Иешуа — Левий Матвей, тот, кому Иешуа внушал, что бог — добр, милостив, всемогущ...

Но в день казни своего любимого учителя, когда солнце посылало лучи в спины казненных, обращенных лицами к Ершалаиму, Левий Матвей закричал:

— Проклинаю тебя, бог! Ты не всемогущий бог... Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!

Не поселился ли в эту минуту в богобоязненного христианина Левия Матвея бес, не шепнул ли ему на ухо эти страшные слова сатана Воланд, злейший враг бога, бывший когда-то желанным на небесах и хорошо знающий ее нравы?

Ведь не зря же в «Мастере и Маргарите», романе, ведущем острую полемику с религиозными догмами с помощью народной мифологии Европы и Востока, Воланд в числе главных действующих лиц...

## ОТРАЖАЯ РАДОСТЬ ТРУДА

На многих республиканских и всесоюзных выставках, где широко представлялось творчество живописцев Узбекистана, вот уже не одно десятилетие присутствуют и полотна Закира Иногамова.

Всматриваясь в его картины, мы как бы погружаемся в повседневную жизнь, видим родной край с дорогими сердцу пейзажами, узнаем в героях полотен людей, с которыми повсеместно встречаемся.

Закир Иногамов родился в небольшом кишлаке под Ташкентом в трудовой дехканской семье. Художник и сейчас не расстается с родным селением, с милыми сердцу полями и садами, журчащими арыками — с первозданной природой, полной неброской красоты, с односельчанами, руки которых не чураются никакой работы, а сердца открыты добру и правде.

Страницы жизненного и творческого пути живописца тесно переплетаются с биографией республики, с большим и светлым путем, который указал узбекскому народу Великий Октябрь.

С благодарностью вспоминает Закир Иногамов своего первого школьного учителя рисования А. Ташкенбаева, привившего ему страстную любовь к искусству, педагогов Республиканского художественного училища Б. Хамдами, О. Тетевосяна и других.

Уже в начале своего творческого пути З. Иногамов тяготел к жанровой тематике, к изображению будничных, повседневных явлений.

Первое крупное полотно «Урожай» создается им под руководством и в соавторстве с Н. В. Кашиной — уже опытным в то время мастером живописи. Работая рядом с ней, молодой художник глубже познал секреты мастерства, обогатил свою палитру.

Художник хорошо знает жизнь сельских жителей, точно воссоздает картины их труда, раскрывает их богатый духовный мир.

В композиции «Сторож бахчи» небо, арбузы на поле являются фоном для выдвинутой на первый план фигуры колхозника, поза которого выражает настороженность, чуткое внимание. Зеленовато-коричневые и серебристые тона вызывают ощущение утренней прохлады.

Художник выбирает для сюжетных композиций обыденные сюжеты, один из его героев работает на току, другой — сторожит колхозное поле, третий — грузит дыни на арбу и т. д. Но каждый человек трудится с удовольствием и вызывает симпатию зрителей. Вроде бы незначительный житейский эпизод в композиции «К чаю» расцветивается множеством интересных подробностей. В наступивший час отдыха женщина ждет к обеду, приготовленному ею, односельчан, убирающих в поле урожай. Все здесь правдиво, жизненно достоверно — и не раз стиранное, но ладно сидящее платье, и старомодный платок, длинные косы, калоши на босых ногах, выдавший виды кумган.

В поле зрения художника неизменно попадают глухие глиняные дувалы, виноградники, дворники с цветами и деревьями, широкие деревянные айваны под кронами деревьев, разнообразные народные изделия, посуда, вышивки, тандыры, в которых пекутся подрумяненные, аппетитно пахнущие лепешки.

Закир Иногамов проявляет себя и как мастер эскизов.

В набросках художника всегда есть сюжетное, действенное начало, — вышивающая девушка или беседующая на улице женщина, задумавшийся над тетрадкой школьник или работающий в поле колхозник. Живописец стремится закрепить на холсте все происходящее вокруг.

Лирической жанровой картиной можно назвать эту «Последний домик в горах». Тонко переданы поэзия тишины гор, притягательность человеческого бытия в этом уединенном уголке.

Многим работам З. Иногамова присущ добрый юмор. И «Чайханщик», и «Парикмахер в поле», и другие картины этого ряда, вызывают невольную улыбку, поднимают настроение. Вот сценка, подсмотренная в жизни: прямо в поле работает парикмахер. Сколько непосредственного чувства в виртуозных движениях этого человека с ножницами в руках, как точно передано состояние его клиента-колхозника, закручивающего усы перед зеркалом, женщины, с удивлением смотрящей на близкого ей человека, раскрывшегося в эту минуту с неожиданной стороны. Способность героев З. Иногамова возбуждать улыбку сложилась, видимо, в результате его общения с остроловами — мастерами веселого, полного подначек и розыгрышей разговора — аскии. Художник всегда в гуще народа, всегда с людьми, когда они трудятся и отдыхают, грустят и веселятся, улавливая в задушевных беседах с ними и народную мудрость, и острое словцо.

В последние годы художник часто бывает в Джизакской степи. Из поездок в этот целинный край он привозит немало этюдов, в которых запечатлены подробности жизни труда и быта людей, которые преобразили еще недавно мертвую землю в цветущий оазис. В композициях «Вышивальщица», «Свадьба на Бахмале» и других работах чувствуется свежесть восприятия национального характера, душевного состояния героев, их мироощущения. В картине «Навруз байрами» художник с тонким пониманием передал настроения и глубинный смысл традиционного праздника.

Картины З. Иногамова близки и понятны людям, которые в художественных образах узнают самих себя, приметы собственной жизни. Эта способность художника увидеть праздничное, светлое начало в быстро текущих буднях находит непосредственный отклик у зрителей.

**А. ЭГАМБЕРДЫЕВ.**



## ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ПЛАНЕТЫ

**Е. Коршунов. Амаль.** Издательство «Советский писатель», Москва, 1985; **Убить шейха.** В сборнике «Кровь на черных тюльпанах». Издательство «Советская Россия», Москва, 1986.

Несколько лет назад в «Звезде Востока» мне довелось прочесть роман Евгения Коршунова «Крестоносцы». В нем рассказывалось о событиях в вымышленной африканской стране, названной автором «Гвиания». Речь шла о государстве не существующем, но читал я этот роман — и словно очутился в этой стране, словно жил в ней — в самой настоящей, реальной. Насколько правдиво разворачивалось повествование, невыдуманными оказывались его герои, конкретными были окружающие их детали быта, нравы, обычаи. Тогда же я узнал, что, прежде чем написать этот роман, Е. Коршунов много лет прожил в Африке, изъездил ее вдоль и поперек. Кому, если не ему, писать о горькой доле людей Африки и их борьбе!

Прошло время. И недавно один знакомый спросил: читал ли я роман «Амаль» — книгу о событиях в современном Ливане? Он знал, что я слежу за всем, что выходит в СССР о Ближнем Востоке, и удивился, что «Амаль» как-то прошла мимо меня. Роман удалось достать, хотя на книжных прилавках вы его сегодня не найдете. И вот новая встреча с Евгением Коршуновым — на этот раз автором книги о Ближнем Востоке.

Прочел книгу и задумался. А ведь я открыл для себя нового писателя со своей темой, своим почерком, своим видением событий. «Крестоносцы» (роман этот вышел в 1982 году в издательстве «Молодая гвардия» под названием «Наемники») и «Амаль» — это же по сути одна линия, одна тема национально-освободительной борьбы народов Востока, причем Востока современного! И тут захотелось познакомиться с творчеством Е. Коршунова поближе, узнать — что же он написал еще. И опять открытия. Оказалось, что этот писатель действительно предан **своей** теме. «Наемники» («Крестоносцы») — последняя часть трилогии об Африке (две предыдущие книги — «Операция «Хамелеон», «И придет большой дождь»). Пылающему континенту

посвящены и роман «Гроза над лагуной», и публицистическая книга «Псы войны... Кому они служат?».

А затем в произведениях Е. Коршунова отразился другой горячий регион — Ближний Восток. Восемь лет — с 1978 по 1985 год — проработал он корреспондентом газеты «Известия» в Бейруте, жил в ливанской столице во время осады ее израильскими агрессорами, на собственной судьбе испытал трагические события продолжающейся в Ливане гражданской войны, был ранен, награжден. Об этом и его публицистические книги «Репортаж из взорванного рая», «Я — Бейрут», «Горячий треугольник». И, наконец, роман «Амаль».

Почему меня так взволновала эта книга? Потому что это правдивый рассказ о трагической судьбе целой страны и ее трудового народа, к которому принадлежу и я. Только прожив в Ливане несколько лет, только поняв и полюбив его жителей, можно так написать. Это книга, которой автор никогда не будет стыдиться, не будет ее переделывать конъюнктурно на потребу дня. Воссоздавая трудные дни ливанского народа, Е. Коршунов рисует все так, как оно есть. Война так война — жестокая, без прикрас. Предвзвешенности так предвзвешенности, любовь так любовь. Судьбы нелегкие, характеры сложные, противоречивые, неоднозначные, порой вызывающие возражение, но... живые! И через все это проходит тема поиска собственного пути в жизни, поиска самого себя, самоутверждения как личности. Таков главный герой романа, журналист-международник Петр Николаев, с которым, кстати, читатель уже знаком по африканской трилогии Е. Коршунова. «Амаль» в переводе с арабского «Надежда». В книге это имя — боевой псевдоним ливанской девушки, с оружием в руках сражающейся против израильских захватчиков. И для Петра Николаева она становится Надеждой, надеждой обрести себя в реальной борьбе.

«Есть упоение в бою» — писал Пушкин, и строка эта постоянно возникает в памяти, когда читаешь «Амаль». Хемингуэй говорил, что роман — это любовь и война, или война и любовь. И это вспоминалось, когда я читал «Амаль». Роман хотя и производит впечатление незавершенности, но это — незавершенность жизни в столкновении с войной.

Война, которую империализм ведет руками сионистов, со всей беспощадностью обнажает истинные ценности и разоблачает фальшивые разговоры Тель-Авива о его намерениях жить в мире со своими соседями.

Тем временем мое открытие Евгения Коршунова продолжалось. В конце 1986 года в издательстве «Советская Россия» вышел сборник политических детективных повестей, и я обнаружил в нем повесть Коршунова «Убить шейха». И снова я оказался вместе с автором в Бейруте, очевидцем событий 1983 года, когда было взорвано посольство США во время совещания американских ближневосточных резидентов.

Эта история до сих пор во многом загадочна. И Е. Коршунов решил рассказать ее так, как она видится ему; поставив, однако, в центр повествования судьбы молодого ливанского христианина Мишеля и его возлюбленной Саусан, принадлежащей к общине друзов. Не буду пересказывать сюжет — он развивается остро, стремительно, автор опытен в построении напряженной интриги. Но не могу не сказать, что и в этой повести Е. Коршунов увлекает читателя в подлинный, невиданный Ливан, о котором он написал так честно, так влюбленно и так горько...

Горько окончание повести, трагически гибнут Саусан и Мишель. И как читатель я протестую против этого. Если в «Амали» финал вселяет надежду и даже сквозь слезы светит радость, то в повести «Убить шейха» финал беспросветно драматичен. Нужно ли это? Я уверен, что нет. Политический роман, политическая повесть должны мобилизовать на борьбу, враги не должны оставаться непообежденными, какими бы сильными они ни были.

Впрочем, мне показалось, что в финале повести все-таки мелькнул лучик надежды. Или мне только так показалось потому, что мне захотелось его увидеть? Во всяком случае, как читатель я был бы рад увидеть продолжение этой повести — с полюбившимися мне героями, продолжающими борьбу за правое дело.

И несколько слов о стиле Евгения Коршунова. В его книгах проглядывает первоначальная профессия автора — журналистика. Острая публицистичность, репортажная достоверность и жизненная убедительность сочетаются с литературным мастерством, своеобразным и по-своему ярким. Коршунову веришь, веришь тому, что он рассказывает, так, словно видишь это своими глазами.

Конечно, как профессионал я мог бы поговорить о недостатках и промахах собрата по перу. Например, о том, что пишет он порой торопливо, что некоторые образы и сцены недостаточно прописаны. Но главное не в этом. Главное — я открыл для себя интересного и своеобразного писателя, который скромно и последовательно делает нужное и полезное дело, помогает советскому читателю понять истинную суть того, что происходит на Ближнем Востоке.

**САХИБ ДЖАМАЛ.**

## **НЕПОБЕДИМОСТЬ СИЛ СОЦИАЛИЗМА**

Нгуен Кхай. Встреча в конце года. М., «Прогресс», 1986. Нгуен Мань Туан. Нам жить вместе. М., «Радуга», 1986.

Победа патриотов Южного Вьетнама в борьбе против агрессии США и их сайгонских ставленников весной 1975 года, приведшая к освобож-

дению Юга и воссоединению страны, открыла новую страницу в истории вьетнамского народа. Строительство социализма развернулось по всей стране — начался первый этап переходного периода, который в силу ряда объективных и субъективных причин отмечен определенными трудностями.

В последние годы появились произведения, реалистически отражающие сложную, противоречивую действительность Юга Вьетнама. Среди них романы «Встреча в конце года» Нгуен Кхая и «Нам жить вместе» Нгуен Мань Туана.

Прозаик и драматург Нгуен Кхай принадлежит к поколению писателей, вошедших в литературу в годы антифранцузского Сопротивления (1946—1954). В 1958—1961 годах вышел в свет его двухтомный роман «Конфликт», действие которого происходит в районах Вьетнама, населенных католиками, где особенно труден процесс упорочения новой жизни. Затем появились его романы «Путь» (1962) и «Надо идти дальше» (1963). В годы борьбы против агрессии США Нгуен Кхай был на самых опасных участках фронта. Отражением военных событий стали книга очерков «Они живут и сражаются» (1965), роман «Боец», сборник документальных очерков «Март в Тэйнгунене» (1976).

После освобождения Южного Вьетнама Нгуен Кхай обращается к сложнейшей теме социальных преобразований в этой части страны, пишет пьесу «Дело революции» (1978) и роман «Встреча в конце года» (1982). Эта книга, удостоенная премии Союза писателей Вьетнама, привлекла внимание литературной общественности и своей проблематикой, и довольно необычной формой, — весь роман состоит из разговоров, которые ведут участники праздничного застолья. Происходит это в 1980 году.

Хоанг — так зовут хозяйку дома — пригласила на встречу Нового года по лунному календарю своих родственников. Сама она принадлежала к элите прежнего сайгонского общества, а среди приглашенных люди разных возрастов и политических взглядов. С одной стороны — это люди, жизнь которых была тесно связана со старым строем: юрист, служивший при сменявшихся друг друга марionеточных правительствах в министерстве иностранных дел; ректор университета, а затем министр национального образования, сенатор; ученый, доктор филологических наук. С другой — представители иного лагеря: писатель-революционер; разведчик революционной армии, долгие годы живший в тылу врага под видом журналиста; молодой инженер-химик, получивший высшее образование в Советском Союзе; юрист-революционер в отставке и его жена; старый инженер-патриот.

Во время ужина они беседуют о религии, об астрологии, о силе денег, о жизни при старом обществе и новом строе. И хотя в начале встречи было условлено не говорить о политике, они затрагивают самые острые проблемы.

Сложность социальной, экономической и духовной жизни Южного Вьетнама передана Нгуен Кхаем сжато, но убедительно. Реалистично автор показывает пеструю картину сегодняшнего южновьетнамского общества. Его состояние определяют, прежде всего, объективные причины: огромные человеческие потери, разрушения, причиненные экономике и природной среде; уничтожение духовных ценностей нации, массовое растение душ, насаждение паразитического образа жизни господствовавшим неокOLONIALНЫМ режимом; ожесточенные атаки со стороны империализма и международной реакции, соз-

дающие препятствия для развития страны; состояние народного хозяйства, в котором преобладает мелкотоварное производство. Сказываются и субъективные факторы: недостатки в управлении экономикой, в формировании нового человека, в работе с молодежью. В свете решений VI съезда Коммунистической партии Вьетнама наглядно видна прозорливость Нгуен Кхая, который призывает устами положительных героев романа больше опираться на молодое поколение.

События романа «Нам жить вместе» Нгуен Мань Туана также развиваются в Сайгоне. Его автор, уроженец Северного Вьетнама, механик по профессии, переехал в Сайгон в 1975 году. Ему удалось быстро проникнуть в сложные проблемы огромного города, где противоречия и конфликты были остры и накалены, как нигде во Вьетнаме.

Первые взявшись за перо в 1975 году, Нгуен Мань Туан за короткий срок создал пять сборников рассказов: «Мой любимый друг» (1976), «Я вернулся на старый завод» (1978), «Первый мирный год» (1978), «Человек, дежуривший на перекрестке улиц» (1982), «Дневные и ночные марши» (1985) и три романа: «Нам жить вместе» (1980), «Перед морем» (1982) и «Остров Чам» (1985).

Главные события, которые происходят с героями романа «Нам жить вместе», ограничены рамками одного года, с весны 1975-го до весны 1976-го, когда только еще утверждалась новая жизнь. Но ретроспективно прослеживается и прошлое героев книги.

В 1954 году в связи с Женевскими соглашениями коммунисты Хюинь Фу Ши и его старший сын Хюинь Фу Хай переехали в Северный Вьетнам с частями Народной армии. Там они активно участвуют в строительстве социализма. Отец стал директором завода, а затем, по решению партии, направлен на Юг сражаться с американскими агрессорами за освобождение родной земли. Сын его Хай закончил институт, стал инженером, женился. Его жена Тху Ха, воспитанная в условиях социалистического строя, — квалифицированный кадровый работник, инженер-экономист.

Тхуан Тхань, жена Хюинь Фу Ши, осталась жить в Сайгоне и, сблизившись с дельцами, наживавшимися на бесчестных сделках, стала миллионершей. Ее старшая дочь То Куинь, бросив университет, с головой окунувшись в развлечения, младшая же, Тхуан Ань, выросла честным и отзывчивым человеком. Младший сын Шон — бывший офицер сайгонской армии. Его жена Тхюй Ханг, получившая во Франции ученую степень доктора химических наук, находится под сильным влиянием своей свекрови.

Семья Хюинь Фу Ши воссоединяется после долгих лет разлуки. Для них это и большое счастье, и начало острых идейных разногласий.

Столкновение двух идеологий — пролетарской и буржуазной — выливается в острую драматическую борьбу между Хюинь Фу Ши, Тху Ха и представителями народной власти, с одной стороны, и Тхуан Тхань и финансовыми воротилами — с другой. На стороне мадам Тхуан Тхань и Шон, ослепленный после возвращения из Ханоя в родной город мишурным блеском Сайгона, и То Куинь, «бунтующая» против новой жизни.

Возникает в романе момент, когда кажется, что компания мадам Тхуан Тхань одерживает верх: Хай не в силах устоять перед соблазнами, которые сулит богатство матери, Хюинь Фу Ши уходит из дому, обессилев перед неурядицами, ли-

хорадящими семью, на жизнь Тху Ха покушаются враги и тяжело ранят ее.

Следуя правде жизни, автор романа передает медленный, но неизбежный перелом в расстановке сил: мадам Тхуан Тхань терпит моральное поражение, дети постепенно отходят от нее и тянутся к Хюинь Фу Ши и Тху Ха. Даже скептически настроенная Тхюй Ханг, душа и разум которой подавлены железной волей и деловой хваткой мадам Тхуан Тхань, освобождается, хотя и медленно, от тяжелой опеки свекрови и от бремени предубеждений и ошибок, свойственных многим сайгонским интеллигентам.

Изображая процесс переустройства общества в романе «Нам жить вместе», Нгуен Мань Туан не впал ни в идеализацию, ни в лакировку действительности, ни в сглаживание углов. Он показал реальные недостатки, ошибки, просчеты в работе кадровых работников, среди которых есть люди, выдающие собственный догматизм за принципиальность, не способные исходить из духа революционных законов, видеть в каждом конкретном случае живых людей, защищать их интересы и права. Находятся и такие, кто, как Хай, не выдерживает искушений, исходящих от мира буржуазного «процветания».

Роман Нгуен Мань Туана не лишен недостатков. Поступки некоторых героев, например, Хая и То Куинь, не всегда мотивированы, драматизм повествования достигается скорее столкновением идей, а не характеров. Все же воздадим должное писателю: ему удалось создать интересную, правдивую книгу, наполненную высоким нравственным пафосом.

Знакомство советского читателя с произведениями, отражающими современную жизнь Юга Вьетнама, стало возможным благодаря добросовестному труду переводчиков И. Зиминой и Н. Никулина, а также авторов предисловий Е. Глазунова и М. Ткачева, дающих дополнительные сведения об истории, социально-экономической структуре общества, что помогает читателям в восприятии романов.

**ЛЕ ВИНЬ КУОК.**

---

## «ДЕТСТВО — ЭТО РОДИНА ДУШИ...»

**Барот Исроил. Звезда учителя. Стихи, поэмы. «Советский писатель», Москва, 1986.**

---

Хотя узбекского поэта Барота Исроила трудно причислить к молодым — за плечами почти полвека прожитой жизни, сборники стихов и поэм, изданные в Узбекистане, исполняемые на родном языке десятки песен — тем не менее всесоюзный читатель, открывая книжку «Звезда учителя», знакомится с его творчеством впервые.

Тех, кто даже поэтические книги читает подряд, могут насторожить и название цикла, открывающего сборник, — «Сибирь», и составляющие его стихи. Уж не дань ли это, привычная еще недавно, тем иерархическим канонам,

по которым вперед, в «красный угол», выносились стихи патриотические, гражданские, правительные, но... довольно трудноразличимые по тембру и интонации авторского голоса. Что ж, без канона дело, конечно, не обошлось. Есть здесь и «снова трасса, снова бой» («На песке»), есть лесорубы, из которых «один Иван в бригаде сибиряк, а четверо — южане» с узбекскими именами («Просека»). Но рядом с этим дежурным набором есть и иное — «мысль, что свой род ведем мы от Байкала и что о нем тоскуем до сих пор...» («Байкал») и свое собственное филологическое открытие:

Когда в Сибирь приехал, ясно стало,  
что если и отличен, то слегка  
язык племен на берегах Байкала  
от моего родного языка.

Интерес к прошлому своего народа, к его языковым корням, естественный для любого поэта, у Барота Исроила перекликается с частыми обращениями к личным истокам — картины детства возникают в его стихах не просто дарами цепкой памяти, а моментами освоения окружающего мира. Для юного героя большинства стихотворений, объединенных в цикле «Созрела пшеница», жизнь полна небольших, но значительных событий. Вот он с отцом в июле на жатве («От меня хоть проку нету, нет хлопот со мною»), а вот собирает в тюбейку зерна пшеницы, приносит домой и просит бабушку пожарить их. Это не реконструкция эпизодов детства, а воспоминания о них — «словно злук, из зрелости к детству протянулась звучащая нить». Нить памяти, раскручиваясь в прошлое, приводит и в тот «веселый миг», когда «ягнята были и козлята товарищами игр моих», заменяя вместе с другой живностью игрушки нынешней детворы, и чуть позже, к моменту преодоления собственной неумелости:

Я научусь, я все-таки смогу  
сам снап связать — и связываю все же.

Воспоминания, «грёзы о былом» приводят и в то невозвратное время, где:

Парнишка худенький и девочка босая  
остались прежними — и бродят в чудных снах,  
по очереди яблоко кусая,  
тюльпаны собирая на холмах.

Пора детства отделена от последующих жизненных вех не только конкретными приметами времени и места, но, главное, ощущением гармонической целостности бытия. Детство — целая эпоха, в которой маленький человек осваивает моральные ценности, принимает систему уклада жизни и человеческих взаимоотношений. Возникшие дружба, привязанность, даже если они не продолжились в последующие годы, ведут человека по жизни как некий нравственный ориентир:

Наступит час — и вспыхнет память сердца,  
И ты поймешь, что видишь вновь в тиши  
Всех, с кем ты жил в волшебном еще детстве,  
Что детство — это родина души...

(«Другу-односельчанину»)

Это стихотворение уже из другого цикла сборника — «Лист бумаги», в котором стихи о творческом труде перемежаются с размышлениями о жизни, о тех истинах, которые,

впитав в детстве, человек исповедует в своей взрослой жизни. Их немного, истин, но они непреложные, вечные. Одна из них — вера. Как часто мы пугаемся этого слова, усматривая в нем оттенок религиозности, мистичности. Но если человек верит, верует, то разве обязательно в бога? Нет, верить можно и нужно в человека, в его дела:

Кто мой отец? Отец мой — человек  
предельно скромный, верующий крепко  
в то, что лишь дело, нужное для всех,  
естественная мера человека.

(«Настоящий человек»)

По сути речь о том, что вера — это нравственный стержень всех тех, кому нет нужды доказывать заново справедливость высших человеческих законов — в них необходимо верить, следовать им в своей жизни:

Я верю, что без веры жизнь — не жизнь.  
И вот, по жизни с верою идущий,  
гляжу я с верою в солнечную высь  
и с верою гляжу я в день грядущий...

Не верю я, что созданный людьми,  
мир канет в водородную воронку,  
но верую в бессмертие любви  
ребенка к матери и матери к ребенку.

Для всех народов всей земли — одна,  
она сверкает молнией в потемках.  
Возникла в древних пращурах она  
и будет жить в неведомых потомках.

Накапливаю веру каждый день,  
поскольку светлосна вера эта:  
обретший веру — сам источник света!  
Утратив веру, превратишься в тень.

(«Вера»)

Вера в светлое начало, в ценность человеческой жизни помогает лирическому герою в минуту слабости, не позволяет ему падать духом и чувствовать себя неудачником даже тогда, когда «за каким-то прохожим случайным» погналась удача.

Подавляющее большинство стихотворений сборника написано от первого лица. Но и там, где право на авторское «я» подтверждено и обеспечено запасом личных впечатлений, и там, где поэтический строй не опирается непосредственно на жизненные реалии, как правило, «я» поэт подразумевает «мы», настолько лишено оно индивидуализма. Такая растворенность личных ощущений, собственных взглядов на жизнь, когда у каждого конкретного человека чувство родства, общности людей преобладает над осознанием своей неповторимости, характерна, как мне кажется, для многих современных поэтов Узбекистана. «Узбеки любят плов. Мы плов едим с утра», — информация в этом небольшом стихотворении-картинке сообщается как данность, незыблемость ритуала, принимаемого и поддерживаемого всеми.

Примечательно, что и своя собственная творческая работа рассматривается поэтом сквозь призму той радости, которую могут принести сочиненные им строки («Песня»). В стихотворении «В какой день началась моя судьба» поэт сравнивает день своего рождения с тем знаменательным моментом, когда человек впервые осознает себя личностью.

Право говорить от имени близких ему по духу, по строю мыслей людей дает поэту все

та же его подключенность к коллективному разуму. И все-таки поэт не обходится без передержек. В ряде стихотворений ощутимо нарушен внутренний баланс поэзии, и высокий нравственный заряд переживается до скучного морализаторства, вечная истина низводится до банальности, а страстное, искреннее «верую» оборачивается дежурной патетикой. Правильные, призывные слова в стихотворении «Листопад» стучат, словно горох о бубен, — громко, но в пустоту. Есть, увы, и такие стихи («Луна и звезда», «На каком языке говорят о любви»), в которых никакой поэзии не обнаруживается.

Поэмы, помещенные в книгу, невелики по объему. «Учитель из Коканда» — драматический эпизод из жизни Хамзы Хаким-заде Ниязи — основоположника узбекской советской литературы, который выше всех прочих почитал в своей жизни миссию просветителя, учителя.

Другие поэмы сборника различны по материалу, по отраженным в них жизненным реалиям («Свирель» воскрешает время Великой Отечественной войны, «Каменная невеста» — поэтическая транскрипция древней легенды, а «Над пропастью» — драматический диалог, который ведут наши современники), но все они расположены по оси координат «вера — без-

верие», вновь и вновь подтверждая убежденность поэта в том, что вера в любовь, в порядочность близкого человека — это совсем не отвлеченное понятие, а насущная потребность человека.

Стихи и поэмы сборника «Звезда учителя» перевел с узбекского московский поэт Владимир Трофименко. С одной стороны, факт такого обширного творческого партнерства радует — переводчик обретает возможность максимально проникнуть в образную систему, ход и строй мыслей переводимого поэта. В большинстве случаев В. Трофименко верно передает смысл, сюжет, композицию стиха.

В передаче же интонационного строя стихов Барота Исроила неоправданно высок уровень их переосмысления переводчиком — стихи утрачивают своеобразие, превращаясь во вненациональные, вневременные сентенции. Упрек этот, впрочем, довольно типичен и приложим к целому ряду переводчиков, перекладывающих на русский язык стихи узбекских поэтов из московского далека.

**Ю. ПОДПОРЕНКО.**



Насыр Фазылов

## ПОДАРОК

Так уж бывает. Произойдет какое-то событие, и всколыхнется вдруг память. И отчетливо вспомнишь то, что происходило давным-давно. И, казалось, поросло уже травой-муравой.

Недавние алма-атинские события высветили в моей памяти начало годов семидесятых...

### ДРУЗЬЯ

15 мая 1962 года. Весна в самой разгаре. Часов одиннадцать утра. Небо над Алма-Атой чистое, словно протертое стекло. На небольшой площади перед зданием аэропорта многолюдно: здесь собрались писатели, артисты, музыканты... Посланцы узбекской литературы и искусства прямо с только что приземлившегося «Ил-18» попадают в дружеские объятия казахских друзей.

— О, Гафур, дорогой!..

— Яшен... Халимахон, милые!..

— С благополучным прибытием!.. Добро пожаловать!..

Возгласы, объятия, поцелуи... Стайка узкоглазых девушек в национальных костюмах с огромными букетами цветов в руках смешивается с толпой встречающих, и такое впечатление, будто яркий цветник сдвинулся с места. Цветы! Цветы!.. Множество букетов алых роз, на нежных лепестках которых еще поблескивает ночная роса. И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, «заговаривает» бубен Авнера Бараева, и Гафур Гулям, не дожидаясь приглашения, приподнимает плечи и входит в круг. Восклицания одобрения, смех...

После краткого митинга и приветственных слов Сабита Муканова гости и хозяева садятся в легковые автомобили и направляются на дачу, расположенную в горах.

...Дача размещалась в живописнейшем месте с живительным горным воздухом; здание ее утопало в зелени фруктового сада. Когда проворные фотокорреспонденты собрали участников Декады литературы и искусства Узбекистана, чтобы сделать групповой портрет, я вдруг увидел Айбека. (Позже я узнал, что по состоянию здоровья он не мог летать самолетом и поэтому приехал поездом чуть раньше нас.) После того как фотографы сделали свое дело,

один из руководителей нашей делегации поручил мне присматривать за Айбеком. Он тогда страдал расстройством речи, выговаривал лишь отдельные слова, да и те с трудом, заикаясь. Я подумал: Айбек и сам прекрасно понимает язык казахских друзей и мне, видимо, не нужно переводить ему, а, напротив, надо будет попытаться передать казахским друзьям те мысли и чувства, которые он испытывает в душе, но не может выразить словами.

Согласно программе, на следующий день нам предстояла прогулка на горное озеро «Эсик-куль», расположенное к востоку от Алма-Аты, а на обратном пути — встреча с жителями окрестных аулов. И вот вереница легковых автомобилей мчится по гладкому асфальтовому шоссе в сторону «Эсик-куля». Вчера еще чистое голубое весеннее небо покрылось светло-серыми тучами, и чем ближе мы подъезжали к горам, тем косматее становились они, все ниже ползли над землей, роняя порой тяжелые холодные капли. Вся дорога до «Эсика» сплошь утопала в зелени; по обеим ее сторонам тянулись зеленые поля, фруктовые сады... Словом, не земля, а рай земной, иначе не скажешь.

— Сколько километров до Эсика? — спросил я одного из хозяев, сидевшего рядом со мной в машине.

— Семьдесят пять.

— А почему вы называете это озеро «Эсик»? Ведь на всех картах оно именуется «Иссык»<sup>1</sup>.

— Озеро расположено в расщелине, сквозь которую ветры проникают в город. Вот и получается что-то вроде открытой «двери». Поэтому-то мы и называем его «Эсик».

— Вот, оказывается, в каком смысле.

— Да. А наши русские друзья отчего-то произнесли «эсик» как «иссык», вот и получилось, как у киргизов, — «Иссык-куль»...

Проехав около часа, мы стали подниматься вверх по узкой извилистой асфальтовой дороге. Изумрудные луга сменялись подножиями хребтов, на которых, словно кипарисы, росли тяньшаньские ели. Мы ехали в конце каравана, и нам было хорошо видно, как головные машины

<sup>1</sup> Эсик — дверь, иссык — теплый.

въехали на вершину и, сделав круг, остановились. А спустя несколько минут и наша машина подъехала к ним. Отсюда, с вышины, озеро было видно как на ладони; оно казалось крохотным. Громадные скалы обступали его. Вода в озере была необыкновенно чистой и голубой. На склонах гор, будто зеленые свечи, выселись ели. Воздух пьянил свежестью и прохладой. По глади озера сновали, словно рыбы, несколько моторных лодок.

На самом берегу стояла высокая деревянная супа<sup>2</sup> с перилами. Она была настолько просторна, что мы свободно уместились на ней и стали любоваться чудесным озером. От волнения, в которое меня повергла эта первозданная красота природы, я совсем позабыл, что должен находиться подле Айбека. Я тут же подошел к нему. Трудно было описать его состояние в тот момент; он целиком находился во власти развернувшейся перед ним величественной картины, и, видимо от волнения, его большие от природы глаза широко раскрылись, тубетейка съехала набекрень...

Тем временем моторки подошли к супе, и один из лодочников — молодой парень — спрыгнул на берег и, сделав широкий жест рукой, сказал: — Милости просим...

На супе сразу же возникло оживление. Вдруг Айбек дернул меня за рукав:

— Айда!

Гляжу, а он уже осторожно ставит ногу в лодку. Я быстро взял его под руку, помог сесть в покачивающуюся моторку, а сам сел рядом. Застрекотал мотор, и лодка, слегка раскачиваясь, заскользила по воде. Айбек чему-то заразительно смеялся и тихонько махал рукой оставшимся на супе. А лодка, задрвав нос, неслась к середине озера. Косматые темно-серые тучи, облизывая одинокие валуны, разбросанные по зеленому берегу, тяжело переползали через горные вершины. Истинно влюбленный в красоту Айбек, словно не замечая хмурой погоды, вписался восхищенным взглядом в окрестности и повторял одно-единственное слово: «Красота!»...

Тут я вспомнил про фотоаппарат, висевший у меня на плече. «Только вот получится ли снимок в такую погоду? А, рискнем!» — подумал я и, сняв с плеча фотоаппарат, нацелил его на сидящего рядом писателя. А он, казалось, и не заметил. Да сейчас ему было и не до этого. Приведя фотоаппарат в полную боевую готовность, я поджидал, когда Айбек еще раз произнесет «красота!». ...Ага, вот... Готово...

Моторка плавно подрулила к берегу. Мы вышли из нее, а наше место заняли другие. Когда все совершили прогулку по озеру, хозяева сказали нам, что на противоположном берегу поставили юрту, где нас ждут и будут угощать кумысом. Мы снова сели в лодки и переправились на другой берег. Когда мы осторожно шли по мелкой острой гальке, которой был усыпан берег, мне захотелось сделать еще один снимок — Айбек идет рядом с Габитом Мусреповым, и тот что-то тихо рассказывает ему.

Вскоре мы подошли к юрте. Она стояла посреди густой рощи. Мне в жизни доводилось видеть разные юрты — и четырех-, и шести-, и восьмистворчатые, но такой огромной — никогда! Снаружи она была обтянута белоснежным войлоком, опоясана в нескольких местах новенькими разноцветными лентами, сверху свисали узкие ковровые дорожки. Над входом

красовался портрет М. И. Калинина, а под ним — транспарант: «Добро пожаловать!» Внутри эта богатырская юрта выглядела еще удивительнее. Обычно юрты строятся из дерева, но каркас и верхний обод этой были из металла. Пол был устлан цветистыми кошмами, на которых лежали одеяла-курпачи, подушки. На почетном месте — у дальней от входа стены — удобно расположились Гафур Гулям, Сабит Муканов, Айбек, Габит Мусрепов, тогдашний первый секретарь Союза писателей Казахстана, Камиль Яшен, Абдулла Таджибаев, Миртемир, Хамид Гулям... словом, признанные аскалы наших братских литератур. И грянула аския, посыпались шутки, раздался смех. Так искренне, так добродушно могут смеяться лишь близкие друг другу люди, истинные друзья. Молоденькие узкоглазые казашки в узбекских национальных костюмах проворно разносили гостям целительный кумыс. И, видимо, под его пьянящим воздействием сперва зазвучали стихи, а затем с одной стороны полилась казахская песня, а с другой — узбекская.

Кто-то вдруг спросил у хозяев про завтрашний маршрут.

— Завтра отправимся по областям, — сказал Габит Мусрепов.

— Самолетом или поездом? — спросил Гафур-ака.

— Чтобы объехать земли Казахстана на поезде, и месяца не хватит. А вы, кажется, приехали на декаду, не так ли? — рассмеялся сидевший с ним рядом Сабит-ага. — Конечно, самолетом...

— А разве не лучше попивать кумыс, лежа в купе, чем сидя в самолете? — рассмеялся в ответ Гафур-ака.

— Вот дает!

Юрту потряс взрыв хохота. Тут Гафур-ака чуть наклонился к Сабиту-ага и тихо сказал ему на ухо:

— Ведь Айбеку нельзя летать самолетом...

Сабит-ага сразу посерьезнел от этих слов.

— В таком случае, я сам останусь с Мусой... — так же тихо ответил он Гафур-ака. — Город ему покажу, потом в горы съездим.

Видимо, слова эти успокоили Гафура-ака, и больше он к данной теме не возвращался.

Не знаю, как другие, но я слышал их разговор и, уловив момент, подошел к Сабиту-ага и шепнул ему:

— Давайте я тоже останусь, Сабит-ага?

Он сразу понял, о чем идет речь.

— Нет, Рыжик, ты поезжай. Нам с Мусой толмач не требуется, мы и так понимаем друг друга, — сказал он. — Так что ты поезжай.

На следующий день наша делегация улетела на встречу с бескрайними просторами Казахстана; ей предстояло посетить богатую углем Карагандинскую область, житницу Казахстана — Целиноградскую область, побывать в краю восьми-десяти озер — Кокчетаве, повидать изобилующий рыбой Балхаш, и повсюду участников Декады ожидали встречи с замечательными людьми, выращивающими хлеб, добывающими природные богатства, а Айбек остался с Сабитом-ага в Алма-Ате...

## КАМЕНЬ

(Со слов Сабита-ага)

На следующее утро после отлета делегации Сабит-ага пригласил Айбека в гости. Сидя за дастарханом, Айбек все еще находился под впечатлением вчерашнего дня. А вчера Сабит-ага с утра возил Айбека по Алма-Ате в своем черном

<sup>2</sup> Помост.

«ЗИМЕ», а после обеда они съездили в один из пригородных совхозов. На обратном пути Сабитага показал другу тогда еще только начавший строиться новый жилой массив города — Новую Алматинку. И сейчас, поливая приготовленный супругой Сабитага, Марьям-апа, чай с молоком «по-казахски», Айбек мысленно представлял все виденное и мучился оттого, что не мог словами выразить свои впечатления, поделиться ими со своим старым другом. Но Сабитага и без того понимал, что творилось у него на душе, и про себя негодовал на столь злую несправедливость природы.

— Муса, давай-ка махнем сегодня в горы, — сказал Сабитага, наклонившись к Айбеку.

Айбек сперва несколько раз кивнул головой в знак согласия, а затем сказал одно лишь слово: — Хорошо!

После завтрака Марьям-апа проводила друзей в дорогу. Они сели в машину и поехали в горы. Машина мчалась по асфальтированному шоссе, с двух сторон обсаженному деревьями, отчего оно напоминало зеленую улицу; за деревьями мелькали дома отдыха, санатории, пионерские лагеря, туристские и альпинистские базы, и казалось, им нет конца. По пути Сабитага выполнял обязанности гида, а Айбек, не в силах скрыть своих чувств, подтверждал слова своего спутника кивком головы, иногда изумлялся, качал головой. Когда машина подъехала к горам, Сабитага сказал, что место это называется Медев, по имени одного казахского бая, которому прежде принадлежали эти земли.

— Но вообще-то «медев» означает «сила», «мощь», — пояснил он смысл этого слова.

— Ага. Мадат... мадор<sup>3</sup>, — сказал Айбек, подтверждая слова Сабитага. — Есть... и у нас... тоже...

— А нынче газетчики окрестили его «Медео», — иронически улыбнулся Сабитага. — А что сие означает, никому не известно. — Его от природы узкие глаза сделались совсем щелочками.

— На ита... льянсий... ма...нер... — по-детски удивленно засмеялся Айбек.

— Да, бедный Медев... — проговорил Сабитага, еле сдерживая смех. — Богатей из богатеев был, скоту его не было числа. А сколько овец имел...

В этот момент Айбек неожиданно воскликнул: — Вон... овцы! — жестом указывая в сторону сая, вдоль которого они сейчас ехали.

И в самом деле, белесые круглые валуны, большие и маленькие, разбросанные по течению сая, очень напоминали пасущуюся отару овец. От этой схожести у Сабитага даже потеплело на душе.

— Овцы Медева! — обрадовался он.

Поднявшись на вершину, машина остановилась на ровной площадке. Когда они выходили из машины, Сабитага прошептал что-то на ухо пареньку-шоферу. Тот утвердительно кивнул головой, завел мотор и поехал вниз.

А два друга спустились к берегу сая, восхищенно любуясь дивной красотой окрестностей. Внезапно Айбек, весь во власти своих ощущений, позабыв, что рядом с ним идет Сабитага, остановился и пристально уставился на стремительный клокочущий поток, пенно разбивающийся о валуны. Затем, жестом указывая на чистую, прозрачную воду, сказал:

— О-го, прохладная... прохладная...

Сабитага понял его слова по-своему: «Гляди-ка, а мы и не взяли с собой ничего из теплой одежды!»

Да, здешний климат резко отличается от городского. На Сабитега был темно-синий костюм, на голове неизменная зеленая бархатная тюбетейка, а Айбек был одет в голубой в мелкую полоску костюм, голову его покрывала новая, но уже помятая и оттого казавшаяся поношенной чустская тюбетейка. Да, одеты они были легковато для этих мест. Сабитага заволновался: как же это он упустил из виду, что Айбек не совсем здоров. Даже если бы он был тепло одет, все равно его нужно бы поскорее отвезти обратно в город.

— Пошли, Муса, — сказал он.

Айбек молча последовал за ним. Когда они спускались вниз, Сабитага рассказывал о природе этих прекрасных мест, о том, что весной, во время таяния снегов на вершине Алатау, вот этот самый невеликий мелкий сай превращается в грозную дикую силу, сметающую все на своем пути, и в такое время население города пребывает в страхе... Сколько уж лет множество инженеров ломают головы над тем, как отвести угрозу селя от города. По мнению специалистов, здесь необходимо воздвигнуть громадную плотину, чтобы преградить путь воде, а ниже возвести еще несколько мощных преград. Айбек слушал этот рассказ с нескрываемым волнением и вдруг остановился как вкопанный. Невольно остановился и Сабитага.

Рукой указывая на сай, домла Айбек произнес:

— О-го, сила... каменья!..

И в самом деле, громадный, величиной с небольшую юрту, гладкий, словно специально отшлифованный рукой мастера, белесый валун высился посреди сая, и поток с шумом обтекал его, разбиваясь надвое. Гляди-ка, сколько раз бывал Сабитага в этих местах, а этого чуда и не приметил! Течение здесь было стремительное, и было так мелко, что отчетливо просматривалось дно, на каждом шагу лежали валуны, и, перепрыгивая с камня на камень, можно было легко перебраться на другой берег. И словно договорившись, два друга осторожно спустились к воде и по камням направились к тому громадному валуну. Подойдя к нему, Айбек стал гладить его ладонями, приговаривая: «Да-да...», — выражая свое восхищение столь замечательным творением природы. Понимая, что сейчас происходит в душе друга, Сабитага шутиливо сказал:

— Ай, Муса, я дарю тебе этот камень!

Глаза у Айбека радостно вспыхнули: он оценил и истинную щедрость друга, скрывающуюся в этом шутиливом даре, и его тонкий юмор. Взглянув на Сабитага, он сказал:

— Здо...рово!... Сила!... — и, еще раз погладив гладкую, округлую поверхность, словно грудь подаренного скакуна, легонько хлопнул по ней ладонью. — Да-а!..

Айбек был безмерно рад.

ЕГОР САМОЙЛОВИЧ  
(Со слов Сабитага...)

...Вестибюль Союза писателей Казахстана. Несколько молодых писателей стоят перед недавно установленной мемориальной доской голубоватого мрамора и тихо переговариваются между собой; а на доске золотом горят имена

<sup>3</sup> Сила, мощь. (узб.).

и фамилии писателей, павших на полях Великой Отечественной. Спустившись по лестнице со второго этажа, Сабит-ага невольно подошел к ним. Молодые писатели почтительно поздоровались с аксакалом, расступились. Он ответил на приветствия, потом приставил правую ладонь ребром ко лбу и стал пристально вглядываться в мраморную доску, прибитую на стене. Видно было, как безмолвно шевелятся его губы — это он читал про себя знакомые имена. Обычно не упускавший случая пошутить, сказать что-нибудь забавное при такой аудитории, Сабит-ага на этот раз был серьезен, задумчив, видимо, отдавая дань памяти, погибшим собратям по перу. Постояв так несколько минут, он молча повернулся и направился к выходу. Когда он подошел к двери, в голове у него промелькнула одна странная мысль, но он тут же отмахнулся от нее. Но когда он пришел домой и прилег отдохнуть на диван, мысль эта стала все назойливее лезть к нему, стала казаться все любопытнее. И рука его невольно потянулась к телефону, стоящему на низкой тумбочке подле дивана.

— Алло! Ай, доченька, соедини меня с Абдиллой. — Тот, кого Сабит-ага назвал Абдиллой, был поэт Абдулла Таджикибаев, один из тогдашних секретарей Союза. — Ай, Абдилла, это я... вот какое дело...

Разговаривали они довольно долго. Сабит-ага выразил удовлетворение по поводу установления мемориальной доски, сказав, что это в высшей степени благое дело, и стал расспрашивать, где ее заказывали и какой мастер высекал на ней имена и фамилии павших писателей, и, наконец, спросил, как найти его, ибо он ему срочно понадобился. На что собеседник его на другом конце провода, видимо, крепко пошутил, и Сабит-ага весь затрясся от веселого смеха.

— Э, брось, мне еще рановато об этом думать, я потом обо всем тебе расскажу, — сказал он. Вероятно, Таджикибаев сказал еще что-то, и Сабит-ага, выслушав его, закончил разговор: — Ладно. Так ты приходи ко мне завтра того парня. Завтра как раз воскресенье, мастер, должно быть, будет дома... Пускай он отвезет меня к нему!...

На следующий день черный «ЗИМ» Сабита-ага остановился перед низеньким симпатичным финским домиком в районе «Зеленого базара». Парень, которого прислал Таджикибаев, и впрямь оказался весьма настырным, как тот его и охарактеризовал; он быстро вышел из машины и без стука вошел во двор. Сабит-ага тоже вышел из машины и стал оглядываться кругом. Он мысленно сравнивал роскошные здания, возводимые в центре города, вот с этими старенькими, обветшалыми деревянными домишками. «А еще совсем недавно и наш Госиздат находился в этом районе и мы там трудились», — подумал он.

Тем временем парень вышел из ворот, а за ним — какой-то русский мужчина. Это был пожилой, немного сутулый человек, с сеточкой морщин вокруг глаз, с пожелтевшими кончиками пальцев на правой руке, видимо, от чрезмерного курения. Одет он был неприметно. Увидев его, Сабит-ага двинулся ему навстречу. «Ежели он таков с виду, так каков же будет в работе?» — невольно подумал он.

— Издрасти... — сухо поздоровался Сабит-ага с мастером по-русски.

— Здравствуйте.

— Как величать вас?

— Егор Самойлович...

— По-казахски, стало быть, Жагар Самойлович... — рассмеялся Сабит-ага.

— Сулай, аксакал<sup>4</sup>, — ответил по-казахски Егор Самойлович.

— Ой, как хорошо, что ты знаешь казахский язык, Егор! Послушай, знасти, так...

Сабит-ага рассказал мастеру о том, что нужно будет съездить в горы и высечь на одном валуне небольшую надпись. А мастер, словно разговор этого совершенно не касался, с отсутствующим видом потягивал «Беломор». Закончив, Сабит-ага спросил у него:

— Ну как, по рукам?

— И-дет, — отчего-то вразяжку проговорил мастер. — Сто рублей...

— Это за несколько-то слов? — рассердился Сабит-ага из-за того, что с самого начала приходится торговаться. — Бери семьдесят пять...

Мастер молча повернулся и направился в дом. «Что это, знак согласия или семьдесят пять рублей его не устраивают?» — недоумевал Сабит-ага. Но вскоре мастер появился снова, в руке у него была залоснившаяся от долгого употребления, выцветшая брезентовая сумка. Они сели в машину. Так как был выходной день, за рулем сидел старший сын Сабита-ага — Арслан. Сабит-ага сел с ним рядом, опираясь на палку, а мастер уселся на заднее сиденье. Когда машина по узким улочкам выехала на шоссе, ведущее в горы, Сабит-ага заговорил с мастером. Оказалось, что Егор Самойлович был местным уроженцем, до войны учился в политехническом техникуме. Затем была война. Сражался он под Москвой, в легендарной дивизии генерала Панфилова. А ныне работал в одной из контор горкомхоза: делал карнизы на зданиях, тесал камни, украшал резьбой памятники, высекал на них надписи. Словом, трудился по декоративной части.

Машина въехала на вершину прекрасного Медева и остановилась возле kloкочущего сая. Они вышли из машины, и Сабит-ага жестом указал мастеру на огромный валун, высившийся посреди стремительного потока. Видимо, это чудо природы восхитило и мастера. Он подошел к нему, медленно обошел его кругом, внимательно разглядывая, и невольно воскликнул: «Вот это да!»

— Вот здесь... — сказал Сабит-ага, указывая палкой на обращенную к востоку сторону валуна, освещенную солнцем.

Прикинув на глаз то место, на которое указывал Сабит-ага, мастер сказал:

— Лестница нужна, аксакал.

Арслан кивнул головой, сел за руль и помчался вниз. Вскоре он привез откуда-то складную лестницу. Сай возле валуна был очень мелкий, и сквозь прозрачную воду отчетливо были видны разноцветные камушки на дне. Приладив как следует лестницу, мастер снова пристально уставился на валун, затянулся несколько раз подряд папироской и выбросил окурочек.

— Где текст, аксакал?

Сабит-ага протянул ему листок бумаги с машинописным текстом:

«БУЛ ЖУМИР ТАСТИ БАУРИМ МУСА АЙБЕККЕ СИЙГА ТАРТАМ.

Сабит МУК, АН улы.  
3. VI. 1962 жыл».<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Так точно, аксакал. (казах.)

<sup>5</sup> ЭТОТ ВАЛУН Я ДАРО МОЕМУ ДОРОГОМУ МУСЕ АЙБЕКУ.

Мастер пробежал текст глазами, и на его пожелтевшем морщинистом лице как будто промелькнуло что-то, руки едва заметно задрожали. И хотя он только что выбросил окуроч, рука его снова полезла в карман за папиросой. И, поглядывая то на текст, то на камень, он принялся курить ее мелкими затяжками.

«Хорошо!» — сказал он потом и, взяв в руку какой-то толстенный карандаш, полез на лестницу.

Взглянув на Сабита-ага с улыбкой, мастер принялся чертить карандашом буквы, которые ему предстояло высечь. Он довольно быстро управился с этой работой. Затем, спустившись с лестницы, он долго, с расстояния, рассматривал надпись. Теперь в действиях его уже не было прежнего безразличия. Во всем его облике определенно произошла какая-то еле уловимая перемена. И, видимо, от внутреннего волнения он снова закурил папироску. И хотя эта его привычка курить одну папиросу за другой изрядно действовала Сабиту-ага на нервы, он все же обрадовался при виде красиво начертанных букв, отчетливо видных при солнечном освещении. Накурившись, мастер выбросил окуроч и спросил, жестом указывая на камень:

— Это кто?

— Это — валун... — пошутил Сабит-ага.

— Ха-ха... — рассмеялся Егор Самойлович. — Я про Айбека спрашиваю.

— Друг мой близкий... Узбекский писатель. — И Сабит-ага стал рассказывать мастеру об Айбеке, о том, что он прошлым маем приезжал в Алма-Ату на Декаду литературы и искусства Узбекистана, и о том, как они вместе приезжали сюда, и как Айбек первым заметил это чудо природы, а он (Сабит-ага) подарил его ему. Он также рассказал о том, какой замечательный писатель Айбек, какие книги написаны им, и о том, что за роман «Навои» он был удостоен Государственной премии... А Егор Самойлович, по своему обыкновению, слушал Сабита-ага с каким-то отсутствующим видом, но про себя вспоминал сейчас, как был ранен под Москвой, как попал в госпиталь и как там, по случайной случайности, в руки ему попал роман Айбека «Священная кровь», и как тогда еще в душе его зародилась любовь к этому писателю... Вспомнив обо всем этом, он достал из сумки инструмент и снова полез на лестницу.

Сославшись на срочные дела, Сабит-ага попросил у мастера разрешения отлучиться на некоторое время и сел в машину. Высунув голову в окно, он спросил у него:

— Ай, Егор, тебе обед сюда привезти?

— Сюда... — не оглядываясь, обронил мастер.

Сабит-ага уехал. А в два часа Арслан привез мастеру обед.

...Сабит-ага вернулся часа в четыре пополудни. Мастер только что закончил работу и, вытерев пот с лица полой халата, стоял, рассматривая с небольшого расстояния высеченную им надпись. Увидев Сабита-ага, он устало присел на лежавший поблизости камень и, словно говоря — пускай сам поглядит, закурив папироску. Сабит-ага вылез из машины и направился прямо к валуну. Арслан привез зеленую кастрюльку с едой. Поставив ее на ровное место, он подошел к отцу и тоже стал разглядывать надпись на валуне. По выражению лица Сабита-ага было видно, что он остался доволен работой мастера.

Арслан расстелил газету возле кастрюльки и стал выкладывать на нее закуску. Сабит-ага с Егором Самойловичем подошли к импровизированному дастархану и уселись на камни.

— Давай, Егор, бери!

Они закусили. Сабит-ага достал из кармана четыре двадцатипятирублевки и бросил их перед мастером.

— Сговорились на семьдесят пять, да уж ладно, поработал ты от души, пускай будет твою! — сказал он.

Мастер как-то странно посмотрел на Сабита-ага и отодвинул от себя лежавшие на газете деньги.

— Не возьму! — сказал он.

— Э, это почему же не возьмешь?! — опешил Сабит-ага.

— Пусть это будет подарок и от меня...

Писатель ведь.

Сабит-ага оказался в странном положении.

— А ты, дружище, оказывается, тоже чокнутый, вроде меня... — засмеялся он.

Егор Самойлович очень верно понял это его «чокнутый»: оно было сказано в смысле «чудаковатый, великодушный».

Они сели в машину. Вопреки обыкновению, Сабит-ага уселся на заднее сиденье, рядом с Егором Самойловичем. И то ли оттого, что задуманное дело так успешно завершилось, то ли оттого, что его приятно тронула щедрость мастера по отношению к его другу, щечи у него зарумянились, глазки еще более сузились, и, опершись правой рукой на палку, а левую руку положив на плечо мастеру, он напевал вполголоса что-то душевное.

Они вернулись в город, когда на землю уже опустились сумерки.

## «РАЗ УЗБЕК, ИДИ СЮДА»

В 1965 году я снова приехал в Алма-Ату в связи с выходом там моей книги. Посчитав для себя за грех быть в Алма-Ате и не повидаться с Сабитом Мукановым, не поприветствовать его, я позвонил ему домой, но мне сказали, что он сейчас находится за городом, на даче Союза писателей. И я отправился туда на литфондовой машине. Я бывал уже однажды на этой даче, но тогда на дворе стояла поздняя осень, листья с деревьев облетели. А сейчас был июнь, посреди буйной зелени сада белело красивое здание главного корпуса, перед которым были разбиты великолепные цветники... Остальные коттеджи скрыты от глаз деревьями. Над журчащим арыком стояла деревянная супа, на которой сидели отдыхающие писатели. У них я спросил, как найти Сабита-ага. Когда я уже подходил к его коттеджу, то услышал вдруг знакомый хрипловатый голос:

— Эй, казах, прочь отсюда!

Я на секунду опешил, но тут же, взяв себя в руки, ответил:

— А я не казах, узбек!

— Ну, раз узбек, иди сюда!

Сабит-ага сидел за рабочим столом на веранде. И мы неожиданно заговорили в унисон. Расспросив о здоровье и делах своих ташкентских друзей, Сабит-ага попросил извинения за то, как встретил меня поначалу, и объяснил почему. Дело в том, что он работал тогда над второй книгой трилогии о выдающемся казахском ученом, этнографе Чокане Валиханове, а иные писатели, приезжавшие на дачу отдохнуть, развлекаясь, приходили к аксакалу поболтать, чем отвлекали его от работы. Поэтому он велел Марьям-апа никого не допускать к нему до двух часов и принимал посетителей только после обеда. Поговорив еще немного, я попросил

разрешения уйти, дабы не отнимать его драгоценного времени.

— Нет, нет, ты не уходи, — сказал он, взглянув на часы, — я тут еще немного поработаю, а ты пока посиди с Марьям-апа, побеседуйте. А в два часа пообедаем и махнем в горы.

— Согласен, — обрадовался я.

...Пообедав, мы поехали в горы. Вид у Сабита-ага был немного утомленный, он сидел на переднем сиденье, опираясь на свою неизменную палку, напевая что-то себе под нос. Время от времени, прервав пение, он спрашивал меня: «Как там Муса, здоров? А как дела у Гафура?» — и снова принимался мурлыкать, а через некоторое время спрашивал опять: «Миртемир, племянничек мой, он-то как поживает?..»

Машина остановилась на берегу извивающегося змеей сая, с обеих сторон сдавленного скалами.

— Поезжай обратно, сынок, — сказал Сабита-ага шоферу.

Машина уехала, а я удивился, как же мы теперь спустились вниз. Сабит-ага, видимо, заметил мое беспокойство и, улыбаясь, уставился на меня своими глазками-щелочками. Он сказал мне, что каждый день, после обеда, приезжает сюда на машине, отпускает ее, а сам возвращается пешком. Получается отличная физкультура.

— А теперь, Рыжик, пошли... — И он, переступая с камня на камень, направился к берегу kloчущего сая. Я последовал за ним. Подойдя к краю сая, он поднял палку, словно указку:

— Вон, гляди, это о нем я тебе рассказывал.

Я взглянул туда, куда указывал Сабит-ага, и увидел возвышающийся посреди стремительно несущегося потока огромный, величиной с небольшую юрту, белый круглый валун: казалось, что он специально изготовлен рукой какого-то искусного мастера.

Я спустился к камню и долго рассматривал надпись, высеченную на нем. И я подумал, какая все же великая сила — дружба! И как часто все начинается с личной дружбы. Но эта вот, вызывающая чувство восхищения дружба двух аксакалов давно уже переросла границы дружбы личной и превратилась в символ великой дружбы наших литератур, наших братских народов. И я ощутил чувство гордости от этой мысли, и невольно перед глазами моими встал Айбек: маленький уютный дворик, окруженный одноэтажными домами; у порога дома в кресле сидит писатель, забавляя внука; на нем светло-серая лавсановая рубашка, не заправленная в брюки, старенькая тубетейка нахлобучена на непокорную шевелюру. Таким я видел Айбека в последний раз, когда приходил к нему по делу...

...Мы медленно двинулись в обратный путь. И хотя я молчал, Сабит-ага, конечно же, заметил, как я обрадовался, когда увидел этот чудокамень и надпись на нем.

Я от волнения даже забыл поблагодарить его за то, что он привез меня сюда, и поэтому, мне

кажется, он и не стал расспрашивать меня о моих впечатлениях.

— Зайди к Мусе и скажи ему, пусть забирает свой камень, — сказал Сабит-ага, взглянув на меня с лукавой улыбкой. В этом его взгляде чувствовался и такой подтекст: «Ну, как, Рыжик, не устал?» Я невольно улыбнулся в ответ:

— Непременно зайду и скажу...

## СОЖАЛЕНИЕ

Вернувшись из Алма-Аты, я долгое время не мог увидиться с Айбеком. Он жил тогда на даче и в городе бывал редко. И вот когда в старом здании Союза писателей Узбекистана, помещавшемся тогда на улице Сулеймановой, проходил семинар молодых писателей, случилось так, что именно мне поручили привезти Айбека с дачи. Я сел в машину и отправился к нему. То ли услышав шум подъехавшей машины, то ли по иной какой причине, но Айбек сам вышел на улицу. Он был в белой рубашке, в зеленых в полоску пижамных штанах, в шлепанцах на босу ногу, волосы у него были взъерошены, и, видимо от напряженной работы, в глазах сквозила усталость. Поздоровавшись, я рассказал ему о поручении руководства Союза. Айбек с радостью согласился. Улучив момент, я сказал ему, что был недавно в Алма-Ате, и передал ему приветы от друзей.

— Вот как, ездил, значит?

— Ездил, — сказал я, воспользовавшись его хорошим настроением. — Сабит-ага еще просил передать вам... чтобы вы забрали тот камень, который он подарил вам.

Айбек, вероятно, тут же мысленно представил себе огромный круглый валун и так захохотал, что щеки у него раскраснелись.

— Да-а, камень, камень...

Он так заразительно хохотал, что мне показалось, будто в этом одном слове, которое вылетело из его рта, словно из жерла рокопчущего вулкана, чувствовалась его любовь к другу и то, что он по достоинству оценил тонкий, благодушный юмор друга: «Пускай забирает свой камень!»

\* \* \*

...Позже, чтобы отвести от Алма-Аты угрозу селя, тот сай на Медеве взорвали с двух сторон и завалили так любимый Айбеком огромный валун. И до сих пор меня мучает сожаление, что я, который и шагу не делаю без фотоаппарата, в тот раз ездил в Алма-Ату без него и не запечатлел тот удивительный камень, который из простой милой шутки превратился в символ замечательной дружбы двух выдающихся писателей.

Авторизованный перевод с узбекского Алишера Атакузиева.

С. Варшавский,  
И. Змойро



## ДОКТОР ВВЕДЕНСКИЙ

Осень 1920 года... Колчак разгромлен, сворачивается госпиталь в Томске, а его начальник — военный врач Д. А. Введёнский — направлен в Ташкент в распоряжение командующего Туркестанским фронтом. В Средней Азии борьба с басмачеством еще в полном разгаре.

Дмитрий Алексеевич вместе с женой Верой Андреевной выехал из Томска на новое место службы. После разрушенной войной голодной Сибири Средняя Азия показалась райским уголком, поражало обилие фруктов и овощей, которые местное население выносило к поезду на многочисленных остановках. Введенские с удовольствием завтракали горячими лепешками с каймаком, вкусными острыми пирожками — самсой, фруктами, и Дмитрий Алексеевич впервые за многие дни ощутил приятную сытость.

Суэта пассажиров возвестила о приближении к Ташкенту. Не успел поезд остановиться, как Введенских подхватил поток людей с чемоданами, мешками, сундуками, ящиками и вынес на привокзальную площадь. Замелькали пестрые халаты, полушубки, шинели, изредка — европейская одежда. Позвякивая колокольчиками, к вокзалу степенно подходил караван верблюдов. Вблизи остановились две двуколки с огромными колесами. Кругом одни мужчины, в толпе затерялись лишь две-три женские фигурки с закрытыми черными покрывалами лицами.

«Непонятный и незнакомый мир, — подумал Дмитрий Алексеевич, — ну что ж, будем его познавать... Интересно, какая здесь медицина?»

Понадобилось немного времени, чтобы ответить на этот вопрос. В Средней Азии свирепствовали малярия, желудочно-кишечные, кожные и другие заболевания.

Современная медицинская служба только начинала развиваться, и местное население в основном пользовалось услугами табибов, костоправов, ишанов. В большинстве своем они лечили больных заклинаниями, молитвами и другими подобными методами.

Приказом по Туркестанскому фронту военный врач Д. А. Введенский был откомандирован в Ташкентский окружной госпиталь ординатором хирургического отделения.

Госпиталь, основанный в 1869 году, многие десятилетия был единственным крупным стационаром и очагом медицинской культуры огромного Туркестанского края.

Молодому военному врачу повезло. Он попал в коллектив опытных врачей. Специализированные отделения госпиталя возглавляли П. Ф. Боровский, А. Ф. Трапезников, А. Д. Греков, В. М. Петров и другие — будущие профессора медицинского факультета Среднеазиатского университета, для которых научная работа была, наравне с лечебной, неотъемлемой частью деятельности. Их фундаментальные научные труды по вопросам краевой патологии внесли весомый вклад в выяснение причин и разработку методов профилактики и лечения распространенных в Средней Азии заболеваний.

Достаточно упомянуть имя одного П. Ф. Боровского, выдающегося ученого, первооткрывателя возбудителя кожного лейшманиоза, что поставило его в один ряд с самыми выдающимися паразитологами мира. Кстати, открытие это сделано в стенах Ташкентского госпиталя.

В 20-е годы научная деятельность военных врачей Ташкента уже имела свои традиции. Они были инициаторами и организаторами созданного в феврале 1898 года Туркестанского медицинского общества с филиалами в Фергане и Ашхабаде. Первым председателем общества был военно-медицинский инспектор Г. К. Тарасевич, секретарем — старший ординатор госпиталя С. А. Марк, известный своими работами по изучению малярии в Туркестане. Сохранились данные о составе Туркестанского медицинского общества в 1900 году. Из 103 членов общества 74 были военными врачами. В 1908 году общество прекратило свое существование, так как администрация края и консервативное начальство весьма неблагоприятно относились к их научным занятиям.

Российские специалисты проделали огромную работу по медико-географическому и санитарно-эпидемиологическому изучению Туркестанского края, оказанию медицинской помощи, пропаганде и распространению санитарно-гигиенических знаний среди местного населения.

Дмитрий Алексеевич пришел в госпиталь также довольно опытным врачом, имея за спиной суровую школу первой мировой и гражданской войн: участник боев на австрийском фронте в Галиции (1914—1916 гг.), боевых действий во Франции в составе Русского экспедиционного корпуса (1916—1918 гг.), начальник крупного военного госпиталя РККА в Томске (1919—1920 гг.). Дважды, на австрийском фронте и во Франции, он пережил газовые атаки немцев. За храбрость и мужество награжден многими русскими боевыми орденами, а также высшей воинской наградой Французской республики — орденом Почетного Легиона.

За эти годы приходилось заниматься многим, но в хирургический стационар он попал впервые. Начальником отделения был А. Ф. Кейзер, вдумчивый врач и блестящий хирург. За четыре года работы с ним Д. А. Введенский приобрел навыки, которые оказались полезными в дальнейшей его врачебной деятельности.

Появление в Ташкентском окружном военном госпитале (в 1920 году) первого в Средней Азии рентгеновского аппарата было событием огромного значения. Аппарат был установлен в хирургическом отделении, и вначале им пользовались сами лечащие врачи.

Д. А. Введенский положил начало рентгенодиагностическим исследованиям в урологии. Первые же результаты позволили ему сделать сообщение на I Научном съезде врачей Туркестанской республики в 1922 году. При хирургическом отделении он организовал первый в Средней Азии урологический кабинет. А в 1924 году с его участием произведена первая в нашей стране операция по удалению камня из почки под рентгеновским контролем.

Коренной переворот во всей политической, хозяйственной и культурной жизни края, вызванный Октябрьской революцией, принес разительные перемены и в постановку здравоохранения. Для быстрейшего развития Туркестанской республики и подготовки кадров 7 сентября 1920 года В. И. Ленин подписал декрет об учреждении в Ташкенте Государственного университета, а в его составе медицинского факультета.

Медфаку повезло особенно. Специфические условия Средней Азии, даввшие богатый материал для научно-исследовательской работы, способствовали приезду в Ташкент профессоров с солидным научным и педагогическим стажем. Достаточно назвать Н. С. Перешивкина, А. И. Лебедева, А. Н. Крюкова, К. Н. Крюкова, К. Г. Хрущева, Е. М. Шляхтина.

Была, однако, и другая причина, привлекавшая и ранее российскую интеллигенцию

в далекую Среднюю Азию: искреннее желание принять активное участие в просветительской деятельности среди местного населения, в строительстве новой жизни. Часть профессуры, подчас еще не вполне осознавшая грандиозность происходящих в стране событий, рвалась в их гущу, испытывая потребность найти в них свое место, а далекий Ташкент открывал в этом отношении широкие перспективы.

Несмотря на огромные трудности, вызванные гражданской войной, правительство молодой Туркестанской республики выделило на нужды медицинского факультета 65 тысяч рублей золотом (по тем временам это была огромная сумма) для покупки за границей новейшего медицинского и лабораторного оборудования, приобретения литературы.

Однако прибывших из центра профессоров, преподавателей, местных гражданских врачей, приглашенных работать на медфаке, явно было недостаточно. И тут свое слово сказал Ташкентский окружной госпиталь, располагавший в то время наиболее квалифицированными специалистами. Он принял самое активное участие в создании первого в Средней Азии учебного центра по подготовке врачей.

В вестибюле административного корпуса госпиталя ныне привлекает внимание стенд, посвященный его славной истории. Золотыми буквами выписаны здесь имена военных врачей, которые по приказу командующего Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе были привлечены к работе на вновь открытом медицинском факультете университета. В их числе и Д. А. Введенский, который после увольнения в запас в октябре 1924 года зачисляется ассистентом пропедевтической хирургической клиники, возглавляемой профессором Н. С. Перешивкиным.

Николай Семенович Перешивкин — ученик и сподвижник одного из основоположников отечественной урологии профессора С. П. Федорова. К моменту переезда в Ташкент он был известен в нашей стране как опытный хирург-уролог и талантливый ученый, внесший значительный вклад в разработку многих вопросов диагностики и лечения урологических заболеваний.

В 1930 году пропедевтическая хирургическая клиника была ликвидирована, курс урологии развернут в урологическую клинику во главе с профессором Н. С. Перешивкиным. Старшим ассистентом был утвержден доцент Д. А. Введенский.

Надо отметить, что с момента создания самостоятельной урологической клиники начала зарождаться ташкентская школа урологов. В то время здесь работали Э. А. Фракман, С. М. Игрон, В. И. Симонова, В. В. Томашевич, М. Б. Левитанус, М. У. Мирсагатов и ряд других врачей. Это и было то ядро, которое положило начало такой — интернациональной — школе. После смерти профессора Н. С. Перешивкина в 1933 году вторым директором клиники был избран Д. А. Введенский.

Ташкентская урологическая школа получила заслуженное признание. Во время пребывания в Москве профессор Д. А. Введенский всегда посещал клиники, стараясь следить за всем новым в этой отрасли медицины. Одновременно делился с коллегами, как он любил говорить, ташкентскими урологическими новостями. Вызвала интерес применяемая в Ташкенте методика оперативного лечения пороков развития мочеточников, и председатель Московского урологического общества профессор Р. М. Фронштейн предложил Дмитрию Алексеевичу выступить на заседании общества по этому вопросу.

После заседания вечером Дмитрий Алексеевич отправился к брату. Утренний телефонный звонок Алексея его заинтересовал: «Приезжай, я приготовил тебе сюрприз». Настроение было отличное, доклад прошел хорошо. «Что приготовил мне брат?» — пытался угадать Дмитрий Алексеевич...

Алексей вынул из ящика письменного стола пачку писем и положил их перед братом. Это были его письма! Да, его! Из Галиции, из Франции, из Томска! Как брат их сохранил?

Алексей Дмитриевич Введенский из всех братьев и сестер был самый педантичный. Он собирал все, что касалось истории и жизни семьи Введенских и их предков. Весьма колоритной фигурой был отец Дмитрия и Алексея Алексей Леонидович Введенский. Сын дьяка небольшой сельской церкви на Орловщине, он получил высшее медицинское образование в Московском университете. Защитил докторскую диссертацию, стал профессором медицинского факультета Томского университета, возглавив кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии.

Во время русско-японской войны профессор А. Л. Введенский безвозмездно консультирует и оперирует урологических раненых в трех госпиталях. В 1914 году, уже будучи в отставке, он разворачивает в Москве госпиталь, который обслуживает вся семья профессора — он, две дочери, Александра и Мария, имевшие высшее медицинское образование. Обязанности сестер милосердия несли дочь Татьяна и племянницы. Супруга, Александра Леонидовна, была одновременно бухгалтером, делопроизводителем, а также отвечала за организацию питания раненых.

Профессор А. Л. Введенский содержал госпиталь на свои относительно небольшие сбережения, несмотря на то, что это существенно отражалось на бюджете семьи.

Сколько неприятностей причинял отцу сын Дмитрий! Кратковременный арест за участие в революционных событиях в Томске, взятие под надзор полиции в 1905 году, исключение из Московского университета в 1911 году за участие в студенческих волнениях...

Отец не понимал, что воспитанный в духе патриотизма сын не мог не шагнуть в ногу с революционным временем, что он сам своей деятельностью подготовил его к участию в борьбе с самодержавием.

Наблюдая за Митей, Алексей охладил его пыл: «Не надейся, ни одного письма не отдам. Все они останутся у меня, иначе пропадут».

Дмитрий с жадностью читал свои письма почти двадцатилетней давности. На письме от 7 декабря 1914 года рукой Алексея было написано: «С оказией». Да, это письмо он отправил с австрийского фронта, минуя военную цензуру. Он углубился в чтение: «На позициях у Бузуры мы простояли дней 15. Особых столкновений не было, но в последние дни одна рота выдвинулась и почти вся была уничтожена артиллерией. Убыло у нас около 500 человек. Другие же полки нашей дивизии потеряли три четверти своего состава. Попадают полки, в которых осталось по 300 человек. Из четырех-то тысяч!

Теряем потому, что тыловая организация у нас ниже всякой критики. Были периоды, когда по три дня полк не имел провианта. Солдаты устали, нет никакого воодушевления, идут, как на убой, и только думают о сне и пище. Много умышленного членовредительства. Я в первый день зарегистрировал шесть случаев, а в бою было всего 100—150 человек. А сколько проходят незамеченными!мотришь, раненых большинство в пальцы руки, преимущественно левой... Офицеры давно упали духом, свои неудачи объясняют тем, что у них пропала вера в общее дело...»

В следующих двух письмах описывалось прибытие во Францию в июле 1916 года пятого особого пехотного полка Русского экспедиционного корпуса, восторженная встреча его французами... Эти письма он бегло просмотрел.

В письме от 15 апреля 1917 года сразу бросились в глаза подчеркнутые (видимо, братом) жирным карандашом строки: «Много за это время переменялось в России. Вы знаете по моему старому поведению, что я весь на стороне обновленной России». И далее: «Франция дала мне высшую награду нации, но оторвала от дому, а за дом я сейчас отдал бы и ее, и все свои русские ордена, и положение. Солдатом вернуться мне было бы в тысячу раз приятнее, чем оставаться здесь врачом...»

Дмитрий Алексеевич продолжал просматривать свои письма. Письмо из Томска от 21 октября 1920 г. старшей сестре Шуре — и опять подчеркнутые братом места... «Я считал и считаю недопустимым и нечестным бороться с Советской властью, ибо всякая борьба на руку не только реакционерам, из которых некоторые кутаются в разноцветные плащи из остатков старых флагов, но этим все же не прикрывают свою черно-желтую наготу. Кроме того, по моему глубокому и давнему убеждению, основы этой власти, безусловно, правильны... Во Владивостоке, куда я приехал из Франции, свирепствовал Колчак, и на меня был составлен донос. Мне посоветовали скорее распрощаться с Владивостоком, что я и сделал, взяв направление в Томск, где и осел. Получил в свое управление госпиталь на 1000 коек...»

Дмитрий Алексеевич, отложив в сторону письма, остался сидеть за столом, опершись на локти и охватив голову руками. В памяти мелькали картины далеких и одновременно близких событий. Уже смолкли звонки последних трамваев, погасли окна в домах, а он все сидел за столом...

Вечером следующего дня он уехал в Ташкент. Путь из Москвы в Ташкент — длинный и утомительный, зато есть много времени для размышлений.

...Минули Оренбуржье с богатыми хвойными лесами, радующими глаз. Потянулась унылая желтая, иногда с коричневыми оттенками казахстанская степь. Подул ветерок, и песок появился всюду в вагоне, чувствовался на зубах. Дмитрий Алексеевич собрал на ладони несколько желтых с красноватым оттенком песчинок, и невольно возникла аналогия: типичные ураты — мельчайшие почечные камешки.

В Средней Азии песок — не только основной признак пустыни. Другой песок, образующийся в почках человека, — также не редкость. Это заболевание в республиках Средней Азии носит характер краевой патологии и встречается часто как у взрослых, так и у детей.

Общепринятым методом хирургического лечения болезни с двусторонними камнями было их удаление поочередно из каждой почки с интервалами между операциями 3—4 месяца. Правильно ли это? — задумывался Дмитрий Алексеевич. За время между двумя операциями функция неоперированной почки заметно ухудшается. Часто, получив некоторое облегчение после первой операции, больные исчезают из поля зрения и приходят уже в очень тяжелом состоянии.

Еще в 1923 году известный советский хирург С. С. Юдин в докладе Московскому хирургическому обществу убедительно изложил отрицательные стороны такого поэтапного оперативного лечения и настоятельно рекомендовал одномоментную операцию. Выступление С. С. Юдина и нескольких урологов за рубежом не нашло в то время должной поддержки.

Однажды (это было осенью 1932 года) доц. Д. А. Введенский вместе с ассистентом В. А. Доброхотовым оперировали больного с двусторонними камнями почек. Операция на правой почке сложилась легко — камень быстро; без особых трудностей был извлечен. Дмитрий Алексеевич вопросительно посмотрел на Доброхотова. Тот сразу его понял, но сказал, что нужно согласие больного и разрешение «шефа». Операция проходила под местным наркозом, больной согласился. Профессора Н. С. Перешивкина в это время в клинике не было, а ждать нельзя. Решили на свой страх и риск провести тут же вторую операцию.

Дмитрий Алексеевич ушел из клиники домой поздно вечером, когда твердо убедился, что состояние больного нормальное. Была душная ночь. Не спалось, сказывалось нервное перенапряжение — ведь подобная операция проводилась впервые. В 3 часа ночи позвонил в клинику — все было спокойно. Только под утро забылся беспокойным сном.

На следующий же день профессор Перешивкин в наказание за «самодеятельность» запретил ему и ассистенту В. А. Доброхотову заходить в операционную.

Но — начало было положено!

Только после смерти Н. С. Перешивкина в 1933 году одномоментные операции при множественных камнях получили в клинике право гражданства. Возрастает также число операций по поводу различных заболеваний аномалийных почек, так как резко улучшилась диагностика.

...У пятилетнего мальчика после тщательного рентгенологического обследования установлен диагноз: «гидронефроз нижнего сегмента правой удвоенной почки». Что делать? Удалять всю почку или только пораженную ее часть? Этот вопрос профессор Д. А. Введенский ставит на заседании хирургической секции Среднеазиатского научного медицинского общества. Большинство хирургов высказалось за удаление всего органа. Дмитрий Алексеевич с этим не согласился: «В экономике организма ценен каждый кусочек почечной ткани. Сохранение этой ткани — основная задача почечной хирургии».

Операция прошла без осложнений. Обследование через год после операции показало, что оставшийся сегмент почки работает хорошо.

Эта блестяще выполненная, необычная по тому времени операция неоднократно упоминалась в специальной литературе.

Уникальный материал профессор Д. А. Введенский обобщил в докторской диссертации, успешно ее защитил 14 июня 1941 года — за шесть дней до начала Великой Отечественной войны.

Война... На многоядном митинге профессорско-преподавательского состава и студентов Ташкентского медицинского института с речью выступил ветеран империалистической и гражданской войн профессор Д. А. Введенский. Призывая всех встать на защиту Родины, он заявил, что готов выполнить свой долг и сменить гражданскую одежду на военную форму: «Все должны явиться на призывные пункты, не дожидаясь повестки из военкомата, и я это сделаю первым!» Но в призыве на военную службу 54-летнему профессору отказали.

В первые месяцы войны были призваны в армию ближайшие сотрудники Дмитрия Алексеевича — доцент С. М. Игрон, кандидат медицинских наук М. У. Мирсагатов. Далекий от фронта Ташкент становится крупным лечебным центром, где развертывается большая сеть специализированных эвакуационных госпиталей. Профессор Д. А. Введенский назначается здесь главным консультантом-урологом. Сюда уходят работать также его сотрудники М. Б. Левитанус и С. П. Кузнецова.

Одновременно Дмитрий Алексеевич с удвоенной энергией работает в клинике медицинского института: нужно заменить ушедших на фронт.

Осенью 1941 года в деканате прибавилась необычная работа, отнимавшая много времени. Она была связана с большим наплывом студентов медицинских институтов западных районов страны, эвакуировавшихся в Ташкент. Для того чтобы проверить их документы, деканы — профессора Д. А. Введенский и А. С. Волынский — сверяли в зачетных книжках студентов подписи экзаменаторов, подлинные ли они? Но не всегда «ташминские криминалисты» раскрывали подлоги. Многие студенты любым путем хотели быстрее окончить институт и уйти на фронт. Некоторым из них это удавалось. Как-то скрестились фронтовые дороги профессора Д. А. Введенского и одного военного врача — выпускника ТашМИ, который ему доверительно сказал: «Если бы я не подделал в зачетке подписи за год, до сих пор бы еще учился...»

Весельчак и балагур, любитель остроумной шутки, Дмитрий Алексеевич, читая малоутешительные сводки Совинформбюро, мрачнел, лицо хмурилось и застывало. Мысли его были на полях сражений, вспоминались тяжелые бои на русско-германском фронте в 1915 году, кровопролитные наступательные на реке Эн во Франции, гражданская война... Да, душой он был за тысячи километров от Ташкента, в действующей армии... Дмитрий Алексеевич дождался, наконец, своего часа. Очередная просьба о добровольном призыве в армию была удовлетворена, и 56-летний профессор снова вступил в ряды Красной Армии — после двадцатилетнего перерыва.

Его отъезд из Ташкента в январе 1943 г. совпал с началом разгрома армии Паулюса. В хорошем настроении и с надеждой на быстрое победное окончание войны Дмитрий Алексеевич прибыл в распоряжение Военно-санитарного управления Воронежского фронта. Дежурный офицер, взглянув на него, сказал негромко, но с явным расчетом, что вновь прибывший его услышит: «Как будто бы дела на фронтах неплохие, какого черта стариков шлют!» Тяжелый взгляд Д. А. Введенского заставил его замолчать.

...Бывали дни, когда приходилось оперировать почти круглосуточно. Пожилой профессор стойко переносил все невзгоды фронтовой жизни: его никогда не покидал свойственный ему юмор. Казалось, что шутка, острота, веселый каламбур помогают ему переносить все трудности и превратности судьбы.

У дочери профессора, Наталии Дмитриевны Введенской, сохранился интересный документ — приказ по эвакогоспиталю № 1107 за подписью начальника, майора медицинской службы А. Е. Боровика. В приказе отмечается: «...подполковник медицинской службы Введенский Д. А. выполнил ряд сложных и ответственных операций. Командование ЭГ 1107 выражает проф. Д. А. Введенскому благодарность за проведенную работу».

Многим бойцам и офицерам его искусство спасло жизнь.

В сентябре 1943 г. у Дмитрия Алексеевича произошла неожиданная встреча в Киеве с земляками-ташкентцами. О ней с теплотой вспоминает капитан медицинской службы в отставке Лилия Львовна Каповская:

«Эвакогоспиталь № 3960, в котором я служила, дислоцировался в городе Пирятине. Этот госпиталь был сформирован в Ташкенте и укомплектован ташкентскими медиками. На улице города я неожиданно столкнулась с профессором Д. А. Введенским. Помню его несколько осунувшееся усталое лицо. Одет он был в простую хлопчатобумажную форму. Обратила внимание на подполковничьи погоны. Мы обнялись и расцеловались. На мой немой взгляд он ответил: «Да, вид у меня не бравый, всю ночь простоял в операционной...»

Весь вечер этого памятного дня он провел в «ташкентском» эвакогоспитале среди друзей. Начальником здесь был доцент ТашМИ Анатолий Манулкин, ведущим хирургом — заведующий хирургическим отделением первой горбольницы Соломон Закс — близкие коллеги Дмитрия Алексеевича. Вспомнили Ташкент, институт, близких... Помянули тех, кто отдал свою жизнь за Родину... Больше мы не встречались, так как на следующий день Дмитрий Алексеевич покинул Пирятин. В эти дни многие медицинские учреждения фронта перемещались на запад, вслед за выходящими к Днепру и Киеву войсками».

В 1944 году за храбрость и мужество, проявленные в боевых действиях при освобождении Польши, подполковник медицинской службы Д. А. Введенский награжден орденом Красной Звезды.

Вскоре после окончания войны начальник медико-санитарной службы фронта генерал-лейтенант Н. П. Устинов устроил прием для высших офицеров медицинских подразделений. На приеме Дмитрий Алексеевич внезапно почувствовал сильную усталость — сказались нервное перенапряжение, возраст, заметное ухудшение зрения. Хотелось скорее попасть домой, в свою клинику... Он вышел в парк. Свежий весенний воздух, несильный теплый дождь принесли некоторое успокоение. Желания вернуться в шумный банкетный зал не было. Заложив руки за спину, он долго ходил по слабо освещенной аллее, куда едва доносились звуки военного оркестра.

На следующий день Дмитрий Алексеевич, как всегда гладко выбритый и подтянутый, с раннего утра был в госпитале — тяжелораненые требовали особого внимания. Поступали, правда, теперь в небольшом количестве, и новые раненые — стычки с отдельными, иногда довольно крупными, отрядами гитлеровцев продолжались, и, естественно, продолжалась ратная служба врача-хирурга.

После очередной военно-врачебной комиссии 11 сентября 1945 г. Д. А. Введенский получает приказ о демобилизации.

Дома его ждали с нетерпением. По бледным лицам Натали и Веры Андреевны он сразу понял, что им эти годы жилось не сладко. Продовольственные товары отпускались по карточкам. Как и у всех в те годы, в одной из комнат стояла печурка-временка, а на столе известная «копилка» — розетки были опечатаны. Но война окончилась, и это было главным!

Как и многие вернувшиеся в институт врачи, Дмитрий Алексеевич ходил на работу в военной форме без погон. Орденов он также не носил. Форма ладно сидела на его невысокой коренастой фигуре. Всегда аккуратно подстриженная седая борода и седые усики над тонкими губами, большие темные глаза под густыми нависающими бровями. Выглядел он несколько старше своих лет. Пристальный взгляд человека с плохим зрением усиливал это впечатление. Из-за плохого зрения его походка была не столь уверенной — передвигался он мелкими размеренными шагами.

Интересен приказ директора ТашМИ доцента Захидова № 101 от 24 апреля 1946 г., весьма характерный для первых послевоенных лет: «За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую, врачебную и общественную деятельность, за подготовку в течение 25 лет в Ташкентском медицинском институте высококвалифицированных научно-педагогических кадров и врачей, за проведение широких лечебно-профилактических мероприятий в Узбекской ССР профессору Введенскому Дмитрию Алексеевичу объявляю благодарность и премирую месячным окладом, отрезом шерсти и отрезом шелка».

Профессор Введенский начинает упорно добиваться расширения урологической клиники. И это ему удается. В 1947 году она переходит в новое помещение, увеличивается количество коек и врачей. Вслед за Дмитрием Алексеевичем возвращаются в клинику демобилизованные доценты С. М. Игрон и М. У. Мирсагатов. Одновременно в коллектив вливаются новые врачи, также бывшие военнослужащие: Т. Н. Позднякова, С. М. Умаров, Н. Г. Уланова, Л. Л. Каповская. Им Дмитрий Алексеевич уделяет много внимания. Смелый хирург, он никогда не боялся доверять операции своим сотрудникам. Это придавало уверенности молодым урологам в их работе.

Возобновляются прерванные войной исследования. В статье, посвященной профессору Д. А. Введенскому в Большой медицинской энциклопедии (1952, т.4), подчеркивается, что «Введенский был одним из немногих пропагандистов одноэтапного вмешательства при камнях, расположенных одновременно в различных участках мочевой системы».

Да, он был пропагандистом этой методики, потому что располагал уже достаточным количеством успешно выполненных операций и на этой основе мог убедительно доказать их целесообразность при соответствующих показаниях.

Богатый опыт, который накопила урологическая клиника ТашМИ, требовал обобщения, тем более, что такого количества наблюдений не имелось не только в медицинских учреждениях нашей страны, но и за рубежом. Эту работу Дмитрий Алексеевич предлагает провести Т. Н. Поздняковой. В 1958 году, уже после смерти Д. А. Введенского, она успешно защитила кандидатскую диссертацию.

Можно с позиций сегодняшнего дня удивляться смелости и мужеству Дмитрия Алексеевича и его сотрудников, решившихся выполнить эти сложные оперативные вмешательства в тех условиях — под местной анестезией или применяя примитивный масочный наркоз.

В последующие годы их метод завоевывает все больше сторонников. Действительный член АМН СССР профессор И. А. Лопаткин и Ю. В. Кормщиков в 1972 году приходят к тем же выводам, что и профессор Д. А. Введенский в 40-х годах.

Интересно отметить, что в последние годы одномоментные операции при многоместных камнях находят все большее распространение в Казахстане, Туркмении и других республиках. К великому сожалению, эти операции на их родине, в Ташкенте, в последние годы незаслуженно забыты.

В день 60-летия Дмитрию Алексеевичу Введенскому было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Узбекской ССР».

Юбиляр в этот день получил много адресов и поздравлений. Для Дмитрия Алексеевича особенно дорог был адрес коллектива Ташкентского окружного военного госпиталя, бесменным консультантом которого он был до последних дней своей жизни.

Дмитрию Алексеевичу пришлось еще один раз в жизни применить свой богатый военный опыт оказания медицинской помощи при массовом травматизме. После разрушительного Ашхабадского землетрясения в октябре 1948 года урологическая клиника ТашМИ была превращена в своеобразный госпиталь. Раненые сосредоточивались и в урологическом отделении Ташкентского окружного военного госпиталя. В этих двух лечебных учреждениях профессор Д. А. Введенский возглавляет все работы.

В 1953 году Д. А. Введенский был награжден орденом Ленина.

Но состояние здоровья Дмитрия Алексеевича с каждым годом ухудшается, особенно зрение. Несмотря на это, он продолжает работать и оперировать, пользуясь специальными очками-биноклями. В июле 1955 года в связи с резким ухудшением здоровья профессор Введенский ушел в отставку, а вскоре, на 70-м году жизни, скончался.

Подполковника медицинской службы профессора Дмитрия Алексеевича Введенского хоронили с воинскими почестями. Соратники и ученики несли на красных подушечках его многочисленные ордена и медали — советские, российские, французские...

## ДВА РАССКАЗА

### СУЮНЧИ

Много времени я потратил на изучение старинных и новых обычаев. Даже диссертацию написал. Потому слышу большим знатоком узбекских обычаев и обрядов. Как только они, эти обычаи и обряды, становятся предметом спора, спорщики тут же бегут ко мне.

Советуются со мной по всяким вопросам. Например, сосед, собиравшийся женить сына, спросил: можно ли отправить в дом невесты мешок лука вместе с мешками риса, муки и тушей барана? Он был суеверен и боялся, как бы горечь лука не повлияла на характер невестки.

Иногда спрашивают: в каком виде надо отправлять барана в дом невесты — живым или уже разделанным? Причем с такими вопросами обращаются ко мне не только жители махалли, но и сотрудники нашего института.

Иногда мне приходится даже писать сценарий какого-нибудь ритуала.

В махалле ко мне относятся с почетом. На свадьбах сажают на самое почетное место, рядом с аксакалами<sup>1</sup>. Раньше все обряды и обычаи были полной монополией старейшин махалли, никто не знал их так хорошо, как они. Сейчас же предпочтение отдают мне, потому что я хорошо знаю не только старые и новые обычаи и обряды, но и историю их возникновения.

Из-за большого интереса к лекциям такого рода мне приходилось выступать часто, иногда без передышки, что, впрочем, не составляло для меня никакого труда.

Все шло хорошо, если бы не один случай, доставивший мне много ненужных хлопот.

Как-то предложили мне прочитать лекцию в соседней с нашим НИИ махалле. Выступил я в тот день вроде бы неплохо. Как обычно, в заключение осведомился, нет ли ко мне вопросов, не ожидая, конечно же, того, что этим «копаю себе яму». И зачем я так сделал!

Было много вопросов, но коварным оказался последний. Не сложностью, а своими последствиями. Один молодой человек спросил: знаю ли я что-нибудь об обычае «суюнчи»?

Я даже оскорбился. Хотел выругаться и сказать: «Ну, кто же не знает его, даже дети могут сказать, что такое суюнчи. Они-то очень четко его соблюдают, потому что бегают хорошо. Суюнчи одна из статей «дохода». Я диссертацию защитил по этим проблемам, а ты, мальчишка, спрашиваешь!»

Но я сдержался и постарался ответить на вопрос спокойно, корректно, в степенной, соответствующей моей ученой степени форме. Я объяснил: если кто-то сообщит вам радостную весть, вы должны одарить его.

«А в какой сумме должно выразиться это вознаграждение?» — не унимался молодой человек.

«Каждый награждает, как ему заблагорассудится, но в пределах разумного».

Мой ответом все были удовлетворены. Но на этом рассказ не кончается, поскольку собака была зарыта вовсе не там.

Лекция прошла успешно, но все, что произошло после этого, сильно ударило по моему карману. Вскоре выяснилось, что у меня очень много родственников,

<sup>1</sup> Аксакал — (буквально белобородый) почтенный человек, обычно преклонного возраста.

обучающихся здесь в Ташкенте. Вы спросите, как я об этом узнал? Потерпите, мы уже очень близки к раскрытию тайны.

После лекции подошел ко мне солидный мужчина средних лет. Представился редактором отдела одной из местных газет и предложил мне написать статью об обычаях и обрядах.

Я согласился. Думая, что мне чертовски повезло — ведь столько народу прочитает мою статью, — я не учел того, что ее могли прочитать родственники, связи с которыми давно прерваны.

Вообще у нас родственные связи прочны. Это хорошо, потому что если вам нужно провести какое-то мероприятие, все мгновенно прибегут на помощь. Но это и плохо. Потому что при таких прочных родственных связях невозможно, например, жениться на девушке, не связанной с тобой родственными узами. (Именно по этой причине были прерваны мои связи с родственниками.)

Написание статьи не заняло у меня много времени. Через два дня она была готова. В статье я рассказал и о суюнчи, как просил меня журналист. Но объем ее превышал заказанный в три раза. В таком виде я отнес ее в редакцию, полагаясь на то, что редактору будет легче сократить рукопись, потому что она для него чужая. В статье много места я уделил издавна существующему народному обычаю — суюнчи.

Через два дня статья была опубликована. Об этом я узнал от своего родственника и односельчанина Тешабая — студента политехнического института, высокого, смуглого, чернобрового парня, с гугими черными глазами.

После долгих приветствий и расспросов (этого требуют наши обычаи) он представился, объяснил, что разыскать меня помогла ему статья, и добавил: «С вас — суюнчи! Ваша статья опубликована в сегодняшней газете».

Он показал мне газету. Я выписываю ее, но еще не получил, поскольку почту приносят мне домой после обеда.

Мне не терпелось посмотреть статью. Но, согласно обычаю, чтобы получить газету, я должен вознаградить Тешабая за весть.

Я пошарил в кармане, нашел там десятку и протянул ему (с этого все и началось). Тешабай отказывался, но делал это нерешительно. Я настаивал, требовал, чтобы он взял деньги, я мог себе это позволить, поскольку был старше по возрасту. Тешабай опять отказывался, вернее — делал вид, что отказывается. (Ведь обычай требует, чтобы подарок принимался не сразу. Ты отказываешься, но тебя уговаривают. И ты, будучи человеком мягкосердечным, не можешь отказать, берешь деньги, чтобы не обидеть одаривающего.) После долгих уговоров он деньги взял. Прощаясь, вручил ему визитную карточку и пригласил домой, о чем потом очень сожалел. Это была моя очередная ошибка. Но понял я это позже.

А пока я был рад встрече с Тешабаем, ведь благодаря ему я теперь мог наладить взаимоотношения с родственниками. О чем я тоже потом сожалел.

Когда Тешабай ушел, я долго смотрел ему вслед и думал: «Какой славный парень, а сколько их таких в моем кишлаке!», не подозревая того, что и здесь их немало.

Я дважды просмотрел газету. Статья моя была помещена на последней странице, с указанием моей фамилии, ученой степени, места работы.

Сначала я просмотрел статью поверхностно, прикинув на глазок ее объем. А второй раз я уже внимательно изучил ее. Редактор сократил и подверг статью капитальной переработке. Но при желании ее можно было узнать, потому что местами все же был сохранен мой стиль. Ну и, естественно, под публикацией была указана моя фамилия.

Несмотря на сокращения, статья была солидной, и это меня радовало. Та часть статьи, где говорилось о суюнчи, осталась почти нетронутой. Я удивился и когда спросил у редактора, почему это произошло, редактор объяснил, что о других обычаях были публикации, а вот о суюнчи никогда ранее не писали.

Приход Тешабая дал мне понять, что мою статью читают и другие односельчане — мои и моей жены. Я этому радовался, не ведая о последствиях.

После Тешабая зачастили к нам в дом односельчане мои и моей жены, родственники близкие, родственники дальние и вовсе не родственники. Каждый приходил с какой-то вестью, которая, на их взгляд, должна была обрадовать меня. Некоторые из посетителей, получив десятку, сразу же уходили, а иные задерживались и просили оказать помощь — в пересдаче экзамена, в поиске квартиры, в получении стипендии, во вселении в общежитие и т.д. Они думали, что я, как кандидат наук и автор публикации в газете, являюсь влиятельным лицом и все могу.

Вторым был визит Балтабая, который представился родственником моей жены и потребовал у меня суюнчи за весть о том, что дочь сестры двоюродной тетки моей жены родила сына. Он был уверен, что эта весть будет для меня радостной. Я постарался не убеждать его в обратном.

Пока мой гость ел, я раздумывал: давать ему суюнчи или нет. Немного подумав, решил, что надо дать. Ведь могла обидеться моя жена, подумав, что своему родственнику я дал суюнчи, а ее родственнику — нет. Если я, не побоявшись конфликта с женой, денег ему все-таки не дам, то прослышу скрягой. Он скажет всем моим односельчанам, что я скряга и меня не радуют самые радостные события в жизни родственников. Да так приукрасит, что родная мать не узнает и откажется от меня после этого. Потом уж никак не сможешь восстановить репутацию, никакими деньгами не откупишься (а наши с женой односельчане так могут ославить, что потом лучше не показываться никому на глаза).

Притвориться, что не знаю этого обычая, не мог, потому что мои односельчане очень скрупулезно следуют старинным обычаям и обрядам, а я воспитывался в этом селе, у нас каждый мальчишка знает его. А кроме того, Балтабай-то читал мою статью. (Кстати, он сказал, что в десяти ближайших киосках они выкупили все газеты с моей статьей и отправили в два наших кишлака, хотя там тоже есть киоски.)

С этими мыслями я протянул Балтабаю десятку. Он не замедлил сделать вид, что брать ее не хочет, но после моих уговоров деньги взял и ушел, даже не прореагировав на приглашение к плову, который был уже готов.

Следующим был визит Бакибиллы, студента института народного хозяйства. Он принес весть о том, что зятя двоюродной тети моей жены назначили главным бухгалтером колхоза. Я сделал вид, что очень обрадовался, и вручил ему десятку.

Итак, только за три месяца у меня побывали еще Абдубори, Адхам, Азлар, Акбар, Акрам, Ариф, Ахмед, Ачил, Ашраф, Бабамурадкар, Базар, Барат, Берды, Васик, Гази, Гафур, Джамал, Джалил, Джума, Закир, Захид, Имамали, Ихсан, Кадыр, Карим, Касым, Куванч, Курал, Курбан, Лутфулла, Мамарайм, Мардан, Матлаб, Мумтаз, Намаз, Назир, Нигмат, Нурилла, Нусрат, Нартаджи, Нартай, Сафар, Султан, Саттар, Сайдали, Сали, Таджи, Тулан, Тулкун, Тура, Турди, Турсун, Уктам, Умаркул, Унгар, Ураз, Усман, Фатхитдин, Фахриддин, Халдар, Хайрулла, Халик, Халил, Халим, Хамдам, Хамро, Хидир, Хисам, Худаяр, Чары, Шадман, Шадыджан, Шакасым, Шариф, Шеркузи, Шерназар, Эшанкул, Эшмурад, Эшназар, Якуб.

Чтобы не прослыть скрягой, я был вынужден выдавать каждому из них по десятке, изображая при этом радость на лице. Так, израсходовал я все деньги, которые мы собрали с женой на приобретение новой мебели.

Конечно, убыток в какой-то мере был возмещен гонораром за статью. Но его сумма была в несколько десятков раз меньше суммы, потраченной на оплату «радостных вестей».

Конечно, финансовый ущерб, нанесенный мне односельчанами, в определенной мере восполнялся моральным удовлетворением. Ведь благодаря этим вестям я был в курсе всех событий, происходивших в моем и моей жены кишлаках. Правда, если первые вести были связаны с более или менее значительными событиями, то последующие оказывались все менее и менее значительными, хотя сумма, выплачиваемая мной, оставалась неизменной.

Наверное, в первый раз, то есть при встрече с Тешабаем, мне следовало вручить сумму меньшую. Тогда, возможно, я не был бы в таком накладе. Ну, выдавай я хоть по пятерке, а еще лучше — по тройку, тогда ущерб мой составил бы... Но кто же мог знать, что все так обернется! Кто мог подумать; что появится у меня столько родственников и односельчан! Не случайно народная мудрость гласит: «Если бы Ходжа Насреддин знал куда упадет, непременно расстелил бы курпачу».

Вести, приносимые односельчанами, доставляли больше хлопот, чем радости. Но обычай был жесток: он требовал от меня изъятия радости и презента.

Я изо всех сил старался радоваться, но получалось у меня это с каждым разом все хуже. Возможно, студенты и догадывались об этом, но их интересовали не мои чувства, а гонорар, положенный за «радостную весть». Когда ко мне пришел Якуб, мне очень трудно было изобразить радость, и все-таки я постарался сделать все, чтобы не швырнуть ему десятку, а отдать с радостью, от души. Ведь обычай требовал, чтобы я благодарностью ответил на «радостную весть». Не знаю, как у меня получалось, но знаю только, что Якуб был доволен.

«Много ли наших земляков учится здесь?» — спросил я, вручив деньги Якубу.

Он назвал не астрономическую цифру, но достаточную для того, чтобы на лице моем отразилось удручение. И опять я держался изо всех сил, чтобы не подать виду.

«В Ташкенте обучается восемьдесят шесть парней и сто восемьдесят девушек из вашего кишлака и из кишлака вашей жены», — сказал он.

«Почему девушки не приходят?» — спросил я.

«Они скоро придут. Все вместе придут. Ведь вы знаете, что законы Востока, не потерявшие силу в нашем кишлаке, не позволяют женщине приходиться одной, — сказал он по секрету. — Они ждут особо радостной вести из кишлака вашей жены. Двоюродная племянница вашей жены вот-вот должна родить. Девушки ждут этого дня, чтобы вместе сообщить вам эту весть».

По правилам, суюнчи, награда за добрую весть, вручается первому, кто сообщит эту весть. Они сообщат ее все вместе. Так как же я в таком случае должен поступить?

Я был благодарен Якубу за разглашение секрета моих землячек. Значит, все они читали мою статью, каждый из них считает должным посетить и обрадовать «известного» земляка (так они называли меня только за то, что моя статья была опубликована в газете).

Мы с женой пришли к выводу, что нам надо скорее бежать, пока не успела родить наша родственница. Мы подали заявление об обмене квартиры, а пока сняли квартиру на окраине города и взяли отпуск без содержания на работе.

Все это было сделано в расчете на то, что у студентов мало свободного времени и они не станут долго разыскивать нас.

Расчеты наши, к счастью, оказались верными. В новую квартиру визитов не было. Сейчас мы живем спокойно.

С тех пор прошло несколько лет, но стоит мне вспомнить то время, как волосы становятся дыбом, будто паломничество родственников происходит и сейчас.

Как-то возвращаясь с работы, я встретил журналиста, с легкой руки которого я стал известным знатоком обычая суюнчи.

После приветствий, расспросив о домашних делах, работе, о родственниках, об их здоровье — у нас так принято, — он предложил мне написать статью об обычае «курамана». (Этот обычай требует того, чтобы вы одарили человека, устраивающего смотрины. К примеру, у кого-то из знакомых или родственников родился ребенок, вы приходите к ним и кладете под подушку новорожденного деньги; или юноша показывает свою невесту, она вам кланяется, а вы в ответ на это вручаете подарок или деньги.)

От этого предложения меня передернуло, хотелось сказать ему что-нибудь очень оскорбительное. Но от волнения я не мог произнести ничего внятного. Я махнул рукой и, озираясь, быстро зашагал прочь.

Вот вы теперь и подумайте: полезно ли знать обычай?

## ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

После возвращения из армии родители срочно решили женить меня. Ведь в нашем кишлаке Джидакапа рано женят и выдают замуж. Коль не женился до армии, то уж после армии непременно должен жениться сразу же.

Я оттягивал это знаменательное событие, поскольку не было у меня на примете ни одной подходящей девушки. Все мои одноклассницы, и даже девушки младше на один-два года, давно уже обзавелись мужьями и детьми.

Мне в пример ставили моих друзей, успевших стать многодетными отцами, а также двоюродного брата, у которого было десять детей. И одиннадцатый ожидался. Хоть он старше меня был всего лишь на семь лет. Куда мне до него!

Я в свои двадцать лет страдал от одиночества, я надеялся, что успею еще встретить ту, единственную, которая украсит мою (а я — ее) жизнь.

Между тем бабушка моего одноклассника, тетушка Айша, удачно на ее взгляд женившая своего внука, взялась так же благополучно устроить и мою жизнь. И так, две бабушки пустились на поиски невесты. Искали долго. За время своих поисков они пропустили не одну сотню девушек сквозь свои пытливые взгляды, но никак не могли прийти к общему согласию. Девушка, нравившаяся моей бабушке, не нравилась бабушке моего друга — и наоборот.

Наконец в далеком от нас кишлаке Атбазар они нашли девушку, которая понравилась обеим. Они так долго и с таким восхищением описывали и расхваливали девушку по имени Чаросхон, что у меня возникло сильное желание увидеть ее. Она предстала в моем воображении писаной красавицей, похожей на индийскую киноактрису.

— Хорошо, познакомьте меня с Чаросхон. Когда я ее увижу? — спросил я.

— А зачем тебе ее видеть? Мы посмотрели — и этого достаточно. После свадьбы наглядись, — ответила бабушка. — Я твоего деда до свадьбы не видела, и твой отец увидел твою мать после свадьбы. Скажи, разве плохую жену я нашла твоему отцу?

Ну, что я мог ответить, когда речь шла о моей маме? Я был совершенно обезоружен.

— Бабушка, ты забываешь: времена-то были тогда другие. Сейчас парень и девушка встречаются и женятся только по любви. У нас ребята в армии все так женились.

— Э, сынок, это там, в Подмоскowie. А в кишлаке совсем другие обычаи.  
— И у нас в кишлаке Азад и Хурсанд вон женились после двух свиданий, — сказала тетюшка Айша.

— Ты спроси: а кто им невесту нашел? Тетя Айша. И тебе невесту мы с ней нашли, — объявила с гордостью бабушка.

— Спасибо вам, тетя Айша. Теперь помогите мне увидеть и познакомиться с ней, — решительно заявил я.

— А это еще зачем? Что ты понимаешь в девушках. Поверь моим сединам, мы тебе такую невесту нашли, что пальчики оближешь.

— Я уже облизываю.

— А ты спроси, из какой она семьи. Отец ее — главный бухгалтер колхоза. Это тебе не халам-балам. Сколько усилий пришлось потратить, чтобы уговорить его, — не унималась моя бабушка.

— Можешь поверить нам. Неужели же мы тебе дурнушку предложим? Чаросхон будет для тебя сюрпризом, — поддерживала ее бабушка моего одноклассника.

Хорош сюрприз, ничего не скажешь! Особенно, когда он преподносится на всю оставшуюся жизнь. Но похвалы бабушек все же сильно подействовали на меня! Я сгорал от любопытства и твердо стоял на своем.

Настал этот долгожданный день. В кишлак Атбазар я приехал немного раньше назначенного времени. Кое-как отыскал там дом сторожа колхозного клуба Гулямкадыра-ака. Здесь, у высокого дувала, должна была состояться встреча. Это было знаменитое место, где решались судьбы многих юношей и девушек.

Высокий дувал отделял дом сторожа колхозного клуба от пустыря, бывшего некогда двором конезавода. Из-за этого конезавода и весь кишлак получил название Атбазар. Коней в колхозе не осталось, но долгое время еще возвышался дувал, а теперь сохранилась лишь часть его, отделявшая дом сторожа от пустыря.

Кое-где он был размыт дождями. Гулямкадыр-ака такие места залатал досками, фанерой, шифером, линолеумом — словом, тем подручным материалом, что не так лежал в колхозном клубе. Вот у этой части забора и проходили смотрины. За определенную мзду Гулямкадыр-ака позволял использовать для смотрин территорию, прилежащую к дувалу.

Я отыскал в заборе щель. Увлечшись разглядыванием другой стороны, не почувствовал, как уколосся. И как подошел Гулямкадыр-ака — не заметил. Он потребовал пятьдесят копеек — оплату за осмотр двора. А когда я сообщил, что пришел на смотрины, он потребовал еще один рубль.

Я протянул ему два рубля. На сдачу он мне дал два полных граненых стакана семечек и пять кругляшков курта.

Теперь я смело мог разглядывать двор Гулямкадыра-ака. Правда, обзор был плохой. Когда хозяин дома ушел, я попытался оторвать одну доску. Да не тут-то было. Гулямкадыр-ака так прочно обил забор досками, планшетами, шифером, декорационными деталями какого-то спектакля, что удалось только кое-как оторвать кусочек афиши. Первое, что я увидел, — это были Гулямкадыровы овцы, козы и осел, мирно щипавшие в середине двора зеленую травку.

— Девушка пройдет быстро, не успеешь разглядеть, — предупредили меня друзья, сами прошедшие такое испытание. — Так что гляди в оба!

Чтобы лучше разглядеть Чаросхон, я вооружился биноклем, который пока лежал за пазухой. Ее мать не должна знать о моей технической вооруженности — в противном случае она непременно отменит смотрины.

Времени до начала смотрин было достаточно. Чтобы как-то скоротать его, я лускал семечки и разглядывал надписи на стене. По их количеству можно было определить, сколько человек решали здесь свою судьбу. А счастлива она бывала или нет — до того ли сельскому человеку, когда у него десять-двенадцать детей! У сельских жителей очень мало свободного времени, чтобы думать о своем счастье.

Я не нарушил традицию и тоже оставил свой автограф. Мои слова были обдуманно и точно адресованы тем, кто придумал обычаи.

Когда наступило время смотрин, я стал внимательно вглядываться в щель, чтобы не упустить счастливого мгновенья. Я увидел, что сваты приехали, но моя суженая никак не появлялась. Мне еще так долго пришлось стоять у дувала, что я постепенно стал терять бдительность.

Наконец Чаросхон влетела во двор. Быстро пробежала она. Не успел я не то чтобы приглядеться, но даже нацелиться на нее своим биноклем, как она скрылась и больше не появлялась.

Верно говорят: душой не гореть — любимую не найти, на гору не взойти — до боярышника не добраться. В этом я убедился на своем опыте.

Мне предложили отойти от дувала и пройти вдоль него. Я понял, что теперь ее

очередь разглядывать меня. В отличие от Чаросхон, я не стал прятаться, а стал позировать. Более того, я сделал два кувырка, кульбит и стойку на руках — из кармана посыпались семечки и курт. За все это я был вознагражден звонким заразительным смехом.

Сердце мое затрепетало от прелестного голоса, душу охватило волнение, и возникло сильное желание увидеть обладательницу этого прелестного голоса.

Почувствовав на себе изучающий взгляд, я кинулся к щели в надежде, что эти внимательные глаза принадлежат моей суженой, и испугал этим женщину, стоявшую по ту сторону стены. Оказалось, что это была мать Чаросхон. Мои кувырки, кульбиты, стойка на руках и яростный прыжок к забору возмутили ее. Так что после смотрин моим бабушкам пришлось доказывать родителям Чаросхон, что я вовсе не агрессивный, а тихий хороший парень.

Я тоже был не удовлетворен смотринами: разглядеть Чаросхон так и не смог, а к тому же занозил правую щеку и весь вечер мне пришлось удалять занозы.

Меня раздрало сильное желание увидеть Чаросхон. Я потребовал у бабушки организовать свидание с ней. А чтобы не было никаких ответных возражений, я поставил вопрос ребром: или я встречаюсь с ней в парке, как обычно принято среди городской молодежи, или вовсе не женюсь. При этом я рассчитывал на дипломатический дар бабушек, способных уговорить кого угодно, даже Бабу-Ягу.

Чтобы избежать новой неудачи, я потребовал свидания с Чаросхон в излюбленном столичной молодежи парке им. Гагарина. Друзья мои, обучающиеся в Ташкенте, рассказывали, что в этом парке встречаются одни влюбленные. Я хотел, чтобы мое первое свидание состоялось как у людей — именно в этом парке — и запомнилось надолго.

— Ишь чего захотел! Да ты думаешь, что говоришь? Кто же позволит своей дочери идти в парк с чужим парнем! — набросились на меня сразу обе бабушки.

— Ничего не хочу слышать! Если не будет свидания, тогда сами женитесь на Чаросхон! — решительно заявил я.

— Сынок, да ты знаешь, какие у нее родители, родственники? Они ведь и слушать не захотят. Ты пойми, что после свидания с тобой — вдруг вы не поженились! — никто не захочет жениться на ней. Все будут смотреть на нее как на распутную девушку, а ее отец уважаемый в кишлаке человек, главный бухгалтер колхоза, — взмолилась бабушка.

Я решительно стоял на своем, потому что был уверен в способности бабушки уговорить даже главного бухгалтера колхоза.

Я не ошибся в бабушках. Ценою больших усилий они договорились о свидании. Родители Чаросхон, однако, настояли на свидании при свидетелях.

Я согласился с этим условием, не подозревая, что число свидетелей может превзойти все мои ожидания.

Свидание было назначено на воскресенье на три часа дня — в самое пекло. Ну кто же назначает встречу в такое время?! Сразу видно, что никто из этих людей никогда не ходил на свидания.

Сегодня только вторник. За эти пять дней, оставшиеся до назначенного часа, я должен был привести себя в порядок, продумать, о чем буду говорить с Чаросхон.

Но думать мне не пришлось: бабушки подготовили несколько вариантов блестящих речей, способных сразить любую непрístupную крепость. Моя задача была выучить их и использовать в зависимости от обстановки.

Я приступил к заучиванию речи. Но вот стричься наголо совсем не хотелось. Меня уверяли, что наголо остриженный и с тубетейкой на голове понравлюсь девушке непременно. Но я в это не верил. Чего уж там говорить о Чаросхон, если даже дурнушка Хасият называла меня Лампочкой, когда я приходил в школу с бритой головой.

Два дня пришлось бороться за свои права. На третий день договорились оставить хотя бы чубчик. Согласившись, я все же подстригся под «полубокс». Родители, конечно, отчитали меня за вольность, но зато родственники сразу причислили меня к ультрасовременным юношам.

Наконец настал долгожданный день. Прежде чем благословить меня на свидание, бабушки потребовали клятвенное заверение, что не буду проделывать кувырков, кульбитов и стоек на руках. Строго-настрога запретили брать девушку за руку, объяснив, что это неприлично.

Я вовремя подошел к назначенному месту у фонтана в парке им. Гагарина и представил, как сейчас придет Чаросхон с двумя подругами и тогда я смогу разглядеть ее и оценить по достоинству бабушкин вкус.

Каково же было мое удивление, когда я увидел, что Чаросхон приехала сюда в сопровождении ну не менее, как мне показалось, ста женщин и возраст их был не менее шестидесяти лет.

Страшно было подходить к ним, но назад дороги не было. Женщины окружили меня и все разом стали что-то объяснять, указывать на что-то. Чувствовал я себя скверно, будто попал в окружение причитающих девиц.

Я не знал, на кого смотреть и кого слушать. Только понял из всего, что самая молодая из них и есть Чаросхон. На все, что они говорили, я положительно кивал головой и отвечал: «Хоп» — как учила моя бабушка. Было шумно, как будто тысячи ворон слетелись сюда.

Самая старая женщина из свиты Чаросхон, оказавшаяся ее прабабушкой, прикрикнула — и тогда все умолкли. Она стала объяснять мне и Чаросхон, как себя вести во время свидания, определила маршрут прогулки. Нас предупредили, что в случае нарушения маршрута девушку тут же увезут.

Одна из старух где-то слышала, что современные юноши и девушки, когда выходят на свидание, гуляют под руку. Поэтому, посовещавшись, разрешили Чаросхон взять меня под руку. Мне же запретили дотрагиваться до нее.

По сценарию свидания, обсужденного и единогласно принятого женским советом, время его, включая все подготовительные и разъяснительные работы, не должно было превышать пятнадцати минут.

— Если что-то будет не понятно во время вашей прогулки, то мы будем рядом и подскажем вам, — сказала прабабушка Чаросхон.

Затем она раскрыла ладонь и закричала «Аминь!» так громко, будто хотела, чтобы ее услышало небо. Потом она стала долго что-то причитать вполголоса, и невозможно было ее остановить, а окружающие повторяли за ней, как попугаи, хоть ничего не понимали.

Когда закончился инструктаж и мы получили благословение, то круг разомкнулся. Нас пропустили вперед шагов на пять. Мы быстро пошли. Едва поспеяв, за нами шла толпа всего лишь — выяснилось! — из двадцати четырех женщин разного возраста и габаритов. А поскольку старушкам трудно было угнаться за нами, то сзади то и дело звучала команда идти медленно. Наши попытки повернуть вправо или влево тут же пресекались возмущенной толпой, требовавшей, чтобы мы шли только прямо.

Позади стоял такой гул, будто кто-то разрушил тысячу пчелиных гнезд. Ни шума фонтана, ни пения соловья — важного атрибута свиданий — не было бы слышно из-за этого шума.

Трудно идти под прицелом двадцати четырех пар глаз. Ноги подкашиваются, а опираться друг на друга нельзя. О планах на будущее вообще не могло быть и речи.

Казалось, что мы с Чаросхон выглядели как две бабочки, порхающие под прицелом птицелова, готового в любую минуту набросить на нас силки.

Но мы не бабочки, потому не могли терпеть издевательств. Когда до конца дистанции оставалось шагов пять, я предложил Чаросхон бежать. Она словно ждала такого предложения. Вдогонку нам летели предупреждения и угрозы. Женщины помоложе пустились было бежать за нами. Ведь не могли же они возвратиться в кишлак без Чаросхон, без дочери такого уважаемого человека. Но куда им! Мы были окрылены, вдохновлены самой богиней любви, и вряд ли кто из них мог догнать нас! Когда мы добежали до станции метро «Пахтакор», никого из преследовавших не было близко. Немного отдышавшись, мы проехали до станции «Дружба народов» и вышли из метро.

Нам было весело и легко. Устроившись в тени зонтиков-тюльпанов летнего кафе, мы наслаждались мороженым.

Теперь я мог без всякой опаски хорошенько разглядеть ее. Ай да бабушка! Ее вкус превзошел все мои ожидания.

Увлеченный индийским кино, я невольно сравнил ее с актрисой Хемой Маллини, игравшей Зиту и Гиту в фильме «Зита и Гита». Чаросхон была очень похожа на Хему Маллини. Но все же красота актрисы тускнела перед красотой Чаросхон. Она была прекрасна!

Мы прошли еще немного, а затем отправились домой. Мы знали, что дома нас ждут розги. Но после такого прекрасного вечера мы были готовы вынести все пытки ада.

Дома я выслушал столько упреков и обвинений, сколько не слышал за все свои двадцать лет.

— Это позор — убежать с девушкой от свидетелей! Никогда в нашем роду не было такого! — кричала бабушка. — Ты опозорил девушку и весь наш род! После такого позора ты обязан жениться на ней!

Я объяснил, что она мне нравится, что мы и собираемся пожениться... Ну, если мне так досталось — то представляю, каково было Чаросхон!

Зато после этого свидания мы могли открыто встречаться. Первое свидание меня многому научило, а главное — убедило, что за счастье надо бороться.



Элleston Тревор

Перевод с английского Г. Грубмана

# Полет «ФЕНИКСА»

РОМАН<sup>1</sup>

ГЛАВА 9

Металл обшивки был холодный. Белами постоял около него с минуту, прикоснулся языком, как бы пытаясь извлечь влагу, но поверхность была суха. До этого он так же пробовал шелк навеса, но и он был сух. Ночью ветра не было.

Край восточного горизонта осветился. На руке саднил ушиб. Когда освободили крепление крыла, под его тяжестью сломались козлы и сшибли его с ног.

На песке распростерся Кроу, оставив взгляд в светлеющее небо.

Белами улегся рядом.

— Росы нет, Альберт.

— Не было ветра, нет росы.

У Кроу ныло все тело, рот ссохся. Дважды за прошедшую ночь он спускался в салон, находил свою бутылку, брал в руки, встряхивал, прислушиваясь к идущей изнутри музыке, но всякий раз удавалось пересилить себя и не прикоснуться к пробке. Новая выдача из аварийного бака будет на рассвете. Вместе с собранным вчера дополнительным галлоном воды осталось на пять суток — по пинте на каждого. Но и думать нельзя о том, чтобы залезть в завтрашнюю норму, потому что если больше не случится росы, это — конец. Пять суток по одной пинте, еще два дня вообще без воды, и — конец.

А Стрингер сказал, на все уйдет тридцать дней.

— Ты ел финики, Альберт?

— Верблюжий корм не по мне. Не могу проглотить.

Сержант обошел крыло и упал на песок рядом с ним.

— Привет, радость моя, — сказал Кроу. Ответа не последовало.

<sup>1</sup> Окончание. Начало в № 1.

Лумис стоял у хвоста, наблюдая, как луч света серебрит горизонт. За считанные минуты свет стал багровым и окрасил дюны — враг пробуждался. Лумис видел, как улегся на песок Уотсон. Вчера вечером, перед началом работы, Лумис подошел к сержанту.

— Понимаешь, — попытался он втолковать парню, — этот шанс мы должны испробовать все вместе, а не кое-кто из нас. Ты один из самых крепких. Понимаю, дело не в том, что ты боишься тяжелой работы...

Сержант зарывал в песок свои босые ноги, обдумывая ответ.

— У нас только один шанс — затаиться и не шевелиться, а если и это не спасет, то ничто уже не спасет. Послушай, я — в армии, понял? Завербовался на следующие десять лет, и не спрашивай, почему я это сделал. У меня квартира на Фэнхем Ист, рядом с газовым заводом. Это единственное на свете место, куда я могу сунуться, — там живет моя теща и вся чертова жена родня. Если бы у меня была с собой ее карточка, я бы ее тебе не показал. Она весит за сто кило, а волосы, как растрепанный веник, не говорю уж о голосе. Слава богу, у нас нет детишек.

Глядя в глаза Лумису, он засомневался, можно ли все это выразить словами.

— Я в армии скоро уже девятнадцать лет. Видел войну и все такое, а потом меня пинали по всему свету люди вроде этого Харриса — слышал его вечное «Сержант Уотсон!»? Он и другие ублюдки так погоняли меня, что — веришь? — я сыт всем по горло. А теперь скажу тебе кое-что такое, что тебе покажется смешным. Я в отпуске. В отпуске с того самого момента, как мы сюда свалились, понял? Я не в армии, и Харриса тут нет, и нет никаких других дел, кроме как сидеть без ботинок с утра до ночи и вспоминать всех женщин, с какими имел дело. А если нас не найдут и такая моя судьба, то я умру спокойно. И хочешь знать еще? У меня при себе пятьдесят монет. Сойдут за обратный билет, дополнительный, конечно, а? Я ведь первый раз провожу отпуск не на этой занюханной Фэнхем Ист, где меня ждет с протянутыми руками весь выводок. Пятьдесят монет, и не на что их тратить, здесь-то! Подумать только! — Он дернулся всем телом, между истертыми кривыми пальцами ног засочился песок. — Прямо как миллионер в отпуске!

Лумис возразил:

— Но если мы построим этот самолет, ты ведь будешь его пассажиром? Что скажешь на это?

Ответ у Уотсона был наготове:

— А что, разве я не платил за билет?

Выход нашел Моран. Они работали, вытаскивая монорельс и лебедку, отпуская большие полуторадюймовые гайки крепления крыла, строя козлы из поломанных лонжеронов и устанавливая их на камнях, на которые наткнулся при посадке «Скай-трак». Но для того чтобы извлечь основание крыла из зажимов, сил не хватало. Рельсовый рычаг мог повредить стойку основания — он, таким образом, исключался.

И хотя было уже полночь, они обливались потом. Так прошел час, пока Моран не направился в салон и не растормошил крепко спящего сержанта.

— Пойдем, Уотсон, быстрее, — шепотом, чтобы не разбудить Кепеля, командовал он.

— В чем дело?

— Шевелись!

Тилни тоже проснулся и побрел за ними, прислушиваясь к разговору шедших впереди мужчин. Моран говорил:

— Я мобилизую вас на эту работу. Обоих. Это приказ.

— Эй, послушайте...

— Молчать, Уотсон!

В дюнах отозвалось эхо последних слов. Они присоединились к работающим. Моран объявил:

— У нас прибавилось двое. Попробуем еще раз.

Козлы сломались, но к двум утра крыло было свободно, и они начали долгую и упорную борьбу за то, чтобы перетащить его по песку, двигая то за край, то за основание, разравнивая лопатами песок, взрыхляемый крылом, пока Лумис не догадался упереть рельс в выгнутую стойку шасси с левой стороны и тащить лебедкой. Они по очереди сменяли друг друга у шестерни с туго натянутым стальным тросом, а остальные, по дюйму за раз, подтаскивали крыло, пока оно не легло на песок там, где указал Стрингер.

Отдохнули и поели фиников. У кого в бутылке оставалась вода, допили ее или сделали по глотку. Остальные попытались отвлечься посторонними мыслями.

Моран, в непокое своих мыслей, повторял про себя, что человека нельзя принудить умереть, но надо заставить его жить, если он не способен заставить себя сам. Но его аргументы содержали в себе фальшивую ноту: это было древнейшее оправдание всех диктаторов — войны всегда велись ради «блага народа», и Уотсона он привлек в упряжку прежде всего ради общего блага, потому что они нуждались

в его физической силе. Он сыграл на слабости этого человека: без команды Уотсон предпочел бы плыть по течению.

Всю ночь он работал усердно, как и все другие, не сказав ни слова. И сейчас обессиленный лежал на песке.

Взошло солнце, и кожа сразу же ощутила его жар.

— Погасите чертов фонарь,— сквозь дрему пробормотал Кроу.

Дейв Белами наблюдал, как дюны в кроваво-красном ореоле обретали очертания полумесяца.

— Какая тишина,— невольно залюбовался он. Что-то мертвое чудилось в этом молчании.

— Это после дрели,— пояснил Кроу. У них в Джебеле поселок находился в миле от вышек, поэтому никогда не прекращавшийся гул буровых спать не мешал. Бурильщики дошли до глубины двенадцати тысяч футов, а порода все еще оставалась сухой. Прекратить бурение решили на тридцати тысячах, если нефти не будет. И он сейчас подумал о том, суждено ли ему или Кроу снова увидеть Джебел.

Перед ним разворачивался рассветный мираж: в горловине между дюнами стояло зеркало ярко сверкавшей воды, уходившей за горизонт. Слава богу, не было ни пальм, ни белостенных фортов. Видение воды было нормальным: свет, отраженный под тупым углом от блестящих песчинок. Когда тебе начинают мерещиться другие картинки, считай, что ты уже «поехал». Он поднялся.

— Ты куда?

— За дневником.

Кроу пошел с ним. В салоне сидел Тилни, и Кроу у него осведомился:

— Что стряслось, сынок?

— Ничего. Хотел с ним поговорить.— Он указал на Кепеля.

— Оставь его в покое.— Кроу как-то слышал рассказы о тибетцах, что они могут вылечивать почти все болезни сном и голоданием; этому бедолаге ничего другого не остается, как только спать, а из еды одни финики, но к ним он не прикасается.

Пока Белами писал в своей тетради, Кроу сидел с обезьянкой. Бимбо дрожал уже не так сильно, но его глазки оставались странными: то надолго закрывались, то внезапно распахивались. Кроу прижал его к плечу, и Бимбо уцепился ему в волосы. Слышно было, как бьется его крошечное сердце.

— Запиши,— вдруг припомнил Кроу,— как прекрасно было на вечеринке, пока не кончилась выпивка, а Мейбл свалилась с лестницы, возомнив, что она фея.

— Заткнись,— оборвал его Белами.

— Как некультурно, а, Бимбо?

«Первая ночь. Все проработали целую ночь, почти сорок восемь человеко-часов, неплохо. Крыло снято и готово к установке, но бог знает, как мы это сделаем. Надежда только на Стрингера. Росы не было, поэтому пределом остаются пять суток, если мы сможем держаться на пинте в день, но как это получится теперь, когда мы работаем?»

Вчера вечером пролетело несколько стервятников, остается надеяться, что они ничего там не увидели».

Он упомянул об Уотсоне, но забыл написать о козлах и своей ушибленной руке. Заметил, что почерк стал неряшлив — на это он всегда обращал внимание. Это его обеспокоило.

Когда Таунс и Моран вошли в салон, чтобы отмерить очередную выдачу из водяного бака, Кепель открыл глаза.

— Как там новый аэроплан? — поинтересовался он. — Ему ответили, что все идет великолепно. — Я хотел бы помогать вам. Я мог бы вертеть ручку генератора. У меня сильные руки.

Таунс наполнил его бутылку. В салоне было еще холодно, но светлый пушок на лице юноши блеснул от пота, а глаза были тусклыми.

— Старайся быстрее поправиться, малыш. Так ты лучше всего нам поможешь.

Если новый самолет когда-нибудь будет построен, раненого нужно будет перенести так, чтобы не убить. В аптечке была отложена последняя доза морфия — на этот случай.

Кепель попросил бумаги. Ему протянули пачку незаполненных бланков полетных рапортов. Лумис дал свою ручку. Один за другим они отходили от него, нетерпеливо держась за горлышки бутылок, хотя и делали вид, что не торопятся. Каждый понимал, что другого жажда мучит не меньше, чем его, и от этого испытывал смущение, словно ему предстояло нечто слишком интимное, чего не должен видеть никто.

Лумис направился в кабину управления, где был установлен рычаг генератора. Он плотно притворил за собой дверь, воспользовавшись этим как предлогом, чтобы избавить Кепеля от лишнего шума. Белами сделал свое дело добросовестно — прежде чем подвести провода к батареям, пустил их через амперметр на приборном

щитке: щелчок рычажка давал постоянные четыре ампера. Для тени укрепил над окнами металлические листы и даже соорудил из четырех пластин, соединенных со шкивом, небольшой вентилятор для оператора. Рычаг поворачивался легко — труднее было поверить, что, вертя его, можно будет в один прекрасный день попасть в Париж и не опоздать.

Час его дежурства еще не минул, когда снаружи закричал Моран, стуча по корпусу:

— Останови генератор! Стой!

Раздались и другие голоса.

Пробежав через весь самолет, он выпрыгнул в дверь. Все выбрались из-под навеса, стояли в полной тишине. Задрав головы, прикрывая руками глаза, они вглядывались, вслушивались в шедший с неба высокий, едва пробивающийся звук самолета.

## ГЛАВА 10

Белами первым добежал до лотка, где лежала промасленная тряпка, и, ломая спички, наконец, поджег ее. Черный дым полз вверх сквозь нагретый воздух. От пристального вглядывания в небо из глаз брызнули слезы, его ослепило.

С ракетницей бежал сержант Уотсон. Его остановил Таунс:

— Стой, не стреляй!

Кроу и Лумис поднимали отражатель гелиографа, ища положение, при котором лучи захватят всю его поверхность. Тилни изо всех сил семафорил прикрепленной к палке полосой парашютного шелка. Без дела стояли только трое. Стрингер, Таунс и Моран. Приложив к глазам козырьком ладони, они всматривались в белое марево раскаленного небосвода. По их щекам текли слезы.

Дым взбирался вверх толстым черным столбом, его остроугольная тень указывала на то, что было позднее утро. Звук самолета едва доходил. Таунс и Моран касались друг друга плечами.

— Четырехмоторный.

— Высокий потолок, идет с севера на юг.

— Каир — Дурбан.

Звук доносился с востока.

Тилни взывал к небу несвязными словами мольбы, махая своим семафором до тех пор, пока не распушились края ткани. Из салона слышался голос Кепеля. Он спрашивал, что случилось, но ответить ему было некому.

— Не вышло, Фрэнк.

— Не вышло.

Сели на горячий песок, прикрывая лица руками, осушая глаза, все еще ослепленные.

— Хватит, — подал голос Таунс. — Достаточно.

Они побрели в тень.

— Он нас не заметил, — бормотал Тилни, — не заметил.

Рокот не совсем стих, и Таунс прислушивался еще минуту, пока не возвратилось великое молчание пустыни. И опять они остались одни.

— Они нас не заметили бы, — медленно резюмировал он, — даже если бы мы подожгли самолет. — Он потрогал бороду. — Они шли на высоте тридцать тысяч футов. Держат свой курс, идут по графику, на борту полный порядок, разве что скучновато. Сейчас вызовут стюардессу и попросят кофе, чтобы развеять скуку. Уже сегодня вечером будут принимать душ в новом отеле «Хилтон» в Дурбане, а а потом выйдут прогуляться. — Он снова глянул в небо, открыв покрасневшие веки. — Удачи вам, ребята... и удовольствий.

Белами загасил тлеющую тряпку. Уотсон разрядил и упрятал ракетницу.

— Они нас не заметили, — тихо стонал Тилни.

— Как, черт побери, это возможно с тридцати тысяч футов? — Таунс увидел искаженное болью лицо парня и смягчился. — С такой высоты они не заметили бы нас, даже если бы специально искали. Забудь об этом.

Как ни странно, всплеск несбывшейся надежды не сменился подавленностью. Когда все лежали в тени, пытаясь уснуть, Моран высказал их общее чувство:

— Приятно хоть несколько минут побыть в обществе.

Мейбл будет волноваться.

Очевидно, было сообщение по радио. Сообщат и в газетах, потому что это был

самолет британской компании. Если и велись поиски, то к настоящему моменту «Скайтрак» уже считают без вести пропавшим.

Он не хотел, чтобы волновалась Мейбл. И иного выхода, кроме как выбираться отсюда как можно скорее, не было.

На лицо упало несколько песчинок. Шелк навеса вздулся огромным пузырем и снова упал. Белое было теперь зеленым — он носил солнечные очки, которые сделал ему Белами. Белами не мог ни спать, ни отдыхать — разве покимарить час-другой за сутки. Из разбитого флексигласа с крышки он вырезал три пары солнечных очков. Если им предстоит услышать еще один пролетающий самолет, то будет хоть какой-то шанс разглядеть его и от этого немного взбодриться.

Работал генератор. Дежурство Уотсона. Жалобный стон генератора действовал на нервы.

Шелк трепетал, как парус, по обнаженной руке били песчинки, но воздух не становился прохладнее. Если встать на солнце, то можно ощутить, как жара высасывает из тела влагу. Чем-то напоминает смерть от потери крови.

Он потянулся за бутылкой, взболтал ее, прислушиваясь к музыке. Осталась половина. Четыре часа. Еще пятнадцать часов до следующей выдачи. Рот, как кусок угля.

Песчинки попадали в лицо, и он отвернулся. Огляделся вокруг. Лумис, Таунс, Моран, жалкий бедняга Тилни — боже, все они похожи на мертвецов. Вот кем они станут, когда кончится... заткнись, Альберт.

Прихватив с собой дрель, Белами вышел наружу и посмотрел на небо. На юге горизонта не было: дюны вздыбливались песком. Из-за крыла появился Стрингер, блестя стеклами очков. Он тоже смотрел на юг.

Кроу проснулся, когда затрепетал на ветру шелк. Зашевелились и другие, сметая с лиц песок.

— Дейв!

— А?

— Поддувает, — Кроу потянулся за сигаретой и вспомнил, как читал в «Дайджесте», что, пока отвыкнешь от того, к чему привык, должно пройти три месяца, потому что человек — существо привычки, говорилось там.

...Песок омывал ноги Белами, он проворчал: «Еще повезло». Таунс и Моран снимали навес, Кроу и Белами помогали. Лумис растолкал и мягко поставил на ноги Тилни. В этот момент воздух стал желтым, а земля задымилась. Ветер в полную силу погнал песок с окрестных дюн. Они едва слышали друг друга, когда удушающие порывы ветра громыхали ослабленными листьями обшивки. Что только смогли второпях найти в самолете — провод для крепления груза, чехлы сидений, запасной парашют, тем и укутали воздухозаборник левого мотора, лебедку, оголенный зев правого крыла. Тем временем Моран, скользя по облепленной песком металлической обшивке крыла, забрался на мотор и закрыл заслонки.

Жаркий ветер сбивал с ног, песок ослеплял. Мимо самолета пронесся, крутясь и разбрызгивая масло, лоток с тряпкой для дымового сигнала, а вслед за ним листы рваного металла, из которых выкладывали «SOS». Блюдо гелиографа ударило о хвост. Солнце скрылось, оставив после себя темно-охристый мир без неба и горизонта.

Ссутулившись и шатаясь, все убежали в укрытие самолета, заперли дверь, слезами очищали глаза и пытались — без слюны — выплюнуть забившийся в рот песок. Сидели и ждали, слушая грохот обшивки и шорох песка.

Ждать пришлось три часа. Выйдя из нагретого салона, они оказались под звездами и в полной тишине. Темнота прогнала ветер и возвратила привычный мир: округлости дюн, длинную тень тускло блестящего крыла, силуэт гондолы.

— Смотрите! — крикнул Лумис, и все повернулись. Низко над западным горизонтом висела искривленная игла молодой луны.

На волюние нужно загадать желание, вспомнил Альберт Кроу. Воды, подумал он, воды.

— Начнем, что ли, — сказал он.

Стрингер повел всех на работу.

«Вторая ночь. Все пошло наперекосяк, но кое-что удалось сделать. Пишу это в четыре утра. Боюсь, что могу что-нибудь упустить, а кому-то, если он это прочтет, может, интересно будет узнать, какие мы прилагали усилия, хотя и безуспешно.»

Белами с большой осознанностью относился к тому, что писал, и не упоминал о жажде. Само собой разумеется, что теперь писать было легче, чем говорить: свистящие и хриплые слова, сходявшие с опухшего языка и иссохших губ, делали неузнаваемым собственный голос.

Час ушел на то, чтобы очистить песок, и еще час, чтобы найти и откопать камни, на которые прошлой ночью ставили козлы. Приняв дневную зарядку от генератора,

батареи давали хорошее освещение. Установили высокий столб и подвесили на нем лампочку; можно было наблюдать, как вместе с ними работали их тени на песке.

Стрингер снова оживился. Ничто в течение долгого тревожного дня не побуждало его к речам. Теперь все, что было нужно, он высказывал Морану, решив для себя, что ему легче общаться с одним человеком, чем со всеми вместе.

— Левое крыло будем передвигать на двух козлах, чтобы не упало, когда отделим гондолу от фюзеляжа. Внутренние крепежные болты я уже отсоединил, так что особых проблем нет.

Морану осталось только напомнить им, что они люди с весьма уязвимым телом:

— Смотрите не стойте под крылом, когда отделится гондола,— вдруг сломаются козлы.

Но даже он забыл о Кепеле, и когда гондола, скрежеща рвущимся металлом, оторвалась от фюзеляжа, раздался пронзительный крик юноши.

Первым до салона добежал Кроу, на бегу успокаивая Кепеля:

— Все в порядке, сынок, все в порядке...— Он притронулся к его сухой холодной руке, осветил фонариком, увидел только неясные очертания бледного лица.— Все идет по плану, ничего не случилось, сынок.— Но сначала надо было предупредить его! Господи, почему не предупредили!

— Я в порядке...— Слова давались парню с трудом, дыхание было свистящим, глаза лихорадочно блестели. Никто не присоединился к Кроу, пока он успокаивал Кепеля. У двери остановился, подняв голову к звездам, Лумис. Ему было невыносимо стыдно: ведь ясно же было — когда гондола оторвется от фюзеляжа, самолет затрясется. Он слушал, как говорит Кепель, и сила, звучащая в его слабом голосе, невольно вызывала у Лумиса восхищение — впрочем, он тотчас смутился от невольного своего чувства.

— Это произошло, когда я спал. Поэтому я не понял, что происходит... Если я кричу, то это из-за кошмарных снов. У меня бывают иногда кошмары,— словно оправдывался Кепель.

Слишком горд, чтобы признаться в собственном страхе. Они молча ушли. Все это время Стрингер изучал открывшуюся часть гондолы.

— Повреждений нет,— бесстрастно констатировал он. И Моран в этот момент ненавидел его. Все молча ждали указаний, но никто не обращался непосредственно к Стрингеру. Тот проверял козлы, не замечая собравшихся вокруг людей, потом сказал обычным монотонным голосом:

— Придется отодвигать весь самолет, если не сможем поднять правое крыло и установить его сверху фюзеляжа.

Никто не возразил, да он бы и не услышал ответа. Все наблюдали, как он взбирается на крыло, энергичный, с головой ушедший в дело, забывший о жаре, холоде, жажде или чужой боли. Под тяжестью его тела просели козлы.

А они не очень-то надежны, подумал Кроу. Если сломаются, он свернет себе шею. Вот смеху будет.

Пользуясь, как нивелиром, куском трубы, Стрингер сопоставлял высоту крыши и основания, куда нужно было подвести правое крыло. Дважды перепроверив, спустился. Глянул в сторону Морана.

— Мы сможем поднять крыло по этой стороне фюзеляжа — сначала запрокинуть, а потом с помощью лебедки поднять основание. Полагаю, вам понятно, что я имею в виду.

В белом свете лампы Моран обдумывал предстоящие работы.

— Если только выдержит крыша самолета,— засомневался он.

— Она прогнетса, но не сильно. Это лучше, чем двигать на новое место сначала все крыло, а потом гондолу.

— Справедливо. Всем все ясно?

Начали перетаскивать на другую сторону лебедку, а Лумис пошел к Кепелю.

Сначала будет немного шума и скрежета, но, думаю, самолет больше качаться не будет.

Кепель писал. Он исписал оборотные стороны двух полетных рапортов.

— Я в порядке,— повторил он спокойно,— благодарю вас. Не беспокойтесь обо мне.

Под золотистым пушком светилось мертвенно-бледное лицо, глаза тускло блестели в свете лампочки, которую они установили для него. Лумис понял, что мешает. Должно быть, пишет длинное письмо родителям. Он ушел.

Прошло два самых холодных часа ночи. Руки немели от ледяного металла, до волдырей обжигающего в дневные часы. Дважды заматывался трос лебедки. Его распутывали. Немного удалось приподнять с песка крыло, как снова соскользнул трос, и в крыле, ударившемся о козлы, пробило дырку. Работали почти без слов, Стрингер вовсе молчал. Перерывов не делали. Попробовали выровнять край крыла стальным рельсом, но сил не хватало, и крыло соскальзывало с десятков раз. Вдруг громко вы-

ругался Таунс: когда в очередной раз сорвалось крыло, ему ободрало руку от локтя до запястья.

Стрингер командовал, а они перетаскивали по песку крыло на другую сторону, протянув трос через крышу фюзеляжа. По мере подъема груза корпус самолета искорежило, но Стрингер оказался прав: его вмяло только до ребер жесткости, а они устояли.

К рассвету крыло уложили наискось на продавленной крыше кабины управления — концом вниз. Дальше тащить его лебедкой было невозможно. Попробовали перетаскивать вручную. Первым обессилел Тилни: шатаясь, упал на песок. Белами растянул сухожилие. Остальные сидели в полной прострации, сложив руки на коленях, со свистом втягивая воздух пересохшими губами.

Стрингер сказал:

— Надо сделать еще одни козлы и поднимать рельсом за край, постепенно козлы наращивая.

Горизонт побелел. Скоро появится солнце, а вместе с ним жара. Не было нужды ощупывать металлический корпус: если бы выпала роса, то ночью был бы иней. Инея не было.

— Надо построить козлы,— бесстрастно повторил Стрингер.

Таунс промолчал. Он не верил, что они смогут двинуть это крыло, не разрезая его. Сил не оставалось.

— Должен ли я объяснять в деталях? — настаивал Стрингер.

За всех ответил Кроу:

— Нет, Стринджи. Сходи пописаи и дай нам пару минут передохнуть, будь хорошим мальчиком.

Только Лумис заметил выражение лица Стрингера в этот момент. И сразу понял, что произошло нечто очень серьезное.

Веретенообразное туловище натянулось, руки вытянулись вдоль тела; стекла превратились в два светоносных пятна на затемненном лице. Он надвинулся на Кроу и срывающимся от гнева голосом выдал:

— Меня зовут Стрингер. Пожалуйста, запомните. Стрингер.

И резко зашагал к самолету, закрыв за собой дверь.

## ГЛАВА 11

Пел сверчок, кружился в голубом небе и пел. Он пытался поймать его и съесть, когда тот садился, но прижатая к земле рука не слушалась, и опять трещал сверчок. Насекомые разбивались о дверь, и мальчишки-арабы подбিরали их и тащили жарить. Они способны съесть что угодно. Даже жареную саранчу. Тошнит.

Теперь сверчок тикал, над ним поднималась и медленно падала белая стена, снова вставала и падала. Он закричал. Хотел убежать, но тело не слушалось из-за жары, и в абсолютном белом безмолвии на него обрушилась белая стена, и он опять крикнул.

— Дейв, — послышался чей-то голос.

То был Кроу — по другую сторону стены. Он звал его.

— Дейв, приди в себя!

Болела ссадина на руке, жгло растянутую мышцу на спине. Падала и поднималась белая стена вместе с волнующимся на ветру шелковым пологом. Он открыл глаза. Под ухом тикали часы. Шевельнул рукой и почувствовал резкую боль.

Рядом сидел Кроу.

— Полдень, — сказал он. Покрасневшими глазами и носом-клювом он походил на птицу.

— Что?

— Надо зажечь факел.

Остальные спали. Кто-то дежурил у мерно стонавшего генератора. Очевидно, Таунс,—рядом его не было.

— Пошли.

Пошатываясь, отлили немного масла из правого двигателя. Для фитиля воспользовались обрезком чьей-то брючины. Дым поднимался под углом к западу — опять ветер дул не с севера, не с моря. Сквозь горячие волны золотистого воздуха нетвердо зашагали обратно в тень хвоста. Белами хрипло сказал:

— Придется просить Таунса, чтобы увеличил норму.

— Дело ваше. Я просить не могу. Я ведь делюсь с беднягой Бимбо.

— Боже мой! Осталось всего на четыре дня. — Десять минут, которые они провели на солнце, вызвали сильное потоотделение. — Если все мы решим увеличить рацион, то хватит только на три.

— Я обещал Робу, что присмотрю за Бимбо.

Они заметили, что Стрингер чем-то занят в тени установленного на козлах крыла. Он стоял на плоском камне. Никто не видел его спящим.

— Он не человек, — сказал Кроу. Он так и не понял, что же все-таки произошло сегодня на рассвете. Ни с того ни с сего Стрингер надулся как гусь.

— Чего это он? — спросил Альберт у Белами.

— Ты же назвал его «Стринджи».

— Я? А что мне, лордом его величать?

— Он чувствительный.

— Да ну?

Чувствительный? В это трудно было поверить. Должна быть какая-то другая причина. Он даже не помнил, как сказал это слово. Он нагнулся, чтобы перевести дух, а над ним все скрипел нудный голос Стрингера, вот он и сказал ему, чтобы пошел пописать, и больше ничего. Его бы на пару днейков в Джебел, где так окрестят... Только не ублюдком. Это ругательство почему-то не любят. Но никто ведь его так не обозвал. Чего же он нагрелся?

Кроу опять прилег и попробовал уснуть, но сна не было. В час дня пошли гасить факел. Остатки дыма поднимались вверх. Ветер замер, и опять застыл шелковый тент над головой.

— Может, помочь Стрингеру? — предложил Белами.

— Ты что, рехнулся? — Кроу опять вытянулся в тени. — Если мы не перестанем потеть, это конец! Знаешь что? Последний раз я мочился вчера утром. Мы засыхаем, Дейв. Рано или поздно ссохнемся.

— А Стрингер — не человек?

Стон генератора прекратился, и из самолета вышел Таунс. Весь в поту, он упал на песок рядом с Мораном. Монотонное верчение шкива усыпляло. Теперь в кабине управления можно было только сидеть, потому что крыло сильно подмяло крышу. Его беспокоил запах горячего: то ли разорвали один из баков, когда передвигали крыло, то ли на жаре разошлись клапана. В кабине был постоянный запах, а щетки динамо искрились. Сидя у генератора, он мучил себя кошмарами: если произойдет загорание, то взорвется бак в крыле, лежащем прямо на крыше, и, прежде чем они успеют пустить в ход огнетушители, пламя охватит весь самолет. Не станет последнего укрытия. И был еще Кепель, которого нельзя трогать с места. У сержанта Уотсона есть пистолет. К нему и придется прибегнуть, прежде чем огонь доберется до мальчишки.

Из-за работ с крылом Кепеля придется все-таки передвинуть: в любой момент возможна случайная искра от трения. Прошлой ночью слышно было, как плещется горячее в баке. При этом все время терся трос лебедки. Но слить горячее некуда, кроме как в левый бак, а это удвоит вес с одной стороны — тогда не выдержат козлы.

Немецкого мальчика двигать придется, а это его убьет. Снова откроется кровотечение, и он потеряет и кровь, и влагу: с потерей крови автоматически увеличивается жажда. Кепель и сейчас выпивает по полторы пинты в сутки. Так что с этим ничего не поделаешь. Остается вдыхать пары, сидя в кабине, а если этому суждено случиться, то придется прибегнуть к пистолету сержанта.

Моран спросил:

— Чья очередь, Фрэнки?

— Белами.

— Я позову его.

Первые два часа помогал свет новой луны — смягчал тени, отбрасываемые лампой. Они подперли рельс самым большим камнем и подставили под середину крыла козлы, так что к полуночи конец его был уже на высоте человеческого роста. Отдыхали, не вступая в разговоры, потому что от прикосновения к зубам болел язык, а губы стали малоподатливы.

Едва успели возобновить работу, как увидели, что со стороны пустыни кто-то приблизился к освещенному кругу и упал на самом его краю. Кроу бросился на помощь и, узнав лицо, выдохнул: «Боже!»

Лицо было обожжено, между высушенными губами торчал черный язык. Тело распласталось на песке, только рука тянулась вперед, к свету.

Подошел Лумис.

— Кто это?

— Капитан Харрис.

Его уложили в салоне на двух сиденьях, укрыли куртками и велели Тилни, как самому слабому, присматривать за ним. Таунс наполнил бутылку, поднес к сморщенному рту и вливал воду, пока не открылись глаза. Харрис тупо уставился на них. Вцепившись в бутылку, издал устрашающий горловой рык. Немного воды пролилось, пришлось силой отвести руку.

Они спрашивали только одно: где Робертс? Капитан глухо прохрипел: «Потерялся».

В пустыне потеряться — значило умереть.

Продолжая работать рядом, ни Белами, ни Кроу не заговаривали. Оба знали Роба почти год. В поселке нефтяников это большой срок. Трудно было забыть лицо капитана Харриса, то, как он смотрел на освещенную площадку. Такими в недалеком будущем станут они сами.

Тилни вздрогнул, увидев в двери самолета сержанта. Станным голосом Уотсон сказал:

— Выйди на минутку, сынок, помоги там.

Оставшись наедине со своим офицером, он наклонился над ним, пристально вглядываясь в испеченное лицо. Он не смог сдержаться и пришел поглядеть на этого человека, чтобы потом вспоминать его в теперешнем состоянии, — полумертвого и беспомощного. Харрис вернулся совсем другим.

Даже и сейчас изо рта его, казалось, готов был вырваться окрик — сержант Уотсон! — но он лежал, как его положили, на двух сиденьях, с закрытыми глазами и ободранными веками. Совсем мало нужно, чтобы никогда больше не услышать этот голос. Сержант сидел, раздумывая об этом и вспоминая прежнего Харриса. Он высказал бы сейчас все ему прямо в лицо, но здесь этот мальчишка-немец, а он понимает по-английски.

И он только мысленно выговаривал в это лицо все, что было на уме. Выговорившись, вышел наружу.

Они работали, пока солнце не окрасило самолет. Весь прошлый день они вслушивались в направление ветра. В первом утреннем свете стали оглядывать окружающие дюны, надеясь увидеть иней. Но поверхность крыла была сухой.

Капитан Харрис лежал с открытыми глазами и уже осмысленным взглядом. Он попробовал заговорить, но Лумис сказал, чтобы он немного подождал. Им и самим было трудно говорить, пока не разделят воду.

Когда наполнили бутылки и они немного отпили, Белами обратился к Таунсу:

— Норма недостаточна, верно?

В красноватом рассвете они избегали смотреть друг другу в лицо. У всех шелушилась кожа под щетиной, вокруг ртов сложились старушечьи складки.

— Надо, чтобы хватило. Росы ведь не было. — Таунс не добавил к этому, что возвращение Харриса сократило их время. Не сказал, что в баке осталось меньше воды, чем должно быть. Не так просто выразить все это словами. На кран замок не повесишь, но если Харрис останется в сознании, ему можно будет вменить в обязанность сторожить бак.

Они повалились в тень на песок и тотчас уснули. В полдень Харрис натужным шепотом начал свой рассказ, часто прерываясь и снова делая над собой усилие.

— Случилась песчаная буря... вчера. Мы проделали большой путь, все время на север, в первую ночь... но он растер ногу... Робертс... пятку. Она сильно кровоточила, и мы шли медленнее... Мы решили идти днем, но напрасно, слишком сильно потоотделение — потом начала протекать моя бутылка, под крышку попал песок. Я думал, крышка плотная... за ночь почти все вытекло... Мы поделались... увидели мираж, шли к нему три часа под солнцем... думали, что видим траву, уверены были... ее не оказалось. Страшная жара днем, никакого укрытия...

Пока он рассказывал, все смотрели себе под ноги или поверх его головы в окно — на черно-белые в полуденном мареве дюны. Один Тилни уставился на капитана, с ужасом осознавая, что это такое — в полном одиночестве идти по пустыне.

— Мы начертили карту... для собственного успокоения... отметили самолет и ближайшую группу оазисов, как мы себе ее представляли... эту карту унесло ветром... — На изможденном лице и сейчас было написано крайнее удивление, неспособность поверить в то, что произошло. — Во время бури карту унесло ветром... И Робертс пошел ее искать. Я пытался вырыть в песке яму, копал руками... невероятно... — невероятно... что там было! Когда он не вернулся, я долго кричал, ходил на поиски... видимость была не больше нескольких ярдов... все кругом, как в дыму, — залепляло глаза. — Откинув голову, Харрис стукнулся затылком, высунул по привычке язык, чтобы облизать губы. — Он должен... должен был вернуться... должен был слышать, как я кричу, иначе... виноват я... я виноват...

Итак, ветром унесло клочок бумаги, вот и все. Такова пустыня. То же случилось и с Джо Викерсом в Джебеле — прошел пять миль во время бури и не заметил ни освещенную вышку высотой в двести футов, ни поселок.

Буря, которая была здесь два дня назад, выходит, унесла Робертса.

— Было уже темно, когда буря стихла, но я искал его по квадратам, ориентируясь по звездам и считая шаги... потом понял, что он направился обратно к самолету, когда догадался, что потерялся... Я повернул к югу... по звездам, надеясь догнать его. Никаких признаков. Увидел ваш дым... спасибо вам... самую верхушку. Теперь уже без воды, вся кончилась... его бутылка была, конечно, с ним. Днем миражи, но я держался... не

позволял себе обманываться... и много спал. Шел к югу по звездам... думаю, часто сбивался с курса. Перед глазами огни, знаете, как это бывает, когда... кажется, искры летят из глаз...

— Да, — подтвердил Таунс. — Знаем.

Лумис тоже слышал об этом: как увидишь яркие огни — это конец.

— Я думал, это мираж, свет... а это был... ваш свет... тот, который зажгли вы! Единственный мираж, который я себе разрешил... — Он снова откинул голову и закрыл глаза.

Минуту спустя Моран спросил:

— А Кобба вы не видели?

— Кобба... — его глаза оставались закрытыми. — Да, да, теперь ясно. — Он задрожал. — Так это был Кобб? Бедняга! — Не в силах смягчать слова, сказал: — Его обглодали. Голый скелет. Я подумал, это случилось давно. Теперь вспоминаю... Я видел стервятников, два дня назад. — Он уставился в пустоту широко открытыми глазами. — Робертс не вернулся? — И снова повторил, как будто вопросительная интонация таила надежду: — Он не вернулся?

— Пока нет, — ответил Лумис. — Будем ждать.

Рука капитана ощупывала колени, словно пытаясь унять их дрожь, глаза снова прояснились, узнавая знакомые лица, рот скривился в нелепой улыбке.

— Уотсон... вы все еще с нами...

Сержант отвернулся. Остальные, смущенные видом капитана и его жутким рассказом, молчали.

— Я виню себя... за Робертса... Смотрите получше, вдруг он придет. — Было слышно, как трется язык у него во рту. Таунс налил ему полбутылки. Чтобы не пролилось ни капли, попробовал напоить его сам, но Харрис осторожно перехватил бутылку:

— Я могу... Я уже в порядке, видите...

Опорожнив бутылку, он продолжал сосать горлышко, зажмурив глаза. Дрожь в теле прекратилась.

Вечером в небе опять пролетели птицы, направляясь на север. После рассказа Харриса Белами и Кроу зажгли факел — на случай, если Робертс жив и находится где-нибудь поблизости.

Лумис дошел до северных верхушек дюн и долго всматривался в песчаный океан. Потом вернулся и сел рядом с товарищем, не сказав ни слова. Перед закатом Кроу загасил песок дымящееся блюдо с маслом. Еще несколько минут дым красным столбом висел в небе — красивое, но бесполезное зрелище.

Весь день молчали. Иссушенные языки не в силах были выразить угнетавшие их мысли. За час до того, как заалели дюны и в небе взошла первая звезда, Стрингер принялся за работу. Спустя некоторое время позвал их:

— Пора начинать.

Никто не двинулся с места. Он стоял, вытянув руки вдоль туловища, глядя себе под ноги.

Таунс ответил за всех:

— Нет смысла.

Стрингер удивленно развел руками:

— Но ведь мы много сделали.

Таунс спокойно объяснил, слишком усталый для того, чтобы гневаться на человеческое непонимание:

— Мы думали, воды хватит. Ее не хватит.

## ГЛАВА 12

Луна отбрасывала их тени вперед. Они дошли до самых дюн. За дюнами лежала огромная тишина, настолько глубокая, что ее можно было почти разглядеть. За всеми этими бесконечными милями не было ничего, кроме песка. Позади раздавался приглушенный рокот кем-то включенного генератора. Отсюда обломки теряли всякое сходство с аэропланом — это могло быть все что угодно. Внутри самолета зажегся свет, но рабочая лампа на столбе оставалась темной.

— Мы погибли, Дейв. Все мы.

Они опустились на песок. Пока сказывалось дневное тепло. Еще совсем недавно они стояли бы, осматривая окрестности. Сейчас легче было сидеть — ослабли ноги.

— А чего ты ждал?

— Плохо дело. Надо что-то предпринять.

— Таунс прав: продолжать работу нет смысла. Мы спятили.

Несколько минут молчали, каждый был погружен в свои мысли. Белами только что

немного поговорил с Кепелем, послушал его рассказ о доме в Вюрмлихе на краю Черного Мыса, об Инге с длинными светлыми волосами. Капитан Харрис был в коме, и Лумис находился поблизости, смачивая лоб каплями воды из его бутылки. Кроу взял на руки обезьянку и дал ей немного попить — первый раз после утренней выдачи. Теперь Бимбо принадлежал ему, и он сэкономил свои двадцать монет. Похоже на волшебную загадку: жадный загадывает желание, желание исполняется, но оборачивается ему во зло.

— Бедняга Роб, — невольно вырвалось у Кроу.

— Он только на несколько дней опередил нас, Альберт. Теперь наша очередь.

— Ради бога, прекрати, понял? Именно это я имел в виду, когда сказал, что мы погибаем и надо что-то делать.

— Послушай, Альберт. Я никогда не пробовал обмануть самого себя, никогда. Роса, что выпала несколько дней назад, была капризом, причудой матери-природы, и она может не повториться месяц. Она вселила в нас надежду, и мы начали строить самолет, подумать только! И все потому, что Стрингер навязал нам идею, которая способна прийти в голову только лунатику. Теперь, наконец, у меня наступила полная ясность. Как ты думаешь, сколько продержится Кепель? А Харрис? А когда они дойдут до предела, мы что, будем наблюдать, как они мучаются, и не отдадим им половину своей нормы, чтобы поддержать в них жизнь? А что будет дальше? Лучше смотреть на вещи, как они есть, чем себя обманывать.

Он хотел сказать что-то еще, но не узнал свой голос. Это был голос старика со снятыми зубными протезами, смешной и слабый. Все они были теперь старики — старики в том смысле, что подходили к краю своей жизни. Не хотелось продолжать этот разговор. Хотелось лечь и забыться сном.

— Что бы ты ни говорил, Дейв, надо действовать. Как — не знаю. Не можем же мы свернуться калачиком и ждать смерти.

Над залитым лунным светом песком замер звук генератора, и все поглотила тишина пустыни. У самолета копошилась только одна фигура. Это был Стрингер, одинокий и беспокойный. Он расхаживал между фюзеляжем и левой гондолой, иногда прислушиваясь к голосам летчика и штурмана. То, о чем они говорили, было для него крайне важно.

Прежде чем приняться за Таунса, Моран все обдумал.

— Слишком рано сдаваться, — решительно заявил он командиру.

— Слишком поздно продолжать, — вяло ответил Таунс.

— Парень прав, Фрэнки. Мы много сделали.

Таунс долго молчал. Он только что осмотрел обломки самолета, намеренно держась в стороне от Стрингера. Левое крыло лежало на козлах, сооруженных из отрезанных от фюзеляжа кусков лонжеронов, скелетов ломаных сидений и клетей, в которых помещался груз. Фюзеляж стоял на песке. Правое крыло под невероятным углом торчало над примятой крышей кабины управления. До того, как они приступили к работе, все это было похоже на разбившийся самолет. Теперь зрелище было куда безобразнее: это был самолет, который никогда не летал и никогда не взлетит.

— Был бы у нас месяц, Лью, ну, три недели, мы имели бы какой-то шанс. Но я же сказал — воды не хватит. Уже завтра будем черпать со дна.

Весь день он по очереди приглядывался к каждому из них, творил суд над ними, пытаясь отыскать одного, виновного. Нет, это не Лью. Кроу? Белами? Нет, если только Кроу не брал для обезьянки. Кепель неподвижен — бак подвешен высоко на переборке кабины, вне его досягаемости. И не Лумис. Может, сержант? Из мести, что его принудили работать: вполне объяснимая логика поведения для такого человека. Ведь он хотел просто лежать и как можно меньше потеть, а его заставили отдавать влагу — что ж, раз так — он ее восполнит. Или Стрингер? Он держится лучше всех. Но его поддерживает его навязчивая идея, и он тонкокостный — такие держатся дольше других в подобных условиях. А может, мальчишка Тилни, до смерти напуганный тем, что придется умирать? Его лицо не такое страшное, как у остальных, даже губы не потрескались, но ведь он моложе, а может, ему помогают финики — он все время жует их, как конфеты.

Кепель половину времени проводит во сне. Его не разбудит струйка воды или бульканье в чьем-то горле. В чьем?

Это было все равно, что медленное убийство, он был так поражен, что не мог рассказать о своем открытии даже Лью, неспособен был передать это словами. Однажды на его глазах погиб во время взлета пилот, он знал его много лет. Это было ужасно, но шок наступил только через три дня, когда он прочел обо всем в газете, увидев его имя, набранное холодным шрифтом. Слова несли с собой некую печать конечного суда. Вот и сейчас ему не хочется их выговаривать: один из них ворует воду из бака. Это невозможно высказать.

— Если еще будет выпадать роса,— услышал Таунс голос Морана и заставил себя переключиться,— то останется какой-то шанс. Мы сняли крыло, оно почти готово к установке. Это самая трудоемкая часть дела. Еще одна ночь, сегодня, и вот он — шанс. Если мы не сделаем это теперь, то не сделаем никогда. К завтрашнему дню у нас не останется на это сил. — Он очень старательно следил за артикуляцией, язык мешал жестким губам выговаривать шипящие — и сами его аргументы против смерти от жажды разбивались о каждое произнесенное им слово.— Время наступило критическое, Фрэнк. Сегодняшняя ночь — и крыло на месте, а остальное в наших руках. К тому же теперь нам помогут Харрис и полнолуние.— Слова его прозвучали не очень убедительно.— Ну а если не будет росы, что ж, тогда не будет воды, и все кончится. Что мы теряем, в конце концов?

Таунс молчал. Рассердившись, Моран поднялся и пошел к Стрингеру.

— Дружище, если мне удастся собрать ребят, то мы работаем?

В лунном свете лицо молодого человека было бледным и гладким, глаза за стеклами загадочно двигались, как у рыбы. Моран невольно представил прошедших все искусства новообращенных христиан Рима. Стрингер тоже был охвачен божественным экстазом — его ангелом был «Скайтрак».

— Я работу не прекращал, мистер Моран,— он не случайно употребил официальное обращение: это было еще одно предупреждение. Мистер Стрингер не любил панибратства.

— Они беспокоятся о воде. Осталось совсем немного.

— Я не позволяю себе думать об этом. У меня нет времени.

Моран согласно закивал.

— Разумеется, вы целиком отдались делу. В каком-то смысле я тоже, потому что хочу выжить.— Он направился с уговорами к Лумису, и тот сказал:

— Я готов, но кто сможет убедить Фрэнка Таунса?

— Если мне это не удастся, обойдемся без него.

— Беда в том, — мягко возразил техасец, — что у нас здесь нет лидера. Думаю, вы меня понимаете. Стрингер у нас самый главный, это естественно — все мы у него в руках. Но он совсем не похож на лидера, верно? Его не очень интересует, как бы это сказать... человеческая сторона. Таунс — именно тот человек, который мог бы возглавить нас, он самый старший и командир самолета. Вот почему он нам нужен.

— Я сделал все, что мог, но он сильно переживает это крушение — он считает себя виновником катастрофы, и отчасти он прав. Из-за него уже погибли люди, и он боится погубить оставшихся. Я понимаю его чувства: какой бы самолет мы ни построили, в конечном итоге никто не может гарантировать безопасности. А ему придется им управлять.

Лумис помотал головой:

— Дело, думаю, не в этом. Но давайте привлечем к работе остальных. А потом, может, он присоединится, как в первый раз.

Моран зашел в самолет и включил фонарь на столбе. Вокруг стало светло. Капитан Харрис лежал без сознания, Кепель что-то писал. Штурман вызвал Уотсона и Тилли. Они окружили Стрингера. Тот спросил:

— Где остальные?

Лумис рассмотрел две фигуры, приближающиеся со стороны дюн.

— Идут.

Стрингер ждал.

— Попробуем еще разок? — спросил подошедший Кроу.

— Пригласите мистера Таунса, — потребовал Стрингер.

— Он подойдет, — сказал Моран.

— Я не начну без него, — отрезал Стрингер. — Важно, чтобы он был с нами.— В его голосе звучало раздражение.— Это он виноват, что мы оказались здесь. Он должен это понять, а он отказывается нам помочь. Почему?

— Скажу вам, почему, Стрингер! — Таунс стоял перед конструктором, его бледное впалое лицо освещал свет фонаря.— Я не верю в вашу идею.

Он смотрел прямо в лицо Стрингеру, который не скрывал своего отвращения к командиру. Гладко выбритое лицо, расчесанные волосы, блестящие стекла очков делали его похожим на студента. Он казался совсем юным, стоя против грузного человека с седой бородой и угасшими глазами.

— Вы совершенно правы — я виноват. Это была ошибка пилота. И я это признаю. Два человека лежат вот под теми холмиками, еще двое — где-то там, в песках, и над ними нет даже креста, и еще двое здесь, среди нас, уже умирают. И, наконец, мы... И виноват во всем я. Но в следующий раз виноват буду не я, Стрингер, а вы — ваша конструкция. В принципе она логична, но это не значит, что она удержится в воздухе. Я в нее не верю. Но давайте договоримся: если вы готовы взять на себя ответственность, то я помогу вам построить машину и полечу на ней — но только один.

— Не понимаю...

— Есть много такого, чего вам не понять, Стрингер, потому что вы еще молоды.

И тут до Морана дошел смысл того, что Таунс не высказал словами, но что стояло за этими сошедшимися в молчаливой схватке глазами. Таунс не доверял молодости. Мальчишка Стрингер пытался взять верх над ветераном-неудачником. Это была ошибка поколений, причем старший был уже придавлен своим прошлым. Он это увидел. Должно быть, все это увидели.

— Это ведь достаточно просто, — твердо продолжал Таунс. — Если воды хватит и мы построим эту штуку, я поднимусь на ней один и доставлю сюда помощь.

Стрингер возразил:

— Это невозможно. Размещение груза, то есть пассажиров, является критическим фактором конструкции — в противном случае, из-за тяжести двигателя будет перевешивать нос, и нам придется даже добавить груз...

— Используйте балласт — нечто такое, что не погибнет, когда машина разобьется...

— У меня нет намерения менять конструкцию на данной стадии, мистер Таунс...

— Фрэнк... — попытался вмешаться Моран, но тот не дал ему сказать.

— В таком случае, наше соглашение расторгнуто...

— Фрэнк. — Моран взял его за руку и увлек в сторону. — Это наш единственный шанс, и мы попусту теряем время, потому что все готовы ухватиться за него — кроме тебя. Ты думаешь только о своем положении — тебя беспокоит не то, что могут погибнуть люди, а лишь то обстоятельство, будешь ли ты виноват. Оставь к черту свои беспокойства — остальных они не касаются. Все, чего мы хотим, — это выжить, если сумеем, а если нет, то и винить будет некого. Ты предлагаешь сидеть здесь на задницах и ждать, пока иссякнет вода и придет смерть? Но и в этом ты будешь виноват, Фрэнк! Так что, если хочешь затеять процесс против самого себя, то пожалуйста, это очень просто: Фрэнк Таунс — виновник крушения «Скайтрака» и гибели четырнадцати человек. Виновник! Потому что не захотел брать на себя ответственность...

— Лью, ради бога...

— Нет уж, выслушай до конца! Давай — иди, катайся по земле, посыпай себе голову пеплом, вымажись дерьмом — предайся самобичеванию. Но когда все это кончится, приди и помоги нам построить самолет, потому что, если на этом свете найдется для нас хоть капля воды, мы улетим отсюда так же, как сюда прилетели, и нашим пилотом будешь ты.

Моран резко повернулся и решительно направился к самолету.

— Мы начинаем, — сказал он Стрингеру.

— Если мистер Таунс решит нам помочь, — прокрипел конструктор.

Неплохо бы хорошенько вlepить по этой чопорной физиономии и заставить умолкнуть этот нудный голос. Но это был бы также и единственный в своем роде способ самоубийства.

— Мистер Таунс, — вполне официально произнес Моран, — присоединится к нам чуть позже.

## ГЛАВА 13

Ночная работа прошла успешно. Они действовали, как роботы, как механические существа, рабы машины, которую возводили. В ночной темноте все, как Стрингер, были одержимы страстью преодолеть трудности, изобретать и импровизировать — короче, построить аэроплан. Белами даже похолодел от пришедшей ему на ум странной мысли: они должны закончить работу прежде, чем умрут, только после того, как будет сделано дело, можно спокойно умереть. На какое-то время он забыл даже о причине, заставлявшей их строить самолет, — его просто нужно было закончить до того, как все погибнут.

Он понимал абсурдность своей мысли — это его и тревожило. Нелепостям нет места в этом мире, составленном из трех стихий: жизни, смерти и пустыни. «Мы тронулись», — сказал вчера Кроу. И малоутешительным было то, что единственным из них, кто никогда не тронется, был Стрингер — потому что он и так ненормальный. Одержимый! Не будет странным, если, закончив и подготовив к полету самолет, он отойдет на пару шагов, осмолит свою работу и скажет: «Как я и предсказывал... никаких проблем». И, довольный, замертво упадет на землю.

Это было видно по тому, как он работал. Не суетился и не брал передышек, как другие, чтобы полюбоваться звездами или полежать немного на стылом песке. Для него звезд не было, не существовало — его звездами были детали конструкции. Тело его не чувствовало боли.

Кроу уже выразил эту истину: Стрингер — не человек. Ночью все в какой-то мере были, как Стрингер: группа безумцев, затерявшихся в пустыне и строящих для себя летающую гробницу. В воздухе разносились ритуальные заклинания: «Еще дюйм в эту сторону... не сходится хомутки... поднимайте за край...» Командовал в основном Стрингер, Король Стрингер, можете звать его хоть господом богом, только не запросто Стрингером, не то он сложит свои инструменты, и никому уже тогда не выбраться из пустыни.

Белами потерял всякую связь с тем, что делал, но руки работали и подчинялись чужим указаниям. Так же работали и другие — автоматы, лишённые всего человеческого, как и этот спесивый очкарик, ни в чем не видящий проблем.

К утру крыло было водружено на место, болты вставлены и закреплены. Они отошли в сторону и залюбовались своим творением. Белами, все еще погруженный в свои мечтания, испугался, что Стрингер сейчас скажет: «Как я и предсказывал...» — и умрет.

Первым, однако, заговорил Моран:

— Похоже на самолет.

Рассвет высветил возникшую за ночь новую форму, присутствие ее навевало некий мистический страх: эта машина унесет их в один прекрасный день в другой мир — от песка, смерти и жажды к зеленым деревьям, ручьям и дорогим лицам. Эта машина наделена властью одарить их еще тридцатью, пятьюдесятью годами жизни. Через год от них может остаться в этом богом забытом месте только горка обглоданных костей — но они могут и очутиться в совсем другом мире — сидеть, например, на крикетном матче, в тени каштана, с пивной кружкой в руках. Только эта машина способна преодолеть единственную настоящую границу, известную человеку, и они вместе с ней. Какими бы разными путями ни приходили они к этой мысли, для всех она значила одно и то же, в ней была заключена их надежда на жизнь.

— Похоже на самолет, — громче повторил Моран.

Кроу пошевелил пересохшим языком:

— Похоже, черт меня поberi!

Крыло было укреплено в гнезде параллельно другому. Между ними натянули трос к тому месту на двигателе, где предстояло установить стойку, — и конструкция приобрела форму аэроплана: два распростертых крыла и три ножа пропеллера. Вчера Таунс видел нагромождение обломков, еще более бесформенное из-за снятого и водруженного на крышу крыла. Он не мог выразить словами своих чувств. Такое ощущение испытывает каждый пилот, когда его самолет неподвижно стоит в начале взлетной полосы и башня дает разрешение на взлет. Душой он был уже в полете.

Стрингер стоял в стороне, осматривая линии конструкции, уже весь в следующей операции: установке стойки и натяжении тросов. Они будут держать новое крыло.

— Смотрится так, будто вот-вот взлетит, — заметил Белами.

Таунс с отяжелевшим от усталости телом направился к старому фюзеляжу. Проведя рукой по крылу и глянув на сухие пальцы, он проворчал:

— Жаль, что этого никогда не случится.

И впервые за это утро они задумались о своем положении. Росы опять нет. У них был бензин, было масло, был самолет, но не было того, чем можно поддержать искру жизни.

Стрингер молча отвернулся, и Моран подумал: намеренно ли сказал это Фрэнк? Вероятно. Потому что ночью верх взял Стрингер.

Поднялось солнце. Они почувствовали его тепло — скоро оно перейдет в нестерпимый жар. Ночи как будто не было.

Вот оно залило песчаный океан. Вздыбились на фоне неба горбы дюн, и вдруг Белами увидел плывущие над восточным горизонтом вертолеты: один за другим они беззвучно пролетали прямо по солнечному диску, три красные тени, отраженные в водяном мираже, всегда возникавшем здесь на рассвете.

— Альберт, — едва слышно выдохнул он.

— Что такое?

Так же тихо, сохраняя ряд, они скользили над несуществующей водой, все те же три. Боже правый, почему три, а не один, не десять, не сто, наконец, — какая разница! И — исчезли. Не скрылись за дюнами, а просто испарились.

— Ничего, — ответил он.

Так вот что такое очутиться в шкуре Тракера Кобба! Сначала не так уж плохо: хотел увидеть самолеты-спасатели — и вот ты их видишь воочию, но в этот момент ты еще можешь справиться с собой и сообразить, что это только мираж. А в следующий раз ты уже пристанешь к Кроу: «Смотри, неужели не видишь? Вон там!» И Кроу понимающе скосится на тебя, сжав губы. Так постепенно будешь расслабляться, вроде бедняги Тракера, и в конце концов начнешь верить, что вертолеты настоящие, а все другие сошли с ума, потому что не видят их.

Белами тряхнул головой и последовал за Таунсом в самолет.

— Что будет, — обратился он к нему, — если мы поднимем норму до полутора пинт? — Голос звучал ровно, хотя губы шепелявили и некоторые слова не выходили.

Таунс как раз наполнял из бака бутылку капитана Харриса. Излишки воды тонкой музыкальной струйкой стекали обратно.

— Ближе будет конец, — ответил Таунс. — Ты торопишься?

Белами подумал: а ты уже как мертвец, черт тебя побери. Лицо пилота было ссохшимся, из-под щетины лезли клочья омертвелой кожи, рот — как дыра на смятой маске.

— Могу подождать, — кивнул Белами.

Собрались остальные, выстроившись в очередь со своими бутылками. Лумис взял воду для юного немца и капитана. Харрис усилием воли встал на ноги, ухватившись прозрачной рукой за спинку сиденья.

— Как, — глухо прохрипел он, — идут дела с... нашей работой? — В его глазах блеснула улыбка, лицо искривилось гримасой.

— Поработали хорошо, — ответил Лумис. — Когда сможете, выходите — покажем.

— Пре-вос-ход-но! — Бутылка в руке вздрогнула, и, заметив, что Лумис готов подхватить ее, он прижал ее к телу и дождался, пока все уйдут, так как знал, что может пролить несколько бесценных капель, а они бросятся ловить их на лету.

— Пей, Бимбо, — говорил Кроу, наблюдая, как в трясущееся скелетоподобное тело обезьянки вливается вода, как она шурит от удовольствия глаза. Белами сказал:

— Этого хватило бы тебе самому. Любому из нас хватило бы.

Даже неузнаваемый голос не скрасил того, что он сейчас сказал. Он вовсе не собирался говорить этого — отвратительная мысль вырвалась сама собой. Точно так же помимо воли он «видел» только что вертолеты.

Кроу на него даже не посмотрел.

— Это тебя не касается. И меня тоже. Он — Роба.

Делая очередную запись в дневнике, Белами не упомянул ни о вертолетах, ни о Кроу. Кроу гибнет сам, но хранит верность слову, данному другу. Можно плакать, можно смеяться — но в дневник этого не запишешь. Писать ровно было трудно, поэтому он ограничился короткой записью: «Кепель пока жив. Харрис выглядит лучше. Мы поставили крыло. Росы не было. Теперь спать».

Моран перевернулся и заметался, еще во сне пытаясь стряхнуть с себя забытые, уже достаточно справившись с этим, чтобы понять, что он крепко спал и его разбудил звук, который мог означать только одно — во сне его стерегло безумие. В глазах было нестерпимо ярко. Он прислушался к собственному дыханию, напоминавшему тяжелое сопение животного. Он сознавал, что нужно окончательно стряхнуть сон, иначе будут продолжаться сумасшедшие звуки. Это было женское пение.

По-собачьи встав на руки и колени, он поднял голову. Перед глазами кружились белесо-голубое небо и расплавленное золото песка. Кружение продолжалось и после того, как он закрыл глаза, вслушиваясь в слова песни. Он повалился на землю, проклиная прекрасный женский голос из сна, крепко зажмурил глаза, боясь увидеть эту женщину прямо перед собой, если их откроет. Песня слышалась явственно, звук эхом отражался от дюн, манил своим прекрасным обманом. Теперь он не спал, ощущая и песок, в который зарылись руки, и жар в нагретой спине, и мышечную боль, — но песня из сна продолжалась.

Раздался чей-то голос, кто-то прошел мимо. В ярком свете он рассмотрел Лумиса, тот нетвердо шел к двери самолета. Другие тоже встали. Вдруг пения не стало. Он с облегчением упал на песок, освободившись от кошмара.

— Давай еще, — проговорил Кроу. Моран повернул голову и открыл глаза. Неужели и другие спятили?

Мужской голос заговорил по-арабски. «Национальный референдум... долг народа... собрался комитет советчиков...» Голос вдруг ослабел.

Моран вскочил на ноги и бросился к двери, где сгрудились все остальные.

— Давай опять Каллас, — попросил Кроу.

...Таунс проснулся от навязчивой мысли, не дававшей покоя даже во сне. То хотелось убить Стрингера, то разбудить всех и крикнуть: «Кто из вас, ублюдков, берет воду из бака?» Он прокрался в самолет, надеясь поймать вора, но там были только Кепель и Харрис. В проходе валялся холщовый мешок. Он поднял его, вспомнив, что видел его у Кобба. Тесемка развязалась, показался хромированный корпус приемника. Таунс вытащил транзистор. Если он работает, можно послушать последние известия из Каира и Рима.

Рим передавал запись Марии Каллас, из «Мефистофеля». Он не мог заставить

себя повернуть ручку настройки, потому что это был голос из внешнего мира, и они больше не были одни.

Политическая передача, должно быть, шла из Бейды, новой столицы. Он снова настроился на Рим. Теперь все слышали голос Каллас. Они улеглись на песок, опершись на локти, и слушали, не проронив ни слова, пока не кончился концерт.

— Где вы это нашли? — спросил Кроу.

— У Кобба.

— Он возражать не будет.

— Можно будет узнать новости, — сказал Уотсон.

— К дьяволу новости, давай еще музыку, дружище.

Теперь было так же, как тогда, когда удалось извлечь из шелкового навеса галлон воды: они не знали, что им делать со своим богатством. Таунс вынес приемник наружу, чтобы шум не мешал Кепелю. Капитан Харрис, шатаясь, в первый раз вышел из самолета. На это Кроу заметил:

— Вот это женщина! Может поставить на ноги даже мертвого.

Трудно было понять, откуда у бедолаги Харриса взялись силы — он выглядел как сама смерть.

— Садись рядом, кэп. Я купил билеты. Что хочешь услышать?

Попробовали все станции, и в полдень наткнулись на сводку новостей на английском языке с Кипра. В ней ничего не говорилось о пропавшем без вести неделю назад грузо-пассажирском самолете. Мир за пределами пустыни как ни в чем не бывало продолжал беспечно жить.

Где-то в середине дня появились признаки помешательства у Тилни. Лумис наблюдал, как он играет со своей бутылкой: встряхивает, прижимает к лицу, отвинчивает пробку и присасывается к горлышку, будто в бутылке еще есть вода. Лумис сказал, что следующая выдача будет утром, уже скоро, но мальчишка только глянул в его сторону пустыми глазами, по-идиотски раскрыв рот.

Белами подумал: это не дело. Не в силах больше все это вынести, он обратился к Таунсу:

— Капля-другая может еще его спасти.

— До завтра? А что будет завтра?

— Я прошу вас выдать ему несколько капель сейчас.

— Послушайте. — Глубоко посаженные, в кровавых прожилках глаза командира были совершенно спокойны. — В баке осталось по полпинты на каждого. Когда вода кончится, это будет все. Вы меня поняли? Поэтому не вижу особой разницы, когда мы ее выпьем. Теперь это только вопрос времени. Парень может получить свою долю сейчас — и вы тоже, если хотите. Но либо он сделает выбор сам, либо ответственность за выбор ложится на вас. Решайте. От себя скажу только, что на себя такую ответственность не беру.

Весь сегодняшний день он думал, кто из них первым предпочтет пулю.

Белами отошел в сторону, сел так, чтобы не видеть Тилни. Таунс прав: теперь уже неважно, когда у них кончится вода. Если налить мальчишке сейчас, он протянет до утра, но все равно погибнет первым — завтра или послезавтра. Нужно ни на что не обращать внимания, постараться сохранить рассудок. Не смотреть на Тилни, не видеть, как Кроу делится водой с обезьянкой, не вглядываться в горизонт, иначе опять покажутся эти три вертолета. А завтра написать короткое письмо домой, сказать, что они не мучились в конце и все такое. Это обязательно надо сделать: есть ведь шанс, что однажды, в один прекрасный день, письмо найдут.

Вечером, едва удерживаясь на ногах, к Таунсу подошел капитан Харрис.

— Сколько охлаждающей жидкости в баках?

— Пятьдесят литров. Десять галлонов. Десять галлонов глицерина, смешанных с водой. В наших условиях всё равно что стрихнин.

Харрис закачался, но удержался, прежде чем Таунс успел протянуть руку.

— Сколько там воды?

— Около половины.

— Понятно. — Он собрался с силами и осторожно, как пьяный, пытающийся скрыть свое состояние, развернулся.

Белами, Моран и капитан обдумывали свою идею до ночи. Всю охлаждающую жидкость они слили в один сосуд, нашли среди ломаных сидений гнутую металлическую трубку, соорудили переходник и приладили трубку к сосуду, наконец, установили сосуд на решетку. Снизу подожгли смесь масла с бензином, а под другой конец трубки подставили бутылку. Остальные молча наблюдали со стороны. Таунс посоветовал:

— Я бы не садился ближе, чем в десяти ярдах от этой штуки. Отверстие слишком мало, и если жидкость закипит, будете иметь дело с кипящим глицерином.

— Будем осторожны, — пообещал капитан Харрис, но с места не двинулся, следя за своей импровизированной ретортой.

В эту ночь работал только Стрингер. Всем было сказано, что на каждого осталось по полпинты, и каждый может получить свою воду, когда пожелает. Тилни и сержант Уотсон попросили свое сразу же и отпили половину. Остальные дождались рассвета. Хотя Стрингер продолжал работать, укрепляя стойку, никто не предлагал ему помощи, да он о ней и не просил. Фонарь на столбе светил заметно тусклее, потому что последние двенадцать часов не было желающих крутить генератор.

Не сговариваясь, они опять пришли к выводу, что все, что в их силах, они уже сделали, и продолжать работу нет никакого смысла. Их знобило, глаза лихорадочно блстели, затруднительно было даже связно думать, язык не повиновался. Счастливы были те из них, кто был захвачен своей навязчивой идеей, у этих не оставалось времени на посторонние мысли — о жажде или смерти: Стрингер, целиком ушедший в свою машину, Харрис, сидевший перед пламенем своего святилища, и Белами с Мораном, его помощники.

Лумис остро переживал то, что вскоре с ним произойдет. Он чувствовал себя ближе к Джил, чем когда-либо раньше в своей жизни. В начале ночи Кепель пожаловался на боль, и Таунс, зная, что мальчик способен признаться только в непереносимой боли, дал ему морфий — последний, который оставался. Альберт Кроу наблюдал, как на небе зажигаются первые звезды. Он включил транзистор, но от него потребовали либо выключить радио, либо убираться с ним к дюнам. Опять, не сговариваясь, все были согласны в том, что звуки, так явственно доносящиеся из приемника, будут напоминать о внешнем мире: о доме, дожде, друзьях. Кроу щелкнул выключателем, взял на руки обезьянку и про себя забормотал что-то несвязное — нечто такое, что не могло потревожить их слух.

Сержант Уотсон сидел невдалеке от «химиков» — на случай, если Харрис захочет его позвать и дать указание. Сержант не видел другого способа послушаться приказа, кроме как убить его. Эта мысль зудела в нем с того самого момента, как ублюдок приполз обратно. До него доносились только рыдания и невнятные мольбы Тилни, но Уотсона они не тревожили.

Таунс часто поглядывал на Кепеля, страшась момента, когда он придет в сознание, потому что теперь справиться с болью мог только пистолет. Как только взошла луна, командир ушел к дюнам. Ему не хотелось слышать, как этот ненормальный Стрингер возится со своим самолетом. Скоро над ними расправит свои крылья смерть.

К середине ночи луна села за дюны. Воздух стал по-зимнему холоден. Пламя было слишком слабым, и охлаждающая жидкость все не закипала. На них надвинулась тень от дюн, отбрасываемая низкой луной.

## ГЛАВА 14

На рассвете вырыли еще одну могилу рядом с двумя другими и перенесли туда тело. По песку тянулись их длинные тени.

Почти всю ночь Белами и Моран лежали в полудреме, а капитан Харрис бодрствовал, сидя по-турецки у желтого огня, добавляя масло, когда пламя угасало. Время от времени его «ученики» открывали глаза и наблюдали за ним. Он сидел, как йог, блики пламени играли на его изможденном лице, только подрагивание век выдавало, что он жив и не спит.

Когда взошло солнце, его нашли в той же застывшей позе. Моран услышал бульканье охлаждающей жидкости под горелкой и какое-то мгновение не мог понять, зачем здесь этот сосуд. Обратился к Харрису, с отчаянием слушая идиотские звуки, издаваемые его пересохшей глоткой:

— Сколько вышло?

Капитан как будто не слышал, но когда Моран повторил вопрос, повернул к нему голову. Вытащив из-под трубки бутылку с водой, протянул ее Морану, а на ее место поставил другую, присыпав для устойчивости песком.

— Половина, — говорил он с трудом, но его растрескавшийся рот сложился в улыбку, а глаза заблстели. Моран взвесил в руках бутылку, слушая плеск воды.

— Хорошо, — похвалил он. — Хорошо, кэп. — Нормальная речь требовала усилий, он выбирал слова короткие, те, что легче произнести на одном выдохе. Он думал: она нагревалась всю ночь — и только полпинты. А нам нужно по пинте в день на каждого, и нас десятеро... Моран затрясся, вернее, закашлялся было от смеха, но ощутил резкую боль в грудной клетке. Когда кашель прошел, загло в горле и боль перешла в постоянную, но он спросил:

— Что делать с этим? — Он встряхнул бутылку.

— Отдайте Кепелю. — Харрис с усилием повторил: — Кепелю.

Моран встал на ноги и закачался, ослепленный огромным красным солнцем, слыша доходящий сквозь красный туман голос:

— Держи бутылку! Держи...

Она скользнула по ноге, и он бросился за ней, ныряя в песок, открыл глаза и увидел пятно на песке. Схватил бутылку, ужасаясь тому, что натворил. Пролилась почти половина. Губы сами зашептали:

— Простите... простите...

— Бывает, — тихо сказал Харрис, — бывает.

Шесть часов, мучил себя Моран, шесть часов нужно, чтобы получить то, что он пролил. Он ухватил бутылку двумя руками и пошел, демонстрируя осторожной походкой, что больше этого не случится. Сильно болели ноги: ныли икры после судорог, которые начались вчера. Встававшее солнце обжигало лицо.

В салоне самолета был один Кепель. Ночь была холодная, но все остались снаружи, привлеченные огнем, который сторожил Харрис. Моран крепко держал в одной руке бутылку, опираясь другой о сиденья — на случай, если споткнется. Если он опять уронит бутылку, ему никогда не найти сил признаться в этом. Придется сказать: «Парень выпил все до капли». Это было бы ужасно.

Он приблизился к Кепелю. Его глаза были закрыты, а лицо имело цвет свечи даже при ярком солнце, проникавшем в самолет. Моран впился глазами в лицо мальчика, держа перед собой бутылку, а сознание заполняла одна мысль: теперь придется отдать это Тилни. В какой-то момент в этой долгой ночи Кепелю удалось подтащить себе под руку брезентовый мешок. Теперь эта рука висела, кисть окрасилась струйками крови, а пальцы тянулись к брезенту. Другая рука, сложенная на груди, все еще сжимала карманный нож.

Полетные рапорты были аккуратно сложены на противоположной стороне, где он держал свои личные вещи: зажигалку, несколько ключей, монеты, ручку, owedженную у Лумиса. На обратной стороне верхнего листа Моран прочел:

«Надеюсь, моя доля воды поможет вам. Пожалуйста, отправьте письмо. От всей души благодарю вас за то, что вы ухаживали за мной. Отто Герхард Кепель».

В салоне стояла полная тишина.

Моран вышел, осторожно неся бутылку. И опять она едва не выпала, когда он зацепился ногой за порог. Плеск заставил его поторопиться и скорее отдать воду Тилни, чтобы не испытывать этого ужасного соблазна — опрокинуть бутылку в собственный рот.

Пока оставались силы, принялись за погребение. После того как юношу вынесли из самолета, капитан Харрис прибрал сиденья и нашел еще несколько завалившихся листов. Одна страница была замысловато свернута, образуя конверт. «Отец, мать и Инга». И ниже адрес.

Харрис думал, письмо будет адресовано на фамилию родителей — герру и фрау Кепель. Но нет... в свой последний час он называл их с детства дорогими и потому самыми уместными сейчас именами. Было исписано почти полстопки бланков. Харрису хотелось узнать, следует ли их отправлять домой с первым случайно залетевшим сюда ангелом. Первый лист был озаглавлен «Белая птица».

«Однажды, давным-давно, в глухом лесу, намного большем, чем Чёртов Лес или любой другой лес на свете, жили три человека. Их дом был сложен из толстых бревен, а по бокам нависали скаты крыши...»

Капитан почувствовал, как его нога медленно скользит по крови, пролившейся из брезента. Продолжая чтение, он крепче оперся на другую ногу.

«Давным-давно двое из них при печальных обстоятельствах лишились сына, а третья, самая красивая девушка во всем лесу, оплакивала своего возлюбленного... она так горевала, что обрезала свои длинные белые волосы. Но они снова отросли, словно этого хотел ее возлюбленный. Она опять их обрезала, и опять они выросли и так красиво блестели...»

На третьем листе почерк стал нечетким, нажим пера сильнее. Дальше говорилось о белом замке и о какой-то старухе-волшебнице, жившей в пещере. Она сделала магическое прорицание тем троим, что жили в бревенчатом доме, наказав запастись терпением и ждать.

...«Настал день, когда они увидели большую белую птицу, летающую в вышине над лесом, а на спине птицы сидел юноша в золотых доспехах, который кого-то им сильно напоминал. Тривжды прокружилась над ними белая птица и опустилась на ближние вырубки. И они втроем бросились в том направлении. Длинные светлые волосы девушки развевались на ветру, пока она бегала меж огромных деревьев, а...»

Сквозь дверь донесся чей-то голос:

— Вот так-то, кэп.

Это был Кроу с тряпкой в руке. Харрис скатал листы и положил на сетку для ручной клади.

— Надо немного убрать, — говорил Кроу, опускаясь с тряпкой на колени, и ка-

питан вышел из самолета. Ему захотелось постоять у свежей могилы. Он знал заупокойную молитву на память, потому что ему несколько раз приходилось помогать священнику.

Уже пятеро.

Над головой неподвижно висел голубевший на фоне неба шелк. Вокруг него, обжигая лицо и глаза, волнилось марево, в котором перемешивались небо, песок и гнетущая тишина.

Сэмми, Ллойд, Робертс, Кобб, Кепель...

Ты все сказал, Лью. Это Фрэнк Таунс разбил «Скайтрак» и убил четырнадцать человек, потому что возомнил себя выше риска, на который шел.

Жар опалял глаза, и если бы Харрис решился их открыть, то наверное ослеп бы. Это было как раз то, что нужно: ему больше не хотелось видеть.

Пятеро. Осталось девять. Чтобы медленно их догонять. Ты окажешься прав, Лью. Надеюсь, это принесет тебе какое-то облегчение.

Он чувствовал себя сгорающим на медленном огне.

Пистолет висел на ремне в кобуре. Ему нравилось держать его при себе. Если хочешь пробиться в этом мире, надо иметь одно из двух, что поднимает над остальными: деньги или пистолет.

Подпишись, Уотсон, еще на десять лет. Если тебе повезет, мы устроим еще одну славную войну. А война может вывести в люди. Пусть подавятся, свиньи. Теперь он король, миллионер на каникулах, и при пушке.

С полудня он следит за Харрисом. Проклятый Харрис уселся перед своей химией, подливает масло. Забавно наблюдать за ним. Не замечает других, только разве тогда, когда к нему обращаются. Можно подумать, жизнь зависит от этой карманной кухни, которую он там развел. Все, что она даст тебе, не больше плевка, но до него это никогда не дойдет. Сидит с прямой спиной, как на параде. Такие до последнего делают вид, что ничего не случилось, пока не отдадут концы.

Корчась от боли, сержант лежал в вырытой ямке — не то постели, не то могиле, считай как хочешь. Во рту такое ощущение, будто удалили все зубы и искололи язык. Перед ним низвергался водопад, во все стороны летели брызги, сверкали на ярком солнце скалы, расстилались зеленые луга... Но он будто не видел ничего этого, потому что следил за Харрисом.

Капитан сидел спиной к своему сержанту, клочья кожи слезали с его шеи. Уотсону он виделся неясно — из-за яркого света и боли в глазах. Временами Харрис оказывался другого цвета и расплывался, но Уотсон делал над собой усилие и снова сосредоточивался. Он не помнил, как растянул кобуру, — сознавал лишь, что в руке у него пистолет, черный и тяжелый.

Сержант Уотсон!

Сэр! Не двигайтесь, сэр! Оставайтесь на месте, сэр!

Сержант Уотсон!

Сэр? Чем могу служить, сэр? Еще десять лет вонючей службы, сэр? Стоять на месте! Шесть пуль. Одна для шеи, одна в рот, две в ваши милые глазки и по одной в каждое ухо. Ну как, сэр? Вы знаете, как меня зовут? Звание — сержант. Попробуй крикни еще раз, проклятый ублюдок.

Черный пистолет оттягивал руку. Такое и во сне не приснится. Прямо миллионер на каникулах, с заряженной пушкой, и шея капитана Харриса в шести ярдах от тебя. И никто ничего не спросит... уже никогда. Вот славный конец для карьеры сержанта! Роскошь да и только. Ну, Уотсон, нажимай.

Жалобный стон, доносившийся из самолета, действовал на нервы. Он продолжался уже час — достаточно, чтобы свести с ума.

Свет проникал через сжатые веки, ноги жгло огнем. Через минуту он встанет и разомнется. Если он этого не сделает сейчас, ему уже не подняться. Он хотел поговорить с Белами, но тот писал письмо домой. Он хотел сказать ему, что нельзя просто так лежать и ждать смерти, но не решился мешать.

Бедняга Тилни выглядел совсем скверно. Только и может думать — о боге. Кроу встретил его взгляд, и Тилни обрушил на него бессвязное бормотанье: «Еще не поздно, не поздно подумать о боге, надо взывать к господу и молить его о спасении. Никакой надежды, если не будем молиться...» — и так далее в том же духе, до тошноты. Если сам бог не видит, в какой переделке они оказались, то нет никакого толку от этих стенаний.

Сильно жгло глаза. Наконец, шатаясь, он встал, ударился головой о фюзеляж, но удержался и вошел внутрь, держа на руках обезьянку. Корпус самолета был как жаровня, все сиденья пусты. Жаль беднягу Отто, но ничего, теперь он счастлив.

Стон генератора действовал на нервы.

Стрингер поднял глаза, перестал вращать ручку, и стон замер.

— Пришел сменить, — сказал Кроу.

— Зачем? — Его бледный лоб блестел. Странно даже подумать, что мистер Стрингер способен потеть, как обычный человек.

— Зачем? — переспросил Кроу. — Что-то надо делать, нельзя просто лежать и ждать смерти. Пришел сменить.

И тут с лицом Стрингера случилось невероятное. Кроу вытаращил глаза от изумления. Стрингер улыбался. Ничего подобного раньше с ним не случалось. Кроу знал его уже восемь дней, считай, полжизни в этих условиях. И впервые видел такое. Лицо Стрингера приняло совсем другое выражение — человеческое.

— Рад слышать, — сказал Стрингер. — Если все перестанут думать о смерти, успеем сделать дело. — И двинулся мимо Кроу. — Сегодня ночью мне понадобится хорошее освещение, — пояснил он. — Я намерен установить стойку. — Он осторожно спустился в салон.

Кроу усадил на ящик обезьянку и завертел ручкой, глядя на Бимбо и выдавливая из горла слова песни: «Вьется долгая дорога в край моей мечты...»

Лумис склонился над Тилни.

— Живот, — повторял тот.

— Это спазмы от перегрева, сынок. — Его собственный желудок скрутило в узел, ноги горели. В организме осталось так мало воды, что замедлился ток крови, которая не справлялась теперь с теплообменом. — Скоро ночь, еще час-другой, и все кончится, станет прохладнее.

Таунс сидел, обхватив руками голову. Когда к нему обратился Моран, воспаленные глаза командира слегка приоткрылись.

— Я не хотел тебя обидеть, Фрэнк, вчера вечером.

— Ты был прав.

— Нет. Ты сделал все, что мог. Посадил, как перышко.

— Ошибка пилота...

— Невезение и дрянной прогноз. И никто нас не искал. Пожалуйста, забудь, что я сказал.

В таком духе между ними шел несвязный, похожий на мычание, разговор. Каждый, пока было время, хотел очистить свою совесть.

Белами сидел около капитана Харриса, следя за горелкой. Их лица покрылись копотью. Они затенили бутылку и трубку, а сосуд выставили на солнце, чтобы усилить конденсацию. Каждые пятнадцать минут передвигали его вслед за солнцем. Белами рассчитал, что к ночи воды в бутылке будет достаточно, чтобы каждому из девятерых досталось по несколько капель — смочить язык.

С полудня капитан Харрис шевелился только дважды: когда Белами принес ему несколько фиников и когда какая-то неведомая сила заставила его обернуться. Выпученными глазами уставился ему в лицо Уотсон, держа в руке пистолет, почему-то наведенный на него. Он попросил окликнуть его: «Сержант», — но губы не повиновались, не получилось ни звука.

Харрис отвернулся. Уотсон хороший солдат, он никогда не позволял себе шуток с оружием. Должно быть, пистолет на предохранителе.

Он заметил, как страдает Белами: временами его глаза закатывались, а изо рта выпадал почерневший язык. Надо подбодрить беднягу.

— Ш-шлишком медленно, — выговорил он с вымученной улыбкой. — Шлишком медленно.

Жидкость в сосуде пузырилась.

...Луна очертила тени дюн. Звезды на небе были синие и огромные. К полуночи шелковый полог натянулся и упал, потом снова вздыбился под мягким дуновением ветра. Ветер шел с севера, с моря.

## ГЛАВА 15

«Девятые сутки. Пишу в три часа пополудни. Очень жарко. Произошло чудо. Около полуночи я почувствовал дуновение ветра, но не поверил. Северный ветер. Первым делом сегодня утром мы по-настоящему потрудились, досуха выжали парашютный шелк и все, что можно. Даже отрезанные штанины дали несколько пинт. Моран вручил нам специально подготовленные скребки, и мы сняли иней со всей поверхности самолета. Харрис даже набросал на шелк перемешанный с песком иней, мы дождались, пока он

растает, и выжали парашют во второй раз. Хоть мутная, но вода. Вода! Почти полных шесть галлонов в баке! Итак, мы живы, живы! И не намерены сдаваться. Сейчас все отдыхают, берегут пот для ночи. Невероятно, невероятно».

Внешне они несколько не изменились: полутрупы с облупившимися изможденными лицами, глазами, подобными зияющим ранам, и губами, как скорлупа грецкого ореха. Лежали молча, неподвижно, дожидаясь ночи. Но теперь в них горела искра жизни.

Вслух это не обсуждалось, но все знали, что ночью будут работать, как черные рабы. И сегодняшнюю ночь, и завтрашнюю, и все последующие — сколько потребуются, чтобы закончить постройку самолета, подняться в воздух и улететь.

Даже Стрингер, сберегая силы, провел в безделье часок в тени; дольше, однако, вытерпеть не мог, и опять, водрузив на голову завязанный узлами носовой платок, вернулся к работе. Присев на корточки под новым крылом, он принялся сколачивать нужные ему кронштейны. Они наблюдали из-под полузажмуренных век, никто не думал о нем дурно. Теперь в его руках был козырной туз: если выиграет он, то вместе выиграют и они.

Таунс лежал у двери самолета, чтобы видеть каждого, кто туда входил. Снова по очереди вращали ручку генератора, чтобы был яркий свет для работы. Таунс вслушивался в движения каждого заходившего в самолет: не задержится ли у питьевого бака. Он уловил в себе смену настроения. Вчера еще незаметно пробирался в салон, надеясь поймать вора за руку; сегодня, слушая шаги, мечтал, чтобы никто не остановился по пути к генератору. Вечером он намерен сообщить им о том, что случилось, — теперь это имело смысл. Они убедились, что северный ветер может дарить жизнь, пусть даже это будет вода, замешанная на песке. Крайне важно, чтобы отныне никто не прикладывался тайком к воде. Так он следил до тех пор, пока солнце не коснулось западных дюн. Все зашевелились, как будто услышали сигнал. Поднялся даже сержант Уотсон. Весь день он провел в тяжелых мыслях и пришел к простому решению: у мертвого миллионера будущего нет, даже при деньгах и оружии.

Песок был еще жарким, и пришлось надеть сандалии. Ступая по длинным теням, брели к Стрингеру. Стон генератора прекратился, и, прежде чем Лумис вышел из самолета, Стрингер подал команду:

— Пожалуйста, свет.

Сцена сразу осветилась. За освещенным кругом тускло мерцал песок под четвертинкой лунного диска.

— Прежде чем мы начнем, — сказал Таунс, — я намерен кое-что сообщить.

Моран сразу почувствовал неладное. В тот раз между Таунсом и Стрингером была стычка по поводу конструкции самолета; сейчас Таунс, видно, попытается взять реванш.

— Последние три дня кто-то брал воду из бака. — Даже теперь, когда появилась надежда выжить, Таунсу трудно было выговорить эти слова.

Сказанное им тотчас обезобразило ночь. Обвинял даже свет. Кроу подумал: Уотсон. А Лумису пришло на ум: Тилни. Каждый смотрел себе под ноги. Теперь Морану было не до страхов: он был в шоке. Если бы не выпала роса, они бы уже начали умирать, и первая смерть стала бы для вора обвинением в убийстве. Хуже того, что они узнали, было только одно: если ошибся Таунс.

— Ты в этом уверен, Фрэнк?

— Я проверял. — Таунс переводил взгляд с одного на другого. — Да, уверен. До сих пор это было не так важно. Сейчас важно. У нас теперь почти шесть галлонов, и мы долго на них не продержимся, потому что будем работать изо всех сил по ночам, а может, даже днем. Надо попытаться закончить все до следующей росы — она может выпасть в любую ночь. Может, сегодня, а может, через месяц. Появился шанс выбраться отсюда живыми. — Он обращался ко всем вместе и ни к кому конкретно. — Скажу вот что. Если это повторится и я замечу, кто это делает, убью собственными руками. —

Стрингер, четко выговаривая слова, заявил:

— Больше я этого делать не буду.

Его слова, как эхо, пронеслись над головами, монотонно вибрируя в ушах. Стрингер смотрел прямо в застывшее от изумления лицо Таунса, светло-карие глаза медленно моргали.

— Так это были вы? — выдохнул Таунс.

— Да.

— Ага, я не спрашивал, кто это делает, и вам не нужно было признаваться.

— Да.

Таунс почувствовал, как сжимаются кулаки, и, даже еще не ударив его, увидел кровь на лице Стрингера, — но не было ни крови, ни ударов. Руки безвольно опустились. И он услышал свой вопрос:

— Но почему?

Стрингер, казалось, был раздражен. В его обычно бесстрастном голосе прозвучала резкость:

— А вам непонятно, мистер Таунс? Меня мучила жажда. Я работал все ночи и почти каждый день, намного больше, чем любой из вас. Вы, наверное, думали, что я построю эту машину даже без воды! Но попробуйте взглянуть на вещи моими глазами.

Он повернулся, но Таунс схватил его за руку и, давась от гнева, прошипел:

— Итак, я не способен увидеть вещи вашими глазами, как вы говорите. Почему же тогда вы действовали как вор? За распределение воды отвечаю я — почему вы не обратились ко мне и не попросили дополнительной порции?

— Потому что вы бы мне ее не дали.

Таунс отпустил руку Стрингера и на минуту закрыл глаза, чтобы не видеть этой показавшейся ему наглой физиономии. Подсудимые в таких случаях говорят: «Не знаю, что со мной произошло. Я был вне себя, не знал, что делаю».

Если бы Стрингер повел себя сейчас именно так, это в какой-то степени было бы воспринято как аргумент защиты. Но наглость... Таунса трясло. Словно издалека доносились до него чьи-то увещевания:

— Полегче, Фрэнк.

Стрингер продолжал:

— Вы не дали бы мне воды, потому что мы с вами разные люди. Вы предпочитаете плыть по течению — все вы! И дело не в том, что вас больше, чем меня, мучила жажда. Да, я брал дополнительно по бутылке воды последние трое суток, но я ведь и терял эту воду с испарениями, работая на жаре, в то время как вы лежали без дела. — Его голос становился все нетерпеливее. По их лицам прыгали два солнечных пятна, отраженные от стекол его очков. Голос оборвался на возмущенной ноте. — Как вы можете рассчитывать, что я построю машину, погибая от жажды и работая без помощников?

Воцарилось молчание.

— Фрэнк, полегче.

— Заткнись! — Таунс, безнадежно махнув рукой, повернулся спиной к Стрингеру и уставился в небо, на невероятно спокойные звезды.

Стрингер между тем продолжал:

— Но я не стану брать дополнительную воду, так как надеюсь, что все будут работать, как я, а это значит, что всем понадобится увеличенный рацион. Итак, все понятно?

Он смотрел на сгорбленную спину Таунса. Все молчали. И молчание затягивалось.

— Вполне, — ответил, наконец, Моран, злясь на Таунса, Стрингера, самого себя и на всех них. Как мальчишки, тратить время на пререкания — и только потому, что есть немного воды, и они опять вспомнили о своем чувствительном «я». Перед ними недостроенный самолет, который может спасти жизнь, а они затеяли перебранку. А вокруг пустыня с ее бессчетными возможностями убивать: она может расплавить тебя своим жаром, высушить и лишить человеческого облика. Но она может и одарить водой и послать на поиски того, чего лишился, — гордыни. Таунс едва не съездил Стрингеру по физиономии — боже, это значило бы гибель для всех них!

Альберт Кроу примирительно спросил:

— Что нужно делать, Стрингер?

С головы снят и аккуратно уложен в карман носовой платок с узелками, поправлены очки на носу, карие глаза загорелись предвкушением работы.

— На данной стадии можно обрезать концы у пропеллеров. Ровно девять дюймов — я измерил, настолько они повреждены. Пока я продолжаю установку стойки, нужно укрепить кронштейны. Их я для вас подготовил, вон в том ящике. Между средними нервюрами каждого крыла через верхушку стойки пойдет трос. Его натянем позднее. Возьмем с лебедки, а она в ближайšie несколько ночей будет нужна.

Таунс двинулся к самолету вместе со всеми. Итак, второй раунд остался за Стрингером, как и первый. Дай бог, чтобы не было третьего.

— Нужно снять карбюратор правого мотора и очистить от песка жиклеры и патрубки. Это следует сделать тщательно, так как мы работаем среди песка и можем с равным успехом как прочистить карбюратор, так и засорить. — Стрингер сделал паузу, убеждаясь, что его слушают. Затем обратился к Белами: — Вы сказали, у вас инженерный диплом. Я хочу, чтобы вы занялись делом, требующим технической подготовки, а также помогали советами и присматривали за другими.

Щебечет, как птичка, думал сержант Уотсон. И так везде: или высокомерная снисходительность начальства, или дипломы. Слава богу, у него тоже есть три полоски — он потерпит, пока не попадется первый рядовой на базе, уж он ему покажет.

Застучали инструменты. Важно прошествовал с гаечным ключом Лумис — искать болты для крепления кронштейнов.

— Когда будет время, — сказал Белами, — я хотел бы установить большой испаритель для оставшейся охлаждающей жидкости.

— Когда будет время, — согласился Стрингер. — Только не берите из левого бака — он понадобится для полета.

— Концы обрезать квадратно? — спросил Кроу.

— В точности квадратно и скашивать, мистер Белами...

— Слушаю...

— Хочу показать вам хвост и объяснить, что нам предстоит там сделать.

Они вдвоем вышли из освещенного круга.

Таунс снял капот двигателя и занялся флянками и рычагами, закрывающими доступ к карбюратору. Кроу весело командовал:

— Тилли! Помоги, дружок!

Уотсон искал ножовку.

— Фрэнк, я придержу обшивку, а ты пройди сверлом...

Морана перебил капитан Харрис:

— Оставьте это мне — я не инженер, а вы можете найти себе лучшее применение. — Его лицо осветилось улыбкой. — Организация творит чудеса.

По пропеллеру заскрежетала ножовка. Слышался монотонный голос Стрингера, объясняющий Белами, что предстоит делать с хвостом. Инструменты музыкально позывали. Кроу насвистывал. Высоко в небе стояла луна.

## ГЛАВА 16

Когда взошла полная луна, они увидели мираж. Привычные к пустыне, они знали, что миражи никогда не случаются после захода солнца — этот был при полнолунии. Они видели песчаную бурю — и при этом не ощущали даже ветерка.

В конце дня Белами записал:

— Двадцатый день. Работа пока продвигается хорошо, но очень мало воды. Преодолели много препятствий. Сказывается голод, мучит не само желание есть, а просто сильная слабость и боль в животе.

За прошедшую неделю случилось три досадных задержки. Подняв на опорах новую машину и выбив козлы из-под крыльев, Стрингер вознамерился балансировкой определить центр тяжести. Это было нужно для размещения людей во время предстоящего полета и выяснения центра подъемной силы. Никто, даже Таунс, не смог убедить Стрингера не прибегать к этой рискованной операции. Одна из опор перевернулась, и две ночи ушли на сооружение новых козел.

Моран уронил в песок жиклер карбюратора, целый час искал, но безуспешно, и остаток ночи у него ушел на разборку карбюратора правого двигателя, чтобы взять из него жиклер. Теперь он держал его как бесценную жемчужину. Жиклер был не больше ореха, но он помнил слова Кроу: «Потеряешь и этот — тогда конец». Новая машина взлетит, — если она вообще будет способна летать, — независимо от того, будет ли ее хвостовой костыль сделан на пятьдесят килограммов легче или тяжелее, но без этой крошечной штучки ей не взлететь никогда.

Уотсон сломал пять ножовочных полотен, а Тилли три, а на распиловку последнего монорельса для хвостового костыля ушло пол-ящика напильников. На руках лопались и грозили заражением пузыри.

Они продолжали работу.

За большими задержками последовала дюжина мелких. С презрением относясь к неумелости, раздражаясь.bestоловостью, Стрингер тем не менее никогда не выходил из себя, как Таунс или Уотсон. Работали иногда и днем, несмотря на испепеляющий зной. Однажды пронеслась электрическая буря, до предела истощившая нервы. Постоянно приходилось преодолевать боль и бороться с панической мыслью — можем не успеть.

Две ночи назад выпала роса, обеспечив двумя галлонами воды, мутной от парашютной краски и нефилтруемой грязи. Они смаковали ее, как шампанское. Отдистиллировали всю охлаждающую жидкость правого мотора. Теперь было по две пинты в день на человека. Почти целую неделю. Не думали и о голоде. Как можно выжить на одних финиках? Никто не спрашивал. Надо выжить, пока не будет закончен «Феникс».

Как-то ночью Лужис отскреб краску с идентификационных знаков на крыле, расплавил ее и вывел это имя на фюзеляже. Чтобы написать аккуратно, требовалось время. Он не торопился. Машина, которую они строили, обрела очертания самолета. Теперь у нее было имя, и они гордились этим. Сомневался один Уотсон:

— Те фениксы, что я видел на картинках, всегда горели.

Кроу терпеливо растолковал:

— В том-то и дело. Птица загорается и откладывает яйцо, потом появляется птенец и улетает. Понял? Как раз то, что сделаем мы.

— Посмотрим, — сказал Уотсон.

Время от времени поглядывали на имя своей машины. Возникло даже теплое чувство к этому названию и человеку, посвятившему себя их самолету. Ненависть к Стрингеру прошла — теперь они несли ему свою любовь, усматривая что-то богоподобное в его холодных, как у ящерицы, глазах. Для них Стрингер был безобразный чародей,

заклучавший в своем жезле торжество жизни над смертью. Ему повиновались беспрекословно.

— Проверните двигатель. Нужно освободить поршни.

Они заземлили магнето и вручную, как лопасти, прокрутили пропеллер. Незанятые наблюдали со стороны, ожидая чуда: рвущиеся из труб клубы выхлопного газа, гул взревевшего мотора, слившиеся во вращении лопасти пропеллера. Сейчас этого не произошло, но обязательно случится однажды, и снова начнется их жизнь.

— Укрепите хвостовой костыль перекрестными кронштейнами. Можете воспользоваться имеющимися отверстиями, чтобы не сверлить новые. Проследите, мистер Белами.

И они брались за инструменты. Новое крыло не лежало больше на продавленной крыше старого фюзеляжа. Оно было натянуто на уровне с другим крылом, поддерживаемое толстым кабелем от лебедки. «Феникс» не висел теперь на козлах и подпорках, а стоял на собственных ногах из кусков монорельса, отрубленных, подпиленных и подогнанных до нужной длины истертыми до крови руками при помощи ломаных и изношенных инструментов.

— Мистер Таунс, проверьте тяги управления — они где-то цепляют.

Никто не подвергал сомнению его право указывать, даже Таунс. До двадцатых суток не произошло ничего особенного, если не считать того, что они работали как проклятые. Да еще умерла Джил.

Это случилось двумя ночами раньше, когда Лумис одиноко стоял в стороне и разговаривал с ней, обращаясь к звездам. Новость пришла без всякого уведомления, как бы ниоткуда, и вот всю его душу переполнило удивительное успокоение: «До свидания, Джил. До свидания, дорогая. Увижусь с тобой там. До свидания». Устремив глаза к высоким звездам и перенесясь в один миг через тысячи миль, он вдруг с цепящей душу определенностью почувствовал, что в эту самую минуту ее не стало. Он ощутил невыразимое одиночество, все потеряло для него смысл, потому что с ее смертью погибло все.

На следующее утро он ушел в пустыню через горловину между дюн. Таунс и Моран привели его обратно. Он не помнил даже свое имя. Они сказали: это тепловой удар, и дали ему воды. Сейчас он пришел в себя и всю последнюю ночь работал вместе с остальными — мертвый рядом с живыми.

Работа шла полным ходом, но опять на исходе была вода. Пробовали есть финики, иногда получалось: глотали, не пережевывая, и ждали боли в желудке. Работа с ее последовательно возникающими трудностями — большей частью из-за недостатка хороших инструментов и необходимостью искать им замену — понемногу приучила не обращать внимания на зной, голод и жажду. Лишь в короткие передышки возникали сомнения: удастся ли заставить себя подняться и продолжать?

На двадцатый день после захода солнца зажгли, как всегда, фонарь, а через два часа поднялась луна, и возник мираж.

Первым его увидел Белами, но ничего не сказал, потому что вспомнил о трех вертолетах и испугался. Он не мог оторвать глаз от странного облака пыли, которое поднялось ввысь и висело на фоне лунного диска. Воздух был неподвижен. Белами повернулся, но и теперь не почувствовал дуновения. Песчаная буря продвигалась на север, одинокое дымное облако, освещенное луной. И вдруг донеслись голоса, приглушенные расстоянием. Он отвернулся, чтобы ничего не видеть, не слышать, но голоса не исчезали.

Кроу, подошедший к нему за дрелью, остановился как вкопанный и тоже прислушался.

— Дейв, — доносящиеся издали звуки нарушали покой ночи. — Ты что-нибудь слышишь?

— Да, — признался Белами.

— Боже! Смотри — поднимается песок! — Кроу громко закричал. — Эй, стойте. Слушайте!

Голоса все еще слышались за восточным гребнем дюн. Песок рассеивался и оседал в холодном свете луны. Работа прекратилась. Все смотрели на восток. Капитан Харрис сказал:

— Арабы.

— Кто?

— Бедуины, кочевники. На привале.

Кроу разозлился на капитана за это спокойствие. Они спасены! Надо же звать на помощь, кричать.

— Что же мы, черт побери? — только и сумел он сказать.

Тилни, неуклюже увязая в песке, побежал к дюнам, Харрис кинулся за ним, догнал, привел обратно.

— Они дадут нам воды — они спасут нас. Ведь они нас спасут! — хрипел Тилни. Капитан резко оборвал его:

— Не разговаривать! Сержант Уотсон, погасите свет, быстрее!  
Все застыли в темноте. Голоса доходили до них сверхъестественным путем, как бы с неба.

— Да, — подтвердил Харрис. — Арабский диалект. Золлур. — Он снова обратился в слух, вытянувшись, как струна.

Минутой позже заговорил Таунс:

— Итак, кэп, что будем делать?

— Не знаю.

Стрингер потребовал:

— Мне нужен свет.

Моран глянул в его бледное лицо и понял, насколько спятил этот парень. Словно радуется, что приближается к настоящему безумию — это сродни удовольствию, которое получаешь от чесотки. И стал объяснять ему, как ребенку:

— Группа кочевников только что остановилась на привал — вон там. Если у них есть лишние верблюды, они могут взять нас с собой, можно даже по двое на одно животное. Или, в крайнем случае, пошлют за нами спасателей.

Ответ Стрингера он предчувствовал:

— Я не могу работать без света.

Разные школы психиатрии придумали не меньше десятка названий для его типа умственного расстройства, подумал Моран. Самое точное: навязчивая идея. Парнем завладела мечта о машине, которую он должен построить и поднять в небо. Если все остальные уедут на верблюдах, он все равно останется здесь со своим фениксом и сгорит от собственной одержимости.

— Свет зажигать нельзя, — предупредил капитан Харрис, тоже обращаясь к нему, как к ребенку. — Они не увидели его за дюнами, но могут обследовать окрестности в поисках колодца. Видите ли, мы пока не знаем, кто они, а они могут быть бандитами. Мистер Таунс, у вас на борту имеется оружие?

— Нет.

Харрис сжал губы.

— У нас с сержантом по пистолету. А у них может быть дюжина ружей. Силы явно неравны. Лучше вступить в переговоры.

Тилни изумленно зашептал:

— Может, и спасут, — как можно мягче пояснил Харрис: кругом одни дети. — Но понимаешь ли, мы христиане, а некоторые арабы фанатичны в своей вере. Аллах для них единственный бог, и они могут уничтожить неверных из принципа. Все равно что муху прихлопнуть. Верно, Уотсон?

— Да, сэр. — Это «сэр» вырвалось само собой.

Тилни застонал на одном дыхании:

— О, господи... господи...

— Хватит его рекламировать, — оборвал Кроу. — Слышал, что сказал капитан: у них свой бог!

Харрис зашептал:

— Не надо говорить так громко. Очень важно, чтобы никто не издавал ни звука. — Человек действия, он расправил плечи, будто надевая любимый костюм, в котором легче себя чувствовал. — Теперь нужно обо всем договориться.

Он спокойно изложил свой план, ни у кого не спрашивая совета, но и не протестуя, если его прерывали.

— Я беру с собой сержанта. Военная форма может нам помочь. — Он потрогал револьвер. — Мы перейдем дюны с западной стороны, сделаем полный круг и выйдем на них с востока, так что, если им захочется искать вас, они пойдут в противоположном направлении. Не зажигайте свет и не производите шума, пока мы не просигналим, что они настроены мирно.

Моран присматривал за Стрингером. Кто-то должен его опередить, если ему вздумается включить фонарь.

— Мы подойдем к ним с востока и скажем, что приземлились на парашюте. Поломался двигатель, где сел самолет — не знаем, где-то на востоке, мы летели в восточном направлении. Вы будете здесь в полной безопасности, при условии, что не раскроете себя. Теперь по поводу переговоров. Мне понадобится вся наличность, которую мы сможем собрать. Сомневаюсь, что есть смысл предлагать им мелкую поживу с самолета — им было бы трудно продать инструменты и прочее, но они могут соблазниться финиками. Зависит от того, в какой они сейчас форме. Мне придется решать на месте. Думаю, все по этому вопросу.

Таунс спросил:

— Есть у кого-нибудь при себе охранный грамота?

В этом районе убийства экипажей потерпевших крушение самолетов были не часты, но случались. Бурильщиков, занятых в трех компаниях — Нью-портской Горной, Авзонии Минералии и Франко-Вайоминг, — всегда обеспечивали охранный грамотой на

пяти главных арабских диалектах. «Возвративший в целостности и сохранности владельца сего документа будет вознагражден 100 ливийскими фунтами». Сумма колебалась, но даже десять фунтов способны были спровоцировать схватку между бандитами за приз в виде живого христианина, которого они в противном случае не колеблясь убили бы.

Никто не ответил. Охранной грамоты у них не было.

— Обойдемся без них, — сказал Харрис.

Он принес из салона фуражку. Собрали сто тридцать фунтов, один Уотсон внес пятьдесят. Капитан сложил деньги и сунул в карман.

— Для них кругленькая сумма. Это-то они должны понимать. Если не поймут, постараюсь убедить. — В его тоне прозвучала напускная уверенность. — Если услышите стрельбу или что-либо в этом роде, не делайте попыток прийти на помощь, иначе испортите нам всю кампанию. — Он поднял голову. — Достаточно светло, фонарик нам не понадобится. Сержант Уотсон!

Сержант ел его глазами, автоматически вытянувшись в присутствии старшего по званию. Его охватил страх, что он уступит своему врагу.

Перед ним встала фигура капитана, негромко, но уже раздраженно повторившего: «Уотсон!»

Держись, Уотсон. Держись.

На него надвигался капитан Харрис с расширенными глазами:

— В чем дело?

— Ни в чем, сэр. — Он попробовал обрубить последнее слово, но было уже поздно, оно уже было произнесено. — Я не иду, вот и все.

Они смотрели в лицо друг другу, и окружавшая их группа людей невольно расступилась, как перед началом схватки. «Невероятно, — подумал Моран. — Вот тебе и британская армия».

— Я ведь вам приказал, сержант. — В голосе не чувствовалось гнева, только удивление. — Пойдемте — и поживее!

— Я не иду.

Повисла тишина, прерываемая только слабыми голосами, доносившимися из-за дюна.

— Вы отказываетесь подчиниться приказу?

— Так точно. — Он смотрел на своего офицера. Посадка фуражки на голове, как всегда, выверена до миллиметра — на базе это называли «мода Харриса». Лицо, худое, обросшее и обожженное, по-иному смотрелось при луне — как бы совсем не тот человек, которого он ненавидел больше всего на свете.

— Сержант, мы немало прослужили вместе. Даю вам один шанс. Забудем, что вы только что сказали, и начнем снова. — Без всякой необходимости он поправил портупею, проверил кнопку кобуры, немного постоял и негромко скомандовал: — Сержант Уотсон, шагом марш!

Держись, Уотсон. Держись.

Не так просто все это было. Тут надо разом разбить цепь, которая держала тебя все эти годы. Не так просто.

— Я не иду.

Таунс и Моран незаметно отошли. Ситуация была чревата непредвиденными последствиями. Вызов был брошен не столько одному человеку, сколько веками существовавшему порядку.

— Итак, вы отказываетесь подчиниться приказу вашего офицера в обстоятельствах, грозящих опасностью для жизни?

Продолжай, сукин сын, давай потрясай «королевскими регалиями» и всем прочим. Давай покрасуйся — тебе ведь так нравится твой паршивый голос.

Сержант Уотсон дрожал всем телом, и ничего не мог с собой поделать. Он не боялся стоявшего перед ним человека. У каждого из них по pistolету — если дело дойдет до рукопашной, то он легко с ним справится. Он страшился огромной, всемогущей Ее. Армии. Когда ты отдал Ей столько лет, Армия забрала всю твою душу. Это не отряхнешь с себя просто так, оно глубоко в тебе, пустило корни, проникло в самую твою суть.

Имя и личный номер? Уотсон, 606. Эй, подтянитесь там, Уотсон! Теперь вы солдат, а не медуза! А ну-ка, правильно отдайте честь, рядовой! Сэр! Сэр! Капрал, из какой части? Ну-ка, капрал Уотсон, оденьте этого человека! Сэр! Вы старший над этим сбродом, капрал Уотсон? Сэр! Сержант Уотсон, приведите-ка в порядок своих людей!

Держись, Уотсон. Теперь ты можешь сказать ему все, что думаешь, только не бойся, пусть слушает. Смотри прямо в глаза, когда в первый раз назовешь ублюдком, впервые за эти годы.

— Точно так. Отказываюсь. — На большее он все-таки не осмелился.

— Вы понимаете, что будете отданы под суд военного трибунала?

— Понимаю.

Отошел и Белами. К нему это не имело никакого отношения. В газетах иногда

встречались истории вроде этой: два типа вздумали выяснять между собой отношения где-нибудь в джунглях, пустыне или на море, а после их портреты печатал «Миррор». Пьешь себе спокойно чай, разглядываешь фотографии и пытаешься судить: этот кажется вовсе неплохим парнем, а тот совсем дрянь.

Отражение капитана Харриса на фюзеляже вытянулось в струнку.

— Очень хорошо, сержант. Беру вас под арест. Сдайте револьвер. — Он протянул руку.

— Нет.

— Сдайте оружие, сержант.

Молчание.

— Вы отказываетесь?

— Да.

Капитан сделал шаг назад, не роняя достоинства.

— Очень хорошо, — только и сказал он.

— Я пойду с вами, кэп. Нужно идти двоим, — вмешался Лумис.

Последовал быстрый ответ:

— Защита жизни и собственности гражданского населения — обязанность вооруженных сил как в мирное время, так и на войне. Благодарю вас, но я пойду один.

— Надо двоим, кэп.-Пошли, — твердо повторил Лумис.

Когда они проходили мимо Уотсона, сержант расстегнул кобуру и вытащил пистолет.

— Лумис... возьми это.

Техасец махнул рукой:

— Не надо. Я ведь с капитаном.

Они ушли к западным дюнам. Через минуту видны были только две маленькие фигурки, пробирающиеся сквозь залитые лунным светом пески. Сержант Уотсон глядел им вслед, заново переживая случившееся. Так кончились для него все эти годы. Но он не освободился. Теперь он пропал.

## ГЛАВА 17

Сменяя одна другую, на ночном небосклоне чертили свои траектории падающие звезды, так что небо ни на минуту не оставалось спокойным. Луна, теперь маленькая и белесая, стояла в зените.

— И до каких пор вы намерены ждать?

— До рассвета, — ответил Моран.

— Но мы теряем бесценное время! — Стрингер твердил это с самой полуночи, но никто его не слушал. Он снимал и нервно протирал очки, снова надевал и щурился на штурмана.

— Мне нужен свет, чтобы работать.

Моран испробовал все аргументы. Это было все равно, что толковать с говорящим автоматом: в ответ он изрекал то, что было заложено программой. В Стрингере было что-то почти зловещее: настоящий робот из фильма ужасов.

— Если вы попытаетесь зажечь свет, я вас свяжу. Понятно? — Увещеваниями Моран был сыт по горло, пора поставить его на место.

— Я не боюсь вас, мистер Моран. Вы можете меня ударить, если хотите, но если вы это сделаете, я просто подожгу самолет. Тогда посмотрим, куда вы...

Не дожидаясь, пока в спор вступят его кулаки и окончательно все погубят, Моран отошел. Уотсону и Тилли он велел:

— Смотрите за этим помешанным, пока меня нет. Он способен погубить всех нас. Смотрите в оба.

Он пошел по бледному песку к восточным дюнам. Время от времени ботинки натыкались на камни и мелкие метеориты. Дюны матово блестели. На самом гребне распластались три фигуры. Он неслышно подошел.

— Есть новости, Фрэнки?

— Нет.

Моран лег на живот между Таунсом и Белами.

— Не нравится мне эта тишина, — подал голос Кроу.

Примерно в двух милях к востоку горел костер. Его зажгли около полуночи. Напрягая зрение, можно было видеть — или воображать, что видишь, — оживление вокруг костра. Темные холмики слева — очевидно, спящие верблюды, другая группа — видимо, люди, иногда чудилось какое-то движение среди них. Голоса больше не доносились.

— Надо пойти посмотреть, Лью.

— Я уже сказал, нет смысла...

— Я не могу здесь торчать и ничего не делать...

— Будешь торчать, Фрэнк. Доверимся Харрису: он не дурак.

Бесконечно тянулась тишина. Никто не заговаривал о завтрашнем дне. Завтра Харрис с Лумисом либо уедут на верблюдах и пришлют за ними спасателей, как только выберутся, либо останутся ни с чем и будут ждать, пока караван скроется за горизонтом и можно будет вернуться. О третьей возможности предпочитали молчать. Таунс обдумал про себя еще одну вероятность, но предпочел не высказывать ее вслух: бедуины, если захотят, могут пройти по следам Харриса и обнаружить самолет. Впрочем, возможно, Харрис запутал следы, он вполне мог это учесть.

— Все же не могу понять, — заговорил Моран, — почему пошел Лумис. Помнишь, я тебе говорил, он получил телеграмму — что-то срочное. Поэтому он и улетел из Джебела. Ничего не понимаю.

— Лумис вроде святого. Не смог видеть, как кэп уходит один — после всего, что случилось. Он так поступил, чтобы забыть его от лишних трудностей, — ответил Таунс.

Опять стало тихо. Кто-то глянул на часы. Через час рассвет, и все станет ясно. Этот час тянулся медленнее всего. Они лежали, подперев ладонями подбородки, вглядываясь в темные тени у догоравшего костра. Там было все их будущее.

— Стрингер-таки чокнется, — тихо заговорил Кроу. — Если нам повезет и мы уедем на верблюдах, он выпустит себе кишки.

— Ну и что? — ответил Белами. День-два пути, и вокруг будут пальмы, вода и весь мир. К черту Стрингера. Конечно, до поры до времени на нем основывались все надежды. Стоит все же прислушаться к Таунсу, который считает, что шанс поднять эту штуку и при этом не разбиться — пятьдесят на пятьдесят. А тут два дня пути с людьми, которые здесь родились и знают дорогу. Харрис должен с ними сговориться. Это именно тот человек: знает их наречие, пришел не с пустыми руками. Нет, капитан не даст промашки.

Позади звякнуло что-то металлическое. Моран выругался, скользнул вниз по дюне и срезал напрямик по песку. Если шумит Стрингер, он ему покажет.

Кроу пошевелил локтями, и руки пронзила острая боль. Его лицо лежало так близко от поверхности песка, что от дыхания поднималась пыль.

— Который час, Дейв?

— Три только что было.

— Господи, быстрее бы все кончилось. — Язык снова высох: сегодня опять сократили рацион до одной пинты, а в баке осталось воды всего на два дня. Воздух за ночь не шелохнулся. Ни ветра, ни инея, ни росы.

— Скоро рассвет, — сказал Белами и опустил лицо на руки, закрыв глаза. Заревое костра гипнотизировало, сон притуплял боль.

Когда на краю земли показалось солнце, они оставались на своих местах.

— Дейв.

Белами резко дернул головой, еще в полусне. Снова вернулась боль.

— Что?

— Утро.

Он открыл глаза и увидел солнечный диск. В сахарских сутках есть два момента — на рассвете и на закате, — когда можно на глаз определять расстояние: по низкому солнцу на краю горизонта. В такие моменты легко верится, что пустыня безгранична, что эти пески — сама вечность.

Между дюнами и заалевшим краем света, подобно темной каменной гряде, выделялись очертания людей и верблюдов. Скоро они зашевелились, меняя форму, разделяясь и вновь соединяясь. Тишину пустыни нарушили голоса, резкие, как первые птичьи трели в лесу.

На гребень дюны опять заполз Моран.

— Что-нибудь видно?

— Проснулись. До них две мили, если не больше.

По мере того как солнце освещало окрестности, темные фигуры краснели, за считанные минуты они окрасились в белое и бурое: бурнусы и туловища верблюдов, бросающие темные подвижные тени на песок. Голоса стали громче, длинные шеи животных покачивались.

— Они грузятся, — сказал Таунс.

— Смотрите — один верблюд белый.

— Это для меня, — пошутил Кроу.

Очертания заколыхались, медленно удаляясь на север. Над караваном колебался уже нагретый воздух, смешанный с поднятой пылью.

Белами сложил биноклем ладони, пытаясь что-нибудь рассмотреть в движущемся облаке. Скоро караван превратился в смутное пятно на северо-восточном краю песков.

Прошло какое-то время, прежде чем смогли заговорить: ожидание, длившееся двенадцать часов, было наполнено, кроме страха за Харриса и Лумиса, надеждой на спасение.

Первым поднялся Таунс. С одежды посыпался песок.

— Я пойду. — Надо убедиться, что они взяли с собой ребят.

Поднялись и остальные, намереваясь отправиться вместе с пилотом.

— Пойду я один, — отрезал Таунс.

Кроу глянул на Белами. В этом был смысл: телесная влага очень дорога. Следовало бы бросить жребий, кому идти, но по всему видно, Таунс решил твердо. Он спустился по восточному склону дюн. Моран обратился к Белами и Кроу:

— Прошу вас, разведите через пару часов костер. — В ослепляющем свете, уже сейчас мешавшем что-нибудь разглядеть, вряд ли будет видна солнечная сторона этих дюн с расстояния в две мили. И он скатился по склону, притормаживая пяткой.

— Лью, погоди! Мне надо размяться.

Он больше не доверял Таунсу. Нервы у всех на пределе, а Таунса к тому же терзает чувство вины. Еще с холма Моран заметил какое-то темное пятно. Оно плавало в водном мираже. Вероятно, верблюд, обессилевший и брошенный. Но если это не верблюд, а новые жертвы... Таунс может поддаться наваждению и уйти куда глаза глядят, пуститься, так сказать, в искупительное паломничество, потому что теперь станет семь погибших. Он сам будет восьмым.

Они шли минут сорок, до узких щелок зажмутив глаза между обожженными веками. Темное пятно оказалось не миражем. То был верблюд. Он, должно быть, умер во сне, потому что передние лапы неуклюже разъехались в разные стороны под тяжестью тела.

Они миновали труп и направились к еще двум фигурам, которые были слишком малы, чтобы их можно было разглядеть с дюн. Обогнули погасший костер и замерли.

— Этого мы и ждали, — прохрипел Моран. — Ты будешь лугом, если станешь отрицать это.

Таунс молчал.

С них сняли ботинки. Ботинки, часы, портупею и револьвер.

Моран ободряюще посмотрел на Таунса:

— Ведь это было их решение, не твое. — Он принялся рыть в песке яму.

Они пробыли здесь уже около часа, тела их отдавали ту немногую влагу, которая еще оставалась.

Таунс не проронил ни слова. Когда все было кончено и они повернули обратно, Моран остановился у трупа верблюда.

— Даже если бы они и взяли их с собой, то далеко не ушли бы. Эти мерзавцы сами потерялись. — Горб у верблюда был сморщен, весь усох, видно, в нем иссякли запасы жира. Шейные вены надрезаны в четырех местах: как последнее средство, араб способен пить кровь своего животного. Снятые ботинки, часы и пистолет были привычными, традиционными трофеями, которые берут у мертвых, даже если нет никакой надежды выручить за них деньги.

— Дай твою бутылку, Фрэнк.

Таунс отвернулся. Пришлось самому взять у него бутылку. То, что он задумал сделать с телом верблюда, потребует много времени. Может быть, у него начнется рвота и он потеряет остатки жидкости. Поэтому он твердил про себя заклинание: «Это означает жизнь для двоих целые сутки».

Лезвие карманного ножа прошло через стенку желудка, дважды он останавливался, повторяя шепотом: жизнь, жизнь, жизнь. Несмотря на подступающую тошноту, он продолжал наполнять бутылки зеленоватой, пачкающей руки жидкостью. Наполнив до краев, туго закрутил пробки и протер песком. Больше влаги не оказалось. Верблюжий желудок способен содержать до пятидесяти галлонов воды, но это животное дошло до предела и умерло от истощения. Наверно, бедуины не заметили, что верблюд не встал после ночевки, иначе они забрали бы из него всю оставшуюся воду. Они тоже дошли до предела, подумал Моран, и эта мысль его утешила.

Он вытер бутылку о шерсть верблюда и последовал по старым следам за Таунсом. Над дюнами поднимался столб дыма. Через двадцать минут он нагнал Таунса и передал ему его бутылку.

— Воняет, но пить можно.

— Я вылью ее в бак. Чтобы забыть. — Он остановился и повернул к Морану безжизненное лицо. — Мог бы меня позвать.

— Это — работа для одного. — Ему хотелось, чтобы Таунс взорвался, заорал, убежал или еще что-нибудь сделал, только не это ужасное пустое выражение и мертвый голос.

— Знаешь, почему я знал, что это случится, Фрэнк? Харрис был честный человек. Он думал, наличные деньги — то же самое, что охранный грамота. Имея на руках

бумагу, они должны доставить владельца ее, чтобы получить вознаграждение, а если деньги им отдали сразу, то незачем себя и утруждать.

Таунс молчал. Под ногами шелестел песок. Их спины и ноги покрылись испариной.

— Они довели бы их только тогда, когда впереди брезжила бы награда. Как, черт возьми, мы могли допустить, чтобы такой человек, как Харрис, этого не понял? Он сам хотел идти. Он...

— Да, он сам хотел идти, сам хотел, и теперь его нет, и Лумиса тоже, разве я не вижу?— со свистом и клекотом вырвалось из растрескавшихся губ и хриплых легких Таунса. Он замолк, втягивая воздух. Тяжело было видеть, как истекает гневом это ослабленное тело, но Моран был удовлетворен, что с этим покончено.

Столб дыма был теперь у них над головами. Они взобрались по песчаному склону, миновали гребень и вышли прямо на одинокую фигуру. Сержант Уотсон секунду-другую смотрел в их лица, ничего не спрашивая. Его глаза были широко раскрыты. Он все понял, но не мог лишиться себя удовольствия и переспросил:

— Он мертв, да?

Они смотрели в озверелое лицо, не в силах поверить в такой нескрываемый восторг.

— Да,— ответил Моран, и рот сержанта задергался в спазмах смеха: безобразный звук притворного ликования. Это продолжалось до тех пор, пока кулак Таунса не свалил его с ног.

## ГЛАВА 18

Уже по тому, как вел себя Стрингер, Моран предвидел затруднения. Большую часть дня он, как и остальные, пролежал в тени, хотя и не спал: тайком следил за ними, но тотчас отворачивался, едва кто-нибудь приближался. Этим Стрингер демонстрировал: он бастует.

— Сколько времени нам нужно еще? — спросил его Моран где-то после полудня.

Тонкое выбритое лицо выражало обиду. Моран ждал, ноги его дрожали: два часа сна ничуть не уменьшили слабости и головокружения.

— Так сколько, Стрингер?

— Меня это больше не интересует, мистер Моран,— последовал раздраженный ответ.

В знойном воздухе повисло напряженное молчание. Неподалеку, опершись спиной о корпус самолета, бодрствовал Таунс. С утра он не проронил ни слова. Во сне стонал Тилни. Кроу качал обезьянку, что-то ей нашептывая. Рядом с ним писал в тетради Белами. В тени хвоста лежал сержант Уотсон с разбитым носом и почерневшей от запекшейся крови бородой. Очнувшись после удара, он сказал Таунсу:

— Я и не жду, что вы меня поймете. Это не ваше дело. Касается только меня. Меня одного.— Его глаза ярко выделялись на разбитом лице, все еще сияя радостью. Он улегся под хвостом самолета и забылся приятной дремой.

Моран перевел взгляд со своих товарищей по несчастью на конструктора:

— Хорошо, вас не интересует, но меня — да. Скажем, десять дней?

Моран надеялся, что названная им цифра засядет в мозгу у Стрингера, но тот на приманку не клюнул.

— Я должен объяснить причину, по которой отказываюсь от проекта. Я не чувствую поддержки.

— Мы будем помогать. Раньше ведь...

— Но вы все время прекращаете работу! Прошлой ночью мы потеряли целых двадцать часов! — Он сел, повернувшись к Морану спиной.

— Прошлой ночью мы потеряли две жизни.

— Ну, в этом они сами виноваты, разве нет?

— Оставим это! — Усилия, которые он делал над собой, чтобы сдержаться, тоже вели к потере влаги.— Оставим это. Сейчас мы собираемся докончить самолет, по вашему плану.

— При том, что нас стало меньше! Каждую ночь теряем двадцать четыре человеко-часа. Одна прошлая ночь обошлась нам в восемьдесят четыре человеко-часа, потому что ни один из вас не приступил к работе, а теперь...

Морана замутило, и он отошел от греха подальше. Ему вспомнились тела убитых: головы почти отделены от туловища длинными кривыми ножами. Открытые глаза изумленно вытаращены. Харрис, стыдившийся показать слабость, должно быть, знавший, на что идет. И Лумис, все время деликатно подбадривавший их, стеснявшийся пить при других, чтобы не мучить тех, кто уже выпил свою воду. И эти двадцать четыре человеко-часа зарыты теперь в песок даже без креста.

Но Стрингер им нужен. Придется смириться с тем, что он родился без сердца. Не его это вина — может, когда-то оно у него и было, но сохлось от недостатка любви в раннем детстве; возможно — если бы только он мог в этом признаться — он и сам сожалеет о своем уродстве. Именно так на это посмотрел бы Лумис. Как-то он сказал о Тилли: «Попробуйте пожалеть мальчика. Каждую минуту он умирает всеми смертями, какие есть на свете, — как бы вы себя чувствовали в его шкуре? Пожалеем его». И Моран вернулся, чтобы закончить разговор со Стрингером, ничуть не обманываясь в том, будто научился у Лумиса состраданию, — просто ему нужно договориться со Стрингером прежде всего ради спасения своей жизни.

— Не буду повторять вам, — начал мягко он, — что верю в вашу машину. Она полетит. Все мы в это верим. — Он заметил, что лесть на конструктора действует. Моран слышал, как высказался прошлой ночью Таунс, после того как ушли Харрис с Лумисом: «Возможно, у них есть шанс. Я скорее уеду отсюда на верблюде, чем сяду в этот гроб». В присутствии Стрингера такое говорить не следует.

— Я знаю, что вы думаете о моей конструкции. Вы думаете, она разобьется и всех погубит. Мистер Таунс сказал...

— Послушайте, попытайтесь взглянуть на вещи его глазами. Он очень переживает, что навлек на нас беду, и боится ошибиться, когда поведет вашу машину, — это опять была бы его вина. Вы должны его понять. Для него это большая ответственность.

Моран продолжал лстыть. Он ненавидел себя за то, что приходится прибегать к такому способу ради спасения жизни, но другого он не видел. Стрингер снова вернулся к потерянным человеко-часам. На этот раз Моран терпел, стараясь не реагировать на его скрипучие слова:

— Мне было ясно, что мистер Харрис делает глупость — но только мне. Место, где мы оказались, находится в самом центре пустыни, в стороне от дорог. И было совершенно очевидно, что туземцы сами сбились с пути.

— Мы об этом не подумали, — продолжал свою игру Моран: теперь не важно, что говорится, все это забудется. Важно улететь, пока в них еще теплится жизнь. — Мы в ваших руках, Стрингер.

— Конечно! — Наконец он снизошел до того, чтобы прямо посмотреть в лицо штурману. — Беда в том, что и я в ваших руках. Если бы я обладал силой десятих мужчин, я бы уже закончил машину. Но мне остается только полагаться на вас — а вы ненадежны. Если мы возобновим работу, вы опять бросите ее под каким-нибудь предлогом. А я не могу так работать, ведь вся конструкция заключена в моей голове, и я легко могу потерять нить. Хотел бы, чтобы до вас это дошло, мистер Моран.

Он говорил тихо, но другие должны были их слышать. Впрочем, теперь это было не важно.

— Понимаю вас. Не могу говорить за всех, но обещаю, что с этого момента и до окончания строительства вы можете рассчитывать на меня.

В конце концов, смысл в словах Стрингера был: постройка аэроплана требовала особых знаний. Пилоты вроде Таунса давно позабыли чистую теорию, которой владел Стрингер, если вообще знали ее. И опять Моран спросил:

— Ну, так сколько времени нам потребуется?

Трудно было сказать, продолжает ли Стрингер дуться, или действительно считает. Молчание длилось долго, наконец конструктор изрек:

— Мне нужно сделать расчеты, мистер Моран.

— Скажите хоть приблизительно.

Стрингер принялся чертить пальцем ноги на песке. Моран отошел. Стоя под крылом, он прочитал выведенное на нем слово: «Феникс». Опять припомнился Лумис: именно он, с присущей ему душевной тонкостью, нашел точное имя для всех их надежд. Через минуту Моран вернулся к Стрингеру. Тот не шевельнулся.

— Итак, сколько? — потребовал ответ Моран.

— Неделя.

«Двадцать пять суток. Ночью возобновляем работу. Я не поверил своим ушам, когда Стрингер сказал, что мы можем закончить самолет через неделю. Всех так сразило то, что случилось с Харрисом и Лумисом, что мы потеряли всякую надежду. Улететь отсюда через неделю! Настроение радостное!»

Сержант Уотсон сидел в жаркой кабине. Крутил ручку генератора. Вызвался сам, как только услышал новость. В голове пульсировало, сильно болел нос, запекшаяся кровь клочьями висела на бороде, как рваная черная маска. Но он не сердился ни на пилота, ни на кого другого в мире. Харрис был мертв. Если они когда-нибудь выберутся отсюда, то он возвратится, расквитавшись со своим прошлым. Ведь еще два дня назад он был близок к тому, чтобы застрелить мерзавца, а это было бы убийство. Совсем тронулся — от жажды, конечно. Теперь совсем другое дело. Если они выберутся

отсюда, ни один из этих парней не станет затруднять себя доносом о маленьком бунте. Не их это дело. Кругом будут одни розы — если только они выберутся. Главное — без проклятого Харриса.

Сержант Уотсон!

Заткнись! Ангелам расскажешь.

Мерно рокотал генератор.

Под пологом Кроу и Белами дожидались, когда солнце сядет на дюны. Все было наготове: испаритель, еще два контейнера, которые они сделали из листов обшивки, и арабский нож, купленный Белами на рынке перед отлетом домой.

До этого долго совещались — все, кроме Стрингера, занятого установкой рулевых тяг. Пришли к мнению, что если им суждено выжить еще неделю, то должна же за это время хоть раз выпасть роса. В баке оставался двухдневный запас. Плюс пара пинт жидкости из павшего верблюда. Больше ничего. К левому баку с охлаждающей жидкостью прикасаться нельзя. Сегодня, по дnevнику Белами, понедельник. Они продержатся до утра четверга, когда бак окажется сухим и выдачи не будет. После этого смогут протянуть без воды день, в лучшем случае — два. Но уже в четверг ночью работа прекратится: это будет выше их сил.

Итак, в пятницу наступит конец — если не будет росы.

— Будет, — сказал Кроу. — Должна быть.

После того как Стрингер сказал: «Неделя», — все разделяли его одержимость. Теперь ничто не могло их остановить. Лумиса и капитана нет — говорить о них больше нет смысла. Надо думать о себе.

— Мне нравится ваша вера в провидение, — возразил Белами. — Но она нам не поможет. Мы должны исходить из того, что росы всю неделю не будет — такое ведь раньше бывало. — Он отвел Кроу туда, где их не могли слышать, и сказал, что нужно делать. И вот теперь они ждали, когда сядет на дюны солнце.

Птицы проплыли с юга — десять-двенадцать птиц, — снизившись и делая круги над восточным гребнем.

Кроу их видел, но молчал. Когда жара ослабла и можно было идти, он обратился к Уотсону:

— Дай нам на пару часов пистолет. На время. Получишь обратно.

На обезображенном лице сержанта мелькнула тревога:

— В чем дело?

— Так, ничего. Просто мера предосторожности.

— Зачем он вам нужен?

— Пострелять птиц.

Уотсон видел стервятников. Он протянул пистолет. До заката оставалось два часа, когда они покинули базу. Морана предупредили:

— Если мы не вернемся до семи, зажгите огонь на дюнах, для ориентира.

Миновав гряду, оказались в бесконечной пустыне. Каждые пять минут делали остановки и ямки в песке: не хотелось рисковать, когда осталась всего неделя.

Пятьдесят минут, по часам Кроу, понадобилось им, чтобы дойти до места. Испаритель и два контейнера, даже пустые, были для них тяжелы, напоминали об истощенности. Они молчали: разговор затрудняла боль во рту, да и не о чем было говорить.

Стервятники заметили их, заволновались — то, каркая, взмывали вверх, то снова падали на труп верблюда. Некоторые птицы готовы были напасть и на людей, но в последний момент уходили вбок и возвращались к стае с захлебывающимися от ярости окровавленными клювами.

Как колокол, загремел испаритель, когда Кроу застучал по нему длинным ножом, и птицы поднялись в воздух и сгрудились в одно черное облако. Лапы с выпущенными когтями предвещали атаку. Доносившиеся сверху крики перекрывало громохание банок. Белами уже приходилось видеть стервятника вблизи, — как-то этот шакал пустыни залетел в Джебел, — но никогда ему и в голову не могло прийти, что будет когда-нибудь суждено схватиться с ним за добычу. Эта мысль заставила его содрогнуться: они с Кроу дошли до уровня животных — не льва даже, а бродячей собаки.

Кроу кричал, гремел над головой банками. Птицы кружились футах в пятидесяти над трупом, выжидая удобного для атаки момента и прикидывая силы врага: им случалось встречать в затерянных местах людей, не способных поднять руку от слабости, и они предвкушали кровавое пиршество.

Сверху сыпался помет, оставляя белые пятна на верблюжьей шерсти. Кроу отбросил банку и разрядил пистолет в самую гущу переплетенных крыльев — на землю упали две черные птицы. Белами схватил ближнюю, ударил ножом по голой белой шее и, крепко держа ненавистное тело, положил птицу сверху бака. Не дожидаясь, пока из нее вытечет кровь, бросился за другой, лихорадочно орудуя ножом, не давая себе ни мига передышки.

Ни мига — потому что если он остановится и подумает о том, что сейчас делает, то

вряд ли сможет довести эту операцию до конца. Скорее всего он бросится обратно к дюнам.

Надо продержаться неделю, надо добыть воду, росы может и не быть. В крови есть вода, а здесь была кровь — неважно, чья, верблюда или стервятника. Руби и режь, и ни о чем не думай — только о том, что это надо сделать.

Выжав два птичьих трупя, он взял их за лапы и отбросил как можно дальше. Стая кинулась на них, сражаясь за добычу, пока они с Кроу занимались трупом верблюда, уже искореженным острыми клювами.

Сколько ушло времени, чтобы наполнить все три емкости, они не знали, потому что время превратилось в кошмар, лишилось всякой меры, теперь только нож и кровь имели для них значение. Работая, Кроу шептал про себя бессвязные слова, чувствуя, что ему нужно чем-то питать клекотавшую в нем ярость, потому что в ярости человек способен на такое, что в обычном состоянии выше его сил.

Стервятника, оттесненного другими птицами от трупов своих обезглавленных сородичей, снова привлек верблюд. Предвкушение крови подхлестнуло его. Как только его растопыренные когти коснулись трупа животного, Кроу прыгнул на него. От избытка переполнявшей его ненависти он даже не почувствовал, что когти впились в его руки, когда он в безумном броске сумел ухватить птицу за крыло. Мгновенно нащупав голую шею, он скрутил ее. Только теперь замолк пронзительный крик. Кроу швырнул птицу на песок, вспомнив в этот миг, как над головой пролетала хищная стая, когда пропала надежда на возвращение Робертса. Пистолет был для этого слишком хорош — он расправился своими руками.

Белами не узнавал приятеля: вот что означает слово, которому обычно не придаешь значения, — одержимый.

— Альберт, хватит! — Нож был красным по рукоятку, руки окровавлены до запястья.

Они подняли свои емкости и отошли от верблюда, слыша, как стая накидывается на него. Кроу остановился. В глазах кружилось. Он зажмурился и стоял с минуту, преодолевая тошноту и нахлынувшее желание броситься в песок, уснуть, забыться. Открыв глаза, увидел перед собой два холмика, сделанные, должно быть, Мораном и Таунсом. Низкое солнце далеко отбрасывало их тени.

— Пошли Альберт.

— Угу.

Их не пугала тяжесть полных контейнеров.

Когда добрались до дюн, там уже горел зажженный для них огонь.

## ГЛАВА 19

В четверг соорудили что-то похожее на детские качели. Ночь прошла нормально, но с понедельника все очень ослабели, и на некоторые операции ушло вдвое больше времени, чем планировал Стрингер. Превозмогая холод, боль и жажду, они закончили за последние двое суток работы по хвосту. Четыре рейки были протянуты от кормовой стойки к «кабине управления», представлявшей собой не что иное, как люльку сиденья и раму с рычагами.

Впервые появились признаки усталости и у Стрингера; но он не давал себе отдыха: это было еще одно проявление его одержимости. Качели он сделал незадолго до рассвета, воспользовавшись ненужным лонжероном, уложенным на камне, а другой камень взял в качестве противовеса. Они по очереди садились на противоположный конец, и Стрингер взвешивал каждого, прибавляя и убирая мелкие камни.

— Думаю, мы попусту теряем время, — прокомментировал его занятие Таунс.

Стрингер палкой записывал на песке цифры. Моран — четыре единицы, Кроу — три, Уотсон — пять.

— Отношение плечей рычага, — продолжал Таунс, — всего несколько футов. Мы ведь не собираемся залезать на крылья.

Стрингер молча считал. Моран примирительно заметил:

— Это недолго, Фрэнк. — Он намеренно медленно протянул эти слова — как предупреждение.

— На жаре каждая минута — вечность.

Стрингер подводил итоги:

— Мистер Таунс, следующий вы.

Таунс, жмурясь от солнца, стоял в тени навеса, пилотская кепка сбилась на затылок.

— Думаю, мы зря теряем время, — проворчал он, но на качели встал. У Морана полегчало на душе.

Когда взвешивание закончилось, все тут же повалились на песок. Пока они спали, Стрингер работал. Заметив, что глаза Морана открыты, сказал:

— Я хотел бы объяснить вам, как нам предстоит размещаться, мистер Моран. — Он подождал, пока штурман поднимется. — Мистер Таунс сядет у рычагов с левой стороны фюзеляжа за обтекателем, установленным таким образом, чтобы направлять встречный поток воздуха выше головы. Позади него будут Белами и Уотсон, как самые тяжелые. Я сяду справа по другую сторону, параллельно пилоту, за таким же обтекателем, — он нужен для уравнивания лобового сопротивления. Со своего места я смогу давать пилоту необходимые указания во время полета. Позади меня разместитесь вы, Кроу и Тилни — трое самых тяжелых с левой стороны и четверо самых легких с правой. Кроме пилота и меня, всем остальным придется лежать на животах, держа руки за ребра рамы. В этом сложностей не будет.

С основательностью тренера гребной команды он растолковывал Морану, какую им следует принять позу во время полета. Таунс, лежа в тени, прислушивался к монотонному голосу.

— Я сделал разметку на фюзеляже, мистер Моран, где нужно закрепить гнезда для пассажиров. Полагаю, вам это понятно. Это довольно просто.

— Я понял. — Вести с ним диалог в таком духе было нетрудно, коль скоро вы усвоили, что не аллах, а Стрингер — единственный бог в этом пустынном аду. Надо только тщательнее выбирать слова и произносить их как можно почтительнее. Может, Стрингер и не хотел сказать: «Так просто, мистер Моран, что даже вы способны понять», — но хотел или не хотел, ответ мог быть только один. Последние два дня парень как в лихорадке, и его лицо — даже это лицо школьника — заметно осунулось: отсутствие воды и пищи тело возмещало нервами. Одно неверное слово Таунса — и он взорвется, и «Феникс» никогда не взлетит.

— Сегодня ночью мы установим гнезда, — продолжал Стрингер. — Днем я проверю рычаги управления. — Он снял очки. Закрыв глаза, прислонил голову к фюзеляжу, и Моран увидел, как расслабляется его лицо: конструктор напоминал сейчас монаха, погружающегося в медитацию.

Штурман тихо спросил:

— Так мы можем рассчитывать, что улетим в воскресенье?

— Не вижу ничего такого, что могло бы нам помешать.

«24-е сутки. Кончилась последняя вода. Сегодня утром выдачи не было. Работа продвигается, но все мы слишком ослабели, чтобы радоваться. Просто надеемся как-то продержаться».

Больше, кажется, писать было нечего. Обычно он упоминал об Альберте, но сегодня не нашел ничего достойного внимания. Три дня назад он попробовал описать того Альберта, которого увидел там, у верблюжьего трупа, но не нашел слов. Дневник ведь для того, чтобы записывать события. Сам он никогда не забудет длинный костлявый нос Альберта и его вопль в тот момент, когда он почти на лету схватил стервятника и голыми руками свернул ему голову, а потом крутил над собой черную массу перьев, продолжая издавать страшный воинственный клич. В этот миг лицо Альберта преобразилось. Это было похоже на некое символическое действие — что-то вроде Георгия и Змия, Добра и Зла, человека, побеждающего черного ангела смерти. Но в дневнике так не напишешь — покажется высокопарным.

Было еще кое-что, чего он не смог описать в дневнике: выражение лица бедняги Альберта, после того как они в течение шести часов «дистиллировали» кровь. Трубка выпустила немного пара, давшего с наперсток воды, и замолкла. Альберт снял трубку, сунул в испаритель палку и вытащил ее, покрытую чем-то вроде черной патоки.

— Не пойдет, Дейв. Не пойдет...

Содержимое попросту свернулось. Пришлось уговорить Стрингера отдать им треть охлаждающей жидкости из левого бака, оставив самый минимум для полета. Сейчас она дистиллировалась. Уотсон отполировал несколько дюралевых панелей, чтобы фокусировать солнечные лучи на затененной стороне испарителя. Жидкость кипятилась с понедельника и пока дала лишь четыре бутылки пригодной для питья воды — мало, но все же кое-что.

Итак, их экспедиция прошла впустую. Даже мясом верблюда они воспользоваться не могли — самая малость вареного мяса десятикратно усилила бы жажду. Ну что ж... Вот и все, о чем можно сказать. В воскресенье, если повезет, их здесь не будет. Об этом лучше не думать. Если слишком чего-то хочешь, то можешь быть уверен — его не будет. Многое может случиться до воскресенья. Может не завестись мотор. Может настолько ослабеть Таунс, что ему будет не по силам управлять рычагами. Может ошибиться Стрингер. Об этом лучше не думать. Вообще, незачем думать — надо просто лежать не двигаясь весь день и притворяться, будто не чувствуешь, как из тебя выходит последняя влага, даже в тени. А ночью все силы отдавать работе — и верить в Стрингера.

Он глянул на Альберта, забывшегося в глубоком сне. На измятом обожженном

лице клювом торчал костистый нос. Бедный Альберт — сегодня он чуть не надорвал себе сердце, пытаясь объяснить обезьянке, что воды больше не будет.

Уотсона разбудил кошмар: ему приснились бурые с золотыми головами змеи, которые превращались в ремни портупей. Должно быть, на какое-то мгновение у него оборвалось дыхание — оттого и проснулся. Работавшие, как кузнечные меха, легкие шумно вдыхали сухой жаркий воздух. Из разбитого носа опять сочилась кровь, к нему было больно прикоснуться.

Со вчерашнего дня его начали мучить сомнения, что не все будет устлано розами, даже если он и выберется отсюда.

— Итак, было два случая, когда капитан Харрис покидал базу без вас?

— Да, сэр.

— В первый раз вам пришлось остаться, потому что вы растянули лодыжку. Во второй раз, утврждаете вы, капитан Харрис приказал вам остаться на базе для охраны гражданских лиц на случай, если ему не удастся возвратиться после своей миссии?

— Да, сэр.

— Почему же тогда в первом случае он не приказал вам остаться на базе, чтобы охранять гражданских лиц? Чтобы выяснить истинные обстоятельства смерти офицера, мы вынуждены спросить вас, почему он не отдал вам приказа оставаться на базе в обоих случаях? Далее, все гражданские лица были мужчины, привычные к условиям пустыни, среди них не было ни женщин, ни детей. Таким образом, мы сомневаемся в факте — как он изложен в ваших показаниях, — что капитан Харрис приказывал вам оставаться на базе. Не могли бы вы разъяснить этот пункт, сержант?

— Я не должен был подвергать сомнению отданные мне приказания, не так ли?

— Но разве вы не спрашивали самого себя, мысленно, почему капитан Харрис приказал вам следовать за ним в первый раз, а во втором случае дал команду оставаться на месте?

— Не могу точно ответить, сэр. Не помню.

Для них это будет не ответ. Ему припомнились и другие несообразности. Тут они на него и насыдут. К тому же они узнают имена всех других, особенно Таунса. История попадет в газеты, что-то вроде: «Как нам удалось выжить в пустыне». Они порасспросят Таунса — с какой стати ему его вырывать? Уже сейчас расквасил нос.

Да, впереди вряд ли ждут розы.

Вечером произошло то, чего уже три дня опасался Моран, с того самого момента, как вновь забрезжила надежда.

Перед закатом остановился генератор. Из кабины вышел вспотевший Тилни. Его пошатывало, но он справился со слабостью и доложил об этом Стрингеру. Включили рабочий фонарь. Луна еще не взошла, и от бесконечной пустынной ночи их отделяло лишь небольшое пятно света. Сегодня острее, чем обычно, давила пустыня, ее размеры и молчание. Стрингер обещал, что к воскресенью самолет будет готов, а завтра пятница. Уже в эту ночь они намерены оборудовать места для команды — последняя большая работа перед тем, как Стрингер проверит все узлы, и даст добро. Конечно, питьевой бак теперь сухой, и вряд ли можно рассчитывать на росу, но в испарителе уже много часов булькает охлаждающая жидкость, потихоньку наполняя бутылку. Процесс шел медленно, слишком медленно. Имей они даже тысячи галлонов жидкости, все равно умерли бы от жажды, а смесь все продолжала бы кипеть, но то, что вода производилась непрерывно, было для них психологическим оружием против отчаяния.

Теперь они приходили в отчаяние другого рода — отчаяние, проистекавшее от опасений, что «Феникс» не взлетит, а если и взлетит, то все равно разобьется. Теперь когда они подходили к цели, она мало-помалу обретала очертания миража. И только один из них ничего не страшился.

— Я уже объяснил мистеру Морану, чем мы занимаемся сегодня. Проблем пока нет, но если вам все же что-то неясно, спрашивайте у него.

Конструктор окинул их холодным взглядом, и Морану припомнилось время, когда Стрингер вовсе ни с кем не разговаривал, переложив эту обязанность на него.

— Готова бутылка. Сделаем по глотку. Вы не против, Стрингер? — спросил Моран.

Возражений не последовало. Таунс предельно аккуратно разлил воду. Каждому досталось по несколько глотков, и они держали их во рту, стараясь насытить хотя бы пересохший язык.

Минутой позже Таунс обратился к Стрингеру:

— Мотор проверим сегодня?

Таунс спрашивал его об этом еще днем, но Стрингер в тот момент не удостоил его ответом. Промолчал он и сейчас. Таунс отнес в салон свою бутылку и вернулся на освещенную фонарем площадку.

— Пора испытать мотор. — Пилот почти вплотную приблизился к Стрингеру, вынуждая того отвечать.

— Полагаю, это вы можете оставить на мое усмотрение, мистер Таунс.

Моран в это время обрубал заклепки, чтобы извлечь из правой гондолы лонжероны, которые пойдут на устройство пассажирских гнезд. Он видел, что Таунс со Стрингером разговаривают, но слов слышать не мог, так как стучал молотком по зубилу.

Таунс говорил медленно, едва сдерживаясь:

— Я не забываю, Стрингер, — конструктор вы. Но вести эту штуку придется мне.

Что-то про себя бормотал Кроу, занятый сверлением отверстий в фюзеляже. Подошел Тилли с горстью болтов, которые он добыл из старых сидений.

— Шайбы нужно ставить, мистер Стрингер?

Ответа не последовало. Стрингер был занят выяснением отношений с Таунсом.

— Эта «штука», мистер Таунс, имеет название. Она называется аэропланом. Я считаю, что летчик с вашим опытом должен испытывать уважение к машине, на которой он полетит.

Медленно, без выражения, моргали карие глаза за стеклами очков. Как у рептилии, подумал Таунс. Он сказал:

— Хорошо, пусть будет аэроплан. — Может, Моран и прав: этому парню надо потакать — только так можно его приручить. — Но я испытывал бы куда больше уважения к нему, если бы знал, что мотор работает.

Стрингер вытягивался на глазах. Это случилось и во время его прошлых стычек с летчиком, когда он требовал, чтобы Таунс работал, как все другие. Он продолжал вытягивать свое тело — теперь его плечи уже доставали до крыла.

— Мотор работал прекрасно, мистер Таунс, до тех пор, пока песок не забил жиклеры во время бури. Я понял, вы сняли и очистили карбюратор. Следовательно, мотор будет работать, как и прежде, если только вы уверены, что должным образом прочистили жиклеры.

От дальней стороны фюзеляжа шла мерная дробь. — Моран работал молотком. Ближе находился Кроу. Он прислушался к раздраженным голосам.

В испарителе все время булькало, пламя отбрасывало пляшущие тени. Моран на минуту прекратил работу, и тут услышал нервный разговор этих двоих.

— Стрингер, жиклеры чистые. Я сам их прочистил. Но этот двигатель не работает уже три недели. При такой жаре могла произойти конденсация масла на контактах, возможна и воздушная пробка в горючем, наконец, может закоротить цепь высокого напряжения. Или вы ничего не слышали о подобных вещах? Если мы испробуем мотор сегодня ночью, то у нас будет время и силы, чтобы найти неисправность и устранить ее. У нас есть запасной мотор, который можно разобрать, если понадобится. — Он старался говорить примирительно, как Моран, но у него это не получалось. — Если эту машину поведу я, то я намерен проверить мотор сегодня.

Таунс чувствовал, как на теле проступает испарина, он знал, что не может себе позволить гневаться — все, что влекло за собой потоотделение, было сейчас опасно, но этого ненормального ничем не проймешь. Виноват Моран: носится с ним, как с божком, вот конструктор и возомнил себя всемогущим.

Бросил работу Альберт Кроу. Он перешел на другую сторону, туда, где Белами привинчивал рамы для сидений.

— Дейв, опять свара.

— Слышу.

— Белами уронил болт, нырнул за ним рукой, но он навсегда утонул в песке — придется искать другой, а это как минимум десять минут.

— Действует на нервы, — буркнул Кроу.

— Мне тоже. Но я-то тут при чем?

Кроу промолчал. Стычка не утихала.

— Если мы испробуем мотор, — взвизгнул монотонный голос, — у хвоста поднимется пыль и забьет соединения тяг. Вибрация подвергнет всю структуру излишнему напряжению. Мы израсходуем пиропатроны, а их всего семь. На запуск мотора их может уйти четыре-пять, и на воскресенье останется только два или три. Полагаю, вы понимаете, мистер Таунс, что у нас не будет никакого другого способа завести двигатель, после того, как мы используем все пиропатроны? — Голос оставался визгливым. — Или вы хотите, чтобы мы умерли здесь от жажды, имея готовый самолет, только потому, что не сможем запустить двигатель?

Таунс чувствовал, как по шее ползет капля пота, руки сжались. Он сознавал, что уже не вникает в слова, слышит только визгливый голос, и когда Стрингер замолчал, Таунсу понадобилось какое-то время, чтобы уловить смысл сказанного. Перед глазами плыло бледное лицо, очки отражали неяркий свет фонаря.

За тридцать лет никто ни разу не подвергал сомнению авторитет Таунса-пилота. «Как хотите, я не полечу, пока не поставите новый комплект патронов! Меня не удовлетворяет давление, нужно заменить поршень. Если не можете исправить капот, поставьте новый — даю вам пятнадцать минут».

«Да, сэр. Хорошо, мистер Таунс».

И он услышал свой голос, обращенный к Стрингеру, голос, который вот-вот готов был сорваться на такой же визг, а точнее — рык.

— Вот что я вам скажу. Сейчас самое время устранить неполадки, если они есть. Пожалуйста, подготовьте машину к испытанию.

Издали Моран услышал то, что принял сначала за крик птицы, потом что-то грохнуло по лампочке, и «Феникс» погрузился в темноту.

## ГЛАВА 20

Всю ночь и следующий день он пролежал не шевелясь, как мертвый. Никто к нему не приближался. Раз подошел Моран. Мальчишеское лицо свело судорогой, глаза, теперь без очков, будто провалились. Он часами разглядывал потолок салона. Так же безучастно посмотрел на Морана, когда тот сказал:

— У меня был с ним разговор. — Он нагнулся, чтобы лучше видеть лицо парня, обеспокоенный его лихорадочным видом. — Теперь все мы хотим знать, состоится ли полет? — Можно было сказать и по-другому: хотим знать, что ты решил — жить нам или умереть?

В глазах Стрингера мелькнуло понимание, он промолчал.

— Прошлой ночью мы почти закончили крепление пассажирских гнезд. Я готов заняться установкой тяг. Думаю, справлюсь с этим, но хотелось бы, чтобы вы проверили. Боюсь испортить ту огромную работу, что вы проделали.

Мутно-карие глаза медленно мигали, и Моран призвал на помощь все свое терпение. Он продолжал:

— Я первым поддержал вас с самого начала — ведь это я заинтересовал всех остальных. Я и сейчас верю в вашу идею. Предлагаю работать вдвоем. Черт с ними со всеми. Но если ваша машина взлетит, вы спасете жизнь семерым.

Он негромко продолжал увещевания, коверкая звуки сморщенными губами и высохшим языком. Здесь важны были не слова, а сам тон, которым они говорились.

— Сегодня ночью мы опять работали. Но нам не хватает уверенности, что мы можем рассчитывать на вас.

Солнечные блики, проникая внутрь салона, отражались на оголенном металле. Когда Моран замолчал, ответом ему было ровное дыхание Стрингера.

С закрытыми глазами конструктор был похож на мертвого. Это был своего рода ответ, и Моран оставил его в покое. В тени крыла лежали без сна Кроу и Белами.

— Что он говорит? — спросил Кроу подошедшего к ним штурмана.

— Ничего, — ответил Моран, уже зная, что через несколько минут он вернется к Стрингеру и начнет все сначала. Интересно, где Таунс? Дважды в течение дня Моран терял его из виду и боялся, что тот уйдет в пустыню.

— Где Таунс?

— В хвосте.

Моран надеялся, что командир спит, сберегая оставшиеся силы, — ночью Таунсу предстояло работать, как негру.

Стрингер грохнул по лампочке металлическими ножницами, оказавшимися под рукой. Никто не знал, целил ли он в лицо Таунса, или в фонарь, или просто в никуда, когда раздался этот нечеловеческий яростный визг. Моран подоспел, когда Стрингер уже исчез в салоне, а Таунс взбирался на крыло.

— Фрэнк. Что случилось?

Моран оглядел остальных, но все молчали.

— Я намерен завести мотор. — Голос Таунса все еще дрожал от возбуждения.

— Сегодня? Сейчас?

— Надо знать, будет ли он работать.

Кроу сказал:

— Опять у них вышла свара.

Моран кинулся в салон. В желтом отсвете масляного пламени различалось белое лицо Стрингера. Парня било, как в лихорадке, он не мог выговорить ни слова. Моран вернулся к крылу.

— Тилни! Возьми фонарик и принеси новую лампочку, — в грузовом отсеке есть запасные. Фрэнк, а Стрингер согласен, чтобы мы проверили мотор?

Таунс в темноте пытался отпустить крепление капота.

— Распоряжение пилота, — прохрипел он.

Итак, это случилось — то, чего он больше всего боялся. Третий раунд. На этот раз Фрэнк не уговоришь. Закрыв глаза, Моран молил о чуде. Вернулся Тилни с новой лампочкой, вместе с Уотсоном они вставили ее в фонарь. Сцена снова ожила, как вытравленная на гравюре яркими контрастами света и тьмы. Теперь, когда опять стало светло, Таунс наверху уверенно управлялся с гайками; если он и кипел от ярости, то внешне этого не показывал; может быть, гнев его утих, потому что на этот раз победил он; два первых раунда остались за Стрингером, этот — за ним.

Все сбились вместе, не зная, куда себя деть. Кроу, Белами, Уотсон, Тилли — наблюдали за человеком на крыле. Моран выдохнул:

— Чья это идея?

— Его, — ответил Белами, указав глазами на Таунса.

— И Стрингер сказал «нет»?

— Так точно.

Кроу выдал длинную очередь ругательств, он продолжал, пока Белами не велел ему заткнуться. Они стояли, освещенные резко вспыхнувшим светом, жизнь каждого целиком теперь зависела от других, и при этом ни один из них не питал дружеских чувств к товарищам. Их дух был сломлен.

Моран попробовал осмыслить происшедшее. Ничего нового не случилось: несколько человек оказались в пустыне и, дойдя до крайности, сходили теперь с ума.

Стрингер держался слишком долго: он питал свой мозг напряженной работой, чтобы вернуть им дом, воду и пищу. Теперь он сломался. На ином помешался Таунс: в молодости и таланте Стрингера он усмотрел некое обвинение в свой адрес, перст, указующий на длинный ряд неудач, из которых складывалась его жизнь. Первоклассный пилот проваливал экзамены и сходил с больших маршрутов и самолетов и оказался в конце концов на местных линиях, потому что без неба жизни ему не было. Он продолжал летать, убеждая себя в том, что джунгли, пустыни и плавучие льдины дают ему как пилоту лучший шанс доказать, что всякий способен летать на больших, начиненных автоматикой машинах, но только прирожденный летчик способен поднять «Бивер» с крошечной площадки среди болот или провести «Скайтрак» через песчаную бурю и выжить. Таунс продолжал летать, пока у него не вскружилась голова от самоуверенности и он не начал бравировать: чем мы рискуем? Справимся... Продолжал летать, имея на счету сорок тысяч часов, пока не настал последний час и он не свалился на землю. Все то, что он до сих пор пытался стряхнуть с себя, — все неудачи и унижения, даже свой возраст, — навалилось теперь на него. Не тогда, когда «Скайтрак» уткнулся носом в песок, и не тогда, когда он увидел, что двенадцать человек остались живы, но в тот момент, когда ему пришлось взяться за лопату и своими руками вырыть могилу погибшим.

Ему нужно было найти кого-то, на ком он мог бы выместить всю злобу на самого себя — и тут появился Стрингер, молодой, самоуверенный, авиаконструктор, чуть старше тридцати, блестящий, на подъеме. Но Стрингер от роли мальчишка для битвы отказался. Им двоим суждено было столкнуться в обстоятельствах, когда сама жизнь зависит от нормальных взаимоотношений, «обстоятельства» были вызваны крушением — по вине Таунса, и жизнь их зависела теперь от постройки самолета — на условиях Стрингера.

Таунс показал, что готов сотрудничать — работал усерднее многих. Он готов вывезти их отсюда. Но его ущемленное «я» не смирялось. Карьера его кончена — остался только один, последний полет, но он не может снести еще одно унижение и лететь под командой этого юнца.

Может, он и сам не сознает, почему так непреклонен в своем требовании пробного запуска: его «я», тот черный тюльпан, который прячется внутри всякого человека распускался теперь в благоприятствующих обстоятельствах голода, жажды, мук вины и надвигающейся смерти. Порой и Моран совершал импульсивные, необъяснимые поступки и после мучился вопросом: какого черта я это сделал? Такое бывает со всяким. Не ведаешь, что творишь. Теперь случилось с Таунсом, и от этого должны погибнуть все.

Рядом невнятно бормотал Кроу:

— Останови его, Лью. Одно дело запуск для взлета — и совсем другое, когда эта штука стоит на подпорках и тормозах. Ее растрясет, как и говорил Стрингер.

— Он готов к запуску? — спросил Белами. — Запалы и патроны на месте?

— Готов, — ответил Моран. — Он сделал все сам.

Две ночи Таунс работал, не отдавая себе отчета в той страшной силе, которая в нем сидела и теперь неумолимо вела к гибели машину. Всякого, кто сказал бы ему об этом, он назвал бы сумасшедшим.

— Я ему помогать не буду, — заявил Уотсон.

— Никто не будет, — сказал Белами.

— Останови его, Лью.

Стоя на крыле, Таунс проверял запалы и готовился закрывать крышку капота. Только сейчас, спустя столько времени после стычки, он почувствовал страшную усталость и не мог вспомнить, плотно ли зажал соединения прошлой ночью. Он снова проверил крепления и был готов к пробному запуску. Мотор должен, просто обязан запуститься. Он посмотрит, как вертится винт, послушает звук, даст мотору поработать, пока не задержатся передние костыли, все осмотрит, а после подойдет к Стрингеру и скажет: «Я удовлетворен». И все будут знать, на каком они свете, у самолета появится командир.

Все это нужно продемонстрировать. И никто, кроме него самого, этого не сделает. Лью считает, что со Стрингером можно иметь дело, если только все время к нему подлизываться. Поэтому все с самого начала беспрекословно выполняют его команды. Они неправы: от этого Стрингер превратился в диктатора. Он положит этому конец.

Эти мысли пробегали в его мозгу, пока он закреплял крышку капота. Руки Таунса действовали уверенно. Перед глазами, правда, огоньки — но это от того, что он сильно ослабел физически, мозг же его в полном порядке, и он им владеет. Скоро они это поймут. Надо только им доказать.

— Надо только доказать. — Его удивило собственное бормотанье. Известно, что думают о тех, кто сам с собой разговаривает, ему же это просто помогает лучше выразить мысли — и только. Нога заскользила по гладкой поверхности металла, он почувствовал резкую боль в паху. Он очень устал — надо быть внимательнее, ведь на него смотрят. Вон они сгрудились на земле, маленькие людишки, смотрят, как их командир готовит мотор к пробному запуску. Они в его руках, и он не подведет их.

Закачал в баллоны сжатый воздух и услышал шипение топливной смеси.

— Фрэнк. — Внизу размытым пятном выделилось лицо Лью. — Ты все делаешь сам, понял!

— Меня это устраивает.

Взобрался на сиденье и на четверть открыл дроссель, обогащая смесь и убеждаясь, что электрозащита в порядке. Разом к нему вернулось радостное чувство от привычной рутины запуска. Тысячу раз ему приходилось это делать самому — то в джунглях, то среди болот, где не было надежных механиков. Включил стоп-краны, закачал и установил смесь, включил защитную систему...

Падение с крыла показалось долгим, но песок был мягким, и, поднявшись, он снова устремился наверх. Кто-то схватил его за руку.

— Фрэнк, тебе не хватит сил...

— Кому — мне? — Он разозлился. Лью дурак, если хочет выставить его перед другими в неприглядном свете. Он рванул руку, двинулся вокруг крыла. Винт был в приподнятом положении. Он потянулся к лопасти, ухватился за нее обеими руками и висел до тех пор, пока под его тяжестью не сдвинулись поршни. В голове пульсировало, перед глазами поплыли белые вспышки. С минуту постоял, дожидаясь, пока пройдет боль. Теперь лопасть была ниже, и он нажал на нее плечом, но она не поддалась. Лью прав: он сейчас не в форме, хотя и не стоило говорить об этом при всех. Сделал еще одну попытку — безрезультатно, резкая боль в спине вынудила остановиться. Он подождал еще минуту, скрывая, как тяжело и часто дышит. Бог с ним, с подсосом, — с этим справится первый заряд, их ведь семь, в избытке.

Обходя крыло, он больно ударился о него плечом. Над головой мигал и качался фонарь, ноги вязли в песке.

Все молчали.

Таунс карабкался наверх — поскользнулся, упал. Поднялся на ноги, снова полез — ухватился за сиденье пилота, перебросил ногу. Только не упасть. Виски в поту, потрачено столько сил, и никто не помогает, убудки. Посмотрим теперь, кто командир, сейчас он им покажет. Отжать подсос. Еще пару качков ради гарантии. Контакт.

Они кучкой стояли на песке, отбрасывая тени на крыло. В полном молчании смотрели на человека, опять и опять нажимающего кнопку зажигания — безрезультатно.

— Фрэнк, послушай. Обойма пуста. Без пиропатронов.

Таунс выкрикнул иссохшим ртом:

— Патроны есть. Целых семь зарядов! — И продолжал давить на проклятую кнопку.

— Слушай, Фрэнк. Постарайся понять. Мы вытащили патроны, пока ты возился с винтом. Это бессмысленно.

Руки Таунса замерли. Он все понял. До него дошло, что они с ним сделали. С командиром самолета. Они усадили его сюда, как в ловушку для обезьян.

Он рванул с сиденья, шагнул на крыло и уставился на поплывшее перед ним белое лицо Морана.

— Вы... сделали...

Снизу он казался огромным; согбленные плечи доставали до звезд, ноги согнулись в коленях, руки растопырились перед прыжком.

Он потерял рассудок. Моран понял это и попросил у сержанта пистолет.

— Осторожно, Фрэнк.

Не удержав равновесия, Таунс прыгнул — в тот самый миг, когда раздался выстрел. Тело стукнулось о песок и не шевелилось.

Полная луна нижним краем касалась гребня темной дюны.

Моран поглядывал на нее, слушая Таунса; временами он вставлял слово-другое, чтобы дать знать, что слушает и понимает.

Моран вернул Уотсону пистолет и помог Таунсу встать на ноги. Вдвоем с Кроу они увели его с освещенного места. Для слез в нем не оставалось влаги, но дыхание было резким и частым, тело дрожало.

— Я присмотрю за ним, — сказал Моран, и Кроу направился к остальным. Все молча принялись за работу. Прошло много времени, прежде чем Таунс шепотом сказал:

— Не думал, что ты это сделаешь. Не думал, что выстрелишь.

— Я стрелял в воздух.

Таунс открыл глаза и долго смотрел на высокие белые звезды.

— Не думал, что я так плох, Лью.

— Ты не так плох...

— Не думал, что дошел до... — Он смотрел на звезды с таким видом, будто удивлялся, что видит их вновь. — Я пытался запустить мотор, верно?

— Да.

— Зачем я это делал, Лью?

— Чтобы показать, что ты самый главный.

— Неужели? Боже мой!

Рука Морана еще ощущала отдачу выстрела. Им повезло. Трудно было промахнуться — Таунс летел прямо на него. Но, в метафорическом смысле, выстрел попал в цель: даже будучи в таком состоянии, Таунс осознал — в него стрелял лучший друг. Он, должно быть, думал, что уже мертв, когда падал на песок. Своего рода шоковая терапия. Сейчас он говорил вполне нормально, выражение глаз было осмысленным.

— Они там работают? — спросил он, прислушиваясь к звяканью инструментов.

— Да.

— Иди помогай им, Лью.

Моран не уловил ни одной фальшивой нотки в его голосе, той хитрости, что встречается у сумасшедших.

— Ты в порядке, Фрэнк?

— Да. Мне надо кое о чем подумать.

И Моран присоединился к остальным.

— Ну, как он?

— Он поправится.

— Думал, ты убил его.

— Он тоже так думал.

Моран взобрался на крыло и проверил все рычаги управления, все, к чему прикасался Таунс. Белами он велел спрятать все семь пиропатронов; они могут быть у него в сохранности до воскресенья или другого дня, когда они сделают попытку взлететь, если такой день наступит. Конструктор и пилот отлеживались, приходя в себя после пронесшегося в их головах вихря. Шансы были ничтожными.

Работая над креплением гнезд для пассажиров, Моран часто делал остановки, поглядывая за Таунсом. Глаза пилота были закрыты. Возможно, он спал. Было уже далеко за полночь, уже взошла луна, когда Таунс открыл глаза.

— Это ты, Лью?

— Я.

— Как идет работа?

— Нормально.

Таунс приподнялся, опершись на локоть, и посмотрел ему в глаза.

— Лью, я спятил, да?

— Да.

Таунс отвернулся.

— Я знал, что это случится. Ведь я возненавидел его. Доходило до того, что каждый раз, когда я видел это лицо, мне хотелось его ударить. Ничего не понимал, знал только, что ненавижу. Теперь я все обдумал. И вот что я тебе скажу: это случилось потому, что он молод и решил взять на себя мою ответственность.

Слушая его, Моран смотрел на огромную луну. Он узнавал о Таунсе такое, о чем не подозревал раньше, о чем до последнего времени не знал и сам Таунс. Это была исповедь.

— Вот еще что, Лью. Я в какой-то, хоть и в малой, мере привык к власти. Даже если летчик не больше, чем водитель автобуса, на борту он — царь. А этот юнец никогда не знал власти, и теперь она затмила его разум. Так ведь?

— Так.

- Где же выход, Лью?
- Признай его власть.
- Хорошо. Так и я теперь думаю.

Моран готов был сколько угодно поддерживать разговор, Таунс, избавившись от своей пытки, провалился в глубокий сон. Кое-как укрыв его, Моран удалился.

Росы не было. Они прополоскали рот и горло той малой толикой воды, которая дистиллировалась за ночь. Моран отнес Стрингеру его долю.

Тот принял ее без слов. Пота на нем не было, но глаза лихорадочно блестели. Моран долго его увещевал, спрашивал, могут ли они на него рассчитывать. Парень молчал, хотя и слушал.

Теперь Моран сидел в тени крыла вместе с Кроу и Белами. Каждые пятнадцать минут смещали испаритель и горелку, чтобы прямые лучи падали на банку, а бутылка оставалась в тени.

Белами записал: «Двадцать пятые сутки, пятница. Думаю, вот и конец. Таунс со Стрингером еще остывают, прошлую ночь не работали. Не думаю, что смогу работать и я. Сил не осталось. Жидкость дистиллируется, но воды мало. Если утром не будет росы, это конец. Почти рад этому. Теперь спать».

Кроу спросил у Морана:

— Почему бы не сделать паяльную лампу для этой штуки? Можно взять топливо с другого мотора...

Моран снова повернул солнечный рефлектор.

— Жидкость и так кипит. Если кипение будет сильное, выбьет трубку и вода загрызнится,— объяснил он.

Снова навалилась тишина. Уотсон и Тилни расprostерлись под шелковым пологом. Никто не помышлял крутить генератор: даже поднять руку было тяжело.

За дюнами на востоке стервятники все еще сражались за остатки верблюжатины, а незадолго до полудня вся стая начала кружить прямо над самолетом, высматривая добычу. Уотсон трижды выстрелил, не целясь, стая рассеялась и улетела.

Моран снова поднялся и побрел к самолету. Солнце жгло голову и плечи. Предметы теряли очертания, перед зажмуренными глазами мелькали черно-белые полосы.

Стрингер не спал. Он равнодушно взглянул на Морана.

— Стрингер, вы хотите погибнуть? — голос его скрежетал.

— Нет.— Это было первое слово, сказанное Стрингером после того ужасающего вопля.

— Но вы погибнете.

— Думаю, да.— На Морана он не смотрел.

— Сегодня пятница. Еще есть шанс, если вы нам поможете. Таунс готов признать ваш авторитет. Вы ведь этого хотите, да?

— Оставьте меня в покое.— Он зажмурил глаза.

— Ночью я намерен сам закончить с рычагами. Утром собираемся взлететь.

— Вы разобьетесь.— Его веки дрогнули, в тоне прозвучало раздражение.

— Возможно. Но лучше это, чем смерть от жажды. Вина будет не ваша, Стрингер. Конструкция хорошая, просто незаконченная. Послушайте, если вы...

— Оставьте меня.

Моран вышел и повалился на песок под пологом. Он сделал все, что мог. Теперь спать.

Солнце клонилось к закату. Испаритель, стоявший под краем крыла, оказался в тени, и металлический рефлектор сверкал без пользы. Масло в горелке кончилось, в воздухе потянулся густой дымный шлейф: одного солнца для кипения не хватало.

Медлительная тень плыла по песку, густея по мере того, как птица, снижаясь, делала все меньшие круги, высматривая добычу.

Полог завис неподвижно. Тишина была абсолютной: насытившись, птицы оставили верблюжий скелет и тяжело проплыли на запад, к горам, покидая эти места. Эта же, видимо, была не так сыта, как остальные, или ее останавливала сила инстинкта, учувшего приметы смерти у существ, способных пока передвигаться по земле.

Птица опустилась ниже, выворачивая на поворотах черные крылья, непрерывно вертя лысой головой, чтобы не упустить жертву. Теперь тень была такой же черной, как сама птица, и такой же бесшумной.

Выстрел разметал крылья по воздуху. Птица пронзительно крикнула и неуклюже зашлепала крыльями в сторону дюн. На песок посыпались перья.

Сержант следил, как она улетает. Он намеревался подпустить ее поближе и только потом стрелять, но вид клюва и жадных глаз вызвал спазмы в желудке, и он выстрелил раньше.

— Черт возьми! Кто стрелял? — вскинулся уже забывшийся было в дреме Моран.

— Уотсон.

— Что это было?

— Стервятник.

— Попал?

— Задел за крыло.

Все встряхнулись от сна, и сразу включилась память, пошли мысли страшнее стержневиков. Одни снова улеглись. Кроу подлил в горелку масла, пролив мимо и присыпав лишнее пламя песком.

Они искали истинную причину спустившейся тишины, забыв, что недостает шума генератора.

— Кого я вижу! — вдруг изумился Кроу.

В двери самолета стоял Стрингер. Белами его не видел и переспросил:

— Кого?

— Проснулась их светлость.

Стрингер не двигался. Он стоял в самой середине дверного проема, вытянув руки вдоль туловища, ни на что не опираясь. Он переводил взгляд с одного на другого, рывками поворачивая узкую голову. Все приподнялись. Убедившись, что привлек общее внимание, Стрингер резко выкрикнул:

— Я хочу с вами поговорить.

Солнце зависло над западными дюнами, и та сторона самолета была в тени. Даже ради Стрингера Моран не нашел бы в себе силы выйти из укрытия — он способен был ходить только по теневой стороне. Песок обжигал ноги. Он подошел к человеку, стоявшему в двери.

— Со всеми?

Яркие песчинки, отраженные в стеклах, делали его похожим на инопланетянина с огромными золотыми глазами, способными выжигать целые города.

— Боже! Только посмотрите, — вновь изумился Кроу.

Поднялся на ноги и зашагал к двери Таунс. Первый из всех других. Он встал рядом с Мораном, глядя в лицо Стрингеру. Двинулся Уотсон. Тилни.

— Пойдем, Альберт, — сказал Белами.

Стрингер ждал. Они встали полукругом, уставясь на него. На стеклах виделись их отражения. Сквозь стекла просматривались и его глаза — очень яркие. Он молча наблюдал за ними, рывками поворачивая голову от одного к другому. Косые лучи, пройдя сквозь иллюминаторы, обрамляли его голову светлым ореолом.

— Мистер Таунс?

— Да.

— Кто здесь главный? — Голос металлически дребезжал. Никто не обернулся к Таунсу. Все смотрели на Стрингера. Он на глазах вытягивался, хотя и теперь, стоя на возвышении дверного проема, был выше всех. Не мигая, он смотрел на Таунса.

Моран слышал звук собственного дыхания в пересохшем горле. Он загадал: жизнь или смерть, то или другое, жизнь или смерть.

Молчание иссякло.

— Вы!

Жизнь!

## ГЛАВА 22

Моран закрыл глаза. Он был так изможден, будто пришлось пройти долгий изнурительный путь. Между тем в ушах продолжалось металлическое скрежетанье:

— Очень хорошо. Я здесь руковожу. Хочу сообщить вам, что я решил закончить аэроплан. Вам следует кое-что уяснить. У нас кончается вода. Завтра будет еще хуже. Будет много тяжелой работы, и первый из вас, кто сдастся — как это бывало раньше, — положит конец всем нашим планам, потому что я не намерен растрачивать свои силы ради людей, которые не готовы сотрудничать. Ясно? — Очки выписывали полуокружность.

— Ясно, — подтвердил Белами.

— Далее. Когда я, обращаясь к любому из вас, говорю, что надо что-то сделать, это не просьба. — Стекла блеснули в сторону Таунса. — Это приказ. Я не потерплю неповиновения ни от кого. Большинство из вас работало очень хорошо. Теперь мы все будем так работать, пока не построим самолет. Когда он будет закончен, думаю, он полетит. Хочу, чтобы вы сосредоточились на этой мысли, вместо того чтобы думать о смерти. Вот что я вам скажу — у меня нет времени умирать!

Он обвел всех взглядом.

— Мистер Таунс, я хочу, чтобы вы крутили генератор. Один час.

Он зашагал вдоль фюзеляжа к крылу, где в ящиках лежали инструменты. Походка была напряженной, вдоль тела зависли худые руки, спина выпрямилась. По окончании монолога они опять перестали для него существовать.

Все разошлись без слов. Под ногами розовели тени, отбрасываемые садящимся солнцем. Через несколько минут застонал генератор. Еще полчаса спустя зажегся фонарь.

Утром шелковый полог опять оказался сухим — не было ветра ни с моря, ниоткуда вообще; над бескрайней пустыней поднималось солнце — ясный диск на сухом небе. Чуть позже вспенились миниатюрные вихри. Один прошел по гребню дюн. Белами не спал. Какое-то время он наблюдал за крошечным торнадо. Заметив, как желтеет весь южный край неба, он разбудил остальных, но ветер настиг их прежде, чем они встали на ноги. Как и раньше, он накинута на дюны, пока они не закурились песком.

Таунс бросился к мотору закрывать воздухозаборник. Песок больно стегал по оголенным ногам. Кто-то пытался перекричать шум песка, ударявшего по фюзеляжу, — бегающие фигурки едва проглядывали сквозь пелену. Стрингер с куском ткани взбирался на заднее пассажирское сиденье с наветренной стороны, но не удержался, упал, и ткань взмыла на ветру. Под крылом побежало оранжевое пламя от перевернутой горелки. Загорелся бачок с маслом, трепеща на ветру и едва не доставая языком пламени топливного бака; лишь в последний момент огонь повернул к дюнам. Кроу ринулся к испарителю — из трубки пролилась жидкость. Он бросился спасать оставшееся.

Небо стало темно-охряным, и «Феникс» обратился в тень. Порывы ветра поднимали и опускали левое крыло. Зазвенел натянувшийся трос. Все спрятались в салоне, закрыв на задвижку дверь. Глаза жгло, но в организме не было воды, чтобы промыть их; песок набивался в рот, но слюны тоже не было.

Буря прорывалась сквозь щели в металлической обшивке, неся с собой песок. Прильнув к иллюминатору, Моран наблюдал, как поднимается и опускается левое крыло, прогибаясь от края до середины. Над крылом то расслаблялся, то натягивался трос, взвизгивая, как огромная гитарная струна. Моран оторвался от стекла и спросил Стрингера:

— Можно что-нибудь сделать — там?

Глаза на сморщенном бледном лице были спокойны:

— Ничего.

«Феникс» стоял крылом к ветру, принимая на себя удар под худшим из возможных углов. Повернуть самолет было не в их силах. Ему оставалось только выдерживать натиск. Моран думал: вот она, мечта Стрингера. Даже сейчас он не знал, как оценивает конструктора: может, все же где-то там в нем было сердце; или это был только полый сосуд, наделенный мозгом; или аскет, черпающий вдохновение в механических игрушках, или человек на грани сумасшествия. Но кем бы он ни был, у него была своя мечта. Сейчас ее треплет буря, и он ничего не может предпринять.

Кроу свернулся на полу, прижимая к себе обезьянку, почесывая ее крошечную голловку, успокаивая ее. Сержант спросил Белами:

— Эту штуку разобьет?

— Вполне может разбить.

— Знаешь, мне жаль его. — Он кивнул в сторону Стрингера.

— Мне тоже.

Песок пробивался сквозь щели. Бумаги, оставшиеся после Кепеля, разметало по полу, и Белами собрал их, обратив внимание на заголовок одного из листов — «Белая птица». Он попробовал читать дальше, но не хватило знания немецкого, он свернул листы и сунул их за сиденье.

Свет в салоне стал горчично-серым; лица пожелтели. Время от времени они смотрели в иллюминатор на колеблющееся на ветру крыло и отворачивались.

— Знаю, чего тебе хочется, бедняга Бимбо. — Голос Кроу тонул в завываниях. — Тебе хочется попрыгать на зеленом деревце, хочется большого кокоса, полного молочка, так ведь? И чтобы было много других маленьких Бимбо, чтобы можно было резвиться на ветках. Чтобы журчала речка, а ты бы сидел на бережку и ждал, когда пройдут коровки...

Кроу никогда не употреблял грубых выражений при Бимбо — он ведь еще маленький.

— Вот чего тебе хочется. А дядя Альберт может только тебя почесать. Ничего, потерпи...

Самолет содрогнулся — раздались новые звуки: вместе с левым крылом стало колебаться и правое, ударяя в крышу кабины управления. Они слушали удары, считали секунды между ними, молились, чтобы они прекратились. Удары продолжались.

«Двадцать шестые сутки. Суббота. Работали всю ночь. Утром росы не было. Жажда очень сильная. Теперь песчаная буря сотрясает весь самолет. Пишу это во время бури, все укрылись в самолете. Боже, как воняет обезьянка Альберта! Но я понял, что он хочет. Обезьянка была Роба, и ему не хочется, чтобы она умерла раньше нас».

Страшный стук прекратился. Белами захлопнул дневник и через проход между

креслами направился к генератору. Через минуту генератор завыл, как пропащая душа в пучине.

Отупевшие, скованные замкнутым пространством, некоторые из них впали в тяжелый сон. Тилни сидел спиной к грузовому отсеку, сомкнув веки и склонив набок голову. Его губы произвольно шевелились. Сержант в очередной раз чистил револьвер. Стрингер смотрел в иллюминатор. Его глаза медленно мигали в такт колебаниям крыла, как будто каждое движение век было рассчитано по какой-то формуле. Лицо покрывала свежая щетина: утром у него не было времени побриться.

— Легчает,— заметил Моран. Желтизна за иллюминаторами светлела.

Кроу поднял голову. Ему привиделись деревья и речка. Интересно, где Белами, подумал он. И услышал звук генератора.

Трос перестал выть. Ветер успокаивался. В иллюминаторах небо и весь окружающий мир были золотистого цвета.

Моран отодвинул задвижку и открыл дверь. Первым вышел Стрингер, уже водрузив на голову носовой платок.

— Нет навеса,— сказал кто-то.

Кроу обошел вокруг и понял, что парашютного шелка они лишились навсегда. Унесло куда-то за северные дюны. До конца дня им будет не хватать тени, а если выпадет роса, то они соберут на галлон-другой меньше воды. Прошло уже трое суток после последней полной выдачи — но и тогда воды было только по пинте.

Кроу направился в тень крыла, где собрались все. Таунс обнаружил песок в воздухозаборнике: тряпки сдуло ветром. Спустился с хвоста Стрингер. Когда началась буря, он хотел укрыть соединения рычагов, но не удержался и упал. Минут десять он осматривал узлы и рычаги, потом ушел в тень под крыло.

— Самолет выстоял.— В тоне Стрингера не было гордости, его голос вообще никогда ничего не выражал.— Переднее и заднее соединения забило песком, налипшим на смазку. Придется промыть бензином и смазать заново. Нужно прочистить и воздухозаборник.

Таунс отозвался:

— Сделаем это ночью. Ночью сделаем все, что нужно.

— Разумеется. Не вижу проблем.— И ушел в салон.

Белами спросил:

— Альберт, остались силы?

— Как у мышки. А что надо?

— Надо снова поставить дистиллятор.

Принесли ткань для фитиля, выгнули из металлической пластины новую горелку, установив испаритель и бутылку, на этот раз под хвостовым крылом, подальше от топливных баков. Уотсон начистил новый солнечный отражатель — старый унесло ветром. Работали медленно, каждые несколько минут делая передышку. Когда приходилось выходить из укрытия, шли напрямую под палящим солнцем.

Моран взял из своего багажа бумагу и карандаш, уселся под крылом. Отметив крестиком место аварии и окружив его подковой дюн, он именами обозначил место трех могил: Сэм Райт, Ллойд Джонс, Отто Кепель. По другую сторону восточных дюн нарисовал скелет и пометил: верблюд. Поблизости нанес еще две могилы — Харрис, Лумис. Если им удастся выбраться, на поиски тел будет послана команда. Если они поднимутся в воздух и разобьются, но не сгорят, то эту карту найдут при нем, если их вообще найдут. На обратной стороне он дал подробные разъяснения, добавив в самом конце: «Кобб и Робертс потерялись где-то в южном направлении, в пределах ста миль от базы. По отдельности. Не захоронены».

Шатаясь, прямо под солнцем пошел в салон. Там, держа на коленях лист металла, сидел Стрингер, склонившись над бумагами и чертежами. У его ног лежали какие-то журналы и каталоги. Он был поглощен работой и не заметил, как Моран прошел между разломанными сиденьями к тому месту, где хранились бумаги Отто Кепеля и письмо, адресованное отцу, матери и Инге. Нож, зажигалку и ключи он тоже положил к себе в карман: семье, в ее горе, захочется иметь на память эти мелкие предметы, к которым прикасались его руки. Нож Моран очистил, и они никогда не узнают его последнего назначения. Письмо и листы полетных рапортов уложил вместе с картой.

Стрингер даже не поднял головы, когда штурман проходил мимо него. Сержант спал. Тилни лежал на спине с открытыми глазами.

— Мы улетим завтра? — спросил он.

— Ровно в восемь, малыш. Не опаздывай.

Моран заметил, что в глазах юноши больше нет страха. Видно, для страха, как и для горя, есть свой предел: душа, как и тело, способна самоизлечиваться. Или же его примитивная вера в бога, который и пальцем не пошевелил ради капитана Харриса, — воплотилась теперь в Стрингера, конструктор сейчас олицетворял ту сверхъестественную силу, которая способна их спасти. Можно найти с десяток объяснений, но это не так и важно, раз страх прошел.

— Лью,— Таунс не спал, хотя ночью работал больше других.— Я вот о чем думаю. Надо вернуть патроны в обойму.

Моран с подозрением посмотрел в красные глаза на старческом лице. Теперь с Таунсом было все в порядке.

— Надо,— кивнул он.

— Вы можете забыть, куда их сунули. Или там для них слишком жарко. Где бы они ни были, для них не место. Они должны лежать в обойме. Завтра они понадобятся.— Он отвернулся.

В глазах его не было ничего подозрительного, хотя они и покраснели от начинавшейся пустынной слепоты. Голос тоже был нормальным: нечеткость произношения объяснялась только жаждой. Опять он был собран, стал прежним Фрэнком Таунсом. В этом был смысл: нужно протянуть еще шесть часов на жаре, затем выдержать долгую ночь, да еще работать — и все это на нескольких глотках воды, которую, может, лучше и не пить, потому что она способна свести с ума. К утру они забудут о многом даже очень важном. К тому времени самолет, возможно, будет готов к полету, но без пиропатронов мотор не запустить. В этом был смысл, но... не потому завел об этом речь Таунс. Трудно, почти невозможно представить себе, чтобы он заговорил в таком духе: «Послушай, я признаю, что главный — Стрингер. Но я пилот, и завтра все будет зависеть от меня, от того, как я себя чувствую. Могу ли я уважать сам себя, если от меня прячут эти штуки, как спички от ребенка? Дай мне возможность снова поверить в себя».

В этом был смысл. Летчик должен знать, что ему доверяют. Риска теперь нет.

— Сказать по правде, Фрэнк, я даже забыл, что мы вытащили патроны. Возьми их в ящике для почты. — Таунс поднялся и пошел в салон, несмотря на предостережение Морана:

— Дождись, пока станет прохладнее. Сейчас там ад.

— Я должен сделать это сейчас. Спасибо тебе.

Он тотчас пожалел, что не послушался совета, но в душе чувствовал, что прав: надо сделать это сейчас, только тогда он сможет забыть и ужасный вопль, и звон разбитой лампочки, и самое страшное — выстрел Морана.

Патроны лежали там, где и сказал штурман, — все семь патронов для семерых.

Стрингер сидел в салоне, сосредоточившись над бумагами, разложенными на листе металла. Таунс увидел начерченные его рукой самолетные силуэты. Тут же лежали цветные каталоги с выведенным на них большими буквами фирменным названием: «КЕЙКРАФТ». Таунс что-то слышал об этом.

Парень не заметил, как Таунс вошел в самолет. Он не обратил на него внимания и тогда, когда пилот склонился над ним. В этот миг он вдруг почувствовал, что проник в самую суть Стрингера, понял его до конца. Он даже вздрогнул от внезапного озарения: Стрингер мечтатель, как многие ученые. Он способен сосредоточиться на своей навязчивой идее до такой степени, что все остальное перестает для него существовать. Принимаясь за постройку нового самолета из обломков старого, с помощью никуда не годных инструментов, в нестерпимой жаре пустыни, он мог заявить: «Не вижу никаких проблем». Слыша, как корчится от боли Отто Кепель, когда сдвинулся с места фюзеляж самолета, он мог спокойно заметить: «Повреждений нет». Едва не лишившись рассудка от того, что встретилось препятствие на пути к его мечте, он способен был прийти в себя и возобновить работу, заявив при этом: «У меня нет времени, чтобы умирать!»

Для него не существует ни боли, ни жажды, ни жары, ни пустыни, ни самой смерти. Ничто, кроме его мечты, для него не реально. И, видимо, только такой мозг способен построить в этом аду такую машину, как «Феникс», и дать им всем шанс спастись. В студенческих очках и с мальчишеской прической, держа в руке карандаш, конструктор был поглощен своими чертежами.

Таунс направился к двери, но вдруг замер, точно пораженный молнией. Он зажмурил глаза. Охваченный паникой, забормotal: «Нет... нет... нет...»

Случилось самое простое. Как обычно бывает? Идешь по улице и невольно останавливаешь взгляд на названии какого-нибудь товара, рекламируемого проезжающим автобусом. Зрительный образ исчезнет, если не возникнет мостик, соединяющий его с твоим сознанием. Отходя от Стрингера, Таунс уносил с собой образ фирмы: «Кейкрафт». Слово на читаемых им каталогах. И было два мостика: чертежи, в которые был погружен Стрингер, и то обстоятельство, что он похож на школьника. Все три картинки слились.

Первый шок и паника прошли, но он стоял потрясенный, осознав вдруг, что те семь патронов, что он держал в руке, были теперь бесполезны.

Не то чтобы в этот момент они лишились шанса — просто его никогда и не было. Это была только мечта.

Моран сидел, зажмурив глаза, — яркий свет жег даже сквозь солнечные очки. Их тела медленно обезвоживались, и слезные железы были пусты. Больно было даже моргнуть. Он услышал чьи-то шаги, открыл глаза и увидел искаженное отчаянием лицо Таунса.

— Ничего не выйдет, — прошептал Таунс, опускаясь рядом с ним на корточки. Он закрыл лицо руками и продолжал говорить очень тихо, чтобы слышал один Моран: — Ничего не выйдет. — Он не мог молчать, нужно было с кем-то поделиться страшным открытием, чтобы оно не взорвало его изнутри. — Ничего не выйдет.

Пиропатроны лежали у него в кармане, и Моран заметил это.

— Что случилось? — К нему вернулся страх: Стрингер был в салоне, как раз там, откуда только что вышел Таунс, и слова его могли означать только то, что они снова схлестнулись.

— Что стряслось, Фрэнк? — переспросил он настойчиво.

— Полета не будет. — Таунс посмотрел на Морана. В его голосе еще звучало изумление — вот уже три недели все они, сами того не подозревая, живут грезами сумасшедшего мечтателя. — Знаешь, кто такой Стрингер?

В предчувствии чего-то страшного у Морана натянулась кожа на затылке. Итак, опять Стрингер и Таунс. В очередной раз.

— Знаешь, кто он, Лью? Он конструктор. Конструирует самолеты. Модели самолетов. Игрушки.

— Не понимаю. — Волнами поднимался полуденный зной, обжигая, размягчая мозг. — Что там у вас опять стряслось?

Таунс обхватил руками колени, положил на руки голову. Теперь он сожалел, что не сдержался и поделился с Мораном жуткой тайной.

— Фрэнк, вы опять сцепились?

— Нет, нет. Просто тихо поговорили.

И каждое сказанное Стрингером слово звучало вполне нормально, вполне осмысленно. Наихудшее из сумасшествий: внешне похоже на здравомыслие.

Он не помнил, сколько простоял в двери, спиной к Стрингеру. Видимо, достаточно долго, чтобы тот, наконец, заметил его.

— Что у вас, мистер Таунс? — Лишенный красок голос Стрингера не стряхнул с него оцепенения. — Мистер Таунс, что это у вас?

Обернувшись, он увидел, что Стрингер смотрит на его руку.

— Это? — Безумным, неуместным показался ему вопрос парня. — Пиропатроны. — Напрягшись, он вспомнил, куда собирался их отнести. — Для стартера.

— Зачем вы их взяли? — Мягкие глаза мерно моргали.

— Забрал для сохранности.

— Тогда положите их на место. Утром они понадобятся. Мы не можем их потерять.

— Не можем, это верно. Я как раз и пошел, чтобы положить на место.

Стрингер кивнул и опять уткнулся в чертежи. Таунс видел только яркие краски каталога и написанное большими буквами слово «КЕЙКРАФТ».

— «Кейкрафт» — это ваша фирма, Стрингер?

Стрингер поднял взгляд, снова опустил его на каталог. Может, сообразил, что их следовало бы убрать подальше?

— Да, это название моей компании.

— Я слышал о ней. Вы делаете модели самолетов, так ведь?

— Да. — В голосе Стрингера не было ни нетерпения, ни беспокорства. Скорее гордость. — Мы делаем лучшие из летательных аппаратов.

— Я не знал, что фирма производит и большие самолеты.

— Самый большой из тех, что мы выпускаем, — «Альбатрос», парасольная модель с охватом крыльев шесть футов, но это не моя конструкция. Это планер, а я работаю над силовыми моделями. — Он раскрыл каталог и протянул Таунсу. — Наибольший из тех, что проектировал я, — «Хок 6» — вот этот. В прошлом году модель завоевала кубок Стивенеджа в классе силовых по правилам ФАИ. Радиоуправление тоже моей конструкции.

Каталог поплыл перед глазами Таунса. Все стало нереальным.

— Это очень хорошо. Кубок Стивенеджа. Прелестный самолетик. Но я спросил о больших самолетах. Я не слышал, чтобы ваша фирма выпускала настоящие самолеты, на которых летают люди, ну, такие машины, как «Скайтрак». Как «Феникс».

— Нет, «Кейкрафт» строит только модели самолетов. — Он перелистывал каталог, любуясь моделями, как садовник любит свои призовые розы.

— И вы один из их конструкторов?

— Уже два года я — главный конструктор. — Он протягивал Таунсу книгу. — Вот это — «Рейнджер». Модель I имела V-образное пересечение плоскостей, вторая была с высоко расположенными крыльями, а третья надлена всеми факторами устойчивости двух первых, но при этом не теряет скорости при полном безветрии. — Он развернул перед Таунсом страницу.

— И вы никогда не проектировали больших самолетов? Вроде «Скайтрака»?

Стрингер удивился. Речь ведь шла о «Рейнджере».

— Больших? О, нет.

— Только этот, «Феникс»?

— Этот? — Он откинулся в кресле, сложив на груди руки. — Я его не проектировал. Вопрос стоял лишь о подгонке деталей, об импровизации. — Казалось, он озадачен таким оборотом разговора.

Таунс, запинаясь, проговорил:

— Я, может, и ошибаюсь... вы считаете, что конструктор игрушечных самолетов способен построить настоящий, большой? Я просто хочу... просто хочу уяснить это для себя. — Он едва справился с неодолимым желанием заорать ему прямо в лицо: «Скажи, что ты шутишь! Ради бога, скажи, что все это мистификация, что ты просто хотел меня напугать!»

Лицо парня приняло самое серьезное выражение.

— Конструктор игрушечных самолетов? Мистер Таунс, игрушечный самолет — это такая металлическая машинка, которую заводят и ставят на пол. Заводной мотор имеет привод на колеса, и они крутятся. «Кейкрафт» выпускает масштабные летающие модели, разумеется, это не то же самое, что игрушки.

Таунс подавленно кивал:

— Угу! Это я понимаю. Я просто хотел себе уяснить...

— Что касается вопроса, способен ли я построить большой самолет, мистер Таунс, то вы должны уяснить два важных момента. Одни и те же принципы аэродинамики применимы как к масштабным, так и настоящим большим самолетам — несущие поверхности, коэффициенты подъемной силы и лобового сопротивления, уравнение соотношения нагрузки и тяги. — Худые руки сами сложились на груди: учитель поучал ученика. — В 1852 году в наполненный газом шар установили паровой двигатель, и он поднялся в воздух. Примерно тогда же Хенсон и Стрингфеллоу построили модель с резиновым приводом, которая определенно была тяжелее воздуха — именно по этой причине это явилось шагом вперед по сравнению с паровым шаром. Модели аэропланов успешно летали за пятьдесят лет до того, как в воздух поднялись братья Райт. Это были не и г р у ш е ч н ы е самолеты, мистер Таунс.

— Нет. Нет. Я... не понял...

— И второй момент, который вы должны себе уяснить, это то, что модель самолета способна летать сама. Без пилота. В воздушной яме и при изменении ветра она должна поддерживать устойчивость. Конструкция должна быть даже эффективнее, чем у полнообъемного самолета. Я слышал, как летчики отзываются о хорошей машине — «летает без рук». Уберите руки с рычагов, и машина продолжит полет. Как вам известно, это неприменимо ко многим полнообъемным машинам, но в се модели должны быть таковы, иначе они вовсе не будут летать. Полагаю, вам это известно, мистер Таунс.

Таунс кивал, сказал — да, ему понятно. Больше он не хотел ничего слышать. Стрингер оседлав своего конька мог говорить еще долго — час, день, год, потому что в этом вопросе он спец, может, даже лучший в мире.

Он снова кивнул и сказал, что все понял. Затем сунул в карман пиропатроны и шагнул в дверь, сразу окунувшись в самое пекло, шатаясь, кинулся под крыло и упал в тень рядом со штурманом, ибо открытие тяготило его.

Выслушав, Моран спросил:

— И это все, что произошло?

— Все.

— Ты случайно не обвинил его, что он водит нас за нос?

— Лью. Пойми. Он не водит нас за нос. Разве ты не слышал о людях, мнящих себя наполеонами? Стрингер считает себя авиаконструктором. Достаточно послушать его, чтобы понять, что парень свихнулся. Может, в этом отношении в нем больше человеческого, чем мы думали. Теперь я больше понимаю его, чем десять минут назад. Мне понятно, что он от страха перед смертью построил себе воздушный замок и играет с ним, вместо того, чтобы смириться с гибелью от жажды. Для него его мечта реальна. Как бы я хотел не знать того, что знаю. Тогда можно было бы со спокойной совестью завести мотор, взлететь и разбиться, и все было бы кончено. — Он опять прикрыл глаза руками. — Может, так было бы и лучше.

— Мы никому не скажем, Фрэнк.

— Хорошо.

— И сами об этом забудем.

— Можно попробовать. — Таунс недоверчиво покосился на него.

— Если мы не сможем об этом забыть, придется смириться со смертью. Взгляни на это вот с какой стороны: для конструктора авиамоделей он неплохо знает теорию настоящих самолетов. Меня он убедил, да и тебя тоже — мы нигде не смогли застать его врасплох. Посмотри на его соединения рычагов — на каждом квадранте оптимальное соотношение плечей. Он знает о перевернутых конических формах в креплении основания крыла... Ни разу не допустил оплошности, которая заставила бы засомневаться...

— Теория его превосходна. Но лететь придется по-настоящему.

Больше он не мог говорить об этом. Не хотелось даже думать. В ушах раздавался ровный монотонный голос: «...она выиграла кубок Стивенеджа в прошлом году в классе силовых моделей». Стивенедж... Бог мой! Здесь ведь Сахара.

Жар шел отовсюду. Спрятаться было негде. Утешения тоже не найти. До сих пор Моран боялся только новой схватки Таунса со Стрингером. Ее не случилось. Он думал, это самое страшное из того, что с ними могло произойти. Но случилось кое-что пострашнее.

В сосуде булькала жидкость.

Рефлектор отбрасывал свет на песок. Белами это увидел, но с места не сдвинулся. Прежде чем сигнал достиг сознания, прошла почти минута. Он выполз из тени и поправил рефлектор, чтобы пучок падал на испаритель. На пальцах остались следы — пузыри ожогов. Боли он не почувствовал.

— Дейв. Там есть вода, а Дейв?

Не было смысла трогать бутылку, чтобы определить вес: по звуку падавших капель он знал, что воды в бутылке меньше половины.

— Не сейчас, Альберт. — Только что миновало четыре, тени удлинились. Он не мог дать Кроу воды, не отмерив как следует, — это было бы не по правилам. Через три часа бутылка наполнится. Они дождутся девяти или десяти, когда спадет жара, вода станет прохладной, и от нее будет больше пользы. Каждому достанется, чтобы смочить рот и горло. Он понял, что Кроу плохо видит или еще не очнулся от сна, если спрашивает об этом.

Кто-то крутил в салоне генератор. Каждые полминуты стон его прекращался, потом опять неровно возобновлялся. У того, кто это делал, сил почти не было. Их не осталось ни у кого.

— Я не просил, — сказал Кроу и присел рядом. Красные глаза были еще сонными. — Просто хотел убедиться, что все в порядке. — Он пристально посмотрел на Белами, оценивая его состояние. — Как себя чувствуешь, друг?

— Хорошо. — Надо бы пошутить; сказать, к примеру, «я — на вершине блаженства», или что-нибудь в этом роде, но слишком трудно. — А ты?

— Ужасно, — ответил Кроу.

Под крылом, свесив головы на грудь, сидели Таунс и Моран. Заснули, сидя на корточках. Рядом распадались Тилли с Уотсоном. Значит, там, у генератора, Стрингер. Ужасно было сознавать, что обессилел даже Стрингер.

На песок падали тени — застывшие в неподвижности крылья, всего пять или шесть пар. Невыносимо было поднять голову, чтобы разглядеть птиц в ярком мареве. Да и нет смысла. Главное — они здесь. Ноги будто исхлестаны розгами. Икры то и дело схватывают судороги. Надо отвлечься.

— Ты куда? — спросил Кроу.

— К генератору. — Белами стал на колени — песок был острый, горячий.

— Там же кто-то есть.

— Сменю. Следи за банкой, Альберт. — Он шагнул прямо под солнце и, шатаясь, побрел к двери.

Стрингер сидел с закрытыми глазами, чуть раскачиваясь в такт движению рук. Кабину заполнял мерный рокот. Его глаза резко, как у Бимбо, распахнулись, когда к нему обратился Белами.

— Пришел сменить. — Лицо Стрингера виделось размытым пятном, в волнах поднимавшегося жара расплывались циферблаты на панели.

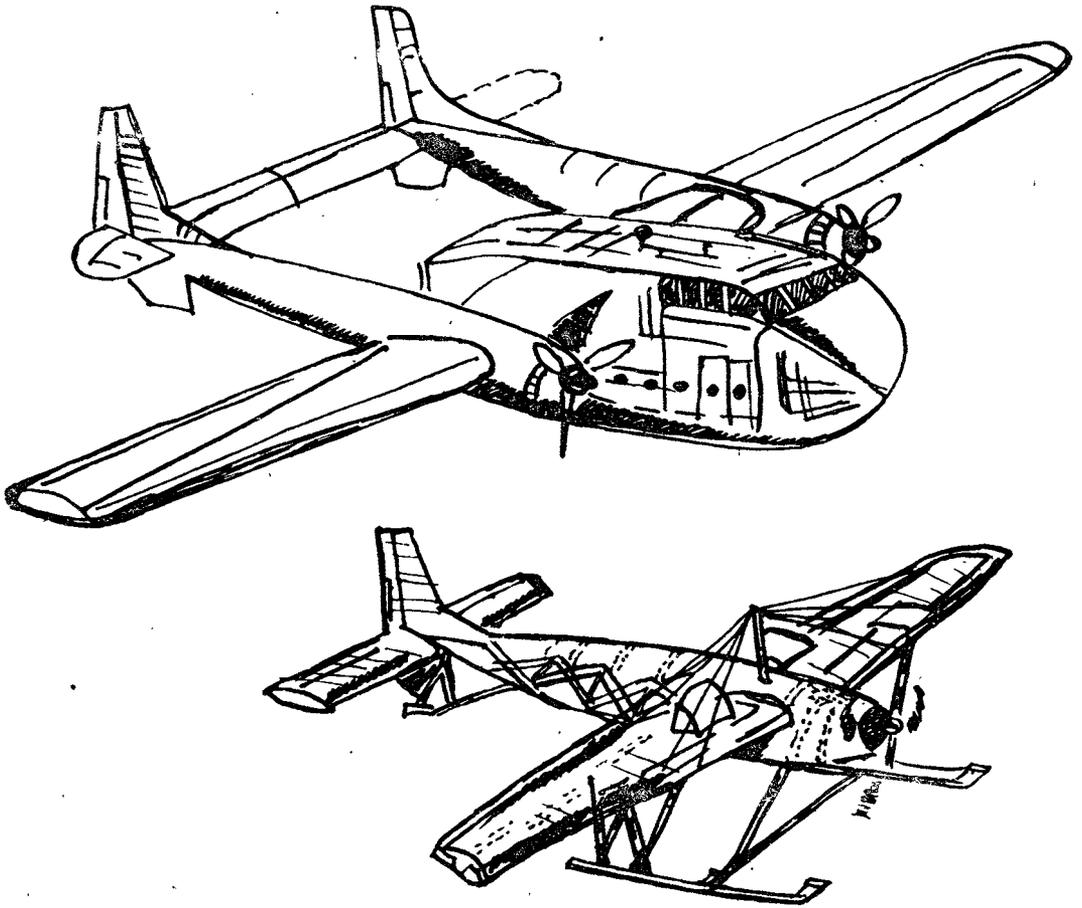
— Только полчаса, — проговорил Стрингер. — Больше нам не нужно — это последняя ночь.

— Да? — Белами пытался сфокусировать зрение на лице конструктора. — Мы летим завтра?

— Конечно. — Мутно-карие глаза смотрели неодобрительно. — Через полчаса я соберу вас всех. — Он обошел Белами и спустился вниз по проходу. Его беспокоил вопрос, заданный Белами, — почему он спрашивает, ведь все знают, что самолет вылетает завтра. Тревожил и Таунс — он не верит, что конструктор «игрушечных» самолетов может перестроить потерпевшую крушение машину и заставить ее лететь. Раньше

он об этом не задумывался, а всякая новая идея ему была интересна. Конечно же, мистер Таунс преувеличивает разницу между моделью и полнообъемным самолетом: она только в размерах.

Стрингер убрал подальше каталоги фирмы, чтобы больше никто их не увидел. Он не намерен обсуждать «Рейнджер» или «Хок 6» с людьми, видящими в них только «игрушки».



Застонал генератор. Этот звук был ему приятен. Ступив на песок, он едва не свалился: жара была нестерпимой. Под крылом сидели Таунс и Моран. Кажется, они спят, что ж, с ними он поговорит попозже. Укрепив на голове платок, двинулся в обход «Феникса», проверяя все, что было сделано прошлой ночью. Он не понял, как это произошло, только очнулся он лежащим на горячем песке. С трудом поднялся — перед глазами поплыли яркие пятна. Он собрал всю свою волю и решил не обращать внимания на этот обморок. В конце концов, нечто подобное и должно было случиться после трех недель без пищи.

Когда солнце спустилось на западный край неба, он позвал к себе всех. Собрались в тени самолета.

— Через час возобновляем работу. Если хотите взять что-нибудь с собой в полет, то позаботьтесь об этом сейчас. Разумеется, ничего громоздкого — весь багаж придется оставить, речь идет о личных бумагах и мелких предметах. Кроме того, я хочу убедиться, что пассажирские гнезда вам впору. Поэтому прошу вас сейчас занять свои места.

Они молчали. Белами поставил ногу на проволочную подножку и, качнувшись, очутился в гнезде прежде, чем успел засомневаться, хватит ли сил забраться туда. За ним последовал Кроу, он грузно осел в гнезде, держась руками за поперечное ребро и чувствуя тяжесть в сердце от затраченных усилий. Пока остальные занимали свои места, Стрингер наблюдал, стоя у края крыла. Люди, привязанные, как бесформенные кули, к фюзеляжу, портили очертания самолета. Они дадут изрядное паразитное сопротивление, но нет никакой возможности затолкать их внутрь, потому что фюзеляж представляет собой очень узкую гондолу «Скайтрака». Если делать отверстия в об-

шивке, то это ослабит конструкцию. Конечно, коэффициент полезного действия машины был бы на пятьдесят процентов выше, если бы их не было на борту. Но они помогли ему построить ее, поэтому у них есть все права лететь на ней.

Наконец он дал сигнал «отбой», и все снова окружили своего лидера.

— Особых проблем нет. Только во время полета никто не должен двигаться в своих гнездах, потому что факторы устойчивости имеют критическое значение. Теперь вы можете собрать все мелкие предметы, которые желаете захватить с собой. К работе приступим, когда сядет солнце.— Он забрался на место пилота и принялся осматривать соединения рычагов.

Моран отвел в сторону Таунса: он боялся с его стороны нового проявления строптивости.

Прислонясь к фюзеляжу, Таунс пристально смотрел на дюны, которые в свете угасающего солнца похожи на красные коралловые рифы. Над ними продолжали кружить два стервятника.

— Последняя наша ночь здесь, Фрэнк.

— Лучше бы мне поступить, как Кепель. Умереть приличной смертью. Никогда не скажешь заранее, что будет при крушении. Ведь у Уотсона осталось всего три патрона.

Моран внимательно посмотрел ему в глаза.

— Кем бы он ни был, как бы он ни был хорош или плох, он уже три недели строит этот самолет так, как умеет. Завтра ты его поднимешь в воздух. Если ты сможешь оторваться от земли, у нас будет какой-то шанс, может, один из тысячи, но шанс. Если мы останемся здесь, то к завтрашнему вечеру станем добычей стервятников. Поэтому, Фрэнк, если машина полетит, тебе нужно будет вложить в нее все, что ты знаешь и умеешь. А это ты сможешь, если только заставишь себя хоть немного в нее поверить. Прошу тебя, поверь... Если мы разобьемся, ты умрешь, зная, что не твоя в том вина.

## ГЛАВА 24

Они не были готовы услышать эти два слова. Два слова перевернули все. Они их напугали.

До того, как это произошло,— где-то около пяти утра, работали почти не разговаривая. Из кабины «Скайтрака» сняли гирокомпас и указатель скорости, установили их на «Фениксе» рядом с креслом пилота. С помощью этих инструментов они смогут поддерживать приблизительно прямое направление полета и рассчитывать по часам покрытое расстояние. Таким образом, можно будет указать поисковой команде примерно местоположение остатков самолета и могил.

Таунс вложил пиропатроны в стартер. Он стал уговаривать себя хоть немного поверить в вероятность того, что затевал Стрингер. По крайней мере, эти пиропатроны были настоящими: они провернут двигатель, и мотор заработает. Может быть, на полных оборотах большой винт как-нибудь протащит всю эту грудку металла на хвостовом костыле прямо по песку, через всю пустыню, пока они не наткнутся на колодец. Он так и сказал Стрингеру.

— Зачем рисковать и подниматься в воздух? Можно просто ехать, как на такси, всю дорогу.

— Вы что, серьезно, мистер Таунс? Разве вы не знаете, что система охлаждения рассчитана на работу в основном при крейсерской скорости. Мотор перегреется и заклинит уже через десять миль, а до ближайшего оазиса останется еще не менее ста пятидесяти. Кроме того, костыли не выдержат непрерывной нагрузки, они рассчитаны только на один взлет и одну посадку, их время действия — примерно одна минута. Наконец, пустыня изобилует валунами, и первый, на который мы наткнемся, разобьет шасси, а потом и пропеллер. Этот самолет сконструирован для полета, мистер Таунс. Это не игрушка, которую заводят и пускают по полу.

За эту долгую ночь Таунс на какой-то момент действительно поверил, что «Феникс» полетит и они выберутся отсюда живыми. Он даже задумался о своем будущем. В свою защиту он не сможет выставить ни одного аргумента. Полет при отсутствии радиоконтакта с землей — нечто такое, на что порой идет летчик, если хорошо знает маршрут и местность. Но даже и это никогда не считается убедительным оправданием. Можно считать, пилотских прав у него уже нет — их можно выбросить прямо здесь.

Но есть нечто куда более важное, чем конец летной карьеры. Он уже убил семерых, и даже если ему сохранят права, он не сможет больше взять на себя ответственность за чужую жизнь. В пятьдесят лет такое не стряхнешь с себя просто так, не спишешь на невезение и никуда негодную сводку погоды.

Последний его полет будет завтра, если он вообще будет.

К утру отмыли бензином песок, налипший на смазку в соединениях рычагов во время последней бури. Сняли, прочистили и вновь поставили на место воздухозаборник. Стрингер проверил каждую деталь новой машины, придирчиво осмотрел все, сделанное их руками. Иногда он застывал в раздумье возле своего детища. Никто не беспокоил его в такие минуты.

Белами поддерживал огонь в горелке дистиллятора, руки двигались сами, по привычке. Кроу нашел мешок для обезьянки, проделал в нем дырки для доступа воздуха, прикрепил проводом к гнезду. Сержант Уотсон неуклюже прочесывал песок на будущем пути самолета, очищая от мелких камней и метеоритов. Ему слышался иногда голос капитана Харриса, слышался так ясно, как будто он был где-то рядом. Сержант услышит его не раз во время суда, если выберется отсюда. Отказ подчиниться приказу офицера в обстоятельствах, сопряженных с опасностью для жизни. Что ему будет за это? Подумать времени хватит — пока подержат на гауптвахте, разжалуют в рядовые. Нет, в будущем розами не пахнет. И, самое главное, некого больше ненавидеть. Харриса нет, а другого такого не найдешь. Может, лучше остаться здесь, закрыть глаза, представить роскошную женщину, прямо как миллионеру на отдыхе, нажать на курок — и прощай, Уотсон, аминь!

Он механически выгребал из песка камни, зная, что если эта штука взлетит, он все же улетит на ней, хотя и не сможет объяснить, почему.

В четыре ночи взошла луна, и лампочка сразу потускнела, словно наступил рассвет. Теперь никто не работал, кроме Стрингера. Все сидели на песке спиной к свету, бодрствуя на зябком воздухе. Сил, чтобы согреть себя движением, не оставалось. Все хранили молчание. И когда услышали эти два слова, то растерялись.

— Все готово, — сказал он.

И все сразу переменялось. Потому что теперь все было позади, и оставалось только надеяться. А лелеять надежду легче, когда ради нее надо работать.

Моран посмотрел на Стрингера и вдруг увидел в нем человека, который отдает себя на их суд. Приговор отсрочен до утра. Интересно, сможет он выговорить хоть слово? Надо попытаться.

— Поздравляю.

В забрезжившем рассвете добрались до самой горловины дюн. Прежде чем над землей поднялся полный диск солнца, они очистили путь для самолета.

Стрингер зашел в салон выключить свет. В ту же розетку включил свою бритву и прислонился к переборке, зажмурил от боли глаза: вместе со щетиной бритва сдирала кожу, мешала сосредоточиться. Он пытался мыслить ясно. Теперь самолет закончен. Все проблемы позади. Теперь «Феникс» должен взлететь. Эта мысль несла с собой беспокойство. До сих пор его занимала лишь постройка самолета, теперь же предстояла окончательная проверка конструкции в воздухе. Что-то он мог и упустить: никогда прежде ему не приходилось строить полнообъемные самолеты.

Звук бритвы гипнотизировал, и он не заметил, как стукнулся обо что-то головой, падая на пол. Ему показалось, что лежал он долго, прежде чем услышал чей-то голос над головой.

— Мы готовы, Стрингер.

Он встал на ноги, а уж потом открыл глаза, увидел в дверном проеме Морана и забормотал:

— Иду. Я брился. Иду. — Он не обратил внимания на кровь на лице в том месте, которым ударился. Испытал только сильную досаду неизвестно на кого. — Вода? — спросил он штурмана, но Моран уже исчез. Он не хотел так жадно спрашивать о воде — получилось это само собой. Нарочито помедлив, он положил бритву в коробку и взял с собой, потому что в своих поездках никогда с ней не расставался.

Мистер Таунс. Где мистер Таунс? Его пилот.

Они сгрудились у хвоста, возле воды. Было полторы бутылки. Половина бутылки была еще теплой после дистилляции. Солнце светило в их лица. Они были безжизненны.

— Бутылка и половина бутылки, — сказал Моран, пытаясь четко произнести слова. Ночью было безветренно, и роса не выпала. — Разделим полную. Остальное — Фрэнку. Ему нужнее — он пилот.

Баночкой разлили жидкость, следя, чтобы не пролилось ни капли. Из салона вышел Стрингер. По его щеке текла кровь. Он пил свою воду, как и остальные, закрыв глаза и испытывая странное чувство: глотать было нечего, вся вода уже исчезла, всосалась в распухший язык. И сразу пришло мучительное ощущение — захотелось еще. Они отодвинулись от Таунса, пока тот пил свою повышенную норму.

Солнце уже жгло.

— Мистер Таунс. Взлетаем сразу же, как только прогреется мотор.

Таунс смотрел на испеченное лицо и подрагивающий рот, время от времени невыразительные глазки за стеклами сами сжимались, потом снова открывались. Робот был в действии.

— Как я уже говорил, у этой машины высокая тяговооруженность и очень низкая маневренность при малых скоростях. Будет некоторое рысканье при разбеге, так как пропеллер только один. Помните, это не «Скайтрак». Благодаря широкому размаху крыльев бортовая качка будет незначительна. Если почувствуете, что способны удерживать машину на высоте в сто футов, оставайтесь на ней, подниматься выше нет смысла. С другой стороны, нужно оставить себе возможность исправить всякие признаки неустойчивости.

Глядя на них со стороны, Моран больше не тревожился: для этого он был слишком изможден. Перед ним стоял Таунс, старик с падавшими на плечи седыми волосами и провалившимися глазами, и слушал поучения юнца, растолковывающего ему, как лететь. Моран не знал ни того, о чем думает сейчас Таунс, ни того, что он скажет Стрингеру. Это будет первый и последний полет Таунса на образце, который никогда не пойдет в серийное производство; ему предстоит стать единственным пилотом «Феникса», тоже единственного в своем роде. Если все это имеет для Таунса смысл, значит, у них есть шанс.

— Как вы знаете, щели закрылков установлены в открытом положении, и с пассажирами на борту во время полета будет некоторое провисание хвоста. Учитывайте это. Я предполагаю крейсерскую скорость в сто пятьдесят — двести миль, поэтому мы должны будем заметить колодец самое большее через два часа. Если рычаги будут хорошо слушаться, сделайте широкий разворот на запад, а потом держите прямо, сосредоточившись на удержании устойчивого полета. Вот и все, что вам нужно делать. Проблем быть не должно.

Таунс отметил, как снова сжались глазки за стеклами: робот отключился. Он внимательно выслушал все, что конструктор ему сказал, потому что сегодня всем им предстояло выжить или умереть, и это зависело от того, как он будет управлять рычагами.

— Благодарю вас, — сказал Таунс.

И тут Моран вдруг понял, что все это время подсознательно тревожился, как же все-таки все это воспримет Таунс. Он всем телом вздохнул от облегчения.

— Лью, запускаем. Убери всех подальше.

— Слушаю. — Он отвел их в сторону, куда заранее оттащили инструменты, козлы и все, за что мог зацепить хвост. Стрингер отошел вместе с ними, но стал в стороне. По песку тянулись длинные тени. Они смотрели, как взбирается в свое пилотское гнездо Таунс. С минуту он просто сидел, приходя в себя от затраченных усилий. Затем открыл кран и нажал сектор газа. Качнув ручкой десяток раз, отпустил ее. Руки работали привычно. Он знал это и доверял им. Но вдруг, в первый раз сознательным усилием, напомнил себе об особых обстоятельствах и резко отжал выключатели пожарной системы на случай, если произойдет воспламенение двигателя. Опять по привычке повернул голову, чтобы убедиться, что все ушли за край крыла, что нет никого рядом с винтом.

Стартер.

От вспышки качнулись все три лопасти, из трубы вырвался масляный дым, но мотор не взял. Он заметил, как напряглись крылья, и засомневался — выдержит ли трос, рассчитанный на трехтонную нагрузку.

Второй патрон.

Пропеллер дернулся, сделал оборот, опять дернулся и остановился. Где-то был приоткрыт выхлопной клапан, и сжатый газ со свистом устремился по трубам. В стартере еще пять пиропатронов. Топливо в мотор попадает, свечи дают зажигание, компрессия сильная, непонятно, почему он не запускается, если цилиндры очистились от масла и конденсата.

Третий патрон.

Вспышка, но пропеллер опять остановился. В воздухе закружились кольца голубого дыма. Брызнула струя непрогоревшего топлива. Таунс обеднил смесь, чуть прикрыл дроссель и нажал на кнопку, моля бога, чтобы у кого-нибудь нашлись силы сбить пламя, если оно начнет выходить из трубы.

Четвертый патрон.

Опять впустую. Он уже боялся: мотор должен завестись в оставшиеся три попытки, или все пойдет насмарку, все двадцать шесть суток. Рискнуть следующим зарядом на продувку камеры — смесь переобогащена, чувствуется по запаху. Теперь смесь бедная, подсос отключен, дроссель открыт на всю ширину, можно рисковать.

Пятый патрон.

Винт закрутился ровно, без дерганья, из трубы поднялась черно-синяя мерзость. Когда пропеллер стал, в Таунсе все содрогнулось от страха.

Шестой патрон.

Толчок. Остановка. Снова толчок. Двигатель нехотя пошел, сотрясая раму, пуская в небо клубы поглубевшего дыма. В реве мотора потонули сотрясающие горло рыдания, когда он сидел, весь обратившись в слух, не в силах больше ничего сделать, только улавливая звук цилиндров — один из них все еще давал перебои, но явно выравнивался. Вот мотор заработал уверенно, бодро — для него не было музыки, приятнее этого мерного рева. Повернув голову, он смотрел, как преобразаются их лица. У него самого задержались губы, и он понял, что улыбается.

Какое-то время Моран не мог шевельнуться. Он приходил в себя от лишившего его последних сил страха. Ему вдруг подумалось, что Таунс с изощренностью сумасшедшего как раз и ждал этого момента, решив истратить все семь зарядов и этим приговорить их к смерти — только для того, чтобы доказать, что прав он, а не Стрингер, что нужно было провести пробный запуск, когда он этого требовал.

Но мотор работал. Усилием воли Моран заставил себя скомандовать:

— Пока мотор прогревается, всем занять свои места!

Место Тилни было крайним от хвоста с правой стороны. Кроу помог ему продеть ногу в проволочную подножку, поддерживая снизу, пока юнец не пролез в гнездо и не распластался в нем, держась за ручки и жмуря глаза от поднятого винтом песчаного шлейфа.

За ним взобрался Кроу, и, когда он разместился, Белами подал ему мешок с обезьянкой. Кроу осторожно принял его, шепча: «Бимбо... иди ко мне. Все будет хорошо, маленький Бимбо...»

Уотсон залез в свое гнездо с левой стороны. Перед ним улегся Белами. Моран подошел к Стрингеру:

— Вы сможете... сами? — Он знал, что Стрингер потерял сознание во время бритья и, может быть, нуждается в помощи.

— Разумеется, — Стрингер отвернулся и пошел прямо через взмывающее вверх песчаное облако вокруг хвоста. Одежда колыхалась на худом теле. Он дождался, пока взберется Моран, поднялся на правое крыло и сел в свое кресло, застегнув привязной ремень.

— Разбег, — послышался голос Таунса, и все удивились — откуда у него взялись силы прокричать это.

Обороты увеличились. Лопасты пропеллера слились и растворились в песчаном облаке. Рама самолета содрогнулась. Теперь песок широкой струей вылетал из-под хвоста.

Тилни ощутил на лице жар мотора и крепче зажмурил глаза.

Кроу обхватил рукой стойку и плотнее прижал к себе обезьянку. «Все будет хорошо, Бимбо, все будет хорошо», — повторял он. Это был голос, которому обезьяна доверяла, голос того, кто делился с ней водой.

В напряженном ожидании вытянулся Уотсон, думая про себя: «Роз не будет, капитан Харрис, сэр, черт тебя побери, роз не будет».

Моран сжал руками стойку и прислушался к взывающему мотору: «Нет на свете другого летчика, Фрэнки, которого я предпочел бы сейчас тебе».

Белами нащупал дневник, последняя запись: «Воскресенье. Самолет готов, надемся улететь. Удачи нам».

Мотор ревел при полукрытом дросселе. Когда салазки заскользили по песку, Таунс опустил заслонку. Сквозь задымленные стекла очков ему виделись восходящие волны воздуха над пустыней. В ослепительном небе плавилось солнце. Он проверил хвостовые рули и обернулся к Стрингеру. Тот кивнул.

## ГЛАВА 25

Песок длинным серпом взмыл в воздух, когда передние салазки начали вспахивать мягкий грунт. Сильно задержался хвостовой костыль. Двигатель развил полную мощность и медленно потащил за собой машину, забиравшую влево, все время влево, пока не очистился костыль и движение не стало равномернее; но даже при резко отклоненном руле самолет шел по кривой. Левая направляющая костыля цеплялась за грунт, пока Таунс не наклонил элероны, приподняв правое крыло, а вместе с ним уровень хвостового костыля. Самолет шел теперь прямо, но до этого он уже успел сделать полуокружность, и впереди на них надвигался северный гребень дюн — оставалось триста-двести ярдов, они не успевали взлететь даже при полной мощности и до конца отжатой штурвальной колонке. Хвостовой костыль молотил по песку. До дюн оставалось меньше ста ярдов.

Он закрыл дроссель и пригасил скорость, ожидая, когда снова начнет цеплять левая направляющая, поправляя ее поворотом руля. Вот она описала широкую окру-

ность, а край правого крыла едва не зарылся в бок дюн, разворачиваясь в последний момент. Таунс снова выжал полную мощность и воспользовался элеронами, чтобы поднять левую сторону и выправить ход машины. Костыль приподнялся, и самолет начал разбег — теперь он шел по прямой, но слишком близко от остатков «Скайтрака», козел и ящиков с инструментами. Таунс попробовал скорректировать ход, но опять стал цеплять костыль. Его с трудом удалось поднять и направить машину по прямой.

Оставалось надеяться на удачу. Если самолет наткнется на камень, его отбросит в сторону, и он врежется в «Скайтрак». Только бы не было камня: грунта под взмывающим ввысь песком он не видел. Если все же встретится камень, столкновения не избежать. Можно лишь уповать на удачу. Он видел, что, идя по прямой, самолет разминется со «Скайтраком» и на разбег останется четыреста-пятьсот ярдов — до невысоких дюн.

Рев мотора заполнял пространство. На песке оставались следы салазок. У самого края правого крыла проплыл «Скайтрак», сразу исчезнув из вида со всеми его кошмарами. Крылья прогибались под крепким тросом, костыль стучал по песку, хвост маятником качало из сторону в сторону, отчего еще туже натягивался трос, взывая музыкальной нотой, перебивавшей даже рев мотора. Наконец Таунс взял на себя ручку, чувствуя, как крылья наполняются силой. Удары костыля стали реже, опасное качанье прекратилось — и вот на песке осталась только падающая сверху тень машины.

Это не игрушка, мистер Таунс, это самолет.

Тень проплыла по дюнам, непрерывно уменьшаясь. К югу лежала безбрежная пустыня. Самолет сделал медленный разворот, по левому крылу заскользили лучи солнца. Как и планировали, взяли курс на запад.

Два офицера гарнизона Эль Аранаб неторопливо потягивали джин, сидя на террасе старого форта в тени навеса. Было одиннадцать утра. Они услышали приближающийся рокот. Судя по звуку, самолет шел на очень низкой высоте. Потом они увидели и сам самолет и разом отставили стаканы, потому что аэродрома в Эль Аранаб не было, а самолет явно шел на посадку.

— Боже, какая странная у него форма, видишь?

— Да. И какие-то парни облепили его. Очень подозрительно.

Они поднялись. Под террасой забегали арабы, указывая на небо.

— Никаких сомнений. Идет на посадку.

— Придется встречать.

И они проворно зашагали к месту, на которое опускалась эта нелепая машина. За ними поспешили арабы и несколько рядовых британской армии.

Самолет сел невдалеке. Из него выбиравались люди. Их шатало, но все держались на ногах.

Из пустыни выходили семь человек и обезьянка.

## О НАШИХ АВТОРАХ

**АЗИЗ АБДУРАЗЗАК** (Азиз Абдураззаков) родился в 1928 году в г. Ташкенте. Он автор многих поэтических сборников, изданных на русском и узбекском языках. Известен и как переводчик: перевел на узбекский язык стихи М. Лермонтова, Т. Шевченко, поэму американского поэта Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате».

**МАРГАРЯН** Маргар Агасиевич родился в Армении. С 1960 года живет и работает в Ташкенте. Печатался в сборниках, альманахах, в журналах и газетах Армении и Узбекистана на русском, армянском и узбекском языках. Постоянный автор «Звезды Востока». Настоящая подборка написана специально для журнала.

**АМИТОВ** Эмиль Османович родился в г. Симферополе в 1938 году. Окончил Литературный институт имени Горького. Работал в редакции газеты «Ленин байрагы», в редакции иностранного вещания Центрального радио и телевидения. Сейчас работает редактором в издательстве «Советский писатель». Печатался в журналах «Дружба народов», «Сельская молодежь», «Йылдыз» и других периодических изданиях.

Автор сборников повестей и рассказов «Возмужание», «Дорога над кручей», «Алая чалма», «Олений родник» и более десяти книг на крымско-татарском языке.

**ЛЕЩЕНКО** Владимир Алексеевич родился и вырос на Дальнем Востоке в семье кадрового военного. Жил в Сибири, в Крыму, в Поволжье, служил в авиации Балтфлота. Более двадцати лет живет в Ташкенте. Автор книг стихов «Тревога», «Пока детей приносят аисты...», «Пора черемух», нескольких книг переводов. Член Союза писателей СССР.

**ЧЕБОТИН** Владимир Герасимович родился в селе Пьянково Белозерского района Курганской области в 1935 году. Окончил филологический факультет Томского государственного педагогического института. Работал забойщиком на шахте, инструктором по парашютному спорту, журналистом. С 1972 года живет и работает в Ташкенте. Стихи публиковались в газетах, в журнале «Звезда Востока», в альманахе «Молодость». В 1985 году в издательстве Г. Гуляма вышел сборник его стихов «Лицо человеческое».

---

Технический редактор Ф. Я. Викнянская.  
Корректор З. Г. Байбазарова.

---

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Ленина, 41.  
Телефоны: главного редактора — 33-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43;  
отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

---

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

---

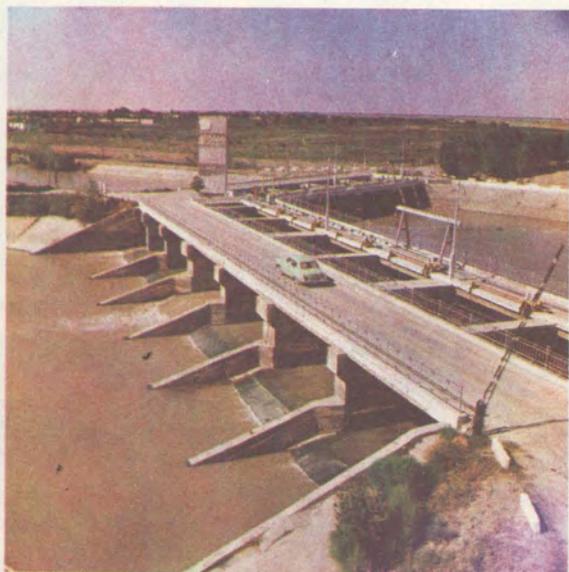
Сдано в набор 2.12.87 г. Подписано к печати 19.01.88 г. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Фотонабор. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.). Уч.-изд. л. 20,95+0,35 (вкл.). Тираж 174728. Р-00019. Заказ № 2165. Цена 1 рубль.

---

Ташкент, ордена Трудового Красного Знамени  
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана.

# ПО ГОРОДАМ УЗБЕКИСТАНА

## АНДИЖАН



Гидротехническое сооружение



Торговый центр



Машинный зал ГРЭС



Книжный магазин

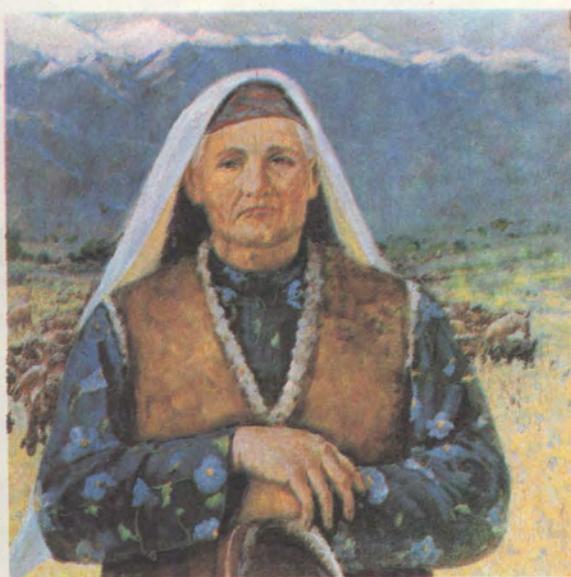
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАКИРА ИНОГАМОВА



Окраина Ташкента



Весна в горах



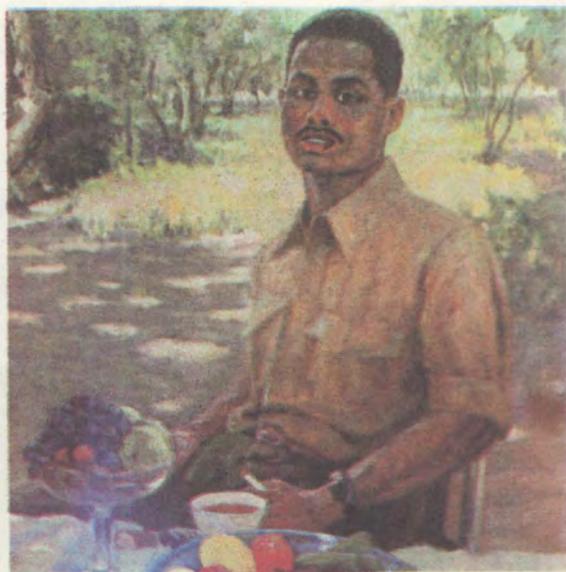
**Мать**



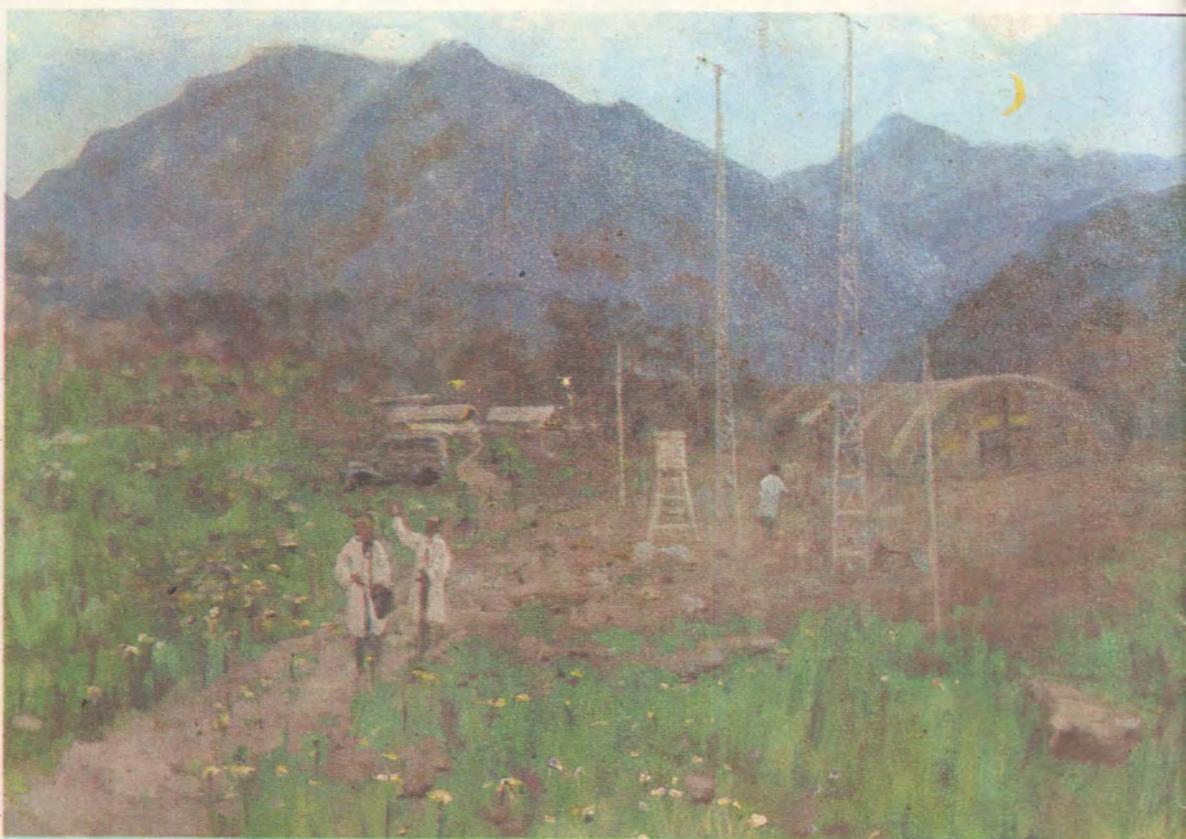
**Отдых чабанов**



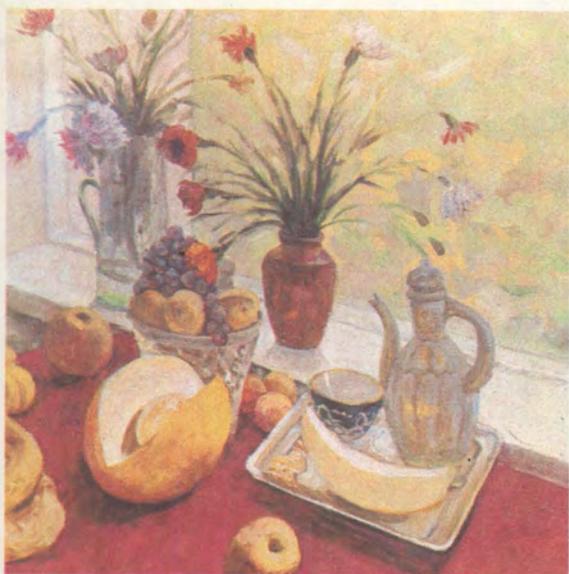
**Дочь чабана**



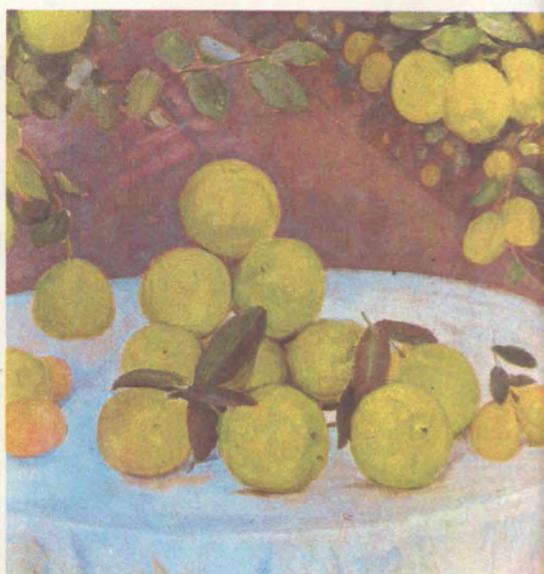
**Портрет студента**



Метеостанция



Натюрморт



Лимоны

Цена 1 рубль  
Индекс 75273